

Н О В Ы Й
М И Р

8



1988

|| 8 ||

Н О В Ы Й М И Р



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 8

Август, 1988 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА — Попытка толкованья, стихи | 2 |
| ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ — Факультет ненужных вещей, роман. Публикация К. Ф. Домбровской-Турумовой. Вступительное слово Ф. Искандера | 5 |
| НАТАН ЗЛОТНИКОВ — Вольные странствия, стихи | 140 |
| ГАБРИЕЛА АДАМЕШТЯНУ — Тетя Вика, рассказ. Перевела с румынского Татьяна Иванова | 142 |
| ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ — Пять стихотворений | 160 |
| УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС — И с древа золотого петь живущим, стихи. Перевел с английского Григорий Кружков | 163 |
| ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | |
| НИКОЛАЙ КЛЮЕВ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ: ПИСЬМА И ДОКУМЕНТЫ. По материалам семейного архива. Публикация, вступительная статья, подготовка текстов и комментарии Г. С. Клычкова и С. И. Субботина | 165 |
| ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ | |
| БОРИС ЧЕРНЫХ — Пахари и «мудрецы». Из истории одного колхоза | 202 |
| ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА | |
| А. ЛАТЫНИНА — Колокольный звон — не молятва. К вопросу о литературных полемиках | 232 |
| КСЕНИЯ МЯЛО — Оборванная нить. Крестьянская культура и культурная революция | 245 |
| КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ | |
| <i>Литература и искусство</i> | |
| Наталья Иванова. О «ручном мужике», «Семкиной работе» и беглой лишенке Ваське. | 258 |
| ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ | |
| ИГОРЬ ГРЯЗИН — Правовое государство | 266 |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ | 272 |

© Журнал «Новый мир», 1988.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

с ее полетом, истерикой, чванством и панибратством,
с солнцем ее закатным меж изломанных веток,
с детством моим и юностью, с моей бедой и богатством.
И благословит душа моя ее напоследок!

А во второй день душа моя вспомнит свои скитанья
там, где, как говорят, и дым приятный и сладкий,
где древний призрак Отечества с ходу дает задания
принести ему то, не ведаю что, и разгадать загадки.
Здесь, под суровыми соснами, над поздней россыпью клюквы,
живут, земным благоденствием не тешась, не обольщаясь,
и боятся лишь прокурора, произносимого с заглавной буквы.
И благословит душа моя их, прощаясь!

Ну а в третий день отправится душа моя, собравшись с духом,
туда, где, кроме нее, нет виноватых,—
к священномонахам, инокам, к старикам и старухам,
и встанет она меж нищих, блаженных и бесноватых.
В одинокую, на высокой горе, забредет келью,
подпоет «Господи, помилуй» и «Аллилуйя»
и, благословив последним благословеньем, уйдет с метелью,
унося ожог последнего поцелуя.

...О, неужели никто, к кому стучалась она, сдерживая рыданье,
и три дня говорила: я с вами, я не убита,—
ничего на земле не отыщет ей в оправданье,
ничего небу не скажет в ее защиту?

Отрывки

Судьба иностранца в России похожа на ключ, только вот
теперь уж никто не отыщет тех славных дверей и ворот,
тех шкафчиков, тех секретеров, тех ларчиков в чудной пыли,
которые с музыкой тайной когда-то открыться могли:
ушли гувернеры, арапы, монголы и немцы — теперь
из третьего мира арабы то в окна влезают, то в дверь.

...Он вечно — то гость, то захватчик,
то друг он, то враг, то истец,
а то и умелый строитель, а то и с товаром купец.
В нем ищут черты лжемессии, антихриста видят, а он
то деньги дает под проценты, то рыщет впотьмах, как шпион.

...Четыре мучительных века с тоской мы глядим на Афон,
Максима, ученого грека, мы просим приехать, а он,
пока мы в его переводе читаем Псалтирь по нему,
все едет по русской равнине в тверские пределы, в тюрьму.
Его уже века четыре мы как преподобного чтим —
под вьюгу, под чтение Псалтири, и сосны бушуют над ним.

...В России судьба иностранца трагична, комична,— она
роскошна, когда не трагична; комична, когда не страшна.
В ней видно Россию далеко, и стынут средь утренней мглы
ампир, рококо и барокко — ее роковые углы.
Но быть иностранцем в России почетно, когда не грешно,
надежно, когда не опасно. печально, когда не смешно.
Он принят по высшему чину, как ангел,
сошедший с небес,
и он же — вшаеи и в спину крестом
изгоняем, как бес.

И то здесь страстями Голгофы окончат над ним самосуд,
то в лучших российских покаях присягу ему принесут.

...В России судьба баснословна, странна, иностранна, чудна,
то праведна, то уголовна, абсурда и смысла полна.
Небесного поприща странник! Отечество слава свое,
ты тоже — изгнанник, избранник, чернец, иностранец ее.
Всем миром встает на колени великодержавный приют,
когда «На реках Вавилонских...» его домочадцы поют.

Попытка толкованья

Памятуют о том, что нищие духом блаженны, —
в эпоху всеобщего среднего образования
ходят странные слухи о них, бытуют баснословные толкованья.
Полагают, что это —
красномордые мужики, забивающие козла,
толпящиеся у пивных точек;
недовольные матери эмансипированных,
вышедших в люди дочек;
матерящиеся через каждое слово
грузчики в телогрейках;
пенсионеры, последние дни просиживающие
на садовых скамейках;
добродушные бабы, готовые поделиться с ближним
всем — даже собственным телом;
преступники-малолетки, убившие не от гнева или алчбы,
а так — между делом.
Однако на сомнительное их блаженство свысока
посматривают и косо,
подозревая чуть не иронию, чуть не путаницу
в постановке вопроса...
И еще больше лелеют собственные богатства —
знаний и интеллектов;
кладовые моделей преобразования мира,
построения Вавилонской башни,
планов, проектов;
ящики с домыслами о бессмертье, с суждениями о жизни пола;
папки с догадками о происхождении жизни,
с критикой исторического произвола;
скоросшиватели с доказательствами нравственного прогресса,
гипнотического исцеленья;
конверты с предложениями новых форм сознания,
нового языка мышленья...
Но когда они побредут узкой тропой к призывающему их Богу,
как они свое достоянье захватят с собой в дорогу?
Одно стесняет дыханье, обе руки занимает другое,
третье сползает, четвертое рассыпается,
пятое путается под ногою.
Все, чем гордо они владели, их тащит юзом,
обоюдоострым мечом карает, неудобноносимым грузом;
и какие-то птицы уже поют, и песня летит по небу —
здесь уже законы иные, здесь едино есть на потребу.
И Божественный глагол покрывает нищету духа...
И монах указывает сюда путь, и дитя бессловесное,
и слепая старуха!

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

★

ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ

Роман

Много лет назад в голицинском доме творчества Юрий Домбровский дал мне прочесть эту рукопись со столь интригующим названием. Я знал, что он работает над продолжением когда-то поразившей нас книги «Хранитель древностей».

«Хранитель» успел появиться в «Новом мире» (1964, № 7, 8), получил международное признание, автор двинул свой замысел в новой книге, обещанной редакции, но, увы, время к этому времени остановилось и стало медленно оползать в мертвую зону сталинской эры. Радостная, сумбурноватая, короткая, как полярное лето, эпоха Хрущева кончилась; может быть, нагорвалась на выносе тела генсека из Мавзолея. Написанный роман уже невозможно было напечатать.

Говоря о замысле своей книги, Юрий Домбровский часто повторял: я решил ничего не выдумывать; я решил описать то, что знаю лучше всех... я решил описать свою жизнь... никто ее не знает лучше меня...

Конечно, это роман в самом классическом смысле этого понятия, и все-таки подлинность собственного опыта придает ему какой-то особый лиризм. Юрий Домбровский прошел все круги сталинского ада, он поистине «посетил сей мир в его минуты роковые». «Всеблагие» следователи не отличались ни мудростью, ни какой-то сверхъестественной хитростью, и все-таки именно они были творцами той, сталинской истории. Автор всматривается в них то с горькой насмешкой, то с брезгливым презрением, но всегда пронзительно и глубоко.

«Факультет ненужных вещей» — это книга, написанная в эпоху фарса уцелевшим свидетелем трагедии тридцать седьмого года. Особое обаяние ее в невероятном, но естественном переплетении образов жизни и антижизни: мертвящая канцелярия и горная река, обгающая бодрящей водяной пылью, мрак тюрьмы и летнее южное море, женщина-смерть (следователь) и женщина-жизнь (вспоминание о любимой).

И главное проявление жизни и света перед наступающим мраком — мысль. Героев романа интересно слушать, даже если мы с ними и не согласны, даже если и сам автор порой вольно толкует слова известных мыслителей и поэтов. Герои рассуждают отчетливо, много, заразительно, мы от этого отвыкли, но это было естественным свойством великой русской классической литературы и это дает очаровательное чувство возвращения в родной дом.

Чем опасней становится думать, тем напряженнее размышляет главный герой романа Зыбин. При всех человеческих слабостях Зыбин — это культура, мысль, это память, это дух России. Мысль сама по себе есть источник милосердия. Тирания Сталина сужала, коверкала, уничтожала мысль не потому, что она правильная или неправильная, а потому, что мысль — величайшее препятствие расчеловечиванию человека.

В те времена дефицит мысли как бы оправдывался необходимостью сначала решить материальные проблемы. И мало кому приходило в голову, что дефицит мысли будет вечно приводить к товарному дефициту.

Зыбин мыслит — следовательно, борется с тиранией, и потому в высшем смысле, а не в смысле нелепых обвинений он действительно враг машины уничтожения задогдо того, как она его в себя втянула.

Право — часть культуры, которую человечество вырабатывало тысячелетиями. Когда Зыбин напоминает следовательнице, что она нарушает правовые нормы, та с легкостью необыкновенной отвечает ему: мол, все это факультет ненужных вещей.

Там, где нарушено право, все превращается в факультет ненужных вещей: совесть, жалость, любовь, честный труд, традиции народа. Там, где право заменено зыбкой категорией классово-целесообразности, никто не чувствует себя в безопасности. Вчерашний всеисильный палач сегодня может стать жертвой.

Что-то пошатнулось в карьере самоуверенного хама — следователя Неймана. Его еще не тронули, но он уже охвачен смертной тоской и страхом. За спиной ничего нет — кровавая пустота. Он уезжает за город и ночью у реки встречает крестьян, которые сторожат труп утопленницы, сигая у костра, готовят уху, разговаривают, угощают Неймана, не зная да и не интересуясь, кто он такой. Сцена исполнена невероятной творческой силы и философской многозначительности. Вот жизнь, вот люди, вот вечность — под шум реки. Предчувствие истины чуть забрезжило в мутном сознании следователя, но, увы, кажется, для него это поздно.

Драматичность описываемых в романе событий делает особенно поэтичными, порой волшебными картины жизни и пейзажи казахстанских нагорий. Все видится как бы в тютчевском прощальном свете.

Рукописи не горят, говорится в знаменитом романе (*гордость отчаяния!*), особенно хорошо они не горят, добавим мы, когда рукописи напечатаны. Напечатаны у себя дома. Как жаль, что Юрий Домбровский не дожид до этого дня!*

Но если он столько лет писал свою книгу с таким упорством, порой испытывая самую погдную нужду, и при этом знал, что она не имеет ни единого шанса на напечатанье, значит, он был уверен, что книга нужна всем нам, и он довел свою работу до конца.

Нет и никогда не было значительного художника без этого всепобеждающего чувства внутренней правоты. У Юрия Домбровского всегда оно было. Как бы ему ни было трудно, как бы он ни был унижен внешними обстоятельствами, он всегда высоко нес свою чубатую голову, высоко!

Ф. ИСКАНДЕР.

Анне Самойловне БЕРЗЕР

с глубокой благодарностью за себя и за всех других подобных мне посвящает эту книгу автор.

Когда спросят нас, что мы делаем, мы ответим — мы вспоминаем. Да, мы память человечества, поэтому мы в конце концов непременно победим; когда-нибудь мы вспомним так много, что выроем самую глубокую могилу в мире. (Р. Бредбери)

Новая эра отличается от старой эры главным образом тем, что плеть начинает воображать, будто она гениальна. (К. Маркс)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Копали археологи землю, копали-копали, да так ничего и не выкопали. А между тем кончался уже август: над прилавками и садами пронесли быстрые косые дожди (в Алма-Ате в это время всегда дождит) и времени для работы оставалось самое-самое большее месяц.

А днем-то ведь все равно парило: большой белый титан экспедиции накалялся так, что до него не дотронешься. Идешь в гору, расплеснешь ведро, и лужа высохнет тут же, а земля так и останется сухой, глухой и седой. А однажды с одним из рабочих экспедиции приключился настоящий солнечный удар. Вот поднялся-то шум! Побежали в санчасть колхоза за носилками. Они стояли у стены, и когда Зыбин — начальник экспедиции Центрального музея Казахстана — наклонился над ними, то с серого брезента на него пахло йодоформом и карболкой. Он даже чуть не выронил ручку. Ведь вот: сад, ветер, запах трав и яблок, блеск и трепет листьев, на траве чуткие черные тени их, а тут больница и смерть.

Ну а потом все пошло очень быстро — больного прикрыли зеленым махрастым одеялом и стащили вниз. Все бестолково кричали: «Тише, тише! Ну чего вы его так? Это же больной!» — остановили под горой попутную пятитонку — в это время из домов отдыха все машины несутся порожняком, — осторожно вознесли носилки и поставили возле мотора — там трясет меньше, — и сейчас же два моло-

* Роман впервые опубликован в 1978 году издательством JMCA-Press в Париже.

дых землекопа, остро блеснув ботинками, вскочили и уселись по обе их стороны. Они уже успели где-то нагладиться, начиститься, вымыть и расчесаться. Ну а рабочий-то день, конечно, пропал. Все разбрелись по саду, кое-кто пошел к речке, и оттуда, из кустов, ударила гармошка и заорала девка. Орала здесь, как и на всех посиделках,— громко, визгливо, по-кошачьи.

— О, слышите,— с удовольствием сказал Корнилов, поднимая ослепшую, взмыленную голову. — Обрадовались! Вот работников-то мы с вами нашли, Георгий Николаевич, а? С ними как раз клад отыщем.

Их было двое. Начальник экспедиции Зыбин и археолог Корнилов. Они оба — он и Зыбин — с белыми литровыми жестянками из-под компота стояли над горным ледяным потоком (это и была речка Алмаатинка) и окатывались с головы до ног.

— А, черт с ними,— сказал Зыбин. — Дня-то все равно уже нет.

— Да, конечно, черт, дня нет,— вяло согласился Корнилов и по плечи окнулся в поток. — Но ведь это что значит? — продолжал он, выныривая и отфыркиваясь. — Ведь это значит, что пока мы тряслись над этим Поликарповым, кто-то уже успел сгонять в правление к Потапову за гармошкой, а это, я вам скажу, две версты верных по горам. Я однажды посмотрел на часы, пока шел,— полчаса, верных две версты.

— А вы сегодня Потапова видели? — быстро спросил Зыбин.

— Видел. А как галдели, как они, черти, галдели. Один так ко мне прямо в палатку влетел. Я проявляю, так он, скот, нарочно все настезь! «Наш товарищ доходит, а вы тут разложили свои...» Товарищ у него, черта, видишь, доходит. Очень нужен ему товарищ! — И он опять ушел по плечи в поток. Зыбин подождал, пока он вынырнет, отфырчится, отчертыхается, разлепит глаза, и сказал:

— Надоели мы им до чертиков, Володя. Устали они, разочаровались, изверились. («Вот-вот,— согласился Корнилов,— вот-вот, они изверились, скоты!») А помните, как было сначала! Жара, дождь, а они знай грызут и грызут холм. А теперь, когда два месяца прошло впустую, ни горшка, ни рожка, ну конечно... Ну хотя бы вы снова скотские кости откопали, что ли.

Корнилов стоял молча и зло, докрасна растирал ледяной водой живот, грудь и шею. Движения у него были широкие и сильные. Когда Зыбин ему сказал о скотских костях, он вдруг приостановился и спросил:

— А мне, пока я в городе был, никто не звонил?

— Да нет... — скучно начал Зыбин и вдруг всплеснул руками. — Ой, звонили, два раза даже звонили! Потапов приходил за вами. Какая-то женщина звонила. Я велел ей дать музейный телефон. Ничего? Она вас застала?

У Корнилова вдруг остро блеснули глаза.

— Женщина-то? — Он схватил с большого синего валуна мохнатое полотенце и стал им быстро, ловко и весело растирать, как будто пилить, спину. Был он невысокий, загорелый, мускулистый, чернявый и очень подвижный. У него всегда все ходило: руки, спина, мускулы, губы, глаза. «Артист,— подумал Зыбин, любуясь им. — Ох артист же! Это он в Сандунах так». — Ничего, ничего, дорогой Георгий Николаевич,— бодро воскликнул Корнилов. — И не только ничего, но даже и очень, очень хорошо. — Он скомкал полотенце и бросил его в Зыбина. — Собирайтесь-ка, натягивайте новые сotelные брюки, и потопали. Директор, наверно, уж нас заждался.

Он всегда, когда был возбужден, говорил вот так: «сotelный», «потопали» или даже «увидишь — закачаешься».

— Директор? — Зыбин даже сел на валун (к этому бедламу еще и директор!). — Да разве он...

— Ну а как же,— весело и дружелюбно ответил Корнилов, с удо-

вольствием рассматривая его полное белое лицо и светлые водянистые глаза, они даже как-то поглупели за секунду. — А как же, дорогой Георгий Николаевич? Он же вас любит, правда? Ну а если любит, то и сам придет, и гостей привезет. Да каких гостей! Увидите — закачаетесь. Он так и сказал мне: «Ждите, я приеду». Ну-ка пошли встречать.

Они взбирались по пологому холму через кустарник. На одном уступе Зыбин вдруг остановился и ласково сказал Корнилову:

— Володя, вы посмотрите-ка туда, вон-вон туда, на дорогу.

— А что?

— Да как старинная гравюра.

Уже смеркалось. Тонкий туман стелился по уступам, и все огненно-красное, голубое, темно-зеленое, фиолетовое и просто белое — круглые листья осинника, уже налившиеся винным багрянцем; частые незабудки на светлом болотистом лужке, черные сердитые тростники; влажное, очень зеленое и тоже частое и чистое, как молодой лучок, поле (с одной стороны его покачивались ажурные белые зонтики, а с другой стороны стояли высокие строгие стебли иван-чая с острыми чуткими листьями и фиолетовым цветом), — все это, погруженное в вечер и туман, смирялось, тухло, стихало и становилось тонким, отдаленным и фантастическим.

— Как старинная гравюра под прокладкой, — повторил Зыбин.

— Да вы поглядите, где вы стоите, — вдруг сердито крикнул Корнилов, — вы же сательные брюки испортили, ой горе мое!

Зыбин залез в куст степной полыни, и она обмарала его желтой, плотно пристающей пылью.

— Да что руками, что вы все руками? — еще сердитее закричал Корнилов. — Только еще больше вотрете. Вот придем — надо будет взять сухую щетку и отдраить вас всего. Но только пусть она сама драит. Она, а не вы. А то ничего не выйдет. — Он смешливо покачал головой. — Вот комиссия, создатель. Приедут, посмотрят. Рабочие водку глушат. Одного так уж даже замертво увезли. Научный состав навеселе, а руководитель сидит без штанов в шалаше. Красотища! А научные результаты-то, а?

— А ваши косточки, Володя, — ласково сказал Зыбин. — Ваши рожки да ножки. Вот мы их и предъявим. Ведь вы их еще не зарыли?

Корнилов загадочно посмотрел на него.

— А что мне их зарывать, — сказал он. — Что их зарывать, если...

А история с костями была такая. Когда после первых робких успехов экспедиции началась полоса сплошных неудач, Корнилов по каким-то понятным одному ему приметам вдруг решил, что место, где они копают, конечно, безнадежное, но вот если принятая за небольшой пологий холмик на яблочной просеке...

— Да ведь это же погребение, — убеждал он Зыбина, — очень богатое, вероятно, даже конное погребение. Обязательно надо попробовать. Ну обязательно.

Копали долго и безнадежно. Меняли места, изрыли весь участок и под конец докопались. Отрыли преогромную ямину, полную костей. Видимо, сюда свалили остатки какого-то богатырского пиршества — персон эдак на тысячу. Коровы, овцы, козы, лошади, свиньи! — в общем, такой груды мослаков, пожалуй, еще никто никогда не видел. Ну что ж! Отрыли и зарыли, что еще делать с костями? Но по колхозу уж пополз слухок, что ученые раскопали сапное кладбище. Что тут только поднялось! Сначала взбунтовался колхоз, затем забеспокоились дамы из дома отдыха СНК, за домом отдыха СНК зазвонил и загудел во все аппараты Наркомздрав. На место раскопок

прилетела стремительная комиссия эпидемуправления с молодыми сотрудниками в пенсне, террористического вида и с ящиками с крестами, колбами, пробирками. Яму снова раскопали, обвели канатами и поставили мрачного человека с кобурой. А пока шел суд да разбор, двум парням-землекопам где-то на вечеринке просадили головы. «Сап разводите, проклятые! Вот ваш прораб нам попадетя! Всем головы поотматем!» Головы, правда, никому не отмотали, и комиссия уехала, составив даже акт, что кости по давности времени опасности не представляют, но все равно все могло бы обернуться очень плохо, если бы не бригадир Потапов. Он — умница! — притащил на заре два ведра карболки и залил яму. Вонь, конечно, поднялась страшная, но она сразу всех и успокоила. Несло двадцатым годом, вокзалом, бараком, сборным пунктом, пропускной камерой — то есть чем-то сугубо житейским, во всяком случае сап, вылезший из тысячелетней могилы, так не пахнет.

Директор узнал об этой истории только через месяц, когда вернулся из срочной столичной командировки. Он вызвал Зыбина и хмуро сказал (а глаза все-таки смеялись):

— Ну то, что вы казенные деньги без меня в землю зарыли, это черт с вами — «наука умеет много гитик», а что такое гитика, никто не знает, значит, и спросу нет. Ну а если вам колхозники ваши ученые головы посшибают, тогда что? Я за вас, дураков, не отвечик!

Так и стояла яма посередине сада, пахла двадцатыми годами, и, проходя мимо нее, все плевались и поминали ученых.

...Корнилов загадочно посмотрел на Зыбина.

— А что мне их зарывать? — сказал он. — Что их зарывать, если их завтра же увезут в город?

— Это зачем же? — остановился Зыбин. — На студень, что ли?

— А затем, — ответил Корнилов с великолепной легкостью, — затем, дорогой, что Ветзооинститут у нас покупает костный материал. Так вот, завтра придет директор с профессором Дубровским, он осмотрит все, заактирует, а затем переведет нам бобики в размере затрат. Но это завтра-завтра, не сегодня, как ленивцы говорят. Это я вам так, для страха сказал, что сегодня.

Зыбин засмеялся.

— Не проходит, Володя. Фамилия подвела. Вам бы выбрать другого кого-нибудь. Профессор Дубровский месяц как арестован.

— Да это не тот, голуба моя, — ласково пропел Корнилов. — Тот историк, голуба, а это — ветеринар.

Зыбин посмотрел на Корнилова, хотел сказать что-то язвительное и вдруг осекся. Он вспомнил, что и правда Дубровских два и один из них, старший, как раз в зооветинституте ведает кафедрой зоологии.

— Нет, правда? — спросил он робко (коленки у него были желтые-прежелтые).

— Святая истина, — проникновенно ответил Корнилов. — Мы продали костный материал чистопородных линий скота третьего — четвертого веков. Еще не верите! Знаете что тогда? У Потапова висит натуральный Никола Мирликийский. Идемте — приложусь. Там и водка есть. Пойдемте.

Зыбин наклонился и стал резкими боковыми ударами ладоней отряхивать коленки. Корнилов стоял над ним и смотрел. Брюки Зыбина его больше не трогали.

— Вы гений, — решительно сказал наконец Зыбин, поднимая голову от своих теперь уже безнадежно замаранных темно-оливковых коленок. — Второй Остап Бендер. Выдумать такое... нет, точно гений!

— Не я, — скромно ответил Корнилов. — Я гений, я Остап Бендер, но мне принадлежит только общая идея, а воплощение ее... — он

загадочно помолчал, — завтра вы сами увидите это воплощение. О, там бьют уже в рельсу. Каша готова! Идемте к Потапову. Я сказал, жди, притащу твоего ученого!

Комиссия нагрянула к концу следующего дня в двух машинах. В первой, трескучей, помятой, но известной всему городу «ЭМ-1» ехали директор и дед-столар. Черт знает зачем везли сюда деда. Но он сидел, гордо курил и озираал окрестность. И по ту сторону и по эту. Вид у него был трезвее трезвого.

«Орел», — подумал Зыбин.

Третьей в машине сидела высокая, очень красивая, похожая на индуску девушка с чистым, продолговатым, матовым лицом и черными блестящими волосами. Клара Фазулаевна, зав отделом хранения. Она смотрела поверх машины и думала что-то совсем свое. А за «эмкой» шла еще машина — длинная, худая, желтая, стремительная, как гончая или борзая (в машинных марках Зыбин совсем не разбирался). В ней были только двое: высокий тощий старик в чесучовом костюме и полный немчик, белобрый, нежно-веснучатый, очкастый, в пробковом шлеме и с фотоаппаратом через плечо. Он и вел машину.

Музейная машина доехала до бугра, урча взобралась на него и остановилась, покачиваясь и порывивая. Дед и директор соскочили. Клара осталась. Директор что-то спросил ее или сказал ей что-то (ткнул пальцем в палатки и фыркнул), но она в ответ только дернула плечиком. Оба археолога смотрели на них с вершины другого холма. Вокруг — кто с киркой, кто с лопатой — стояли рабочие. Сейчас раскапывали именно этот холм. Только теперь предполагалось, что это не цитадель, а могила вождя — курган.

— И опять полдня летят! И самые продуктивные, по холодку, — вздохнул Зыбин, смотря на дорогу. — Ну что ж, Володя, идите встречайте, а я пока сбегаяю в лавочку. Раз уж деда привезли, без этого не обойдешься. — И он побежал вниз.

Корнилов секунду смотрел ему вслед, соображая, а потом крикнул:

— Но берите только водку! Шампанское есть, стоит в заводи!

— А это как же? — удивился Зыбин, останавливаясь.

— А вот так же, — отрезал Корнилов и покатился вниз.

Зыбин постоял, подумал, пожал плечами.

— С чего ж это он шампанского? — спросил он недоуменно. — Вечно чего-то он...

— А подвела, — радостно объяснил ему парень, что стоял рядом, — не приехала. Вот он и продал вам свои заготовки!

— Кто? Да ну, глупости! — резко отмахнулся Зыбин и пошел было вниз, но тут другой рабочий, Митрич, пожилой, степенный, которого бригадир Потапов втер в экспедицию (толку от него колхозу все равно было чуть), авторитетно подтвердил:

— Нет, приезжала, приезжала. Он с ней из города приехал. Машину там около реки оставили — она сама ее вела — и сразу оба к яме. Он: «Стойте, я вам покажу — вот, вот и вот!» — взял ее зонтик да ка-ак начал шуровать, она сразу и нос в платок: «Не надо, не надо, я и так вас поняла».

Все засмеялись. «А ведь не любят они Корнилова», — подумал Зыбин и сам не различил, приятно это ему или нет, во всяком случае в эту минуту он понял, что Корнилова можно и не любить.

— Ну а потом что? — спросил он.

— А потом они ко мне пришли: «Митрич, принимай гостей». Жена им яиченку с луком сварганила, а меня за коньяком послали. Я обратно шел, три яблока ей самых-самых, ну что ни на есть самых крупных сорвал, она даже перепугалась: «Ой, ой, какие, разве такие бывают?»

Зыбин взглянул на рабочих. Они слушали и ухмылялись.

— Да кто же она такая? — спросил Зыбин ошарашенно. — Откуда?

— Вот откуда она! — с удовольствием сказал Митрич. — Откуда — не знаю! Я ведь не прислушивался. Только я вот что понял. Она вроде где-то с вами встречалась. Или вы отдыхали вместе, или куда ездили.

— Я? Нет! — сказал Зыбин. — Этого не может быть.

— Нет, точно, точно, она вас знает, очень она интересовалась! Говорит: «Он меня теперь не узнает». А он говорит: «Узнает». Потом он сбегал, какие-то ей два черепа принес, козы, что ли. Скатерть чистая, так он их прямо на нее! Жена ее потом в золе стирала. Потом они на речку вместе пошли... — Он помолчал и добавил: — Руки мыть!

Все дружно заржали.

— Ну ладно, Митрич, пошли, ты мне поможешь! Пока они там будут...

— А красивая, — сказал Митрич, идя за ним. — Полная! Волос желтый, лет двадцать пять, не больше! Прическа! Цепка! Часики!

Тучи разошлись, проглянуло солнце, и сразу стало очень жарко. Вообще лето было сухим. Дожди прошли только недавно — редкие, косые, мелкие дожди. Такие, если они пролетят где-нибудь около Москвы или Рязани, называются грибными. Но тут истомленная жаром земля принимала их жадно, раскрыто, всеми холмами и ложбинами предгорий, всеми гектарами бурых кашек и белых колокольчиков, пожухлыми листьями кустарников. Белые парашютики плавали в воздухе — отцвели одуванчики. Нежизненные нежные голубые цикории на высоких, узловатых, крепких и прямых, как веревки, стеблях выгорали и становились розовато-фарфоровыми, белыми, серыми, бесцветными. Зной дрожал, как жар над самоваром. Но всю заливались кузнечики. В непогодь они притихали, а в солнце выбирали самые что ни на есть сухие, сожженные откосы, и все сотрясало тогда от их стрекота, он был так убийственно ровен, что Зыбину казалось — не просто тишина, а мертвое безмолвие окружало его все эти месяцы. Но сейчас все вокруг было опять полно осколков — мелких, остро рвущих. Трава пела, стонала, стрекотала. Зыбин различал даже отдельные голоса. Кто-то отчетливо и жалобно просил: приди, приди, приди... А там, выслушав его до конца, отвечали отчетливо и сердито: нет, нет, нет! Проходя мимо зонтика, Зыбин увидел ее — зеленую, большеглазую, словно выкроенную из зелено-белого серебристого листа кукурузы кобылку. «Она? — подумал он. — Но ведь саранча не стрекочет, кажется...»

Директор с профессором Дубровским стояли посреди поляны. И Клара тоже стояла с ними.

— «Орошай вином желудок. Совершили круг созвездья. Тихо нежная цикада, притаясь, от жара стонет», — сказал Зыбин, подходя, и стиснул Кларе руку. — Стихотворение Алкея, перевод Вересаева, собрание сочинений, том девятый. Здравствуйте, товарищи!

— Нет, с вином мы, похоже, подождем, — жизнерадостно ответил директор, — мы пока с тобой и на квас не заработали. Значит, и орошать желудок нам вроде бы не с чего. Ну, здравствуй, здравствуй, хранитель! Вот за костями к тебе приехали.

Он говорил и смотрел ему в лицо добрыми, смешливыми глазами.

— Но мы-то с вами, пожалуй, заработали, — сказала тихо Клара директору.

— Но мы-то с вами, — махнул рукой директор, — мы-то с вами, известно, — золото! Мы люди деловые, точные, с нами шутки плохи. Так. — Он обернулся к профессору. — Вот представляю — Георгий

Николаевич Зыбин. Читали, наверно, его статью в «Казахстанской правде» про библиотеку. Такой скандал там наделал! А по-нашему — хранитель древности. Руководитель всех работ. А это, хранитель, Николай Федорович Дубровский, наш покупатель из Ветзоо. Ну что — уступим ему твои мослы или нет?

«Володя гений», — подумал Зыбин, но сказал:

— Да что уступать-то? Ведь их карболкой залили. К ним и не подойдешь.

— А неважно! А совсем неважно, — энергично запел седой профессор, похожий на пастора. — Мы, дорогой коллега, их и отмочим и отмоем. И знаете, какие у нас получатся препараты! Ваша неудача для нас превеликое счастье. Такого количества костного материала чистопородных линий скота для Средней Азии начала эры нет нигде! А для Артура Германовича, — он кивнул головой в сторону ямы, — это же самый настоящий клад! Он же лошади! Сейчас как раз пишет кандидатскую об истории киргизца и его отношении к лошади Пржевальского. Вот смотрите, — он махнул рукой через поляну. — Видите?

Зыбин посмотрел и улыбнулся. Немчик — так он сразу окрестил его — засучил брюки и полез в яму. За ним прыгнул и Корнилов.

— И наш дурак тоже туда, — осердился директор и закричал: — Владимир Михайлович, будешь копать в этой гадости, сейчас пошлю к титану руки отпаривать! На них, может, верно сто пудов допотопного сифилиса!

Профессор засмеялся и положил руку на плечо директора.

— Да нет, не может быть! — сказал он задумчиво. — Никак не может быть, дорогой Степан Митрофанович. Вы сами говорите, полторы тысячи лет. Какой уж тут!.. — Он вдруг элегантно, чисто профессорски подхватил директора под руку. — Пойдемте-ка лучше посмотрим их...

...Кости лежали сплошным навалом. Сверху они были черные от карболки, но когда их ворошили, они становились белыми, желтыми, кремовыми. Видимо, сперва их долго — столетия, может быть, — обдувало ветром, мыло дождем, засыпало снегом — и вот они сделались сухими, легкими и звонкими. А в общем, в яме под тросточкой вскипало что-то похожее на груду разноцветных кружев — румяный ассистент сидел над ямой и вертел в руках лошадиный череп.

— «Терем-теремок!» — тихонько позвал его Корнилов.

— Обратите внимание, — вдруг поднял голову ассистент, — и затылок цел. И вот, смотрите-ка... — И он сунул в руки профессора лошадиный череп.

Тот взял его, повертел так и сяк и осторожно положил на землю.

— Да, — сказал он, отряхивая щелчком кончики пальцев, — все это очень, очень!! Знакомьтесь, пожалуйста. Это хозяин, Георгий Николаевич Зыбин. А это... — И он назвал имя и отчество ассистента.

Артур Германович улыбнулся и встал.

— Здравствуйте, — сказал он. — Извините, руки не подаю. Грязные. У меня для вас письмо от Полины Юрьевны. Только оно там, в машине, в портфеле. Я сейчас, если позволите...

Он с сожалением поглядел на лошадиный череп, встал и пошел. И Зыбин тоже пошел за ним. Он был так ошеломлен, что даже ничего не спросил.

«Боже мой, Боже мой, — восклицало в нем что-то, — Лина. Боже ты мой, Боже».

Письмо было в конверте узком и тонком, и Зыбин мгновенно вспомнил руку Лины в перчатке.

«Дорогой Георгий Николаевич, две недели я уже здесь. Ищу, ищу вас и все не могу найти. Еще в Москве узнала, что вы работае-

те в музее, но когда зашла туда, ваша очаровательная сотрудница ничего, кроме того, что вы где-то в экспедиции, объяснить мне не смогла. Но есть Бог! Я встретила с Владимиром Михайловичем. Он мне все и рассказал. Найдите же меня, пожалуйста. Вам это будет, наверно, куда легче, чем мне. У меня в номере есть телефон. Узнаете по справочной. Гостиница «Алма-Ата», № 42. Недели две я еще буду сидеть в нем. Мечтаю выбраться к вам в горы. Я была, правда, там раз с Владимиром Михайловичем, но без вас. Впрочем, может быть, это и хорошо, что без вас. Теперь я имею совершенно точное представление о том, где и как вы живете, а то вы бы совсем меня заговорили. Но знаете, что меня поразило насмерть? Горы! Как и море в том 35-м. Впрочем, вы, может быть, все уже и забыли. А я помню. Жду ответа, как соловей лета.

Ваша Лина.

PS. А верно, помните море? То есть — море, Анапинский музей, краб под кроватью и все остальное. Вот были-то времена, Георгий Николаевич! Подумать страшно! Так звоните же, пожалуйста. Еще раз ваша Лина».

Он сунул письмо в карман.

— Полина Юрьевна вас очень хотела видеть, — почтительно сказал Артур Германович. — Она даже собиралась поехать с нами, мы ее даже специально еще полчаса прождали, но, видимо, что-то там не вышло.

— Вот как? — сказал Зыбин, плохо понимая, что он говорит. — Значит, что... это... — Он не знал, что сказать и о чем спросить.

— Тут вот как все получилось, — солидно объяснил ассистент. — Владимир Михайлович привез в институт эти кости с просьбой определить и дать заключение. Мы его, конечно, отослали на кафедру зоологии. Тут он встретился с Полиной Юрьевной. Она тогда только что приехала и знакомясь с нашим учебным музеем. Ну, увидела этот костный материал, поговорила с Владимиром Михайловичем и попросила все показать на месте. Приехала, посмотрела, кое-что захватила собой в лабораторию. Потом подала докладную в ректорат и копию в Институт истории Казахстана: «Обнаружен большой костный материал домашнего скота до всякой метизации. Считаю нужным приобрести всю коллекцию». Ее поддержал профессор Дубровский. Деньги на это отпустили. Вот мы и приехали посмотреть, что покупаем.

— Так, — сказал Зыбин, уже отдышавшись. — Так! Теперь я все понял. — И вдруг он страшно заторопился и заюлил. — Так я сейчас пойду позвоню Полине Юрьевне, а то контора закроется и... А вы, пожалуйста, идите туда. Я сейчас тоже прибегу. Вот позвоню и прибегу. Это одна минута!

В конторе горела только одна настольная лампа и счетовод сидел и уныло играл на счетах. Зыбин вошел и, не спрашивая разрешения, снял трубку. В трубке что-то шумело и разрывалось. Порой даже как будто доносились какие-то обрывки слов. Зыбин несколько раз опускал и поднимал трубку, но ничего, кроме гроз и разрядов, в ней не было. А потом и это замолкло, и все заполнил ровный и какой-то пористый шум. «Как в раковине, — подумал он смутно, — как в большой морской раковине». И сейчас же ему представилось, что вот он опять идет ночью по узенькой тропинке высоким берегом и ничего вокруг нет, одна тьма, и только впереди белым круглым огнем горит какой-то фонарик, а внизу кипит, ухает и закипает море. Однажды вот так он шел и нес в тубетейке краба. И краб был огромный, черно-зеленый, сердитый и колючий, как кактус. «Да, тот краб был человек», — подумал он. Но трубка продолжала шуметь, и он бросил ее на рычаг. Счетовод щелкнул последний раз какой-то костяшкой, вздохнул и бросил счеты на стол.

— У нас телефон тугой,— сказал он с удовольствием.— Третий год вот так мучаемся. Иногда нужно срочно связаться — и никак, никак!

Зыбин посмотрел на него и вдруг, разъярясь, изо всей силы ухнул кулаком по рычагу. В трубке что-то с шумом взорвалось, лопнула какой-то пузырь, и опять зашумело. Море снова было тут.

«И какого черта мне загорелось,— подумал он, трезвея.— Нашел время». И уже почти бессознательно поднял трубку, и тут отчетливый женский голос сказал ему: «Вторая».

— Вторая, будьте добры,— крикнул он, вскакивая,— дайте Ветинститут!.. Какой номер-то? Да все равно какой! Справочную, справочную дайте!

В трубке помолчали, а потом тот же голос сказал: «Справочная не обозначена. Даю отдел кадров».

Трубку не поднимали довольно долго. Потом женский голос спросил, кого ему нужно. Он спросил, как ему разыскать Полину Юрьевну Потоцкую. «Одну минуточку»,— сказал голос. И он вдруг услышал дробный стук спешащих каблучков: тук-тук-тук. «Ее в институте звали козой»,— вспомнил он. Звякнула трубка, и ему радостно сказали: «Да». Он перевел дыхание. Она!

Это ее «да». Вот оно! Встретились! И еще одно «да» получил он от нее. Такое же радостное и искреннее, как и всегда. И столь же, как и всегда, ничего не значащее и ровно ничего не стоящее.

— Здравствуйте, Лина,— сказал он.— Это я, Георгий. Вы давно приехали?

Как только он назвал себя, она с какой-то даже обидой вскрикнула: «Ну наконец-то!..» И.. Впрочем, после конца разговора он так и не мог вспомнить его начало. Помнил только, что все сразу пошло так, как будто тут не пролегли годы, встречи, разрывы, разлуки. Полностью память к нему возвратилась, только начиная с ее вопросов.

— Ну когда же вы все-таки приедете? Я очень хочу вас видеть!

— Да, господи, да когда угодно,— ответил он.— Ну хоть сейчас! — И верно, он готов был, как мальчишка, сейчас же сбежать на шоссе и вскочить в любую машину.

Она засмеялась.

— А я ведь боялась, что вы изменились. Да нет, сегодня нельзя. У вас же там наши? Вы сейчас один?

— Один,— ответил он.— А что?

— Ну а с костями что? Порядок? Все благополучно?

— Очень,— ответил он, хотя ровно ничего не сообразил — какие кости? какой порядок? — Очень, очень все благополучно,— сказал он.

— И Володя не подкачал? Ну, передайте ему мой привет. Так нам и не удалось сделать вам сюрприз. Слушайте, хранитель.. Вас ведь тут хранителем прозвали. Я так смеялась.. После двух я всегда свободна. Так, скажем, завтра, а?

— Отлично,— ответил он решительно.— Где?

И тут она заговорила как-то по-иному, по-старому, вот как тогда на море. Его даже в жар бросило от ее голоса.

— Да где хотите, дорогой, где вы хотите. Может, в музей к вам зайти?

— Да,— сказал он с разбегу.— Зайдите в музей.— Потом опомнился.— Пойдите,— сказал он,— не надо в музей. Вот вы знаете главный вход в парк, где фонтан? Так вот у фонтана. Хорошо?— И сейчас же подумал, что нет, нехорошо, слишком уж тамлюдно.

Но она уже ответила:

— Всегда обожала сцену у фонтана. «Пред гордою полячкой унижаться?» Блеск, как говорит Володя. Только вы уж очень не опаздывайте, а то знаете, стоять на виду у всех..— Тут ей что-то крикнули со стороны.— Видите, тут мне подсказали — молодой, красивой, одинокой. Хорошо, договорились, у фонтана. А теперь попросите к те-

лефону моего профессора. Только скорее — нужен телефон. Здесь все интересуются его покупкой.

Чтоб как следует спрыснуть покупку, они облюбовали отличное место. Поставили стол над самым откосом. Тут к шоссе сбежал влажный песчаный косогор — не желтый, а ржаво-оранжевый, и весь до самой вершины он зарос дудками, колючим барбарисом с круглыми багровыми листьями и эдакими небольшими ладными лопушками, ровными и аккуратными, как китайские зонтики. А за шоссе начинались болота осоки, чистая и частая россыпь незабудок, бурная речка Алмаатинка, а в ней среди пены и брызг, грохота и блеска лоснился на солище похожий на купающегося бегемота огромный черный валун. В общем, отличное место!

Тень и солнце, прохлада и свежесть.

И подходя, еще издали Зыбин услышал голос директора. Директор громыхал. Значит, кого-то громил. «Кого же это он?» — подумал Зыбин.

Он подошел, и за яблонями его никто не заметил. Все сидели и слушали. Только дед спал, независимо откинувшись головой на ствол яблони, и чуть всхрапывал. Перед Кларой на скатерти лежало несколько папиросных коробок. «Да ведь она же не курит», — смутно подумал Зыбин. Клара молчала и играла вилкой. Рядом с Klarой сидела Даша, племянница бригадира Потапова, веснушчатая, нежно-розовая девушка. Она в этом году перешла на четвертый курс театральной студии, и Потапов никак не мог простить ей этого. Все не отрываясь смотрели на директора.

А он кончил одну тираду, выдержал этакую эффектную паузу, крикнул, подцепил на вилку колечко лука, истово прожевал его и продолжал уже иным голосом, легким и артистичным:

— И вот еще что, профессор, не думайте, что это пустяк. Сказать на лекции студентам «товарищ Сталин ошибся» — это таки настоящее государственное преступление.

«Ах вот почему они и молчат», — подумал Зыбин и тревожно взглянул на Корнилова — сильно ли он набрался? Нет, как будто не особенно, во всяком случае, сидит, как и все.

— Но ведь не так же, не так же это было, — чуть не заплакал профессор. — Мой брат на вопрос студентов, можно ли считать, что падение Римской империи — это следствие революции рабов, ответил...

— Это не важно. Это совершенно не важно, — властно отрубил и отбросил ладонью его возражения директор. — Важно, что он сказал «нет»! Он сказал «нет», когда вождь сказал «да». А как же иначе? Что значат слова: «Не знаю, что имел в виду Иосиф Виссарионович, но факт тот, что после спартаковского восстания Рим просуществовал еще пятьсот пятьдесят лет и сделался мировой империей»? А ведь товарищ Сталин написал совершенно ясно и просто: варвары и рабы с грохотом повалили Римскую империю. Значит, вот это и есть научная истина. Так или не так?

— Это так, конечно, — уныло согласился профессор. — Но...

— Это так, конечно, но арестован ваш брат, — вдохновенно подхватил директор. — Понимаю, ах как все понимаю. Но ведь это же старая песня. «Молчи, все знаю я сама, но эта крыса мне кума». А вот у этой девушки, — он грозно, античным жестом, через весь стол показал на Дашу, — забран ее дядя. Так что же, его брат-колхозник, ее отец, разве говорит «не верю, не может быть, не правы органы»? Нет, он говорит: «Раз взяли Петьку, значит, было за что взять». Вот так думает простой мужик-колхозник про свою родную советскую власть. А мы, интеллигенция, хитрая да лукавая... не обижайтесь, я сам из того же теста, поэтому так и говорю...

— Так ведь, Степан Митрофанович, дядю Петю взяли за клепа,

за вредительство, а их брата...— несмело сказала Даша и вся вспыхнула.

— Ай-ай-ай! — закачал головой директор, сияя и поворачиваясь к ней всем корпусом.— Ах ты, такая-сякая, умница-разумница, ты что ж думаешь, что агитация с профессорской кафедры — это не вредительство? Это, милая моя, хуже, чем вредительство. Это идеологическая диверсия против ваших щенячьих душ, и мы за такие вот штучки голову будем отрубать.— Он сурово стиснул кулак.— Потому что дороже вас, веснушчатых да сопливых, у нас ничего на свете нет.

— Но, Степан Митрофанович,— профессор даже руки прижал к груди,— ведь то, что сказал брат, это же частное разъяснение специалиста-историка, которое к учению Сталина...

— А товарищ Сталин — корифей всех наук,— быстро и сурово отрезал Корнилов и взглянул на Зыбина (он один его увидел).— Ему историкам нечего там разъяснять.

— Ну да, ну да,— беспомощно оглянулся на него и залопотал профессор, уже ровно ничего не понимая.— Корифей! Я согласен! Корифей всех наук! Нечего там разъяснять! Я согласен, нечего... Но не может же всякая мелочь...

— А в учении товарища Сталина нет ничего мелкого,— так же сурово изрек Корнилов и слегка покосился на Дашу.— А дай нам волю — хитрым да лукавым интеллигентам — так мы, пожалуй...

Тут профессор уже так смешался, что даже очки уронил на стол.

— А вот ты помолчал бы,— вдруг сурово приказал директор.— Вот помолчал бы ты немного. Смотри, брат, больно языкастый стал! Договоритесь вы со своим хранителем до чего-нибудь хорошего... («Ну вот, этого еще мне не хватало»,— ошалело подумал Зыбин.) А вот вы ведь меня опять не понимаете,— повернулся он к профессору.— Тут что важно? Важно именно то, чем он меня сейчас пытался уколоть. Нет, не уколешь, дорогой. Да! Учение вождя цельно и нерасторжимо! Да! В нем нет мелочей, сколько бы ты ни смеялся над этим! Его не об-суж-да-ют! Его у-ча-т! Понимаете, у-ча-т! Вот как в школе букварь.

«Боже мой, Боже мой, что же он говорит,— подумал Зыбин,— ведь умный же мужик, а...» Он вышел из-за яблони, но заметила его только Клара.

— Мы накануне войны,— продолжал директор, помолчав, каким-то совершенно иным тоном, тихим и задумчивым,— самой страшной, беспощадной войны. Враг только и ищет, чтоб нащупать щелку в нашем сознании. Вот в их сознании,— он ткнул на Клару и Дашу,— потому что мы их — девчонок и мальчишек, детей наших,— первыми пошлем умирать за наш строй. Так что ж, мы будем разрешать, чтобы какой-то дядя отравлял их только завязавшееся сознание вот такими вот штучками? Ведь если у вождя ошибка здесь, то могут быть ошибки и дальше? Значит, он говорит не подумав, ведь так? Ну, или говорит не зная? Это тоже не лучше. Но ведь как же тогда можно считать вождем человека, который... Нет, нет, это совершенно немыслимо! Это вы, я, он, она могут ошибаться, а вождь — нет! Он не может. Он — вождь! Он должен вести, и он ведет нас. «От победы к победе», как это написано на стене вашего института. Он мудрый, великий, гениальный, всезнающий, и если мы все будем думать про него так, то мы победим. Ваш брат арестован потому, что он поставил все эти истины под сомнение, хотя бы в одном отдельном пункте. А это преступление, за него судят. Вот и все. А там уж дело органов. Может быть, верно, посчитаются с возрастом. И не говорите об этом больше никому. Прицепятся, верно, к слову да и... Ну да где же этот чертов хранитель? И никогда его нет на месте, когда нужно!

— Здесь я,— сказал Зыбин. Он пошел и сел на подвинутую ему табуретку.

И все сразу же замолчали, глядя на него.

Молчал и он, облокотясь на локоть и смотря в скатерть.

— И какую же статью предъявили вашему брату? — спросил он профессора.

Тот было открыл рот.

— Да откуда он знает? — сурово и обеспокоенно прикрикнул директор. — Идет следствие. Ладно, про это кончено! Кларочка, покажите-ка хранителю, что нам дед раздобыл, да и поедом. А выпьют они уже, похоже, одни. Это у них никогда не заржавеет!

И Клара открыла первую из лежавших перед ней папиросных коробок.

Это было золото, частички чего-то, какие-то чешуйки, какие-то краешки, пластинки, бледно-желтые, тусклые, мутные. Это было истине мертвое золото, то самое, что высыпается из глазниц, когда отрывают вросший в землю бурый череп, что мерцает между ребер, осаживается в могиле. Словом, это было то археологическое золото, которое ни с чем никогда не смешашь. Зыбин, забыв обо всем, молча крутил эти пластинки и бляшки. Самые крупные из них больше всего походили на желтый березовый лист. Такой же цвет, такой же широкий, тонкий, острый конус.

Он осторожно штука за штукой брал их в руки и опускал обратно на вату в коробочку. Да, да, это было то самое, что уже несколько раз попадало ему в руки. То шофер привез откуда-то, то буфетчица пожертвовала. Но сейчас тут, на вате, они лежали навалом.

— А вот тут серьга, — сказала Клара, открывая спичечную коробку, — смотрите, какой странный сюжет: мышь вгрызается в брюхо сидящего человека.

— Дай ему лупу, дай! — возбужденно приказал директор.

— Кусок диадемы, — продолжала Клара, открывая длинную коробку из-под сигар. — Всех кусков три. Мы захватили только один.

У Зыбина даже руки дрогнули. До того это было необычайно. Кусок состоял из ажурной золотой пластины, разделенной на два пояса. В верхнем поясе был изображен рогатый дракон с гибкой кошачьей статью и на пружинящих лапах. Он стоял извиваясь и оскалываясь. Четко был вычеканен каждый клык зверя. А ниже этажом помещался козлик. Маленький шустрый козлик — теклик, как его называют тут. Он стоял на каком-то бугорке или вершинке и смотрел оттуда вдаль. Так у него были подобраны копытца, такая у него была выматривающая мордочка. Потом еще летели лебеди, поднимались фазаны и утки, порхали мелкие птицы. Отдельно, как будто на капители колонны, стоял ладный крылатый конек — только совсем не Пегас, а суховатая небольшая лошадь Пржевальского. И другой такой же конек несся по небу. На нем сидела молодая женщина. Ветер взметнул ее волосы, и они сделались похожими на шлем. И в самом изгибе всадницы чувствовалась стремительность полета, то, как она врежется в гудящий воздух. Второй пояс занимало что-то длинное, тонкое, льющееся, слегка спутанное — не то водоросли, не то трава, полегшая по ветру.

И во всем этом проступала манера мастера, гениальные пальцы его, привыкшие мять, резать и чеканить. Ничего подобного Зыбин еще не встречал.

— Аналоги? — спросил Корнилов. — Китай?

Зыбин слегка пожал плечами.

— Ну а все-таки?

— Не знаю, — ответил Зыбин, — то есть, конечно, не Китай. Китайские драконы — гады, змеи, а тут рогатая кошка, балхашский тигр.

— А вы обратили внимание на дырочки внизу? — показала Клара. — Диадема кончалась покрывалом. Она ходила с закрытым лицом.

Он как бы в задумчивости посмотрел на нее.

— Златая корона с драконами и свадебная фата, — сказал он, представляя, как это выглядело бы. — Невеста. Принцесса крови и жрица.

— Шаманка, — сказал Корнилов. — Что-то похожее есть у сибирских шаманов.

— Да, может быть, и колдунья, — согласился он. — Мы это увидим по похоронному инвентарю. И конечно по черепу. Но если она уж очень молодая, — продолжал он, подумав, — то вряд ли колдунья. Хотя... — Он слегка развел руками. — Что мы знаем о них? О ней? Что она? Почти наша фантазия.

— Нет, оставьте, оставьте шанс и для колдуньи, — попросил Корнилов. — Ведь какое это чудо: молодая ведьмочка бронзового века с распущенными волосами мчится по вечернему небу на драконе. Ж-ж-ж! А от нее во все стороны галки и вороны. «Кра-кра-кра!» А за ней дым, дым бьет в глаза! И над горами — огненный след. А на ней фата и золотая корона. — Он взглянул на директора. — Ведь чудо?

— Я вот тебе! — погрозил ему пальцем и улыбнулся директор. — Ты у меня смотри, договоришься!

— Ну а место вы взяли под охрану? — спросил Зыбин. — Вы сами-то там были? Что это — курган, могила?

— Ладно, — тяжело поднялся директор. — Приедешь завтра и сам все увидишь. Придут и эти голубчики-кладоискатели! Паспорта-то их у меня в столе. Возьмешь с собой пару или тройку рабочих с лопатами! И чтоб завтра ни-ни. Пейте сегодня! Пойдемте, профессор.

— Боже мой, Боже мой! — Зыбин чуть не выронил кусок диадемы. — Профессор, да ведь вас там, у телефона, ждет Полина Юрьевна. Боже мой, Боже мой, как же я забыл! Пойдемте скорее, скорее!

Но профессор уже хмуро вставал с места и прятал очки.

Руки его мелко дрожали. Он опять был весь в своем — строгий, обиженный, может быть, конечно, и чуть пьяноватый: ни археологическое золото, ни рогатый дракон, ни эта ведьма его совершенно не тронули — все это было не по его ведомству.

— Вот Артур Германович уж с вами побежит скорее, скорее, — сказал он вежливо и ехидно. — А мне в мои шестьдесят пять это самое — скорее-скорее... Да и что уж бежать? — Он посмотрел на Зыбина и покачал головой. — Но как же вы так могли, а? — сказал он тяжело. — Это же дело, голубчик, дело! Мы должны были на завтра сговориться о встрече. Где теперь вот я буду искать Полину Юрьевну? Ах, как все это у вас... И потому что все скорее, скорее, скорее...

В конторе никого не было. Трубка по-прежнему лежала на столе. Но была теперь уже совершенно мертва, холодна, без голосов, без шума прибора. И никто в ней больше не жил и не ждал.

А когда Зыбин вернулся, уже не было и машин. На гребне дороги стоял Корнилов, пошатываясь и, улыбаясь, смотрел на него. В руке он держал стакан. Море сейчас ему было абсолютно по колено.

— Хм, — сказал он Зыбину. — Значит, революция рабов, да? И еще ждать мне пятьсот пятьдесят лет, а? А? А не пошли бы вы все в это самое? А?А?А?

Эти дни потом Корнилову приходилось вспоминать очень часто. Все самое непоправимое, страшное в его жизни началось именно с этого дня. А в памяти от него осталось что-то очень небольшое: во-первых, яркий белый огонь керосиновой лампы под матовым шаром, ее все прикручивают и прикручивают (что-то, наверно, случилось с ГЭС). Под ним сверкает широкими гранями высокий белый самовар, а на нем чайник, белый и круглый, как свернувшийся котенок. Затем розовая Даша — тонкая, красивая, мягкая, в белом шелковом платье с красными мячиками. Она напевает и ходит по комнате. Тог-

да он что-то вспоминает и кричит ей: «Артистка, артистка!» Она улыбается, и все смеются тоже.

— Ну ожил, — ворчливо говорит Потапов.

А потом сразу опять темнота, тишина, умиротворенье. Пахнет каким-то соленьем, квасом и плесенью. Не то рядом стоит бочка с огурцами, не то капусту квасят. За перегородкой рукомойник: кап, кап, кап... За минуту одна капля. А когда он утром очнулся окончательно, то увидал над собой тусклое серое окно, и кто-то рядом с ним расположился на двух скамейках. Он поднял голову. И тот тоже зашевелился. Значит, пожалуй, не спал, а следил.

— Ну как вы себя чувствуете? — спросил тот, второй, и тут он узнал Зыбина. Узнал и испугался уже по-настоящему. До этого у него в голове ничего не было, так, плыла какая-то муть, клочки какие-то, что-то туманное и нехорошее. А тут ему вдруг вспомнились все вчерашние разговоры. То есть не все, конечно, но и то, что он помнил из них, тоже было достаточно для всяческих выводов — а дальше что?

«Боже мой, — подумал он, — Боже мой, вот попал-то. Я ведь кричал. Они меня вели, а я что-то такое выкрикивал. Два свидетеля. Да по закону больше их и не требуется».

— Воды дайте, — попросил он хрипло. — Что, я вчера здорово набрался?

— Да нет, чепуха, — беззаботно отмахнулся Зыбин, — мы вас сразу же сюда притащили.

— А кричал? — спросил Корнилов, замирая.

— Да кричали что-то. Пить хотите? Стойте, сейчас.

Он вышел и сейчас же вернулся с огромной эмалированной кружкой.

— Вот пейте, — сказал он, наклонясь над ним. — Сколько только можете, столько и пейте.

— Ой, что это? — Корнилов сделал глоток и оттолкнул кружку.

— Огуречный рассол. Да вы не спрашивайте, а пейте, пейте.

Он заставил его выпить чуть не половину, а потом сказал:

— Ну вот и хорошо. А теперь усните.

Ушел и кружку унес.

Потом, через полчаса, когда он уже верно спал и проснулся от скрипа двери, вошел Потапов в галошах на босу ногу, в незаправленной рубашке и встал над ним. Но он лежал вытянувшись, с закрытыми глазами, еще сонно посапывал, и тот немного постоял, постоял и ушел. А затем был какой-то мутный бред. Он не то спал, не то просто валялся в забытии и в жару. А когда уж окончательно проснулся, было полное утро: светло, солнечно, птицы поют вовсю. В соседней комнате разговаривали и смеялись. Потапов что-то резко, но тихо выговаривал Зыбину. Тот отвечал так же тихо, но каким-то странным, не то уговаривающим, не то извиняющимся голосом. Он понял, что это говорят о нем, встал, подошел к двери, накиннул крючок и прижал ухо к щели. Последние слова Потапова, которые он ухватил, были: «Вот этого я уж никак не терплю». Затем заговорил Зыбин. Говорил он медленно, задумчиво, как будто размышляя.

— Так ведь действительно ничего не разберешь.

— У нас вчера одного бригадира забрали, — сказал Потапов.

— Ну вот видишь, забрали бригадира. А за что? Наверное никто не знает. (Потапов что-то буркнул.) Ну вот видишь. А Владимира выслали из Ленинграда, тоже, конечно, ни за что. Отец у него какая-то там шишка был при царе. А ведь дети за отцов не ответчики — это вождь сказал. Вот Корнилов все время настороже, нервы у него напряжены. Иногда, конечно, и сорвется. Затем еще одно: роем, роем, а ведь, кроме этой помойки, так ничего и не раскопали. Затем эта идиотская история с удавом. Она знаешь сколько крови нам стоила. А ведь все молча переживали.

— Да он-то не молчал,— презрительно усмехнулся бригадир,— он все ходил за мной да агитировал. «В чем дело, Иван Семенович, может, мы вам чем можем помочь?» Так он мне надоел со своим сочувствием. Я однажды ему отрезал: «Отвяжись, говорю, худая жизнь, и без тебя тошно». («Ничего подобного, ничего подобного никогда не было!» — быстро подумал Корнилов.)

И вдруг тут в разговор вмешался женский голос:

— Вот вы всегда так, никому не верите. Человек в самом деле вам сочувствовал, хотел помочь, а вы...

Что-то скрипнуло — пол или табуретка.

— У меня этих самых помощничков знаешь сколько развелось? — сказал Потапов с веселым ожесточением.— Вот и ты мне помогаешь. Денно и ночью помогаешь. Как зальешься на сеновал с книжечкой...

— Ну, нашел что сказать,— засмеялся Зыбин.— Она на сеновале как раз и работает. Вот станет великой актрисой, тогда узнаешь.

— Хм! — недобро засмеялся и заворочался Потапов.— Я и так уж все про нее знаю — что было, что есть, что будет. А тот что, все спит? Буди, буди, второй раз кипятить не будем. Ты что? Его с собой захватишь?

— Ну куда же,— отмахнулся Зыбин.— Ведь опять его растрясет дорогой, пусть уж спит.

«Э, какой ты хитренький, раньше меня хочешь с Полиной увидеться. Нет, не проходит», — подумал Корнилов. Он кашлянул, чертыхнулся, откинул крючок и предстал перед ними. Мягкий, всклокоченный, с больной головой, но, кажется, абсолютно трезвый. Предстал и увидел: стол накрыт, самовар блестит. Зыбин, как обычно, вышагивает по комнате, Потапов сидит у окна на табуретке, а Даша у стола перетирает чашки.

— Здравствуйте, товарищи,— сказал громко Корнилов.— Ух и зверский же рассол у тебя, Иван Семенович, как хватил, сразу полегчало. Лег и заснул.

— Рассол у нас мировой,— благодушно согласился Потапов.— Хозяйка его специально держит для таких случаев. Дарья, да брось ты это дело, налей ему чай, да покрепче, покрепче. Одну черноту лей. Это ему сейчас первое дело.

Даша налила ему полный до краев стакан чая — горького и черно-красного, как марганец. Он опорожнил его с двух глотков и подал Даше пустой стакан; она вновь налила доверху. Он поглядел на нее и вдруг опять увидел, что она очень красивая и ладная — этакая тоненькая, длинноногая штучка в легком платье — и так ласково на него смотрит, так хорошо, ясно улыбается, от нее так и веет свежестью и чистотой. И ведь сразу заступилась за него, и эдак горячо, искренне. От этих мыслей ему стало так тепло, что он вдруг просто так, ни на что не надеясь, спросил: «Ну а если мне полтора года?» — и сам же первый засмеялся, показывая, что это только шутка. И произошло невероятное: Даша молча встала, подошла к буфету, вынула оттуда графин и налила ему полный тонкостенный стакан.

— Пожалуйста,— сказала она ему.

— Дарья, да ты что это? — ошалело выпучил на нее глаза Потапов.

Она, улыбаясь, посмотрела на него.

— Да вы сами, дядя Ваня, когда голова болит...

— Да ты... да ты... в самом деле, что? — зарычал, вскочил, забрызгал слюной и оскалился на нее Потапов.

Но тут вмешался Зыбин.

— Все, все! — сказал он.— Все! Сядь! Молодец, хозяйка! Пейте, Володя!

Потапов взглянул на Зыбина и смолк. С некоторых пор он вообще ему ни в чем не противоречил.

— И правда,— сказал он, хмуро отворачиваясь.— Пей, да потом опять ори, вылупя глаза. Может, и наорешь что хорошего.

Корнилов посмотрел на него, на нее, сразу потупившуюся, заалевшую, слабо улыбающуюся, вдруг осушил стакан одним глотком и стукнул его на стол.

— Во как! — сказал Потапов насмешливо.— Уж совсем впился.

И тут Даша покраснелась еще больше, поднесла ему бутерброд с килькой и сказала:

— Закусывайте!

Все это, и Даша в особенности, то, как она смотрела на него, как покорно стояла перед ним и держала тарелку, как улыбалась, взорвало его опять. Он сел и сидел, смотря на них всех, затаившийся, радостно-злой, готовый взорваться по первому поводу. Но повода-то не было. Пошел какой-то мелкий, совершенно незначительный разговор про яблоки, музей. (Потапова кто-то научил выращивать яблоки, на которых проступали совершенно ясные изображения Ленина и Сталина... Пять из этих яблок экспонировались в музее. Сейчас Потапов вырастил и хотел прислать еще три, с лозунгами и государственным гербом.) Корнилов слушал этот разговор и молча кипел, раскачиваясь на стуле. Наконец Потапов вздохнул и сказал, кивая на шкаф:

— Ну что ж, в таком случае и нам по одной разве.

— Нет, нет,— быстро ответил Зыбин и даже рукой махнул.— Мне сейчас ведь ехать надо. Ну а вы, конечно...

— Я с вами тоже поеду,— сказал Корнилов.

Зыбин вскинул на него глаза и медленно, как бы обдумывая, ответил:

— А стоит ли? Не стоит, пожалуй. Я уж в случае чего сам позвоню.

— Почему это не стоит? — спросил Корнилов, готовый кинуться в сражение.— А если у меня есть дела личные, понимаете, личные, так сказать, долг чести? Я обещал Полине Юрьевне...

— Ну как знаете, как знаете,— быстро уступил Зыбин.— Только дайте задание рабочим и поставьте кого-нибудь, ну хоть Митрича. Иван Семенович,— обернулся он к Потапову,— ты их не поторопишь? Уже пора и выезжать.

— Даша,— сказал Потапов,— сходи, милая.

И та уж подошла к двери, сняла с гвоздя косынку, как Корнилов вскочил вдруг и сказал, протягивая руку к ней:

— Сидите, сидите, я сейчас сам схожу. Нет, нет, сидите.

И выбежал.

— Слаб,— сказал Потапов, смотря ему вслед.— Эх, слаб. Ну куда таким пить? — Он посмотрел на Дашу и опять нахмурился.— Слушай, а ты с чего взяла такую волю? Смотри какая героиня! Он и так ходит как занюханый, а ты ему еще подносишь.

Она загадочно улыбнулась, и тут он совсем взвился.

— И смеяться тут нечего, дрянь ты эдакая. Тут и полсмеха даже нет. Вот найдет на него опять лунатик, начнет буровить, я тогда тебе...— Он посмотрел на Зыбина и обеспокоился уже по-настоящему.— Слушай, и ты с ним будь покороче, с ним так можно вяпаться, что и не вылезешь.

— Да что вы такое говорите? — обиженно крикнула Даша.

— То самое, что слышите,— огрызнулся Потапов.— Вот еще нашел себе пьяница заступницу. Кто он такой тебе, что ты так за него свободно рот дерешь, а? Бессовестная! — Он был не только рассержен, но и ошарашен.

— Да он просто хороший человек,— сказала Даша,— хороший, честный, он всюду правду говорит. Другие хитрят, таятся, а он прямо, без никаких.

Потапов быстро взглянул на Зыбина. Тот молчал и неотрывно смотрел на Дашу. Выражение его лица Потапов понять не смог.

— Ну, ну, что ж ты вдруг замолчала? — спросил он. — В чем же это он прав, а?

— Да во всем, во всем. — По щекам Даши уже текли слезы, и она смахнула их рукой. — Он говорит, а все молчат. Говорят одно, а думают другое. Вчера был героем, наркомом, портреты его висели, кто о нем плохо сказал, того на десять лет. А сегодня напечатали в газете пять строк — и враг народа, фашист... И опять — кто хорошо о нем скажет, того на десять лет. Ну какой же это порядок, какая же тут правда? Вот дядя Петя...

Тут Потапов так ухнул кулаком по столу, что чашки зазвенели. Он даже покраснел от злости.

— Ты про дядю Петю, дрянь такая, чтоб не сметь... — сипло зашипел он, — чтоб мне не сметь этого больше слышать... Я тебе за дядю Петю... Я тебе не тетка... Я тебя в лучшем виде... Нет, ты слышишь, ты слышишь, что она буровит? — чуть не плача повернулся он к Зыбину. — Видишь, чему он ее учит? Да за такие слова тут нас всех сразу же... и следа не найдешь.

Тут встал со стула Зыбин.

— Не кричи, — сказал он досадливо, — оглохнуть можно. Даша, вы не правы. То есть вы, может быть, правы — вообще, по-человечески, но сейчас фактически, физически, исторически и всячески — нет. Я не про дядю Петю говорю, тут, конечно, очевидная ошибка. А вот про наркомов и военачальников. Ведь вы решаете вопрос сами по себе. Просто так — может или не может? Может ли, спрашиваете вы, большой человек, преданный делу, жертвовавший за него жизнью, а теперь победивший и осыпанный всем с головы до ног — ну деньгами, почестями, дачами, всякими такими возможностями, о которых мы и понятия не имеем, — может ли вот такой человек оказаться предателем? И отвечаете — нет, то есть никогда и ни при каких обстоятельствах. А ведь все именно и зависит от обстоятельств, от обстоятельств времени, места и образа действия. Не от вопроса — кто он? а от вопросов — когда? во имя чего? где? В сугубо мирное время, в обстановке душевного равновесия? Безусловно нет — не может он быть предателем. Во время величайших исторических сдвигов — войн, революций, переворотов — к сожалению, да, может! Вся история наполовину и состоит из таких предательств. Ведь вот Мирабо и Дантон оказались все-таки предателями. А ведь революцию делали они! А историю Азефа вы никогда не читали? Ну, начальник боевой организации партии социалистов-революционеров, хранитель самого святого из святых, вернейший из всех верных, тот, у кого ключи от царства Господня, как говорят о папе римском. «Есть ли в революции какая-нибудь фигура более блестящая и крупная, чем Азеф?» — спросили члены суда его обвинителя на партийном суде над Азефом. И обвинитель ответил суду: «Нет, более блестящей фигуры в революции нету». И добавил: «Если он только не провокатор». Так вот, он все-таки оказался провокатором.

Даша молчала и слушала.

— Так что видите, насколько все это сложно.

— Для них ничего нет сложного, — буркнул Потапов, — для них все проще простого. И что ты с ней...

— Нет, говорите, говорите, — попросила Даша и даже руки сложила.

— Ведь вы вот что поймите, — продолжал Зыбин. — Дело прежде всего заключается вот в чем: что происходит с идеей, когда она становится действительностью? Очень много с ней неожиданного и неладного происходит тогда. Появляется она совсем не похожей на себя. Иногда такие гады вместо ангелов повыползут, что хочется махнуть рукой да и послать всех к шаху-монаху. Ничего, мол, не вышло, просто напоролы чепухи, пора кончать. Ведь вот что порой приходит в голову самым сильным и верным. Они ведь тоже люди, Даша, вот

в чем их беда! Кроме того, у идеи в действительности не одно или два лица, а добрый десяток их. Только проявляются они не сразу. Вначале прекрасное личико, а потом хари, хари, хари, и как их увидишь, иногда и жить не хочется. А кому жить не хочется, тому ровно ничего не жаль, он на все пойдет. Ставить смерть в условиях договора — умри, но не сдайся — нигде никому нельзя. Обязательно подведет, и сдастся, и тебя еще продаст.

— Говорите, говорите,— попросила снова Даша, но он больше ничего не сказал, потому что услышал скрип двери.

Оглянулся и увидел Корнилова.

— Кончайте-ка трепаться,— сказал тот грубо,— поезжайте скорее в город, там беда. Паспорта пропали.

— Какие паспорта? — удивился Зыбин.

— Те, что оставались у директора под залогом, ну этих... ну кладоискателей. Ни кладоискателей, ни паспортов. Клара звонила. Сейчас же просила приехать. Поезжайте. Я останусь тут.

Глава II

Вот что случилось в музее: перед самым выездом в горы на директора вдруг накатил приступ великодушия — с ним иногда случалось такое. Он посмотрел на кладоискателей — они стояли понурясь: отдали золото, а деньгами-то и не пахнет,— подмигнув им, сел за стол, вырвал лист из настольного блокнота и размашисто начертал: «Бухг.

Выдать рабочим суконного завода т. т. Юмашеву и Сучкову 300 (триста) руб. в счет покупки экспонатов. Актом оформим после».

Сделал росчерк, промокнул, посмотрел, протянул записку и бодро скомандовал:

— А ну паспорта, ребята, и быстро, быстро валите в бухгалтерию, пока кассир не ушел.

Юмашев, высокий, пожилой, с сухим, желтым, длинным лицом, очень похожий на китайца — он первый обнаружил клад,— дисциплинированно вынул из пиджака книжечку в твердой зеленой обложке с золотыми буквами и положил ее на стол. Деньгам он ровно как бы и не обрадовался.

И Вася Сучков — паренек призывного возраста — поспешно вынул свою книжку и положил рядом.

— Пожалуйста,— сказал он.— Это всегда при себе.

Директор взял книжечки, посмотрел, полистал. Правильно, Василий Сучков, тринадцатого года, рабочий. Юмашев Иван Антонович, 1880 года, прописка, штамп. Юмашев женат. Сучков холост.

Директор хотел спросить что-то еще, но тут зазвонил телефон, и он бросил паспорта, поднял трубку. Говорил заместитель наркома Мирошников. Дело шло о смете. Мирошникову было что-то там непонятно и против чего-то он возражал. Пока директор вникал, Юмашев и Сучков стояли и ждали. Во время одной из пауз (Мирошников все время прерывался, чтоб что-то найти на столе и прочесть) директор обернулся и сердито спросил:

— Ну что еще?

И Юмашев деликатно ответил:

— Квитанция, товарищ директор, в моем паспорте под обложкой, на ремонт велосипеда, уж пять дней пропущено, а то завтра опять выходной.

Но тут замнаркома Мирошников нашел свой документ и заговорил. Директор крикнул Юмашеву:

— Возьми! — И Мирошникову: — Не туда смотришь, ты смотри графу — научная работа. — Отвернулся и весь ушел в трубку.

Кладоискатели достали из паспорта квитанцию и вышли.

Вот и все. Паспортов на другой день не оказалось. Вместо них лежали корочки. Позвонили в милицию, назвали фамилии. Милиция запросила адресный стол, адресный стол выписал около десятка справок, и все они оказались не те — не тот Сучков и не тот Юмашев. Тех вообще не числилось ни в Алма-Ате, ни в Каскелене, ни в Талгаре, ни в каких других пригородах. И ни на каком заводе они, конечно, тоже не работали.

— Вот так и учат дураков, — сказал директор, заканчивая рассказ. — И винить некого. Сам все отдал. Теперь как хочешь, так и ищи, хоть цыганке ручку золоти, хоть по тому черепу гадай. — И он скверно выругался.

— Это по какому же черепу? — спросил Зыбин.

Было раннее розовое утро. Еще и петухи не откричали. В парке женщины в серых халатах скребли фонтан. Стулья в кафе напротив стояли вверх ногами на столах. Пальмы вынесли на улицу. Зыбин положил акт, ничего существенного в нем не было. Просто крупным Клариным почерком сообщалось о том, что музей принял такие-то и такие-то экспонаты, обнаруженные на реке Карагалинке. Но где именно их нашли, как? Написано: рядом с останками человека. С какими же именно? Где теперь эти останки? Почему они не вписаны в акт?

— Где же он, этот череп? — спросил Зыбин.

— Да у Клары валяется, посмотри, — сердито усмехнулся директор. Он был страшно раздражен, фыркал, и ему все не терпелось что-нибудь выкинуть. — Ты ведь, кажется, колдун? Ну как же не колдун, если «Масонство» читаешь. Так вот погадай на черепе, куда наше золото уплыло.

Он быстро сделал последнюю затяжку, растер папиросу о дно пепельницы и сказал уже деловой скороговоркой:

— Ты вот что, ты иди сейчас к деду, опроси его и запиши, чтоб хоть один настоящий документ у нас был. А я наверх побегу, а то опять сейчас эти придут по мою душу.

— Кто эти?

— Ангелы! Увидишь кто! Тебя уж они никак не минуют!

И вот что рассказал дед (утренняя четвертинка уже валялась у него под верстаком).

— С нами, дураками, и сам Господь Бог отказался без палки толковать, учит он нас, учит, а мы... Ну, выхожу я, значит, утром из столярки. В парк, значит, выхожу. А энти самые... артисты на лавочке. Притудились. Двое — старый и молодой. Я вышел из столярки, иду, значит, по парку, а они, смотрю, на меня приглядывают. Я сразу обратил внимание, что приглядывают. Кто такие? — думаю. Вот молодой что-то того, старшего, спросил, потом встал, подходит ко мне и здоровкается. «Вы из музея?» — «Так точно». — «А вот мы кое-какие вещицы принесли». «А вон, — говорю, — контора, туда и неси». Да и пошел себе, значит, по парку. Смотрю, он опять меня через сколько-то догоняет. «Уважаемый, а вы не взглянете?» — и платок мне сует, там вся эта премудрость и была.

— И череп тоже?

— Нет, черепка тогда не было. Я его уже опосля увидел, я сейчас до него дойду, ты не торопи! «Ну что ж, — говорю, — пойдите сдайте, заплатят». «А возьмут?» «Ну, может быть, в помойку выбросят. Так у нас тоже бывает». И интересуюсь — это что, у тебя в рундучке, что ли, лежало? От матери-праматери досталось? «Да нет, — говорит, — это мы сами нашли». Ну, значит, и рассказывает мне эту самую байку. Я вижу, что вещи ценные, исторически значимые, и говорю...

— Стой, стой, дед. По порядку, ты по порядку давай. Какую такую байку? Давай рассказывай. Я ж, видишь, пишу!

— Пиши, пиши, раз все уплыло из рук, тогда, значит, ты пиши. А я и так подробно. Куда же еще подробнее? Пошли охотиться на Кара-

галинку и отыскиали все под камнем. Рассказал это и говорит опять: «Может, пойдём с нами по маленькой, у нас закуска мировая — маринка не-ежная, своего копчения». Ну я вижу — вещи ценные, исторически значимые, а ни директора, ни тебя нет, ну я для пользы дела согласился, конечно. Тот, старый, сразу же поднялся и за нами. «Что, — спрашиваю, — это твой батька, что ли?» «Нет, — отвечает, — это наш мастер. Мы все сотрудники с одного суконного завода». Пришли, значит, в чайхану, а там за столом ещё один сотрудник сидит и перед ним три кружки. Вот у него этот черепок в сумке и был, только он её под столом держал. Конечно, сразу он из мешка вынимает пол-литра, заказывает три пива, разливает водку и говорит: «Ну, дай Бог не последнюю! Будем здоровеньки». Выпили. Хорошо! Закуска у него законная — маринка, тут он её на газетке и разделал.

— Дед, да потом о маринке! Что они рассказали-то? Ну вот, на охоту пошли, дальше-то что?

— Тьфу! — плюнул дед. — Вот правильно мой дед говорил: с учеными говорить, это надо язык сперва наварить. Он тоже с одним таким ещё до империалистической ходил по степу, вчерашний день они разыскивали, так вот ученый спросит что-нибудь, станет дед объяснять, а тот ему и говорить не даёт: после каждого слова — да как же это? да что же это? да откуда же? почему же? Вот как ты сейчас. Что рассказали? Рассказали, что пошли на Карагалинку кекликов¹ бить и всю эту арматуру под камнем и обнаружили. Ну что ты выставился? Как надо ещё сказать по-научному? Не арматуру, что ли?

— Да не в арматуре дело, а вот как же они поехали на Карагалинку кекликов бить? Какие же там кеклики? Это на реке Или, там — да, там кеклики есть, а на Карагалинке...

— Так ты скажи им это, — обозлился дед. — Найди их и скажи: не туда, мол, ходите. Ну, значит, наврала мне. Значит, лягушек ходили ловить.

— Ну ладно, дальше.

— А дальше дождь пошел, такой, говорит, ливень сыпанул, что мы сразу все наскрозь. Ну куда деваться. А там берега подмытые, смотрят — камень висит, смотрят — под ним пещёра. Пошли притулились, троим, понятно, тесно, стали ворохаться. Смотрят — под ногами что-то блестит.

— А как это камень висит? На чем?

— На небе! Что, не слышал, как на небе камни висят? Вот ученые! Ну, висит над берегом, и все! Ну берег вымыло, камень выступил и висит, а под ним вроде как пещёра образовалась. Вот я тебе удивляюсь, ходишь целые дни, смотришь в землю и ничего не видишь. Здесь ведь все, все наскрозь камня. Тут с гор одное такой сель шел, что дома выворачивало. Валит глыбина с пол этого собора и все, все скрозь валит. Я вот помню, мне тогда лет десять было, пошли мы раз с дедом в извоз — дед мой извозом занимался, в Семипалатку возы гонял, а дождь шел! — три дня и ночи дождь шел! Дед мне и говорит: «Вот, смотри, ещё один день такой дождь пойдет — и...»

— Да при чем тут дед? На кой ты мне черт его суешь? Ты мне про дело говори!

— Вот дед ему не понравился! Ты мне, слышишь, черным словом про деда не смей! Я этого терпеть не могу. Я у него вырос! Ему уже под семьдесят было, а он молодую привел, вот вроде твоей — бровастая, аккуратная, быстрая! Фырк, фырк, фырк! Но только тоже без одного винта. Ну как же? Раз она за тебя, такого героя, гения, умирает, а ты с этим идиолом в горах без штанов, в трусах водку трескаешь, то, конечно, винта у нее нет. Умная бы девка... да такого бы кавалера... знаешь как? Вот и сам засмеялся — значит, верно!

¹ Кеклик — дикая индейка. (Здесь и далее примечания автора. — Ред.)

— Верно, верно, дед! Что правда — то правда! Умная девка такого бы кавалера...

Зыбин встал с верстака и подошел к окну. Утро стояло высокое, ясное, без тучки, без облачка. На белые стены собора было больно взглянуть. Тополя застыли, затихли и словно зажмурились от солнца.

«Тихо нежная цикада, притаясь, от жара стонет», — вспомнил он. Но цикады не стонали. День все-таки еще не установился. «Ох и жара будет сегодня», — подумал Зыбин.

Он опять сел к верстаку и задумался.

«Значит, золото и череп принесли в музей, а костей не взяли. Когда же это было? А, воскресенье! Да, да, в воскресенье! И еще сказали, что все они сослуживцы. Тогда им врать было об этом вроде бы незачем. Да, пожалуй что незачем. Но как же тогда суконный завод? Черт его знает как, но работают они, наверно, вместе. Значит, и на охоте они были тоже в общий выходной. Значит, вещи у них пролежали с неделю. Неделю они все обдумывали, вероятно, куда-то ходили и спрашивали, но продать ничего не продали — боялись, наверно, показать золото, может быть, даже и точно еще не уверились, что золото. Вот и пришли все вместе. Это, пожалуй, понятно, а вот дальше-то как?»

— Так чем же они тебя угощали, дед? — спросил он. — Маринкой? И, говоришь, своего копчения? Это точно, что своего?

— Своего, своего, — поднял дед голову от рубанка. — Я сразу по запаху чувствую, где свое, а где фабричное. Вот попробуй, говорят, мы ее в трубе, говорят...

— Так. — Зыбин встал. «Знаменитая вещь копченая маринка! Попробовать бы сейчас ее, да где достанешь? Ну ладно, пойду к Кларе, хоть череп посмотрю! Все, может, веселее на душе будет».

На серой инвентарной карточке было напечатано:

1. *Наименование объекта. Количество*

И от руки: *Человеческий череп.*

2. *Происхождение экспоната (с обозначением фамилии нашедшего, места и обстоятельств находки)*

И от руки: *Найдено на реке Карагалинка под большой навесной глыбой, вместе с 300 предметами ювелирного золота (смотри карточку — № ...) за девяносто верст от суконной фабрики — более точно место находки не определено.*

3. *Описание экспоната*

И от руки: *Череп.*

Над этой графой Клара сейчас и сидела.

Зыбин хмуро поднял череп со стола. Был он небольшим, желтовато-ореховым и таким же, как орех, сухим и жестким. Челюсть лежала рядом. Зыбин заглянул в глазницы, провел пальцами по зубам, хотел что-то сказать, но вдруг дрогнул и сел.

Так прошло с полминуты. Он молча держал череп перед собой и глядел ему в глазницы.

— Ты что это? — спросил директор почти испуганно.

Это было как припадок или наваждение, что-то щелкнуло, сдвинулось с места, и вдруг нечто большое, мягкое, обволакивающее опустилось на него. Он держал в руках голову красавицы. Ей, верно, не исполнилось еще двадцати. У нее были большие черные глаза, разлетающиеся брови и маленький рот. Она ходила, высоко поднимая голову.

Он повернул череп и посмотрел на него в профиль. У красавицы была тонкая свечащаяся кожа. Она умела царственно улыбаться — была горда и неразговорчива; ее считали колдуньей, ведьмой, шаманкой, а потом ее убили и забросили на край земли. И в течение многих веков лежал над ней камень тяжелый, чтоб никто ее видеть не мог. А вот сейчас он держит в руках ее мертвую голову.

— Вы написали,— сказал он,— «найден под нависшей глыбой». Это не погребенье!

Он именно сказал, а не спросил, он точно знал, что это было не погребенье, а просто дикое поле, глыба и ее тело под ней. Он сам не понимал, откуда пришло к нему Это, но Это пришло все-таки, и он знал об Этом уж все.

Клара пожала плечами.

Он еще постоял, подумал. Вот здесь были ее губы, здесь глаза, здесь уши и эти серьги в них.

— Пишите,— сказал он,— вот в этой графе пишите: «Женский череп молодой особы грациального сложения». Тут скобка: «Неполное зарастание черепных швов; не стертые жевательные плоскости; в верхней челюсти присутствуют молочные зубы». Скобка закрывается. Точка.

Он повернулся к директору.

— Все, все пока!

— Ну что тебе рассказал особенного дед? — поспешно спросил директор.

Лицо красавицы стало меркнуть, таять и наконец погасло совсем, когда Зыбин ответил:

— Про маринку собственного копчения рассказал. Эх, поел бы я сейчас маринку собственного копчения, да где ее взять, не сезон ведь. Хотя пошли, пожалуй, Клара, на базар по маринку, а? Поищем?

— По маринку? — спросила Клара удивленно.

— По маринку, маринку,— ответил он ей нежно.

— По маринку? — вдруг рассердился директор, но тут же рассмелся, и все тоже рассмелись.— Ладно,— сказал директор,— по маринку потом пойдешь. Ты поднимись наверх, посмотри, что у меня там творится. Ангелы пришли. Теперь уж в полной ангельской форме. Сидят, пишут и тебя зовут. Я говорил, что тебя это не минует. Иди, не бойся. С ними не соскучишься.

А в действительности очень скучные люди сидели наверху. Пришли эти скучные люди еще вчера, заняли комнату научных работников, сперва всех выгнали, потом позвали деда, усадили и стали допрашивать. Допрашивали строго, методически, не улыбаясь и постукивая карандашиком о стол. Спрашивали о том, как выглядели эти расхитители социалистической собственности (иначе как расхитителями они их не называли, потому что, сказал старший, это же Указ от седьмого восьмого, соцсобственность священна и неприкосновенна, а кто этого не понимает — тому десять лет лагеря, и после того его нигде не пропишут). Спрашивали они еще о том, как были одеты расхитители, что о себе рассказывали, как друг к другу обращались. Потом, когда все записали, заставили деда расписаться на каждом листе по отдельности. Потом ссыпали все бляшки и серьги в большой белый пакет и припечатали сургучом. Потом они вызвали Клару, велели этот пакет взять и сейчас же спрятать в сейф, потому что это соцсобственность, а соцсобственность священна и неприкосновенна. Они завтра придут и будут Клару допрашивать, и Клара все должна вспомнить и им сказать.

И действительно, они пришли назавтра, взяли у Клары пакет, осмотрели печати и сказали, что пока она свободна, но пусть не уходит, а сидит и ждет у себя, с ней еще будет разговор. Потом они составили акт, в котором вещи именовались изделиями из желтого металла и было сказано, что эти изделия уносятся для экспертизы в следственный отдел прокуратуры.

Зыбина они позвали именно как понятого, чтобы расписаться.

— Стойте, стойте,— сказал Зыбин и положил руку на пакет.— Так обращаться с музейными ценностями нельзя. Это вам не семечки.

Тогда младший поднял серые глаза и очень мягко, не повышая голоса, сказал:

— Это вы, кажется, забыли, что это не семечки. Будьте спокойны, что к нам попало, то уж не пропадет! Вот тут подписывайтесь. И вы, девушка, тоже.

И глаза у него были очень ясные и наглые.

— А ну-ка,— повернулся Зыбин к Кларе,— сбегайте-ка за директором. Да вы не рвите, не рвите из рук,— вдруг сказал он тихо и бешено, так, что у него даже скулы заходили.— Сейчас придет директор, он тут хозяин, а не вы и не я.

— Ну, знаете, товарищ дорогой!..— начал обрадованно сероглазый, но тут другой, старший, сухо прервал его:

— Оставь. Все равно директора надо!

Директор пришел сейчас же. Наверно, Клара его и поймала на лестнице.

— В чем тут дело? — спросил он у сероглазого.— Что это такое? Кто разрешил? — Он взял пакет со стола и гневно взглянул на Клару.— А я вот вам, друзья милые, выговор приказом сейчас закачу,— сказал он свирепо.— Как вы обращаетесь с экспонатами? Что за петрушка! Безобразие!

— Да дело-то очень простое,— ответил сероглазый с той же неуловимой мягкой наглостью, которая так и дрожала в каждом его слове, так и сочилась из каждой поры его мягкого, чистого лица.— Вещи эти мы берем для следствия. Вполне возможно, что это золото. Принесли это золото вам неизвестные, которым вы дали скрыться. Если бы вы их задержали и позвонили органам, а это вы сделать были обязаны,— он повысил голос,— то золото было бы тут. Сколько валюты лишилось государство благодаря чьему-то идиотскому благодушию (он с особым смаком произнес это слово — тогда оно было по-настоящему страшным: «Идиотская болезнь — благодушие»,— сказал вождь недавно), пока тоже неизвестно. Вот мы и проводим расследование. Вы руководитель учреждения, человек партийный, заслуженный и должны бы, кажется...

— Я еще и член ЦК и депутат Верховного Совета, гражданин хороший,— сказал директор и твердо сунул пакет Зыбину.— Держи, хранитель. Если кому-нибудь отдашь, голову с тебя долой.— Он слегка тронул за плечо старшего.— Пройдемте к вертушке,— приказал он.

Обратно он вернулся через пару минут с дедом и Кларой. Дед улыбался и был доволен, он страсть как любил строгость.

— Уф! — сказал директор и повалился в кресло.— Какие все-таки среди них попадаются... Ну тот, старый, еще так... еще человек, а вот этот, молодой да ранний... лезет в волки, а хвост собачий. А ведь все равно какой-то институт особый кончил, все про эти дела знает. Ну-ка скажи, хранитель, какие брови были у Александра Македонского? А, не знаешь. А нос у Нерона? Тоже не знаешь. Что ж ты их не спросил? Они б сразу тебе все отчеканили. Дед, какие бывают брови? Ну — как...

— Да ну их к бесу,— отмахнулся дед.— Совсем замучили — какой нос, какие брови, какие губы. У того, у другого. По порядку номеров. Что пристали? Что пристали? Как будто я половину золота к себе в сапог отсыпал.

— А ты бы им сказал — во всем виноват директор.— Директор даже стукнул кулаком по поручню кресла.— Так и отвечай всем: спрашивайте с начальства, я ничего не знаю. Нет, собственной рукой все отдал, старый дурак! Денег выписал, болван! — воскликнул он с каким-то горьким, чуть не мазохическим вдохновением.— Вот эти триста рублей и погубили все. Они сразу почувствовали что к чему. Там ведь этого золота еще должно быть килограммы, килограммы! Чаши, кувшины, зеркала, сбруя. А, хранитель? Как ты думаешь, могло там быть еще килограмм десять?

— Дед, слушай, а я тебе буду рассказывать,— вдруг повернулся к деду Зыбин.— Значит, идут трое охотников по берегу Карагалинки, вдруг ливень. Куда спрятаться? Стали смотреть. Глядят, берег подмыт и из него глыба торчит. Степан Митрофанович, вы, кажется, эти места хорошо знаете? Вот там у вас в акте написано, что случилось это за девяносто верст от суконной фабрики, а они как будто служащие этой фабрики. Значит, они и живут рядом. Как могли они так далеко отъехать от дома? Ведь у них на все про все один день. Может, машину выпросили у директора, дичи пообещали привезти, а?

Директор покачал головой.

— Нет, туда ни на какой машине не проедешь. Я тоже там был. Глыбины, ямы, овраги. Нет, туда только пешком.

— А индейки там водятся?

— А что, разве они про индеек?.. Никаких там индеек нет. Индейки в скалах бывают. Мне они этого не говорили. Я б их сразу уличил.

— Ну вот, а деду говорили. Теперь про золото. Много золота тут, Степан Митрофанович, быть никак не могло. Это не погребенье. Под камнями в этих местах никого никогда не хоронили, и вообще никаких погребений, кроме курганных, мы тут не знаем. Значит, камень-то камнем, но женщина была не погребена, а просто положена под глыбу. Убили и бросили.

— То есть как же это? — спросил директор растерянно.— Я что-то не понимаю,— он развел руками,— кто ж ее?.. И в этом уборе еще! Зыбин молчал.

— Стой, стой! Ведь такой наряд просто так не надевают. Такой на свадьбу надевают или еще на какую-нибудь торжественность. А если торжественность, значит, кругом люди, гости. Так как же ее могли увезти и убить, объясни.

Зыбин пожал плечами. Дед сидел в кресле и демонстративно дремал.

— Нет, это никак не может быть,— решил директор.

— Кларочка, принесите, пожалуйста, археологическую карту Алма-Атинской области,— попросил Зыбин очень ласково.— Я ее у вас тогда оставил прямо на столе.

Клара молча повернулась и вышла. Директор посмотрел ей вслед.

— Вы что это? — спросил он негромко.— Поссорились, что ли?

— Да нет, ровно ничего,— ответил Зыбин.

— То-то — ровно ничего.— Он покачал головой.— Третий день девчонка с опухшими глазами ходит. И вчера — мы к тебе приехали, а ты побежал при ней звонить своей... Уж никакой, значит, выдержи нет... Мне это не нравится, учти, пожалуйста.

— Да что я,— заикнулся Зыбин.

— Вот то-то, что все вы ничего, ничего, и получается-то очень чего! А что твой помощник вчера учудил! Это что он там орал на всю бригаду, а? Тоже ничего? Стой, я с тобой еще серьезно поговорю. Не можешь внушить дисциплину подчиненному. Набрался сопляк и начинает выяснять свои отношения с советской властью. Все прошлое уже начисто позабыто, значит? Это куда годится?

Дед вдруг открыл глаза. В таких случаях он всегда одобрял директора. Хозяин должен требовать. А иначе и дела не будет. Разве мы доброе слово понимаем?

— Молодые, глупые,— сказал он истово.— Даже выпить и то незаметно не умеют. Выпил четвертинку и вообразил, что он уже царь и Бог. Начинает себя людям показывать. А вот мой дед, он каждое воскресенье...

— Подожди, я их скоро всех прижму,— пообещал директор,— и того свистуна и этого его покровителя. Тс! Тише. Вон она стучит каблучками. Кончаем разговор. Переходим на карту.

Карту разложили на столе и прикрепили кнопками. Она была как ковер — огромная, пестрая, заняла собой весь стол, и все, кроме деда, наклонились над ней. Зыбин сказал:

— Ну-с, вот вам весь бассейн Карагалянки. Пусто! За сто лет ни горшка, ни рожка. Белое пятно! На сорок верст кругом степь да степь кругом! Кто же мог в этой степи захоронить нашу маленькую ведьму? И зачем надо было сюда увозить ее труп? Но если это не погребенье, тогда что же?

И опять все трое молчали, смотрели и думали, хотя было ясно, что ничего тут уж не придумаешь. И дед тоже смотрел на карту вместе со всеми и думал и так же, как и все, ничего придумать не мог.

— Белое пятно! — повторил он раздумчиво.

— А может быть,— робко предположил директор,— это все-таки погребение, но только, понимаешь, какое-нибудь особенное. Ну, например, саркофаг! Может, охотники спрятались тогда не под глыбу, а под крышку этого саркофага. Сам-то он развалился, а крышка осталась. Может быть так, а?

Он говорил и смотрел на Зыбина — сейчас, перед картой, он безоговорочно признавал его авторитет.

— Да нет, пожалуй, так не выйдет,— покачал головой Зыбин.— Во-первых, саркофаг зарывают, а не просто ставят среди степи, во-вторых, если это саркофаг — то огромный, ведь пряталось-то под ним по меньшей мере трое. Чтоб привезти и выкопать яму для такой махины, надо человек десять по меньшей мере. А это значит, что золото утекло бы. Хоть один вор из десятерых да нашелся бы. Ведь степь-то голая, пустая. Далее, речь идет все время о глыбине, саркофаг же состоит из тесаных плит. И теперь, пожалуй, самое важное: ни о каких погребениях в саркофагах мы здесь никогда не слышали. Вот, пожалуйста, смотрите. «Топографические сведения о курганах Семиреченской и Семипалатинской областей». Семиреченская область — это мы. Так вот читаем: «Семиреченские курганы сооружены в прослойку с камнями, реже — из чистых камней». Читаем дальше: «Слой камней нередко с голову, а иногда и больше. Этот слой засыпался землей». А выглядит это так: «Курган круглый или овальный, с крутым откосом, на верху его довольно значительная площадь углубления». Все! С глыбой все это никак не спутаешь. Источник: «Известия Томского университета», книга первая, за тысяча восемьсот восемьдесят девятый год, отдел, страница сто сорок вторая — вопросы есть?

— Да, черт тебя дери,— сказал директор растерянно.— Действительно! Но все-таки что же это такое?

Зыбин пожал плечами.

— Вот что это такое! Надо во что бы то ни стало найти эту глыбину, и тогда можно будет рассуждать о том, что это такое, но во всяком случае, кажется, точно — не могила! Девушку просто увезли и убили и труп ее засунули под эту глыбу. Но вот вы правильно говорите: при чем же тут диадема? Как же удалось убить или похитить эту молодую царевну или жрицу из дворца да еще увести труп ее за сто километров? А что такое сто километров? Это значит скакать сутки по степи с трупом поперек седла! Или она тогда была еще живая! И почему золото цело, как на него не набрели до сих пор? Ведь лежало-то оно прямо на поверхности? — Он развел руками.— Ну кто ж тут что знает? Я, например, ничего и предположить не могу. Одно решение: надо разыскивать место.

Наступила пауза.

— Нет, это бывает,— сказал дед.— Это довольно просто бывает. Заманили молодую девку, нафулиганничали, задавили и бросили. Вот и все. У нас в станице такое тоже раз было. Убили девку. Искали-искали, а это оказался ее сосед — попов сын.

— Где ж ты теперь найдешь это место? — вздохнул директор.— Кто тебе его покажет? Вот что у нас осталось.— Он вынул зеленые корочки от паспортов и зло бросил их на стол.— Нет, видно, это дело уж окончательно потерянное. Так мне и тот, старший, сказал.— Он задумался.— Так какие все-таки были брови у Александра Македонского? — спросил он вдруг.— Не знаешь? А какие вообще брови бывают? У тебя вот какие? Не знаешь? Даже и про свои собственные брови и то не знаешь? Так вот слушай.— Он вынул записную книжку.— Брови бывают короткие, средние, длинные, прямые, дугообразные, ломаные, извилистые, сближенные, сросшиеся, щетинистые, широко расставленные, свисающие наружным концом вверх, свисающие вниз, строго горизонтальные! Ух, дыхания не хватило. Вот что значит следователь, а ты что? Вот ухо твое — ты что думаешь, это так просто ухо, и все? Дудки, брат! В нем ты знаешь сколько примет? Двадцать. В одной мочке их шесть. Вот это наука! Смотри, как они деда замучили.— Он засмеялся.— Так вот, товарищ ученый, шумишь много, а толку чуть! Оказывается, это у вас еще не наука, то есть наука, да неточная. А точная там — в сером домике.— Он встал.— Они тебе наказывали сразу после закрытия музея туда зайти. Зайди.— Он вынул из блокнота какую-то бумажку.— Вот! Товарищ Зеленин, двести сорок вторая комната. Это тот, старый. Он ничего. Придешь — позвонишь ему, вот телефон. Приемный акт на всякий случай захвати. А в случае чего — звони мне. Я сегодня буду дома сидеть.— Он поднялся с кресла и потянулся так, что хрустнули кости.— Ну, разлетаемся, товарищи. А вы, Кларочка, задержитесь-ка. Надо будет потолковать об организации хранения, а то что-то...

Клара осталась, а Зыбин подумал и пошел на базар. Была у него одна думка, и он обязательно хотел ее проверить. Вообще-то он всегда боялся толпы, тесноты, давки, скученности. «„Скучно“ от слова „скученно“»,— говорил он не то шутя, не то совершенно серьезно. И ох как по прошлым годам он помнил эту мертвую, пропахшую крезолом скуку! Скуку ночных храпящих вокзалов, свалочную скуку товарняков, в которых ни сесть, ни лечь, и даже почти уже незапамятную скуку Чистых прудов. Это было лет двадцать назад. Первые воспоминания об этом: липы с пыльными листьями, жара, серый песок. Скука и тоска. Бульварный круг огорожен зелеными раскалившимися скамейками. И семечки, семечки, семечки... Вся земля хрустит от семечек. В середине круга оркестр, вознесенные над землей беседкой, сидят солдаты и трубят. Ниже этого круга движется второй — няньки, бонны, мадемуазели, гувернантки — все важные, благообразные, строго улыбающиеся. На одних чепцы матерчатые, кокошники. На других черные платки с роскошными цветами из тех, что растут на обоях, мануфактурах, трактирных чайниках и подносах. Шали. Накидки. Открытые головы редко. Еще ниже третий круг, это заклепанные намертво за руку — несчастные господские дети. И он тоже господское дите, и его тоже заклепили и тащат. Солнце палит, оркестр гремит. Круг движется медленно, медленно, и не выкрутишься, не выпросишься, не убежишь. Иди чинным детским шажком с жестяным совочком в потной грязной ладошке и жди последнего, отчаянного рыка задохшейся трубы. После этого музыканты вдруг дружно опустят инструменты и закашляют, засморкаются, задышатся, заговорят. А нянька разожмет свою клешню. Ребята из неблагородных носятся вокруг, свистят, кричат, подставляют друг другу подножку, в общем, хулиганят от всей души. Они уличные, на них всем наплевать, и они все могут. А ты ровно ничего не можешь. Ты сын благородных родителей. От этого скука, зной, все время болит голова, ноет рука от нянькиных клещей.

Зачем кружили эти няньки? Зачем ревел и надсаживался оркестр? Зачем он играл нянькам «На сопках Маньчжурии» и «Оружием

на солнце сверкая? Ну, наверно, это все напоминало им господские разговоры о высшем свете, снимки в «Огоньке», обложку на «Солнце России», бал-маскарад с призами, гулянья в царском саду, еще что-нибудь подобное. Ведь напротив стояло белое здание с колоннами, кино «Колизей», и там шли салонные фильмы. Вот еще с тех пор Зыбин люто возненавидел всякое многолюдство и избегал его пуще всего. Но года через два именно оно хлынуло на него потоком: революция — ночные поезда и вокзалы, теплушки, платформы! Ох, как он их хорошо узнал за эти четверть столетия!

Поэтому он и боялся толпы и только на алма-атинские рынки ходил охотно. Их было несколько: Сенной, Мучной, Никольский и наконец самый ближний, Зеленый, или Колхозный. Этот рынок был веселым, запьянцовским и даже немного юродивым местом. Его Зыбин любил больше всех других. Сюда он и пришел из музея.

Зеленый базар!

Только с первого взгляда он казался толчеей. Когда присмотришься, то поймешь — это целостный, здраво продуманный и четко сформированный организм. В нем все на своих местах. Бахчевники, например, постоянно занимают одну сторону базара. На этой стороне лошади, верблюды, ослы, телеги, грузовики. Очень много грузовиков. В грузовиках арбузы. Они лежат навалом: белые, сизые, черные, полосатые. Над ними изгибаются молодцы в майках и ковбойках — хватают один, другой, легко подбрасывают, шутя ловят, наклоняются через борт к покупателю и суют ему в ухо: «Слышишь, как трещит? Эх! Смотри, борода, денег не возьму!» — с размаху всаживают нож в черно-зеленый полосатый бок, раздается хруст, и вот над толпой на конце длинного ножа трепещет красный треугольник — алая, истекающая соком живая ткань вся в розовых жилках, клетках, крупинках и кристаллах.

— Да голова ты садовая, сейчас ты белого и за тыщу не найдешь! На! Даром даю! Бери! — кричит продавец и швыряет арбуз покупателю.

То же самое орут с телег, с арбакешек, с подмостков, просто с земли. Здесь же снуют юркие казахские девчонки с сорока косичками. Они таскают ведра и огромные медные чайники и поют, это почти стихи:

— А вот свежая холодная вода!

— Кому свежей холодной воды!

— Вода! Вода! Две копейки кружка. Подходи, Ванюшка!

Рядом мелкая розница — лоток под кисеей, под ней уже мертвые ломти — вялые, липкие, запекшиеся бурой арбузной сладостью, над ними ревет стая больших металлических лиловых мух (здесь их зовут шимпанскими). Тронешь ломоть — и сразу отдернешь руку: среди черных и желтых лакированных семечек замерли три или четыре хищницы с чутко подрагивающими тигриными туловищами.

— В-вот воды, воды! Кому свежей холодной воды! — заливаются чистые девчоночьи голоса, и только иногда среди них прорвется спокойный гекзамер:

— А вот ароматные сладкие дыни! Кто купит? Ароматную сладкую дыню задаром. Кто купит?

У ароматных сладких дынь свой ряд. Они товар нежный. Их не ссыпают навалом, их раскладывают в ряд на циновках. Есть дыни круглые, четко оформившиеся, с мягкими, обтекаемыми гранями — их зовут здесь кубышками. Но больше всего они похожи на какой-то внутренний орган неведомого чудовища — почку или сердце. Мясо у них оранжево-желтое или насыщенно зеленое, как шартрез. А есть еще дыни длинные, конические, как мины или межпланетные снаряды (так в то время их рисовали в журнале «Вокруг света»). Есть дыни золотистые, как осень, как листопад, как закат в спокойной воде

пруда. Есть дыни, похожие на головы огромных тропических гадов, они в пятнах, потеках, пересветах, в хищных змеиных узорах. От дынь исходит еле уловимый аромат, и каждый, кто проходит по этим рядам, дышит им. И продавцы в этом ряду тоже иные, и покупатели тут не те, что табуняются вокруг арбузных пятитонок. Продавцы в этом ряду старые, солидные люди, узбеки или казахи — аксакалы с истовыми бородами, с бурыми иконописными лицами, в чернотелых тканых тубетейках. Они не волнуются, не бегают, не кричат, они только поют: «А вот ароматные сладкие дыни». Подходи, смотри, плати деньги и уноси. Пробовать дыни дают не всякому. Это целый ритуал. Сначала ее секут напополам, потом снимают тончайший прозрачный срез, и к лицу покупателя на острие длинного и тонкого, как жало, ножа возносится прозрачный розовый лепесток, бери в рот, соси и оценивай. И покупатель здесь свой. Около арбузов мальчишки, тетки, сезонники, шоферы, любители выпить. Арбуз, если нет ножа, просто колот о колено, а надколов, разрывают руками. Едят тут же, чавкая, истекая сладостью, урча, уходя в корку с носом, с глазами, чуть не до волос. Повсюду на земле валяются горбушки и шкурки. Дыню под мышкой уносят домой. И когда там ее положат на белое фаянсовое блюдо и поставят среди стола, то стол тоже сразу вспыхнет и станет праздничным. Такая она нежно-цветистая, такая она светящаяся, изниженная загаром и золотом, в общем, очень похожая на дорогую майоликовую вазу.

А дальше помидоры и лук. Лук — это пучки длинных сизо-зеленых стрел, но лук — это и клубни, выложенные в ряд. Под солнцем они горят суздальским золотом. Но обдерите золотую фольгу — и на свет выкатится сочная тугая капля невероятной чистоты и блеска, беловато-зеленая или фиолетовая. По Перельману, вода в космосе примет именно такую форму. Но фиолетовые они или зеленые, их все равно грызут тут же на месте с горячим мякишем, с серой верблюжьей солью. Они хрустят, их необыкновенная горечь и сладость захватывает дыхание, ударяет в нос, но все равно их гложут, хрупают, хрустят. «Сердитый лук», — говорят, улыбаясь и плача. «Сладкий лук, нигде нет такого лука!» Но и помидоров таких нигде нет кроме как на Зеленом базаре; они лежат в ящиках, в лотках, на прилавках — огромные, мягкие, до краев наполненные тягучей кровью, туго лоснящиеся тропические плоды. В них все оттенки и красных и желтых тонов от янтарного, кораллово-розового, смутного и прозрачного, как лунный камень, до базарно-красных грубых матрешек. Их покупают и уносят целыми лотками — круглые тугие мячки, багровые буденовки, желтые голыши. Все равно больше рубля здесь не оставишь. Около лотков с помидорами, луком и разноцветной картошкой (желтой, белой, черной, розовой, почти коралловой!) товарный лоток разделяется надвое. С одной стороны остаются ряды, а другая сторона упирается в стену. Это почтовая контора. Отсюда во все концы страны летит знаменитый алма-атинский апорт. Тут же продают ящики, свежую стружку, холстину для обшивки. В конторе зашивают, надписывают, взвешивают. То и дело мелькают быстрые, оперативные личности с молотками, гвоздодерами и химическими карандашами за ухом. На все разная такса. Одна на то, чтобы уложить и заколотить, другая на то, чтобы красиво надписать, третья на то, чтобы уложить, заколотить, красиво надписать, взвесить, выстоять и отправить. Здесь же печально бродит между ларьками некая туманная личность. Завсегда таи знают, что это актер и поэт-новелист. У него страшное, иссиня-белое, запойное лицо. Из театра его сократили, и вот он теперь ходит по рынку и гадает. Под мышкой у него толстый фолиант. «Как закалялась сталь» — издание для слепых. Он кладет его на колени, распахивает и гадает. Рядом старушка продает морских жителей. Место здесь бойкое. Стоит пивная бочка, и над ней взлетают руки с кружками и поллитровками. Крик, смех. Пьют

здесь так — полкружки пива, полкружки водки. Морские жители под эту смесь идут очень ходко.

Зыбин больше всего любил именно эти ряды. Но сейчас он не дошел до них, а свернул направо к рыбным ларькам. Рыбу тут выносили разную — копченую, нежно-золотистую, как будто обернутую в увядающий пальмовый лист, даже металлически-фиолетовую. Она лежала на прилавке, висела пучками, плескалась в цинковых чанах и судках. Зыбина хватала за руки, ему предлагали залом с Каспия, сома из Аральска, карасиков с Сиротских прудов. Он ничего не покупал, ни к чему не приценивался, он дошел до конца рядов и повернул обратно.

— А маринки у вас сегодня нет? — спросил он у высокого пожилого торговца. Тот стоял, засунув руки под клеенчатый фартук, и молча наблюдал за ним.

— Ну откуда она сейчас будет? — спросил продавец. — Маринку сейчас вы не найдете. Только если у кого вяленая осталась. Мы такой не торгуем.

— Вяленая, говорите?

— Исключительно вяленая. На другую сейчас запрет. Как жел! План не выполнен. Только если украдут где. Вот приходите через месяц — тогда будет.

Помолчали, переглянулись, но еще не полностью поверили друг другу.

— Жаль, жаль, — сказал Зыбин. — А мне как раз позарез надо маринки.

— Свежую?

— Хоть свежую, хоть копченую. Копченую лучше.

Торговец посмотрел, примерился и спросил:

— Много?

— Да сколько есть, столько возьму. Сестра из Вятки просит. — И он достал из кармана какое-то письмо.

— Сейчас не Вятка, а город Киров, — поправил торговец. — Тогда вам только на Или надо ехать. Там ее сколько хочешь. Как пойдете по берегу, так и увидите — тони, тони. Колхоз «Первый май». Там любой колхозник вам устроит с пудик.

— А к кому там зайти? Не знаете?

Продавец снова подумал, опять они посмотрели друг на друга и наконец окончательно поняли друг друга.

— Тогда, в таком разе, как дойдете до правления колхоза — это у моста, сразу же — спросите Павла Савельева. Он шофером работает. Скажите, от Шахворостова Ивана Петровича.

— Спасибо, сейчас запишу — значит, от Шахворостова Ивана Петровича, так! А вот скажите, Юмашева Ивана Антоновича вы не слышали? Дружок у меня был такой, он, кажется, и сейчас еще там.

— Как — Юмашев? Да нет, что-то не помню. Я ведь там мало кого знаю из новых, может, не Юмашева вам нужно, а Ишимова? Так такой есть действительно. Весовщик.

— Нет, точно Юмашев, — сказал Зыбин и слегка наклонился. — Ну спасибо, сейчас же поеду. Значит, Павел Савельев! Спасибо.

Он пошел и снова остановился. У резных ворот с надписью «За колхозное изобилие» толпились люди. Курили, чадили, лузгали семечки. Он протиснулся и увидел художника над мольбертом. Зыбин этого чудака знал. Месяц тому назад он подал объяснение в милицию (нажаловались соседи) и подписался так: «Гений I ранга Земли и Галактики, декоратор-исполнитель Балета им. Абая Сергей Иванович Калмыков». Гением человечества, как известно, в то время на земле числился только один человек, и такая штучка могла выйти очень боком — ведь черт его знает, что за этим титулом кроется, может быть, насмешка или желание поконкурировать. Кажется, такие сомнения в сферах высказывались, но дальше них дело все-таки не

пошло. Может быть, кто-то из власть предержащих повстречал Калмыкова на улице и решил, что, мол, на этой голове много не заработаешь. А зря! Голова была стоящая. Когда художник появлялся на улице, вокруг него происходило легкое замешательство. Движение затормаживалось. Люди останавливались и смотрели. Мимо них проплывало что-то совершенно необычайное: что-то красное, желтое, зеленое, синее — все в лампасах, махрах и лентах. Калмыков сам конструировал свои одеяния и следил, чтоб они были совершенно ни на что не похожи. У него на этот счет была своя теория.

«Вот представьте-ка себе,— объяснял он,— из глубин вселенной смотрят миллионы глаз, и что они видят? Ползет и ползет по земле какая-то скучная одноцветная серая масса, и вдруг как выстрел — яркое красочное пятно! Это я вышел на улицу».

И сейчас он был тоже одет не для людей, а для галактики. На голове его лежал плоский и какой-то стремительный берет, на худых плечах висел голубой плащ с финтифлюшками, а из-под него сверкало что-то невероятно яркое и отчаянное — красное-желтое-сиреневое. Художник работал. Он бросал на полотно один мазок, другой, третий — все это небрежно, походя, играя, — затем отходил в сторону, резко опуская кисть долу, — толпа шарахалась, художник примеривался, приглядывался и вдруг выбрасывал руку — раз! — и на полотно падал черный жирный мазок. Он прилипал где-то внизу, косо, коряво, будто совсем не у места, но потом были еще мазки и еще несколько ударов и касаний кисти, то есть пятен — желтых, зеленых, синих — и вот уже на полотне из цветного тумана начинало что-то прорезываться, сгущаться, показываться. И появлялся кусок базара: пыль, зной, песок, накаленный до белого звучания, и телега, нагруженная арбузами. Солнце размыло очертания, обесцветило краски и стесало формы. Телега струится, дрожит, расплывается в этом раскаленном воздухе.

Художник творит, а люди смотрят и оценивают. Они толкаются, смеются, подначивают друг друга, лезут вперед. Каждому хочется рассмотреть получше. Пьяные, дети, женщины. Людей серьезных почти нет. Людям серьезным эта петрушка ни к чему! Они и заглянут, да пройдут мимо. «Мазило,— говорят о Калмыкове солидные люди,— и рожа дурацкая, и одет под вид попки! Раньше таких из безумного дома только по большим праздникам к родным отпускали». Вот именно такой разговор и произошел при Зыбине. Подошел, протолкался и встал впереди всех хотя, видно, и слегка подвыпивший, но очень культурный дядечка — эдакий Чапаев в усах, сапогах и френче. Постоял, посмотрел, погладил усы, хмыкнул и спросил очень вежливо:

— Вы, извините, из Союза художников?

— Угу,— ответил Калмыков.

Дядька деловито прищурился, еще постоял и подумал.

— А что же это вы, извините, рисуете? — спросил он ласково.

Калмыков рассеянно кивнул на площадь.

— А вон те возы с арбузами.

— Так где же они у вас? — изумился дядечка. Он весь был беспощадно вежливый, ироничный, строгий и всепонимающий.

Калмыков отошел на секунду от полотна, прищурился, вдруг что-то выхватил из воздуха, поймал на кисть и бросил на полотно.

— Смотрите лучше! — крикнул он весело.

Но дядечка больше ничего не стал смотреть. Он покачал головой и сказал:

— Да, при нас так не малевали. При нас если рисовали, то хотелось его взять, съисть, что яблоко, что арбуз, что окорок, — а это что? Это вот я когда день в курятнике не приберусь, у меня пол там такой же!

Калмыков весело покосился на него и вдруг наклонился над полотном. Кисть так и замелькала. Вдохновили ли его слова дядьки, или, может быть, как раз в эту минуту он ухватил самое нужное? В общем, он заработал и обо всем забыл. Культурный дядька еще постоял, посмотрел, покачал головой и вдруг грубо спросил:

— А что это вы оделись-то как? Для смеха, что ли? Людей удивлять. Художник! Раньше такого бы художника сразу бы за милую душу за шиворот да в участок, а теперь, конечно, валяй, маляй!

И ушел, сердито и достойно унося под мышкой черную тугую трубку — лебединое озеро на клеенке.

А Калмыков продолжал ожесточенно писать. Никто его ни о чем больше не спрашивал. Как-то очень хорошо, легко и с большим достоинством он провел этот разговор, и Зыбин тогда же подумал: «Ну Бог его знает что он за художник, но цену он себе знает».

Он повернулся и вышел из толпы.

Он вспомнил об этой встрече через много лет, когда ему попала в руки записная книжка Калмыкова. Это было уже после смерти художника. Книжка эта валялась на полу в комнате покойного. Зыбин незаметно поднял ее, унес к себе и стал читать. Все записи шли в строго алфавитном порядке (и книжка-то называлась алфавитной). Покойный записывал все, что ему вспоминалось или приходило в голову: старые стихи, строчки из газет, расходы. Так вот под буквой «Н» Зыбин прочитал: «Никто больше меня не любит рисовать на улице. В этом моя сила! Кругом смотрят, зевают, глазуют, кто во что горазд. Младенцы видят первый раз! Другие завидуют, скучают, задирают. Я ораторствую, огрызаюсь, острою — словом, чувствую себя в своей тарелке, в своей сфере! Здесь нет мне равного! Казалось, меня надо было на руках носить за все это, я же всю жизнь делаю это задаром! За десятерых! А всем все равно, и дуракам наплевать, но я задам всем жару!»

И еще (уже на букву «К»):

«Когда много говоришь о самом главном — все бегут, всем некогда слушать длинные разговоры о серьезных вещах, — то при постоянном ежедневном говорении то с одним, то с другим на улицах выработывается вечная манера говорить о всем очень смачно и эффектно, и после этого приходят в голову самые удачные формулировки! Вот! Вернулся с улицы, и в голове есть находка! Я молча шел и говорил про себя...»

Да, он был именно таким — очень уверенным в себе, недостижимым для насмешек, недоступным для критики, скрытым от мира гением, которому и не требуется никакого признания. Положительно только к нему одному из всех известных Зыбину художников, поэтов, философов больших и малых, удачливых и нет он мог с таким полным правом отнести пушкинское «ты царь — живи один». Калмыков так и жил, так и чувствовал свое первородство. И смущала этого царя только какая-нибудь мелочь. Ну что-нибудь вроде этого: «Есть восковка за 1 р. 54 копейки, событие! А у меня только 80». Да, и это его огорчало, но тоже не очень, не очень. Из алфавитной книги это видно очень ясно. Нет так нет, и нечего думать об этом. Очень хорошо и твердо он понимал это железное слово — «нет».

Прошло много лет. Калмыков умер, и первая статья о покойнике кончалась так:

«По улицам Алма-Аты ходил странный человек — лохматая голова в старинном берете, широкие брюки из мешковины, сшитой цветными нитками большими стежками, с огромной расписной сумкой на боку. В последние годы им сделана в дневнике такая запись: „Что мне какой-то там театр? Или цирк? Для меня весь мир театр“».

Нет, даже не мир, а целая галактика. Однако все это было совершенно неясно в том, 1937 году.

Известно было другое. Именно в это время журнал «Литературный Казахстан» поместил статью о юбилейной выставке Союза художников. Там о Калмыкове говорилось примерно следующее: «Совершенно непонятно, каким образом и зачем устроители выставки пропустили картины некоего Калмыкова. На одной из них стоят два гражданина и размахивают чемоданами. И, очевидно, чемоданы эти пустые, потому что набитыми так не помахашь. Неприятная бездарная мазня». Вот и все. Гнать палкой. Неприятная и бездарная мазня. А ведь именно в это время художником были исполнены те великолепные серии рисунков, которые он называл странно и, как всегда, не совсем понятно: «Кавалер Мот», «Лунный джаз». Об этих листах писать невозможно — надо видеть очарование этих тончайших линий, этих переливов человеческого тела. У Калмыкова в его бесчисленных листах много женщин, и все они красавицы — надо думать даже, что он как художник вообще был не в силах изобразить уродливое женское лицо. Его женщины похожи на пальмы, на южные удлинённые плоды, у них тонкие руки и миндальные глаза (здесь не стоит бояться этих слов). Они очень высоки и стройны. Они выше всех. Стоя или лежа они заполняют целый лист. У некоторых из них крыльшки — и поэтому они, очевидно, феи. Другие просто женщины, и все. Вот, например (если подбирать специально опубликованные рисунки), красавица в длинном, тяжёлом, мягком халате. Он не надет, а наброшен так, что видна нога, грудь, талия. Красавица несёт восточный высокогорный сосуд. На столике горит канделябр. Он похож на распутившуюся ветку с тремя цветками. Рядом раскрытая книга и закладка на ней. Тишина, ночь, никого нет. Куда идет эта одинокая красавица? За ней бежит какое-то странное существо, не то кошка, не то собачка — не поймешь точно кто. И больше ничего нет.

На этом листе музыкально все. Все оркестровано в одном тоне — и три цветка на канделябре, и скатерть, сливающаяся с мягко льющимся халатом, и тело женщины, и это странное существо с собачьими ушами и кошачьей статью. Ритм достигается крайней простотой, лаконичностью и гибкостью линий.

И другой лист. Только он называется «Лунный джаз». На нем официантка с мотыльковыми крыльшками. Это такая же высокая, нежная и холодная красавица блондинка (Калмыков, видно, признавал только один тип женской красоты). Она несёт поднос. На подносе узкогорлая бутылка и ваза с веткой. На ней такие легкие одежды, что видно все ее тело. Или иначе: все ее тело — это единая переливающаяся линия, заключенная в овал одежды. Ночь. Лестница, открытая эстрада. По ступенькам спускается слуга в диковинной шляпе и плаще. Вот и опять почти все. И опять — никак не опишешь и не передашь словами очарование этого рисунка.

И таких рисунков — сюит, джазов, набросков — после Калмыкова осталось великое множество, может, двести или триста листов. Они исполнены в разной технике. Пунктир² и линии, пустые и закрашенные контуры — карандаш и акварель. Так, например, между других работ есть лист «Кавалер Мот». Внешне кавалер очень напоминает Калмыкова. Такой же бурый плащ, такой же берет, такая же мантилья сумасшедшего цвета. И ордена, ордена, ордена! Ордена всех несуществующих государств мира. Идет, смеется и весело смотрит на вас. Но вот этого у Калмыкова не было совершенно — он всегда оставался серьезным. Спрашивали — охотно отвечал на все вопросы, но никогда не заговаривал первым. А вот что «никто больше меня не любит рисовать на улице» — это точно. Но в тот мир, где играли лунные джазы, парили крылатые краса-

² «Большое место в творчестве С. И. Калмыкова занимает серия фантастических пейзажей в стиле монстр. Это рисунки, выполненные строго в стиле линией, составленной из точек» (М. Меллер).

вицы и расхаживали бравые кавалеры Мот, он не допускал никого. Там он был всегда один!

Всего этого Зыбин не знал да и не мог знать, а если говорить с полной откровенностью, и не захотел бы тогда знать. Не очень это время подходило для лунных джазов и кавалеров Мот. Но всего этого Зыбин опять-таки попросту не знал. И в тот день на Зеленом базаре, глядя на художника, он тоже ничего не понял и ничего не вспомнил. Статья о пустых чемоданах (которую, кстати, он же редактировал и правил) просто пришла ему в голову. Он только подумал: вот чудак-то! И как хорошо, что на одного чудака в Алма-Ате стало больше. Но встречать Калмыкова он встречал, и вот по какому поводу. Однажды недели за две до этого директор сказал ему:

— Ты в этот выходной что делаешь? Никуда не собираешься? Ну и отлично! Так вот, в выходной я к тебе заеду, и поедем на Алмаатинку. Хорошо?

— Хорошо,— ответил он, хотя немного удивился. Ему даже подумалось, не хочет ли директор пригласить его в шашлычную. В это время лета они вырастают на каждом камешке. Но директор тут же пояснил:

— Мы там филиал около парка Горького строим, «Наука и религия». Там у меня дед уже со вчерашнего утра с артелью плотников орудует. Так вот, сходим посмотреть как и что.

Он пожал плечами.

— А что я в этом понимаю?

— В плотничьем деле?— удивился директор.— Да ровно ничего. Ты, я смотрю, и гвоздя как следует не можешь забить. Вон тот тигр у тебя как-нибудь рухнет со стены и расшибется, к чертовой матери.

На стене висело «Нападение тигра на роту солдат вблизи города Верного» — картина старинная, темная, сухая, плохая и в музее очень ценящаяся. С нее даже в вестибюле снимки продавали. Еще бы! Такой сюжет!

— Ее как раз дед-то и вешал,— сказал Зыбин.

— Да? Ах старый черт! Смотри, прямо в кирпич гвоздь ведь вогнал и погнул. Ну скажу я ему при случае. Видишь, там художник у нас один работает. Калмыков, не слышал? (Зыбин покачал головой. Он действительно не знал, кто это.) Да знаешь ты его, знаешь. Он по улицам в берете и голубых штанах таким принцем-нищим ходит! Что, неужели не видал?

— Ну, ну,— ответил Зыбин и засмеялся.

Засмеялся и директор.

— Ну, вспомнил. Так вот художник-то он все-таки отличный. И что надо, то он нам сделает. Да и работает он вроде по тому же самому делу. Пишет декорации в оперном. Я ему сказал: «Рисуй так, чтобы посетитель и замирал на месте, и чтоб у него родимчик делался». Он говорит: «Сделаю». Завтра обещал прийти и эскизы принести. Так вот поедем посмотрим, что он там сочинил.

На Алмаатинку они пришли рано утром и сразу увидели, что дело кипит.

На большой синей глыбине стояли дед и художник Калмыков. Дед держал в руках развернутый лист ватмана, а Калмыков что-то тихо и убедительно объяснял деду. Дед слушал и молчал.

— А вот дед, между прочим, его не одобряет,— сказал директор.— Вот все его финтифлюшки он никак не одобряет, дед любит строгость. Он, будь его власть, сейчас бы его обрил наголо и в холщовые штаны засунул. А ну подойдем.

Они подошли. Калмыков приветствовал их строго и достойно. Слегка поклонился, сохраняя полную одеревенелую неподвижность

туловища, и дотронулся пальцем до берета. Поклонился и директор. Все трое вдруг стали серьезными и сухими, как на приеме.

— А ну покажите эскиз,— сказал директор.

На большом листе ватмана было изображено золотое небо астрологов. По кругу знаки зодиака, затем созвездия Девы, Андромеды, Медведица Большая и Малая, еще что-то подобное же, а внизу два черных сфинкса и огромная триумфальная арка с Дворцовой площади. В арку въезжает трактор — обыкновенный «ЧТЗ», и едет он прямо-прямо в небо, в его золотые созвездия. Все это было нарисовано твердо, четко, с ясностью, красочностью и наглядностью учебных пособий. Но кроме этой ясности было в ватмане и кое-что иное, уже относящееся к искусству. Только художник мог изобразить такое глубокое таинственное небо. До того синее, что оно казалось черным, и до того глубокое, что звезды в нем действительно сверкали как бы из бесконечности, из разных точек ее. А ведь краски-то Калмыков употреблял самые обычные, простые, школьные, и все-таки получилось все: и бескрайность полотна, и огромность неба, и сама вечность, выраженная в этих таинственных, слегка отливающих черным светом сфинксах. А в дворцовую арку, альбомную, плакатную, запетую и затертую миллионными тиражами, въезжал рядовой трактор «ЧТЗ», и за его рулем сидел парень в рабочей куртке. Все это разнородное, разномастное — небесное и земное, тот мир и этот — было сведено в простую и ясную композицию. В ее четкости, нерасторжимости и естественности и выражалась, видимо, мысль художника.

— Это что же будет?— спросил директор.— Вход?

— Нет,— ответил художник,— для входа я сделал другой эскиз. А это стенная роспись.

— Так,— сказал директор.— Та-ак. Ну, хранитель, твое мнение? Зыбин пожал плечами.

— Все это, конечно, произведет впечатление. Но уж очень необычна сама композиция.

— Чем же?— ласково спросил художник.

— Так ведь это павильон «Наука и религия»?— сказал Зыбин.— Значит, откуда тут взялось звездное небо, понятно. Понятны, пожалуй, и сфинксы. Но вот трактор и эта арка...

— А через эту арку красногвардейцы шли на приступ Зимнего,— напомнил директор.

— И трактор как живой,— похвалил дед.— На таком у меня внучок ездит. Только вот флажка нет.

Опять они стояли, молчали и думали. Зыбин видел: эскиз директору явно нравился, но он чувствовал его необычность и боялся, не пострадает ли от этого доходчивость. Все ли поймут замысел художника.

— Ну, ну, высказывайся, хранитель,— сказал он настойчиво.— Давай обсуждать.

— И пространство у вас какое-то странное,— сказал Зыбин.— Как бы не полностью разрешенное. Это не плоскость и не сфера. Вещи лишены перспективы, все они как бы не одновременны.

Калмыков вдруг остро взглянул на него.

— Вот именно,— сказал он,— вот именно. Вы это очень хорошо подметили. Время я тут уничтожил, я...— Он сделал паузу и выговорил ясно и четко, глядя в глаза Зыбину:— Я нарушил тут равновесие углов и линий, а стоит их нарушить, как они станут удлиненными до бесконечности. Вы представляете себе, что такое точка?

Зыбин представлял себе, что такое точка, но на всякий случай отрицательно покачал головой.

— Вот,— сказал художник с глубоким удовлетворением,— один вы из всех мне известных людей сознались, что не знаете. Точка есть нулевое состояние бесконечного количества концентри-

ческих кругов, из которых одни под одним знаком распространяются вокруг круга, а другие под противоположным знаком распространяются от нулевого круга внутрь. Точка может быть и с космос.

Он сказал, вернее, выпалил это одним духом и победно посмотрел на всех.

Но директор недовольно поморщился. Сейчас он понял: нет, до масс это не дойдет. Сложно.

— У нас это не пойдет,— сказал он коротко.— Трактор и арку уберите, а небо можно оставить. Но еще что-нибудь надо, на другие стены. Ну, суд над Галилеем. Битва динозавров. Не Бог сотворил человека, а человек Бога по образу и подобию своему. Завтра зайдете ко мне, посмотрим вместе, подберем.

— Понятно. Будет сделано,— сказал художник и молча отошел к берегу Алмаатинки. Там у него стоял мольберт и уже собирались зеваки и ребята. А кто-то длинный и пьяный важно объяснял, что этого художника он хорошо знает и он постоянно ходит в зеленых штанах, потому что у него такая вера.

Подошел к мольберту и Зыбин.

— Можно взглянуть?— спросил он.

Калмыков пожал плечами.

— Пожалуйста,— сказал он равнодушно,— только что смотреть? Ничего еще не закончено... Вот если бы вы зашли ко мне домой, я бы показал вам кое-что.— И вдруг обернулся к нему.— Так, может, зайдете?

— Спасибо,— сказал Зыбин,— обязательно зайду. Дайте только адрес, сегодня же и зайду.

Через много лет он написал:

«Попал к нему я, однако, только через четверть века. Потому что в тот день как-то у меня не оказалось времени, а потом он уже и не звал к себе. А затем мы разъехались в разные стороны, и я совсем забыл о художнике Калмыкове. Знал только, что из театра он ушел на пенсию, получил однокомнатную квартиру где-то в микрорайоне (а раньше жил в старых казарменных бараках) и теперь живет один, питается молоком и кашей (он заядлый вегетарианец). Его часто видят на улицах. В прошлые мои приезды я тоже видел его раза три, но он на меня, как и на всех окружающих, никакого внимания не обратил, и поэтому я молча прошел мимо. Я заметил, что он похудел, пожелтел, что у него заострилось и старчески усохло лицо. И еще глубже прорезались у носа прямые глубокие морщины. «Лицо измятое, как бумажный рубль»,— написал где-то Грин о таких лицах. А надето на нем было что-то уж совершенно невообразимое — балахон, шаровары с золотистыми лампасами и на боку что-то вроде огромного бубна с вышитыми на нем языками разноцветного пламени. Ярко-красные, желтые, фиолетовые, багровые шелковые нитки. Он стоял около газетного киоска и покупал газеты. Великое множество газет, все газеты, какие только были у киоскера. Я вспомнил об этом, когда на третий день после смерти художника вошел в его комнату. Газет в ней было великое множество. Из всех видов мебели он знал только пуфы, сделанные из связок газет. Больше ничего не было. Стол. На столе чайник, пара стаканов, и все. Да и что ему надо было больше?

Безумно счастливый, целеустремленный и цельный человек жил, двигался и говорил среди этих газетных пуфов и папок с бесконечными романами.

На этих пуфах ему снились раскрашенные сны, и тогда он записывал в алфавитную книгу (на «Э»):

«Энное количество медведей, белых, арктических, северных, понесли меня в черных лакированных носилках! Бакстовские негры

возглавляли шествие! Маленькие обезьяны капуцины следовали за ними!»

Или же (на «Я»):

«Я видел анфилады залов, сверкающих разноцветными изразцами!»

«Я проходил по палатам, испещренным всякими знаками».

Да, в очень красивом и необычайном мире жил бывший художник-исполнитель Оперного театра имени Абая Сергей Иванович Калмыков.

И вот тут, среди действительно блистающих изразцов, лунных джазов, фей и кавалеров, я увидел на куске картона нечто совершенно иное — что-то мутное, перекрученное, вспененное, мучительное, почти страшное. Посмотрел на дату и вдруг понял — у меня в руках именно то, что Калмыков писал четверть века назад, в тот день нашего единственного с ним разговора. Крупными мазками белил, охры и берлинской лазури (так, что ли, называют эти краски художники?) Калмыков изобразил то место, где по мановению директора на берегу Алмаатинки должен был возникнуть волшебный павильон «Наука и религия».

Глыбы, глыбины, мелкая цветастая галька, острый щебень, изрытый пологий берег, бурное, пенистое течение с водоворотами и воронками — брызги и гул, а на самых больших глыбинах разлеглись люди в трусиках и жарятся под солнцем. Вот в солнце и заключалось все — его прямой луч все пронизывал и все преображал, он подчеркивал объемы, лепил формы. И все предметы под его накалом излучали свое собственное сияние — жесткий, желтый, пронизывающий свет.

От этого солнца речонка, например, напоминала тело с содранной кожей. Ясно видны пучки мускулов, белые и желтые бугры, застывшие в судорогах, перекрученные фасции. Картина так дисгармонична, что от нее рябит в глазах. Она утомляет своей напряженностью. Ведь такой вид не повесишь у себя в комнате. Но вот если ее выставить в галерее, то сколько бы полотен ни висело бы там еще, вы обязательно остановитесь именно перед этим напряженным, неприятным и мало на что похожим. Конечно, постойте, посмотрите да и пройдете мимо, может быть, еще плечами пожмете: ну и нарисовал! это что же, Алмаатинка наша такая?!

Но вот что обязательно случится потом: на улице ли или вечером за чаем, а то уже лежа в кровати, без всякого на то повода вы вспомните: «А та речка-то! Что он хотел ею сказать? Мысль-то, мысль-то какая заложена во всем этом?» И примерно через неделю именно это и произошло со мной, я вдруг понял, что же именно здесь изображено. Калмыков написал землю. Землю вообще. Такую, какой она ему представилась в то далекое утро. Чуждую, еще до сих пор не обжитую планету. Вместилище диких, неуравновешенных сил. Ничего, что тут ребята, ничего, что они купаются и загорают, — до них речке никакого дела нет: у нее свой космический смысл, своя цель, и она выполняет его со спокойной настойчивостью всякой косной материи. Поэтому она и походит на обнаженную связку мускулов, поэтому все в ней напряжено, все на пределе. И глыбы ей тоже под стать — потому что и не глыбы они вовсе, а осколки планеты, куски горного хребта. И цвета у них дикие, приглушенные — такие, какие никогда не используют люди. И совсем тут не важно, что речонка паршивенькая, а глыбы не глыбы даже, а попросту большие обкатанные валуны. Все равно, это сама природа — *natura naturata*, как говорили древние: природа природствующая. И здесь, на крохотном кусочке картона, в изображении десятка метров городской речонки бушует такой же космос, как и там, наверху, в звездах, галактиках, метagalactиках, еще Бог знает где. А ребята пусть у ног ее играют в камушки, пусть загорают,

пусть себе, пусть! Ей до этого никакого дела нет. Вот отсюда и жесткость красок, и резкость света, и подчеркнутость объемов — это все родовые черты неживой материи, свидетельство о тех грозных силах, которыми они созданы. Да они и сами, эти камни, просто-напросто разлетевшиеся и застывшие сгустки ее мощи. Так изобразил художник Алмаатинку в тот день, когда он развертывал перед нами свой первый лист ватмана с Древним астрологическим небом и трактором, въезжающим через дворцовую арку на самый Млечный Путь. Это Алмаатинка, увиденная из туманности Андромеды. А сейчас эта картина висит у меня над книжным шкафом, и я каждый день смотрю на нее. Оказывается, от этого можно даже получать удовольствие — до того здорово сделано. А сейчас картины художника Калмыкова находятся в Художественной галерее Казахстана, их свалили навалом и привезли туда. Если когда-нибудь их выставят, свезите: посмотрите, многое вам покажется чудовищным или непонятным, но не осуждайте, не осуждайте сразу же, с ходу художника. Так, зазря, не обдумав, художник Калмыков ничего не творил, во всех его набросках есть свой смысл, своя идея, только доискаться до них порой не так уж просто. Что поделывать, ведь существуют же такие странные, ничем не управляемые вещи, как мечты, фантазия и просто свое видение мира».

...Он повернулся, выбрался из толпы и пошел в музей. Дверь в отдел хранения оказалась полуоткрытой. Он вошел и увидел, что Клара сидит за столом, облокотилась подбородком на руки и смотрит прямо на него. Лицо у нее спокойное, ясное. А вот глаза больные. В них не осталось даже того сухого, скорбного блеска, что он подметил часа два тому назад, когда они разговаривали о черепе. И череп этот тоже лежал рядом, и из его глазниц уже свисала свежая белая этикетка на красной ниточке. Зыбин вошел и остановился у притолоки. Клара молчала. Он хотел что-то сказать ей, но она прямо смотрела на него, и он никак не улавливал смысла ее взгляда. Так они и глядели друг на друга в страшной неудобности, близости и связанности. И вдруг он понял, что она попросту не видит его.

— Клара, — позвал он тихо.

Она не двинулась и еще какие-то секунды пробыла так в своей отрешенности, а потом вдруг тихо вздохнула и совершенно спокойно, без всякого перехода сказала:

— Проходите, Георгий Николаевич. Я уже инвентаризировала череп. Можете брать, если нужно.

Тогда он быстро прошел к ней, положил ей обе руки на плечи, слегка встряхнул их и сказал ласково и настойчиво:

— Кларочка, милая, ну что с вами такое? Ну что? Случилось что-нибудь?

Она слегка вздохнула и наклонила голову. Тогда он тихонько пригнулся рядом и обнял ее за плечи.

— Может, я обидел вас чем-нибудь? — сказал он и сразу подумал: «Ах, дурак, дурак».

Почти незаметным гибким движением плеча она освободилась и встала.

— Ну что вы, — сказала она спокойно, отменяя все. — Так, значит, черепа вам не надо? Тогда я его спрячу в шкаф. Посмотрите только, правильно ли я в карточке переписала.

Он не глядя отодвинул карточку.

— Правильно, моя усуньская царица, — сказал он нежно. — Совершенно все правильно. А знаете, кто это была?

— Кто? — спросила она.

Он молча взял ее за виски, повернул к себе и поцеловал в оба глаза крепко и бережно. Потом еще и еще. И вдруг ее лицо покрылось испариной и рот дрогнул, как у маленькой.

— Это ваша прабабушка, моя дорогая,— сказал он.— Ваша родная прабабушка, моя колдунья!

Она открыла шкаф, положила череп на полку, снова закрыла дверцы шкафа и простояла так с минуту спиной к нему.

— Вы к директору? Лучше всего, если вы сейчас не пойдете к нему,— сказала она не поворачиваясь.— Он, по-моему, что-то не очень в духе. Я с ним говорила и...

Вот какой разговор у нее произошел с директором.

— Я, Кларочка, потому попросил вас остаться, что хочу серьезно поговорить о нашем хранителе,— сказал директор, смущаясь и не глядя на нее.— Ведь, кроме вас, у него, дурака, никого нет.

Он поднял со стола какую-то папку и сердито бросил ее обратно.

Клара посмотрела на директора. Он поймал ее взгляд и нахмурился.

— Ну я-то не в счет,— сказал он сварливо.— Я человек старый, служебный, и поэтому он смотрит на меня вот так.— Директор сделал кулак трубкой и поднес к глазу.— Оно, конечно, по совести, может быть, так оно и есть, но если взглянуть по-деловому... Ну нельзя так, как он! Ну никак нельзя! Не то время! А он ничего не понимает! Ну вот что вы, например, думаете о Корнилове?

Она сделала какой-то неопределенный жест.

— Ну что он из себя представляет? Ценный работник, знающий товарищ или как? — настойчиво спросил директор.

— Кажется, да,— ответила Клара.

— Ну и дисциплинированный, конечно? Да? День и ночь сидит за книгами, да? Или как? Вот хранитель хоть пьет, да работает. А этот что — пьет и не работает?

Клара подумала.

— Но эта история с костями — ведь это он ее...— сказала она осторожно.

Директор поморщился.

— Ну он-то он, конечно. Но тут и другое кое-что сыграло. Видите, отыскалась одна старая знакомая, так вот она...— Он опять поглядел на Клару и осекся. Клара молчала.— Так вот что я хочу вас попросить,— продолжал он, помолчав,— поговорите с хранителем. Пусть он скажет Корнилову: «Откуси свой поганый язычок ровно наполовину». Понимаете?

— Нет,— ответила Клара.— Не понимаю. То есть я... А в чем дело?

— А в том,— обозлился директор,— в том, что они оба загремят, как медные котелки! И следов потом их не сыщешь! Младший загремит за глотку, а старший за дурость, за то, что слушает и молчит. Ну а раз молчит, значит, соглашается, а раз соглашается, то участвует. Ну а как же иначе? Кто не за нас, тот против нас. Знаете, кто это? Маяковский!

Наступила пауза.

Клара стояла и думала.

— Позвольте, Степан Митрофанович,— сказала она наконец.— Я все-таки что-то не пойму. Ну тот кричит, хорошо! А что ж, по-вашему, Зыбин должен делать? Бежать заявлять?

Директор болезненно усмехнулся.

— Что там бежать, без него уж сбегали! Десять раз уж, наверно, сбегали. Он должен был крикнуть ему: «Молчи, дурак, если сам лезешь в яму, так другого не тащи». Вот что он должен был сделать. Неужели это непонятно? Удивляюсь тогда вам. Умная девушка и ничего не видит. Ну да что там говорить! — Он махнул рукой, гневно прошелся по комнате, подошел к окну, закрыл его, подошел к столу, сел в кресло, выдвинул ящик стола, опять задвинул, схватил телефонную трубку и опустил снова. Он был здорово расстроен.

— Ну ладно,— сказала Клара, сообразив все.— Положим, Георгий Николаевич скажет Корнилову «молчи», а Корнилов его не слушает, тогда что? Бежать заявлять? Да, может быть, он и говорил ему уже.

— Говорил? — Директор со всего размаху выдвинул и задвинул ящик.— Ни черта лысого он ему не говорил! Пил с ним — вот это да! А говорить надо с Корниловым так, чтоб он послушался. А не слушается — матом его покрой, в морду дай, и хорошенько, чтоб он с час валялся. Вот я и прошу, чтоб вы сказали ему все это. Вас он, может, слушает.

— А вы?

— Ну что я,— нехотя ответил директор.— Я руководитель. Я если что знаю, то должен того... меры принимать, а не предупреждать. Идиотская болезнь благодушие — знаете, что это такое по нашему времени?

Клара подумала.

— Ну и я не буду предупреждать,— сказала она.

— Как? Не будете? — очень удивился директор.

— Не буду,— ответила Клара скорбно и твердо.

— Да ведь посадят дурака, обязательно посадят! — крикнул директор тоскливо.

— Его дело,— вздохнула Клара.— А я ничем тут помочь не могу.

— Здорово,— сказал директор, вставая и подходя к Кларе.— Вот уж чего не ожидал. Да в конце концов питаете вы к нему хоть какие-нибудь чувства? Ну хоть дружеские, что ли?

Теперь они стояли друг против друга и смотрели друг другу в глаза. Очень редко люди разговаривают так пристально.

— Ну зачем вы спрашиваете? — ответила она, мучаясь.— Вы же...

— Значит, пусть сидит, так лучше? — крикнул директор в запале.

Она вздохнула, но глаз не отвела. Ее мучил и мучил этот разговор, но она понимала — от него не уйдешь.

— Да нет, конечно, хуже. Но что для человека лучше, что хуже — только он один и знает. Никто другой ему тут не указчик.

— Так,— повторил директор.— Так.— И вдруг засмеялся. Как-то очень горестно, даже скорбно, но в то же время и освобожденно.— А я ведь и не знал, что вы такая. Ну что ж, вам, конечно, виднее. Но откуда такие берутся, вот такие, как он, тихие, настырные и дурные? Время, что ли, такое? Ведь знает все и вот лезет, лезет в яму.

— Не знаю,— она вздохнула.— Не знаю, Степан Митрофанович, да, может, ничего и не будет, может, все обойдется.

Директор покачал головой.

— Нет.

— Тогда, может, уволить Корнилова?

— Уже думал, нельзя,— вздохнул директор.— В том-то и дело, что уже ничего нельзя. Два дня тому назад мне звонил Мирошников — Корнилова не увольнять, с места не трогать, раскопки вести. Это без всякого повода с моей стороны. А почему, говорит, не увольнять — ты сам должен понять. Вот и весь разговор. Я понял...

— Лучше всего, если вы не пойдете к директору,— сказала Клара.— Он, по-моему, что-то очень не в духе. Я говорила с ним.

— Это да,— согласился Зыбин.— Конечно, ему сейчас ничего не мило. Заметили, как он бросил эти корочки на стол? Не заметили? Ну ладно — пережду! Слушайте, Кларочка, мне нужна будет ваша помощь. Безотлагательно. Больше взять некого.

— Поедем куда-нибудь? — спросила Клара.

— Да, поедем,— ответил Зыбин беззаботно.— Тут недалеко, часа полтора. Дойдем до реки Или, выкупаемся, полежим на камушках,

прогуляемся по течению верст пять-шесть, потом я останусь, а вы вернетесь. Вот и все.

Клара молча поглядела на него.

— Ну прогуляемся, покупаемся, встретимся с рыбаками, у костра посидим, уху сварим,— пояснил он.— Там у рыбаков маринка есть. Целый рыболовецкий колхоз. «Первое мая». Только отойдешь от станции — и тони, тони. Там у меня шофер знакомый. Савельев. Ну как, поехали?

— Сегодня? — спросила Клара.

— Ну вот, сегодня,— возмутился он.— Что вы такое говорите! Завтра, завтра с утра, так часиков с пяти. Хорошо? Я вам позвоню, а вы выйдете к фонтану.

— Хорошо,— ответила Клара.— Завтра утром в пять у фонтана. Вы мне позвоните, а я выйду. Хорошо.

Вид у нее был очень утомленный.

После этого он сразу стал собираться. Был еще только полдень, и он с дачным чемоданчиком ходил по магазинам и закупал. Купил бутылку водки себе, купил бутылку рислинга Кларе, купил термос, полкило колбасы одной, полкило колбасы другой. Уже вышел из магазина, но вдруг что-то вспомнил или придумал, возвратился и взял еще целый литр водки. Потом с сумкой он вернулся в музей и полез на чердак. Под старой балкой хранилась у него одна штукавина. Была эта штукавина обернута в промасленную холстину, помещалась на ладони и отливала синей вороненой сталью — увесистая, таинственная и страшная штукавина, которую нельзя было показать никому, даже Кларе. Он наткнулся на нее еще весной, когда осматривал чердак. За самой верхней балкой была проволокой примотана к потолку холстина, а в ней бельгийский браунинг и две коробки патронов к нему, офицерская сумка с биноклем, компас, карта-трехверстка, зажигалка, морской кортик и записная книжка «Врач» (издание доктора Окса). Книжка оказалась совершенно чистой, только на первой странице были какие-то прописи. Зыбин все оставил как есть, а браунинг с патронами снял и перепрятал. Он и сам не знал, почему он сразу не отнес находку директору. Но не отнес, а оставил на чердаке, там же и теперь каждый месяц снимал, развертывал, осматривал, смазывал и клал обратно. Сейчас он достал браунинг, осмотрел и опустил в задний карман брюк.

«Надо будет еще взглянуть на карту,— подумал он.— Хотя ведь будем идти прямо по промыслам».

Он сошел вниз и пошел по залам музея. «Но и курганы надо будет тоже учитьвать,— сообразал он.— Может быть, прихватить с собой саперную лопатку? Есть, кажется, у директора парочка их. Только вот таскаться с ними... Ладно, обойдусь».

Он зашел в караульное помещение и засунул сумку с провизией в шкаф. Казах-караульщик спал на топчане спиной к нему прямо на голых досках, только под голову положил тубетейку. «И куда это он дрыхнет? — подумал Зыбин.— И днем спит, и ночью спит, и еще в выходной приходит из дома спать». Он усмехнулся и вышел на широкие ступеньки храма. До двух часов еще оставалась бездна времени, и он не знал, куда его девать. И тут к нему подошел человек в форме. Тот самый человек с ласковыми глазами, тихим голосом, что еще час назад приходил забирать диадему как вещественное доказательство, чтоб приобщить к чему-то, составленному на кого-то. Тот самый, который любил говорить: «Указ от седьмого восьмого — общественная собственность священна и неприкосновенна, десять лет тайги и пять поражений».

И всегда вырастал почти физически, когда произносил эту священную формулу.

— Георгий Николаевич,— сказал этот человек,— вас просил зайти начальник всего минут на десять — пятнадцать. Я тут с машиной.

«А браунинг? — быстро и остро подумалось Зыбину. — Зайти к Кларе и сунуть в шкаф, а что она тогда подумает? Да и не пустит меня эта анафема».

— Ну что ж, пойдёмте, — легко согласился он. — На полчаса я могу.

Он всегда был немного фаталистом.

Провожатый велел обожждать в коридоре, а сам зашел в кабинет, да почти сейчас же и вышел.

— Вас позовут, — сказал он, — подождите.

Зыбин посмотрел на дверь. Была она высокая, непроницаемая, обитая черной клеенкой.

Зато коридор был уже безо всяких затей — голые стены. И ни скамейки, ни стула. Здесь ждуть стоя, понял он. Но ждать ему пришлось всего минут пять. Приотворилась дверь, и его позвали. Он вошел. Кабинет оказался большой уютной комнатой с большими окнами, распахнутыми прямо в аллею тополей. Всю стену занимала карта мира. Под картой стояло несколько мягких стульев в белых чехлах, и в самом углу у двери примостился маленький светлый столик. Такие стоят в уличных кафе. Зато письменный стол около господствовал над всем. Это было огромное чудовище — с зеленым сукном, мощными тумбочками, тяжелым бронзовым прибором и подковкой для ручек. За столом этим сидел душка военный — полный, седой, розовый, благодушный, с каким-то очень почтенным значком на груди. Перед ним на листе бумаги лежали желтые кружки.

Сбоку стоял высокий чернявый человек с великолепным блестящим прибором. Оба смотрели на Зыбина и улыбались.

— А, товарищ ученый, — радостно сказал военный (чернявый был в штатском), — ждем, ждем! Ну-ка, как вам понравятся наши грошки. Товарищ Зеленый, продемонстрируйте.

Штатский слегка передвинул лист по столу.

Зыбин взял кружочки, посмотрел, повертел, попробовал на зуб и сказал:

— Это что же? От зубных врачей?

Начальник взглянул на чернявого. Чернявый оскалился (показались узорчатые порченные зубы).

— Почему так думаете? — стремительно спросил розовый военный и даже слегка привстал.

— Да что ж тут думать! Приготовлены для переплавки. Видите, как их расплющили.

— Логично, — благожелательно улыбнулся чернявый. — Товарищ кое-что понимает.

Полковник сел опять.

— О, они, в музее, все на свете понимают, — усмехнулся он. — Ты знаешь, как они его там зовут? Хранителем Древностей. Так вот, товарищ хранитель древностей, как же вы ваши древности-то и не сохранили? Копали вы, копали всякие черепа да кости собачьи, а чуть золото вам принесли, так вы сразу обалдели и все упустили из рук. Нескладно ведь как-то получается, а?

— Вы мне разрешите присесть? — спросил Зыбин и сел на мягкий стул у стены. — Да, очень нескладно.

— Да вы вот за тот столик садитесь, — сказал военный, — там удобнее.

Зыбин сел, и оказалось, что он сидит в самом углу кабинета на жидком скригучем стульчике, а перед ним встает огромный стол, и за столом этим сидит некто Вяжущий и Разрешающий; судия праведный и неумытный. «Здорово задумано, — подумал Зыбин; — вот тебе и первая психическая, принимай ее, пожалуйста!»

— А ведь так ловко получилось, что и виноватых-то не отыщешь, — развел руками полковник. — А там, может быть, с пуд золота

было. Ведь в Прищепинском кладе одного скифского золота нашли двадцать пять килограмм! Да серебра пять-десять! Это же мешок валюты! Мешок! И вы его проморгали! Это как?

«Ах ты моя прелесть,— подумал Зыбин.— Скифское золото он знает!» — и сам не заметил, как улыбнулся. Душка военный сразу же на лету подхватил эту улыбку.

— Вам смешно? — спросил он горько.— Да, вот вам смешно, а мы плачем. Потому упустили-то вы, а требуют его от нас. Нам говорят — где хотите, там и возьмите, но чтоб лежало на столе. Ну что ж, будет лежать! В лепешку расшибемся, а положим! Товарищи ученые хранили, да не сохранили, а чекисты из-под земли вытащат да в государственный сейф отнесут. Такова уж наша обязанность. Товарищ лейтенант, столяр здесь?

— Поехали за ним, товарищ полковник,— ответил лейтенант.

— Сразу же его ко мне! — приказал полковник грубым голосом.— Но и на вас, товарищ Зыбин, ложится тяжелая моральная ответственность! Да, тяжелая и большая! Не все тут нам пока ясно, не всему мы тут можем и поверить. Такая безответственность в государственном учреждении... Ну да лейтенант будет с вами говорить об этом. Так расскажите ему все, что знаете! Все! И честно! Ничего не скрывая! Если есть у вас на кого-нибудь подозрение или вы чувствуете, что совершили ошибку, так прямо и говорите. Мы за это с вас голову не снимем, а поможет это и нам и вам сильно. Теперь ваше спасение только в правде!

«Вот тебе и пятнадцать минут»,— подумал Зыбин.

— Можете не сомневаться,— ответил он со своего скрипучего стульчика,— что знаю — то скажу.

— А мы нисколько и не сомневаемся,— затряс головой полковник.— Мы видим, с кем имеем дело. Так вот, товарищ лейтенант, заполните бланк протокола допроса свидетеля, а дальше товарищ Зыбин будет писать сам. Товарищ Зыбин, подойдите-ка сюда. Значит, договорились? Все по порядку — не торопясь, не волнуясь, откровенно, толково, ничего не пропуская. Что думаете, что предполагаете, что могли бы предложить. Договорились?

— Каким образом в музей установились такие порядки, а вернее, беспорядки? — мелодично пропел чернявый.— Были ли до этого случая пропажи ценностей? Нас все это чрезвычайно интересует.

— Да, да, конечно,— подтвердил полковник.— Ну, я не прощаюсь, товарищ Зыбин. Увидимся. А это все на экспертизу и заключение,— приказал он и протянул чернявому лист с кружками.

И тут Зыбин чуть не вскрикнул. Под толстым настольным стеклом он увидел нечто совершенно невероятное: огромный, в ладонь, глаз, круглый зрачок и в зрачке этом кулак с финкой. И рядом другое фото: тоже глаз, а в нем уже целая композиция — фонарь, стена и зверское лицо бандита. Бандит как в кинематографе: зверский прищур, шрам поперек лба, кепка, надвинутая на брови, клочок волос.

Зыбин посмотрел на полковника. Полковник нахмурился — чернявый тронул Зыбина за плечо.

«Шустрят,— подумал он, проходя вслед за чернявым к столу.— Ох и шустрят! Землю роют! Актеры! Фокусники! Поэтому бандиты и глаза у мертвых выкальвают, потому что на милицейских столах появились вот такие фокусы. Скажут бандиту: «Смотри, до чего дошла наша наука! Не будь фраером — колись, пока можно. Говорили так одному: вырази чистосердечное, спаси свою дурацкую башку. Нет, не захотел и получил вышку, вот и ты...» Глядишь, бандит и верно расколется. А нет — что поделаешь? Жалобу прокурору на беззаконие и шантаж он все равно не подаст.

Ладно, какое мне дело до хулиганов. С ними ведь главное — выследить. Поймать зверя и выбросить его из общества. Вот что главное с ними.

Ах, вот как ты заговорил, товарищ Зыбин. Значит, цель оправдывает средства. Значит, как ни вертись, а все-таки цель оправдывает средства. С бандитом можно, а с товарищем Зыбиным нельзя. С ним надо по закону. А, собственно, почему?

Слушай, сейчас тебе будет очень трудно. Ты уже это почувствовал и заюлил. Так вот помни: если с бандитом можно, то и с тобой можно. А с тобой нельзя только потому, что и с бандитом так нельзя. Только потому! Помни! Помни! Пожалуйста, помни это, и тогда ты будешь себя вести как человек. В этом твое единственное спасение!»

— Вот сюда,— сказал чернявый и открыл дверь в конце коридора. Это была очень маленькая комнатка, почти бокс — окно, стол и стул. Чернявый сказал:

— Садитесь, пожалуйста. Вот чернила и ручка.— Он выдвинул ящик стола и вынул оттуда несколько бланков протокола допроса.— Пишите: «По существу дела показать могу следующее: такого-то числа такого-то месяца во столько-то часов я узнал от директора центрального музея — фамилия,— что в музей поступил золотой клад, содержащий...» — ну и дальше по порядку, что именно поступило. Установочные данные заполним потом. Через полчаса я зайду. Подпишу вам пропуск — стоворились?

Он ушел, осторожно притворив дверь.

И Зыбин подумал и стал писать. Сначала написал об обстоятельствах находки и затем о том, что, конечно, находка уникальна, ничего подобного ни в Казахстане, ни в Средней Азии никогда еще обнаружено не было. Что, однако, все выводы о находке и ее ценности являются только предварительными. Для здоровой оценки требуется провести ряд анализов, получить специальные консультации и, в частности, разыскать само место. Дальше он писал о том, что сделать это будет чрезвычайно трудно, поскольку по несчастливой случайности — а они всегда преследуют археологов! — очевидцы исчезли. Но трудно ведь не значит безнадежно. Найдку сделали не в пустыне. Имеется археологическая карта Семиречья. Кое-что, может быть, можно будет извлечь из анализа показаний очевидцев: по ряду признаков можно думать, что самое главное — способ захоронения и обстоятельства находки — они изложили правильно. Все остальные их рассказы по ряду причин доверия не вызывают. Но нужна крайняя осторожность. Самое главное теперь — не вспугнуть. Археологическое золото трудно появляется на свет, но очень легко проваливается сквозь землю. Примеров тому тьма. И тут сразу же нужно сказать: конечно, ни о каких двадцати пяти килограммах золота и о пятидесяти килограммах серебра говорить не приходится, ибо мы имеем дело не с погребением, а с тайным укрытием трупа. Какая трагедия произошла в степи почти две тысячи лет тому назад — сказать невозможно. Может быть, что-нибудь выяснится позже, когда будут привлечены письменные источники (например, китайские летописи). Может случиться и так, что по мере пополнения наших знаний о древних усунях мы поймем, что означает такое вот ни на что не похожее погребение (если выяснится только, что это все-таки погребение), но сейчас все, связанное с происхождением находки, совершенно неясно. Поэтому и делать какие-нибудь предположения о ее составе (килограммы драгоценных металлов) дело крайне рискованное и даже бесполезное.

Он подписался, а потом подумал и сделал следующий постскрип-тум:

переходя к вопросу о персональной ответственности, надо сказать, что самая постановка его совершенно бессмысленна. Предугадать поступление случайной находки невозможно. Вряд ли было возможно также предвидеть преступный маневр с паспортами. Впрочем, он при этом не был. Вот все, что он может показать.

Засим: старший научный сотрудник и зав отделом археологии... Он отложил ручку и поглядел на часы: времени еще оставалось час. Он снял трубку, вызвал коммутатор, сказал, что ему нужен товарищ Зеленый.

— Номера не знаете? — спросила трубка. — Даю опергруппу.

А опергруппа вдруг в ответ заговорила упругим женским голосом: — Зеленый будет минут через пять. А кто его спрашивает?

Он ответил кто, и тогда его спросили, а готов ли документ. Он ответил, что готов и что он очень торопится.

— Я сейчас к вам зайду и подпишу пропуск, — сказала трубка.

Вошла высокая, молодая, тонкая и стройная брюнетка с гладкой прической. На ней был милицкий китель.

— Ну, все готово? — спросила она, улыбаясь.

У нее была ясная улыбка, гибкий полнозвучный голос, спокойное, ясное и чистое лицо. Совсем не верилось, что она из опергруппы.

— Вот, пожалуйста, — сказал Зыбин.

Брюнетка взяла лист допроса, села и стала его читать. Читала и покачивала головой. Но выражение ясности, ласковости и какой-то тихой насмешки так и не сходило с ее лица. Прочла до конца и положила протокол.

— Очень интересно, — сказала она. — Прямо роман. Но я ведь совершенно не в курсе всего этого. Не расскажете ли мне в двух словах, в чем дело? Вот вы пишете про укрытие трупа. Это что, убийство?

Он засмеялся.

— Как ваше имя? — спросил он.

— Валентина Сергеевна, — ответила она.

— Так вот, этому убийству, Валентина Сергеевна, повторяю, уже более двух тысяч лет. Так что им придется все-таки заниматься не вам, а археологам. А суть дела вот в чем... — И он очень коротко рассказал все, что касалось находки.

Она слушала его не перебивая.

— Все это страшно интересно, — сказала она, когда он кончил. — Действительно, совсем по Пушкину — похищение Людмилы Черномором с пира. Очень интересно. — Она подумала. — Вы написали про череп, а он целый? Никаких признаков насилия на нем нет?

Он покачал головой.

— Ровно никаких. Но она была очень красива. А красавиц, очевидно, бьют в сердце.

Она снова улыбнулась.

— Да, если убил мужчина. Если убила женщина — дело обстоит иначе. Соперниц часто уродуют. Но женщина вряд ли могла увезти труп так далеко. И, конечно, тело не было брошено просто так — иначе его бы расклевали птицы. Значит, в укрытии тела участвовало несколько человек. Вы же говорите о глубине. Но опять-таки: как бы тогда уцелело золото?

— Не знаю, — ответил он. — Тут все может быть.

— Это так, — согласилась она. — Но давайте рассуждать и дальше. Убийца отвозит труп за сто верст (кстати, зачем? Это, пожалуй, непонятнее всего) и прячет там под камень. Значит, вероятно, место было подготовлено. Тогда это убийство с заранее обдуманном намерением, так?

Он засмеялся.

— Никак не могу привыкнуть к этим вашим бойким словечкам. Нет, тут они не подходят совершенно, и прежде всего: мы ничего пока не знаем. Вот будем копать в книгах, изучать карты и, конечно, ездить, лазать, искать. Облазаем всю Карагалинку, может, и наткнемся на что-нибудь подобное. Только для этого нужно, чтобы шуму и звону было поменьше, а вот я уже вижу, что вы пошли хватать дантистов.

Она усмехнулась — мы же милиция!

В это время зазвонил телефон.

— Лейтенант Аникеева слушает, — сказала она в трубку. — Да, товарищ Зеленый! Да, написано и подписано! («Мне некогда», — быстро сказал ей Зыбин.) Вот товарищ Зыбин говорит, что ему очень некогда. Товарищ Зыбин, пожалуйста...

И она сунула ему телефонную трубку.

— Георгий Николаевич, — сказал Зеленый очень вежливо с другого конца провода, — мне очень жаль, но немного подождать вам все же придется. Мы еще с вами не кончили разговора. Вот в вашем распоряжении телефон. Позвоните по ноль один и объясните, что задерживаетесь. Только, пожалуйста, без всяких подробностей. А я приду сейчас же, как освобожусь. — И Зыбин услышал, как по ту сторону звякнула трубка.

«Боже мой, — подумал Зыбин. — Значит, опять я ее не увижу. Боже мой, Боже мой, как у меня всегда по-дурацки складывается. И что им от меня только нужно?» Тут он вспомнил, что в кармане у него браунинг, и его перевернуло.

— Слушайте, — сказал он умоляюще. — Мне нужно было бы забежать в музей, ну хоть на пять минут. У меня, понимаете, ключи. Люди не смогут уйти домой. Я вернусь сейчас же.

Она подумала.

— А вы не опоздаете? — спросила она. — А то позвонит полковник, а вас не будет.

— Ну честное-пречестное, — он даже руки сложил на груди.

— Хорошо, давайте тогда пропуск, — решила она и вынула ручку. — Как какой? Ну тот, по которому вы прошли.

Он пожал плечами.

— Нет, должен быть пропуск. Поищите в кармане. Нет? — Она подошла и слегка подергала ящики стола. Они были заперты. — Без пропуска вы пройти никак не могли. Значит, пропуск остался у старшего лейтенанта.

— Что ж тогда делать? — спросил он растерянно.

Она слегка развела руками.

— Тогда только ждать. Вот телефон, позвоните кому нужно. Сначала позвоните ноль один.

Он снял было трубку и вдруг положил опять.

— Ах, в какую историю вы меня запутали, — сказал он с горечью, — ах, в какую.

Она слегка развела руками.

Он позвонил директору домой. Ему сказали, что Степан Митрофанович еще не приходил. Позвонил в кабинет директора — к телефону никто не подошел. Позвонил в бухгалтерию — ему ответили, что директор был, но его только что куда-то вызвали. Позвонил электрикомтеру Петьке — на месте его не оказалось. Оставалась, следовательно, одна Клара — и та, вероятно, уже ушла.

«Да, уж если не повезет, так не повезет», — подумал Зыбин. С минуту он просидел так, опустив глаза на крышку стола, а потом вздохнул и взглянул на лейтенанта Аникееву.

— Если уж не повезет... — сказал он ей тяжело.

— А что-нибудь очень важное? — спросила она его сочувственно, даже несколько по-женски.

И от этого его вдруг взорвало окончательно.

— Слушайте, — сказал он запальчиво. — А что это у вас за петрушка там под стеклом? Ну, у полковника в кабинете — под стеклом, что это там? Зрачок, а в нем финка. Универсальное вещественное доказательство на все случаи жизни? Так?

— А что? — спросила она, слегка улыбаясь.

— Да ничего, просто было интересно увидеть, как теперь фабрикуются вещественные доказательства. Заранее, значит, загодя. И много у вас этого добра?

Тон у него был неприятный, колючий.

— Вы что, допрашиваете или просто интересуетесь? — спросила она, все еще продолжая улыбаться.

— Ну что вы, что вы! — поднял он обе ладони, в нем все клотало и прыгало, про браунинг он уже не помнил. — Какое же я, я имею право вас допрашивать? Нет, это вы меня допрашиваете. Это с меня тут снимают показания, запирают, держат, замыкают — меня, меня, меня! Это я задержан! А когда ж задержанный допрашивал следователя?!

— Вы не задержаны, — обрезала Аникеева, — и я не ваш следователь.

— Да? — весело удивился он. — В самом деле? Я не задержанный, вы не мой следователь? Ну так тогда, может, мне просто встать да и уйти, а?

— Очень, очень у вас странный тон, — сказала она. — Странный, чтоб не сказать больше.

— А вот вы скажите, — попросил он мягко и ненавидяще. — Скажите больше. Назовите это не тоном, а вылазкой, клеветой, дискредитацией органов. Там, где на червячке лжи выуживают рыбку правды — так сказал старик Полоний, — все, все возможно.

— Это вы про лейтенанта? — спросила она. — Он был груб? Уличал вас в чем-то? Это у нас абсолютно не положено.

Он вдруг замолчал. Она приходила ему на помощь: разговор с властей она переводила на лица.

Она пошла и села напротив него.

— Я понимаю, вы куда-то торопитесь, а вас задержали, — сказала она мягко. — Но все равно, разве можно быть таким... ну, нервным, что ли. Ведь это бред какой-то! — Она усмехнулась. — Червячок, рыбка, какой-то там Полоний.

— Слушайте, ради Бога, — загорелся он опять и вскочил. — Я вам достану контрамарку в гостеатр, сходите с мужем, или с лейтенантом Зеленым, или не знаю там с кем на «Гамлета». Хоть раз в жизни да сходите!

Теперь они сидели разделенные столом и смотрели друг другу в лицо.

— А знаете, — вдруг совсем по-женски вспыхнула она, — не пошли бы вы со своим театром и контрамаркой!.. Если я захочу сходить в театр...

— Так вот вы и захотите, — сказал он упрямо и угрюмо и, как бык, наклонил голову. — Так вот вы обязательно захотите. В мое время, например, студенты юридического факультета знали классиков, знали, кто такой Полоний, а вас только и натаскивают: прижми, расколи, уличи, выяви. Эх, даже противно говорить! — Он осекся и махнул рукой.

— То есть что это значит «расколи»? — спросила она сурово. — Не «расколи», а «установи» — это две разные вещи.

— Но устанавливать-то вы будете как? — крикнул он. — Вот эти подлые фото показывать да лгать напрапоалу? Да? Так?

Она поколебалась и вдруг решила принять бой.

— Да, так, старший научный сотрудник. Так! Если отбросить слово «подлые», то так. Назначение следствия — выявить истину. Вы ведь тоже кончали юридический? Да? По истории права. Так вот, ваш факультет был в то время факультетом ненужных вещей — наукой о формальностях, бумажках и процедурах. А нас учили устанавливать истину.

— А как устанавливать — на это наплевать? — спросил он. — Например, вот мне показывают ордер на арест моей жены. Говорят:

не подпишешь, что виноват,— сегодня же твоя жена будет сидеть рядом. Так я подпишу! Так я что угодно подпишу! Потребуйте, чтобы я показал, что убил, ограбил, поезд свернул с рельсов,— так я покажу и это. Но только жену не трогайте.

— И скажете, где спрятано награбленное? — спросила она спокойно.— И выдадите вещественные улики? И назовете всех сообщников? И тем дадите нам возможность прервать вашу преступную деятельность? Да, тогда и подлог имеет смысл и та «подлая» фотография тоже.

— Какое счастье, что я не женат! — воскликнул он.— Значит, все мое золото останется при мне! Все двадцать пять килограммов плюс пятьдесят килограммов серебра! И сообщников я вам тоже не выдам.— Он снял трубку и через 01 вызвал отдел хранения. Клара подошла сейчас же. Она как будто сидела и ждала его звонка.

— Здравствуйте, моя радость,— сказал он ласково.— Здравствуйте, хорошая моя. Вот какое дело. Меня задерживают в милиции, а у меня деловое свидание с Полиной Юрьевной. Ну, все насчет тех костей. Так вот, сейчас три часа, а в четыре нужно подойти к фонтану, и она там будет. Так вот...— Он быстро оглянулся на Аникееву, но она уже вышла и притворила за собой дверь.

Он просидел до вечера. А вечером пришли они оба: она и Зеленый.

— Извините,— сказал Зеленый хмуро.— Задержали.— Он сел.— Начальство сердится,— сказал он Аникеевой,— директора полковник при мне вызвал, разговор был у них! Беда! — Он засмеялся и pokrutil головой.

Усмехнулась и Аникеева.

Очевидно, и она понимала, что значит допрашивать директора.

— Так вот,— сказал Зеленый, делаясь опять совершенно серьезным.— На музей нашим командованием возложена тяжелая ответственность. Он обязан загладить нанесенный ущерб. И в первую очередь это относится именно к вам — руководителю отдела.

— Здорово! — вырвалось у Зыбина.— А я тут при чем?

Зеленый поморщился.

— Вот при чем тут вы! — ответил он ворчливо.— Валюта-то ушла, и никто не виноват. Вы обязаны были предупредить такие казусы, на то вы и руководитель отдела. Вы предупреждали дирекцию, что находки золота возможны? Что вот однажды могут прийти и принести его? И как надо тогда поступать? Ведь вы говорили об этом? Зачем же вы сейчас отрекаетесь?

— Нет,— покачал головой Зыбин.— Я ничего не говорил. Не приходило как-то в голову.

— Да? Ну а вот тут у нас есть сведения, что вы несколько раз предупреждали. Как же так не предупреждали? А как только первые кружочки стали попадаться вам в руки, что вы сказали тогда директору? Не помните? А я вот помню. Вы сказали, что надо смотреть в оба. Так? (Зыбин промолчал.) Ну хорошо, вы поставили в свое время в известность дирекцию,— смягчился Зеленый (виднo было, что действительно за Зыбиным он никакой вины не находил — для этого он был слишком оперативным работником. Вину понимал прямо и ясно — как действие и бездействие, но не как недостаток ясновидения).— Вы сказали ему, а он ноль внимания, за это тоже на него ложится немалая доля ответственности, но вы же специалист и раз видите, что директор так наплевательски относится к вашим предупреждениям, вы должны были нам сразу же сообщить свои соображения, а мы бы вот директора вызвали да и поговорили бы с ним по-свойски. Вот золото бы и не ушло. А теперь вы оба в ответе. Но вы археолог, с вас спроса больше.

— Меньше,— вдруг неожиданно сказала Аникеева.— Археолог Зыбин свое сделал, он при трех свидетелях свое мнение заявил, а на его сигнал не обратили внимания, при чем же он?

— Рапорт, рапорт нужно было подать!— крикнул Зеленый.— И копию еще снять! Чтоб документ лежал у него в кармашке. Тогда бы, конечно...

Аникеева покачала головой, но ничего не сказала.

— Ну не я же все это выдумал, в конце концов,— сердито огрызнулся Зеленый.— Его же приятели это говорят. Те самые, кого он поил каждый день. И говорят еще, что картотека черт знает в каком состоянии. Никакого учета. Нужен экспонат, а его не найдешь. Я-то тут при чем?— И вдруг рассердился окончательно.— Ладно, давайте кончать. Если все вокруг проворонили, то, конечно, что же спрашивать с одного человека! Вот подпишите эту бумагу, и все! Идите отдыхайте. Не бойтесь, это же пустая формальность! Вот пропуск! Спокойной ночи! Идите! Не волнуйтесь!

«Город Алма-Ата. 1 сентября 1937 года.

Я, Зыбин Георгий Николаевич, проживающий в городе Алма-Ата, улица Карла Маркса, 62, даю настоящую подписку следователю милиции по Алма-Атинской области Зеленому А. И. в том, что до окончания предварительного следствия и суда в преступлении, предусмотренном 112-й ст. УК РСФСР (преступная халатность), обязуюсь не выезжать с места своего жительства без разрешения следователя и суда и явиться по требованию следственных или судебных органов.

Обвиняемый ...

Подписку отобрал ...».

Вышел он из управления уже в девятом часу. Было совсем темно. Он постоял, подумал и вдруг ринулся на угол к автомату. Назвал нужный номер, телефонистка соединила, и никто не ответил. Он перезвонил, стоял, кусал губы, понимал, что ее нет дома, но все-таки стоял и ждал, пока со станции не ответили: «Абонент не подходит», тогда он швырнул трубку, вышел и хлопнул дверью так, что все зазвенело. «Опять упустил...— сказал он громко.— Ах ты...» И быстро пошел, почти побежал, добежал до дома и вдруг застыл. В окнах горел свет. Яркий, открытый, наглый. На занавеске стояло округлое черно-зеленое пятно. Кто-то рылся в его столе. Он полез в карман. Ключи были там. Значит, дверь они попросту взломали. В столе лежит коробка патронов. Они их уже нашли. Ну, значит — все. Он мгновенно сообразил это и еще сотни других мелочей и разностей — и важных, и совершенно не важных, потому что сейчас все было совершенно не важно, ибо ничего нельзя было уже поделать. И вдруг он больно стукнулся головой о дерево: оказывается, он все отступал и отступал, все пятился и пятился, пока не налетел на ограду парка. Это сразу отрезвило его, и он подумал: «А подписка-то? Зачем тогда они отбирают подписку-то?» Но сейчас же понял, что «зачем» тут ни к чему, и не такое еще сейчас случается, а в общем, никто не знает, что сейчас случается, а что нет, и не об этом нужно думать, а надо что-то немедленно решать. Бежать к директору — ведь он ждет его звонка. Пусть сейчас же он трезвонит по всем вертушкам и требует остановить, отменить, задержать. Да, да — бежать к директору. Он отошел от ограды парка, сделал два шага и тут же почувствовал — именно почувствовал, а не понял, — что все это глупость, ерунда, бред собачий и теперь уже и это ни к чему. У них же ордер! А ордер сильнее всего на свете. И ему вспомнилось, как только месяц назад он был понятным и военный ему предъявил ордер на право обыска и ареста его соседа. И как он тогда, увидев эту гнусную зубчатую бумажку с синим факсимиле внизу, онемел, отупел и просидел два часа не шелохнувшись. И таким-то он был тогда смиренным, и

все понимающим, и согласным со всем, что просто плюнуть хочется. И как он, когда тот несчастный обращал на него глаза, быстро отворачивался. Вот и директор теперь тоже отвернется. Нет, надо кончать. Чего зря пугать людей?

Он нашел дыру в ограде — ребята выломали один прут, — протиснулся сквозь нее боком и зашагал к могилам. Могил было две: генерала Колпаковского и его супруги. Когда-то здесь находились цветники, стояла ограда, висела неугасимая лампадка. Сейчас ничего не было. Только две огромные глыбины из красного гранита да черная якорная цепь над ними — смертная двуспальная опочивальня! Цепь огораживала этот кусочек парка от мира. Она тоже, конечно, что-то обозначала: вероятно, последнюю пристань, державность брака, нерасторжимость душ, крепость смерти, а вернее всего, как поется в церкви: «Оглашенные, изыдите». Вот цепь, вот камень, вот крест — на этом месте кончилось земное и началось небесное. Не подходите, оглашенные, — сие место свято! Но оглашенные не ушли, а начисто растаскали все что только могли. Даже мрамор с фамилиями и то утащили, и только цепь над двумя безымянными могилами по-прежнему висела в древесной сырой полутьме и пугала случайные папочки. Директор не раз собирался убрать или просто взорвать эти глыбины, да руки все не доходили. А потом и он, Зыбин, вмешался. Он сказал: «Все это как-никак, а история, краеведенье. Времена меняются. Вот Хабаров уже опять великий человек, и Кутузов тоже великий человек, и даже суворовский музей открыт опять в Ленинграде. Так мало ли что! Повремените». И могилы остались. Под одной из глыбин у Зыбина был тайник. Как-то очень давно, ранней весной, он обнаружил под одной плитой дыру. Рука уходила в нее по плечо. Бог знает, что это было: нора, правда тайник или просто земля осела под камнем. Тогда, во всяком случае, в дыре была только жидкая грязь, и он забыл о тайнике. А вспомнил о нем внезапно через месяц, когда ему пришлось прятать от деда бутылку коньяка. А потом тайник служил ему верой и правдой по всяким случаям круглый год. И сейчас он опять отыскал его и спустил туда браунинг, фонарик и охотничий нож. «Еще хорошо, — подумал он, — что не обыскали». А впрочем, сейчас и на это плевать.

И вдруг он почувствовал страшную усталость — не боль, не страх, не тоску, а именно усталость. «Так вот где таилась погибель моя, — подумал он. А ведь еще сегодня утром он купался в горной речке, карабкался по пригорку, слушал кузнечиков и стоял под свежим горным ветром. Как это все-таки удивительно! А самые-то две последние мысли его были — первая: «Так, значит, все-таки так и не удалось встретиться с Линой». И вторая: «А может, все-таки не поддаваться им, сбежать». До Или верст тридцать пять. Туда ходят порожняки. Вскочил на подножку и уехал, и до утра его не хватятся. А на Или жар, сухая степь, раскаленная земля, желтая река. Склоны, обрывы, уступы — черный, зеленый, синий камень, и по нему мечутся кеклики, те самые жирные круглые птицы, которые никогда не водились на Карагалинке. А сползешь с уступов вниз, и откроется глинистая широкая гладь вся в сухих тростниках и камнях. Безлюдье, тишь, только через каждые семь — десять верст попадаются рыбацкие землянки с белыми тростниковыми крышами. Иди до китайской границы, никого не встретишь. А там, в Китае... И вдруг он понял, что сходит с ума, что сидит на могиле и бредит. Он поднялся, отряхнулся, нашел в кармане зажигалку, щелкнул ею, осветил серую неуклюжую глыбину. Да, действительно, место последнего причала. Тут уж ничего не скажешь! Генерал Колпаковский, генеральша Колпаковская! «Прощайте, покойнички! Ведь каждый день я проходил мимо ваших превосходительств и даже не замечал вас. А вы ведь город этот построили, парк этот разбили, благодетельствовали, покоряли, искореняли, насаждали, а я так про вас ничего и не знаю. Не дошла еще до вас

моя наука, слишком вы для нее молоды. Сто лет — разве это срок для археологии? Но все равно вас скоро вспомнят. Вспомнят, черт их побери, помяните мое слово! Притащат мраморные плиты и бронзой насекут на них ваши имена. А вот цепь, пожалуй, отнимут — ни к чему, скажут, она у нас в стране! Все течет, все меняется, дорогие покойнички! И вот истории уже нужны генералы. А ты, молодая, чудная, в короне, фате и золотом уборе, убитая неизвестно кем и за что, ты, чью голову я сегодня держал в ладонях...»

И вдруг необычайное умиление, расслабленность и растроганность овладели им.

Он сел опять на глыбу и обтер глаза.

Посидел, подумал, поулыбался неизвестно чему и кому, потом встал, пересек газон, вышел на асфальт и остановился под фонарем. Свет был желтый, жидкий, противный. Он стоял, опустив руки и голову, и ни о чем и ни о ком уже не думал, а только стискивал и стискивал себя в кулак.

Прошло десять минут, двадцать, полчаса — он все стоял. Ему надо было оживать, уйти в себя, поверить в то, что произойдет с ним сейчас, сию минуту, во всяком случае, в этот час. Вот он войдет к себе, и сразу окажется, что этот дом уже не его, а их, а ему они прикажут сесть и не двигаться, выпотрошат карманы, посадят в машину между двумя и увезут. И он будет уже не он, а некто с обрешанными пуговицами и без шнурков, которого два раза выводят на оправку и раз на прогулку, допрашивают, ругают, грозят и приказывают в чем-то сознаться, чтоб не было хуже. Вот все это ему надо было себе представить, уверовать в это и решиться.

Веселая парочка прошла мимо него. Он стоял на дороге, и им пришлось его обойти. В конце аллеи они обернулись, и она что-то сказала ему, он засмеялся. Зыбин вспыхнул и пошел. Шел он четкими, уверенными, солдатскими шагами. Раз-два, ать-а! Ничего в нем уже не замирало и не екало. Он был спокоен. Он был так спокоен, что и страха в нем уже не осталось. «Ну посмотрим, посмотрим, господа хорошие», — вздрагивало в нем что-то злое, решительное и почти радостное. Таким он зашел на крыльцо и со всего размаху пнул дверь. Она сразу же отскочила. В тамбуре было темно и тихо. Крошечная коридорная лампочка освещала три двери — две белые и одну черную. Черная на чердак, правая белая — к соседу, левая белая — его. И только что он занес ногу, чтоб ткнуть со всего размаху эту левую белую, как вдруг запел Вертинский. «Вот сволочи, — подумал он ошалело, — совести у них уж никакой», — и не пнул, как собирался, а тихонько открыл дверь, так, что она не скрипнула.

На столе, покрытом белой свежей скатерью, стоял патефон, и над ним кодовал Петька, электротехник музея. В кресле сидел дед. «Понятые», — понял он. И тут он вдруг увидел Лину. Она появилась из глубины комнаты, подошла к Петьке и жарко наклонилась над ним. На ней был алый шарф. В волосах торчала высокая гребенка. Все было беззвучно, как в немом кино. Он так остолбенел, что ухватился за дверь, и она скрипнула.

И тут его увидел дед.

— Появился, — сказал он насмешливо. — Ты мне ведро водки должен поставить. Еле-еле удержал твоих красавиц. Пять раз уж собирался идти. Водку, спрашиваю, принес? А то сейчас к шоферам пошла.

Все обернулись. Зыбин стоял на пороге. Все было странно и чудно, точно во сне.

— Лина, — сказал он подавленно. — А я сейчас хотел бежать к вам.

Она засмеялась, шарф упал, и теперь свет бил вовсю по ней, по ее голым плечам.

— А вы всегда, Георгий Николаевич, много хотите и ничего не делаете,— сказала она спокойно и радостно. И он вздрогнул от ее голоса, оттого, что все это на самом деле.

— Лина! — крикнул он, бросаясь к ней.— Лина!

— Здравствуйте, здравствуйте, дорогой,— она протянула ему обе руки и этим как бы приблизила и вместе с тем удержала на расстоянии,— ну-ка дайте взглянуть на вас. Ой, похудел, почернел, погрубел, но ничего, ничего! Все такой же красивый.

— Он золото,— прохрипел дед.— Он пятьсот стоит. Если бы пил меньше...

— Да нет, меньше никак не выходит,— засмеялась Лина и наконец развела руки: разрешила себя обнять.— Компания не та. Мы вас с Кларой уже часа два ждем, все около дома на лавочке сидели. А вот встретился молодой человек и привел сюда. Оказывается, у вас один ключ ко всем дверям подходит. Обчистят вас когда-нибудь до нитки, товарищ дорогой.

— А что у него воровать-то? — прищурился дед.— Бумаги? Я ему говорю, дай на пол-литра, я все их на тачке зараз свезу в утиль.

— Лина, милая Лина.— Он обнимал ее и прижимал к себе, и глаза у него были мокрые от слез.

Она немного постояла, потом тихонько отстранилась и ласково сказала:

— Ну, ну, ладно, ладно, потом. Вы вот перед Кларой-то извинитесь, она все время звонила директору.

Вот тут он и увидел Клару. Быть может, на ней горел отраженный свет Лины, может, весь мир сделался для него в эти минуты прекрасным, но Клара сейчас показалась ему очень красивой. Высокая, тонкая, стройная, с матовым спокойным лицом и черно-синими волосами. И платье было на ней черное и глухое.

«Похожая на черное распятие»,— вспомнил он чью-то строчку.

— Ну так все в порядке? — спросила она тихо, подходя.

На мгновение он задумался, потому что начисто забыл про все и все это надо было вспоминать сначала, а потом бухнул:

— В порядке, я расписку уж дал.

— Какую? — испугалась Лина.

— Как? — схватила его за руку Клара.

— А это чтоб не убежал,— сказал дед понимающе,— а то забрет золото да и махнет в Америку. Такие события тоже бывают. Вот когда я у Шахворостова купца работал, казначей у него был, такая пьяница горькая, беспортошная, а знаешь как воображал про себя? Так вот раз тоже забрал из магазина выручку за неделю да и...

— Так ведь золота он даже и не видел,— беспокоило сказала Клара и оглянулась на деда.

— А там разберут, разберут, видел он или не видел,— отрезал дед и махнул рукой.— Там все до ниточки разберут — кто он, откуда, когда родился, когда женился. Вот директора как вызвали туда, так и пропал. Только оттуда допустили позвонить — запри, мол, кабинет и пусть ученый сразу ко мне бежит, если его не посадят, конечно. В восемь часов велел зайти.

— Что?— вскочил Зыбин.— Так что ж ты...

И как раз зазвонил телефон. Клара подошла и сняла трубку.

— Да,— сказала она.— Да! Вот передаю.— И протянула трубку Зыбину.

— Ты что, живой? — спросил директор жизнерадостно.— А я уж звонил в милицию, что, мол, мучаете нашу ученую часть. Что они там от тебя хотят? Золота?

— Подписку отобрали,— ответил Зыбин.

— Что?! — сразу взвился директор.— Подписку?.. И ты небось сразу и дал? Эх, шляпа! Зачем же было давать? Ты б хоть со мной посоветовался, а то небось оробел и сразу же подписал. Эх, шляпа,

шляпа. Ну ладно, беда невелика. Дед у тебя? Все пьете? И Клару на радостях поите небось? Ты смотри! Я сегодня посмотрел — у нее губы посинели. А кто еще там у тебя?

— Петр и дед, — ответил Зыбин.

— И все? Ты смотри, брат, все прошляпишь, — сказал директор, — и ту и эту! Ну ладно. Поговорим. Спокойной ночи. И завтра на службе чтоб как стеклышко! Чтоб весь звенел, понял?

Когда он отошел от телефона, Лина была уже в плаще.

— Вы сначала меня проводите, — приказала она, — а потом Кларочку доведете до дому. — Она подхватила Клару под руку. — Пойдемте, моя хорошая, вы ведь тоже устали и изнервничались. Ух, какие у вас в Алма-Ате ночи!

Дед идти отказался.

— Вы уж одни, вы все молодые, веселые, у вас свои разговоры, а мне завтра с пегухами вставать. Мне даром никто деньги платить не желает. Так что прощенья просим.

И ушел, твердо надев картуз и даже не покачиваясь.

— Вы запирайте дверь, — приказала Лина с порога, когда все вышли. — Как же так, оставлять дом ночью открытым, что так плохо за вами ваши женщины смотрят?

Луна висела над собором большая, мутно-прозрачная, как кусок янтаря над свечкой. Было светло и тихо, и даже тополя не шумели. Лина вдруг остановилась посередине улицы, откинула голову и несколько раз глубоко вобрала воздух.

— Чувствуете море? — сказала она, хватая Зыбина за руку. — Оно вон, вон за той аллеей! И тополя такие же, только совсем тихие. Помните, как вы их называли? Цыганками! Там, Кларочка, у них каждый листочек дрожит. А здесь они у вас стоят не шелохнутся.

— Но это они до разу, — обиделся за свои тополя Петька, — как ветер налетит, так сразу зашумят, как пена в тазу.

Лина посмотрела на него и рассмеялась.

— Нет, Петр Николаевич, вы просто прелесть, — сказала она и подхватила его под руку. — Как пена в тазу. Жена стирает на ночь в тазике блузку и вешает над примусом, чтоб к утру просохла, а муж ворочается во сне и слышит. Вы женаты, Петр Николаевич?

Петька отвернулся.

— Нет, — сказал он угрюмо.

— Ну и не надо, — весело посоветовала ему Лина. — Еще успеете запрячься. Вот Георгий Николаевич никогда не женится. Сколько бы ни собирался, а не сумеет. Я его знаю. Мы старые друзья. Кларочка, а далеко отсюда до большой воды?

— Да верст, наверное, тридцать пять будет, — ответил Зыбин. — Поезд идет почти полтора часа. — И чуть не добавил: «Отходит в семь тринадцать от городской платформы».

И сейчас же он снова увидел спокойную глинистую реку, сыпучую гальку, сухой белый и желтый тростник, скалистые берега из синих, желтых, черных, белых, разноцветных камней. Жара, сушь и так сохнет во рту, что даже вода освежает только на минуту.

— Как-нибудь обязательно съездим, — сказала Лина. — Ладно, Кларочка?

Она уже подхватила Клару под руку. А та шла и смотрела через верхушки тополей на горы, на голубые от луны горные леса. Вопрос Лины она так и не расслышала.

А та уже опять повернулась к Петьке.

— Совершенно морской город, — сказала она уверенно. — Здесь море живет в каждом доме, в каждом тополе. Я сразу вспомнила — черноморские бульвары такие. Впрочем, их надо видеть. Георгий Николаевич, а помните тот парк, где вы в тире выиграли матрешку? Вы знаете, Кларочка, она и до сих пор стоит у меня на буфете. Такая

огромная! Подарочная! С полметра! Вы никогда не были на море, Кларочка?

Клара покачала головой. Она все так же неподвижно смотрела на лунное небо и горные мохнатые перевалы.

— Ну вот и отлично, соберемся все и поедем. Вы еще отпуска-то не брали, хранитель? Ну и не берите! Возьмем вместе в апреле или в мае.— Они остановились перед гостиницей.— Ну вот, товарищи, я и дома. Спасибо. Теперь проводите Кларочку и — спать, спать. Георгий Николаевич, я вам завтра позвоню после работы, хорошо?

— Хорошо,— ответил он.— Только, если можно, попозднее, я завтра еду в одно место и, наверно, задержусь.

— Это куда же?

— Ну по работе надо.

Лина засмеялась опять.

— Вот что значит дикий человек. Не знает ни работы, ни отдыха. Ну ничего. Мы теперь за вас с Кларочкой примемся! Затаскаем вас по горам. Эх, жалко, что мне завтра рано вставать! В такие ночи нужно шляться по улицам до рассвета. Ну, привет, товарищи!

И ушла, помахивая рукой.

Обратно они шли втроем. Он держал Клару под руку и физически чувствовал, как ей не терпится добраться до кровати и рухнуть лицом в подушку. Он молчал. «Дрянь я все-таки страшная»,— подумал он, сказал это слово вслух и сейчас же сгорел от стыда: затряс головой, заулыбался, заgrimасничал, забормотал что-то. Петька удивленно покосился на него, а Клара спросила:

— Так во сколько вас завтра разбудить по телефону?

— Ну вот еще,— ответил он.— С чего это вы меня станете будить? Я вас разбуджу!

Она вздохнула.

— Отлично!

— Часов в семь для вас не очень рано? — спросил он.

— Нет, не очень. Можно и раньше.

Она вдруг остановилась.

— Ну, вот уж мой дом,— вздохнула она со страшным облегчением.— Спокойной ночи.

И она скрылась в глубине двора, даже не простившись.

Дома он опять зажег все лампы — настольную, люстру, боковой свет,— прошел к столу и бухнулся в кресло. Все здесь еще носило ее отпечатки: вот стул — на нем она сидела, вот стакан — она его не допила, вот половина конфеты, вот книжка — она ее просматривала и бросила на диван. И тут он вдруг понял, что совершенно зря позвал Клару. С Петькой было бы все куда проще. А теперь им придется провести целый день наедине. Ведь в самом лучшем случае — если они попадут на семичасовой — он вернется в шесть! Значит, позвонит Лине часов в восемь — девять. Опять неладно! Впрочем, это уж и не важно. Теперь это не самое главное. Самое главное, что она его все-таки нашла. Ведь приехала-то она одна! Стоп! Ты так уверен, что одна? Он вскопил, сел на диван и стал быстро листать книжку. Нет, конечно, все-таки, конечно, одна. Иначе она сказала бы. Кларе, например, обязательно бы сказала. А впрочем, с нее все станется. Может быть, и не одна. Ну что ж, тогда они как встретятся, так и разойдутся. За эти годы он многому научился, он «изучил науку расставанья». Вероятно, это уже старость подходит. Все стало легко. Вот Корнилов не такой. Он молод, горяч и, как говорит Державин, к правде черт. Зато и своего не упустит. Вот Даша, кажется, уже его. Как она сегодня ринулась за него в бой! Потапов даже зашел от неожиданности. Что ж? Правильно! У Корнилова все ясно, четко, недвусмысленно. Как он думает, так и режет. А вот он хитрит. А По-

тапов рычит и дрожит, а Клара молчит и прячет глаза. И никто ничего толком не может объяснить, что случилось с людьми. А без этого и жить нельзя. В мире происходит что-то совершенно необычайное. Крутят по миру какие-то черные чудовищные протуберанцы и метут, метут все что ни попадетя на пути. Почему, зачем — кто поймет? Хотя читай речи вождей, в них все ясно. «Это и есть истина, — сказал сегодня директор. — Если мы будем в это верить, то победим». И верят же, действительно верят. Ох уж эта вера! Та самая, что горами двигает и города берет. Где бы и мне ее достать? Верую, верую, Господи, помоги же моему неверию! А впрочем, зачем тебе вера? Помнишь Сенеку, трагедию «Эдип»: «Да будет мне позволено молчать — какая есть свобода меньше этой?» Так вот воспользуйся хоть этой самой меньшей свободой. Так ведь не воспользуешься, опять начнешь все объяснять и подгонять, вот как сегодня ты пел Даше: «Надо знать, когда и кто». Сознайся, гадко ведь, а? А вот у Корнилова этого нет. За это его и любят. Но только с Линой у него определено ничего не получится. Она стена для таких, как он. Ее в мире не интересует ничего, кроме ее самой. Вот море, походы, костры из смоляных ветвей, сноп искр над костром, прогулки до зари по берегу — это ее. И она не притворяется — она действительно такая. И ты без памяти влюбляешься в это цельное, бездумное, свободное от страха существование. Оно же по-настоящему прекрасно! Потом наступает, конечно, отрезвление. Она расстается с тобой на вокзале, ты уходишь очарованный, влюбленный, надававший тысячи клятв себе и ей, сидишь один в комнате, вспоминаешь и думаешь, улыбаешься своим мыслям. Так проходит неделя, другая, и вдруг наступает отрезвление. Ты понимаешь, что какая-то невероятная сухость, черствость и даже старчество проглядывает в ее невозмутимой ясности. И самое главное — она ведь проговаривается! Нет, нет, она не особенно умна. Ее гармонию держит инстинкт, привычка, бессознательное чувство равновесия, а никак не разум. Она могла с ясным лицом рассказать о себе что-нибудь такое, что даже в те блаженные дни вдруг заставляло его как бы мгновенно осечься, очнуться, упасть с пятого этажа — посмотреть на нее со стороны. Господи, что же это такое? Но все это и продолжалось мгновение. Она сразу же ловила его настроение и всегда умела заставить забыть его все. Чуткой в этом отношении она была невероятно. Как бы он ни старался скрыть свое настроение, она видела его насквозь. Даже во время разговора по телефону. Но один раз он все-таки взорвался, и тогда они поссорились. И вот теперь...

Он думал об этом и сам не замечал, как клонится долу, дремлет, засыпает, сидя в кресле около окна. Он так ничего как следует и не продумал и не решил насчет завтрашнего утра.

А проснулся он внезапно и сам не понял почему. Поднял голову и поглядел в окно. И вдруг услышал тихое поцарапыванье, потом стук, тоже тихий-тихий, «тук-тук, тук-тук». Он подумал, что это, наверно, ветка качается. Но стук повторился — четкий, ритмичный, и тут из темноты вдруг выплыло и прижалось к стеклу лицо Лины. Она смотрела и делала рукой какие-то знаки. Он вскочил, подлетел к окну и так резко рванул раму, что что-то посыпалось на подоконник.

— Боже мой, — только и сказал он.

И больше у него ничего не нашлось.

— Принимаете гостей? — спросила она весело. — А ну-ка руку. — И, не задев подоконника, она гибко, как на турнике, перекинулась в комнату. — Ну вот и все. Вот что значит ГТО первой ступени.

Он стоял перед ней и не знал, что и сказать и что сделать. Просто стоял и смотрел.

А она спокойно подошла к зеркалу и поправила волосы.

— Девушку проводили домой? — спросила она не оборачиваясь. — Великолепная девочка! Серьезная такая, простая и о вас убивается.

А вы ничего замечать не хотите. Эх вы! У вас гребенка-то есть? Дайте-ка я причешусь.— Она вынула пудреницу и несколько раз коснулась пуховкой щек.— Больше всего боюсь загореть. Слушайте, подарите-ка мне вот такую белую шляпу с полями, в них, кажется, здесь пастухи ходят. У вас, наверно, есть такие.

— Сейчас, сейчас,— сказал он и кинулся куда-то в угол.

— Да стойте, куда вы?— засмеялась она.— Пойдите-ка сюда.— И она сбросила ему на руки платок. Плечи у нее опять оказались голыми. Он молчал. Она усмехнулась и провела рукой ему по волосам.— Все такой же трепанный. А время два часа! Ну все равно, полчася я, пожалуй, могу посидеть. Чаем напоите?

И пока он ходил по комнате, возился с чайником, мыл чашки, она сидела на диване. Сидела и смотрела на него молча смеющимися, сияющими, слегка тревожными глазами.

А он, сделав все, вдруг подошел и крепко обнял ее за плечи. Она, улыбаясь, посмотрела на него, тогда он притянул к себе ее голову и поцеловал, расплющивая губы, крепко и больно несколько раз. Потом стал целовать глаза и опять губы. Тут она ладонью слегка уперлась в его лоб.

— Ну, ну,— сказала она.— Не торопитесь! Сядьте, поговорим. (Он все не отпускал ее.) Но ведь вы даже не знаете, одна я тут или нет.

— Одна,— ответил он уверенно.

— И думаю только о вас?— Она легонько освободилась от его рук.— Пойдите-ка, художественная часть потом. Рассказывайте про себя.— Она встала, прошла по комнате, подошла к барометру.— Великая сушь,— прочитала она.— Значит, живете, работаете и, как говорит ваш директор, закапываете в землю казенные деньги. До того уж докопались, что вас таскают в милицию и отбирают подписку — дальше-то теперь что? (Он сделал какое-то движение.) И хорошо, тут вы, положим, ни при чем. За это ответит директор, но вы что? Решили здесь осесть? Остаться навсегда в этой комнате?

— Почему? — спросил он.

— Нет, это я вас спрашиваю почему. Это что — ваше жизненное назначение — грызть эти холмы? А?

Он пробормотал:

— Не знаю. А что?

Она рассмеялась.

— Да нет, опять-таки ничего. Просто я как-то совсем не того ожидала от вас.— Она посмотрела на него.— Я ведь очень, очень часто вспоминала вас.

Он встал, подошел к чайнику, пощупал его ладонью и снова заходил по комнате. Ему надо было собраться с мыслями.

— Раскопки ведутся дилетантски,— сказал он наконец.— Неправимо дилетантски. Ни я, ни тем более Корнилов не знаем, что творим. Даже какой объект раскапываем, и то не знаем. Если бы здесь появились настоящие ученые, они не взяли бы нас даже в препараты. Это так.

Она слегка неожиданно развела руками. Он мельком взглянул на нее и продолжал:

— Да, вряд ли взяли бы даже в препараты. Впрочем, Корнилова, вероятно, взяли бы. Он окончил что-то археологическое. А меня бы, конечно, погнали в шею. Я же даже не историк, и сидеть бы мне да сидеть над изучением первоисточников по истории античного христианства. Вот тогда бы я был действительно на своем месте. Но что делать? Мы хоть понимаем, с чем мы имеем дело. И если что-нибудь не знаем, то уж не знаем по-научному. А здесь просто никто ничего не знает, и все. До сих пор раскопки вели учитель французского языка, статистик, землемер, гидротехник, чиновник особых поручений. Это если брать весь Казахстан в целом. Здесь же вообще,

кроме кладоискателей, никого и не было. Если нам и далее повезет так же ослепительно, как повезло этим неизвестным — я говорю о золоте, — то уже в будущем году сюда придет экспедиция Эрмитажа и нас всех разгонят. Да еще обзовут, поди, за то, что мы натворили. Но дело-то уж будет сделано. Так что меня как раз интересует не это.

— А что же? — спросила она. — Что же вас интересует, хранитель?

Он подошел к плитке, выключил ее, снял чайник, заварил, укутал его салфеткой и снова заходил по комнате. У него было такое ощущение, что он увидел ее сегодня, рванулся к ней и отскочил, потому что между ними было то же самое оконное стекло и он расшибся до крови. Эта боль его сейчас и отрезвила.

— Я хочу добраться до азиатских пустынь, — сказал он, — там пески засосали замки, усадьбы, города, там обсерватории, библиотеки и театры. Это Хорезм, Маргиана, Бактрия. Вы знаете, что такое раскаленный песок? Заройте в него человека, и он через месяц высохнет, одеревенеет, но останется по виду прежним. Что перед этим богатством Нубия и Египет? А древний Отрар? Вторая библиотека древнего мира? Ее до сих пор не нашли, но она где-то там, в подземелье. И вот в какой-нибудь нише стоит сундук, и в нем лежит полный Тацит, все сто драм Софокла, десять книг Сафо, все элегии великого Галла, от которого не осталось ни строчки. Вот куда хочу обязательно добраться с лопатой. А это так, начало.

Он подошел к столу и стал разливать чай.

Она вдруг подошла и обхватила его.

— Фантазер вы мой, — сказала она ласково, прижимаясь к нему. — Барон Мюнхгаузен. Как я боялась, что вы уже не тот! А вы... Да бросьте вы этот чай, никому он не нужен. Идите-ка ко мне. — И она бужнула его на диван.

— Ну хорошо, — сказала она. — Все это хоть не особенно логично, но все-таки на что-то похоже. Но ты ведь копаешься не там, в песках, а здесь, в глине, какой уж тут Тацит и Эврипид.

Они оба лежали на диване, и она слегка его обнимала за плечи.

— Стой, стой, не перебивай. Я чувствую, с тобой что-то творится. При чем тут эта девочка с глазами серны, этот дед, водка? По моему, ты после нашей встречи однажды здорово получил по шее и вот забегал, заматался, так? (Он молчал.) Ладно, не хочешь говорить — не говори. Тогда я спрошу другое: вот эти люди, которые с тобой работают, кто они? Как они к тебе относятся?

В вопросе был уже и ответ. То есть он понял по ее тону, что это, пожалуй, уже и не вопрос, а ответ.

— Ты о ком спрашиваешь? — спросил он не сразу.

— Не бойся, не о Кларе. Тут уж все ясно.

— Так о ком?

— Не нравится мне твоя дружба с Корниловым, — сказала она после недолгого молчания. Он удивленно посмотрел на нее. — То есть парень-то он ничего, с этим самым, — она покрутила пальцем у головы, — с бзиком, с фантазией, но, милый, плевать он хотел на твои пески. И сидит он там только потому, что ему некуда деться. Но и пить он там может сколько угодно. И девушка у него под боком. Что еще надо? Живет мужчина!

— Ты даже девушку заметила, — усмехнулся он.

— Да не очень большая премудрость, дорогой, заметить девушку. Но если бы ты только присутствовал при нашем с ним знакомстве и поездке в горы...

— А что? — спросил он с любопытством.

— Да то! Пришел, увидел, победил. И сразу же понял, что победил. После того как он на моих глазах сиганул во всем в эту... Ну

как называется это ваше недоразумение? Алмаатинка, что ли? Так вот он нырнул в самый водоворот у камня, достал какие-то там голыши, видел бы ты, как он взглянул на меня. Гром и молния! Цезарь и Клеопатра!

И они оба немного посмеялись.

— Но все-таки, почему он тебе не понравился? — спросил он.

— Наоборот, очень понравился! — ответила она. — Очень. А вот ваши с ним отношения мне не очень нравятся. Ведь вы, наверно, спорите, а? Он тебе что-нибудь говорит такое, а ты ему отвечаешь чем-нибудь этаким? Да? И орете на весь колхоз? (Он молчал.) Вот это мне не нравится. Очень, до крайности не нравится. Просто из самых мелких, эгоистических соображений не нравится. Ты же знаешь, какая я черствая эгоистка.

Он поднял голову.

— Знаю, — ответил он серьезно, без улыбки.

— Ну вот и все! Я приехала специально к тебе, и если вдруг с тобой случится что-нибудь, для меня это будет страшным ударом — разве непонятно?

— Да, — сказал он, вдумываясь в ее слова, — понятно. — И еще раз повторил: — Да. Понятно. Стой-ка, я закрою окно.

Он ушел в темноту, постоял, повозился, позвонил чем-то, потом подошел к ней, но не лег, а сел рядом. Она почувствовала, что он снова ушел от нее куда-то, и ласково спросила: «Ну что ты?» — обхватила его за талию и притянула к себе.

— Я ж тебя люблю, — сказала она грубо, по-бабьи. — Люблю, дуралей ты этакий. Разве ты не видишь?

— Ты разговаривала с директором? — спросил он все из того же отдаления.

— Ну что ты? — спокойно удивилась она. — Конечно, нет.

— Значит, Клара тебе наговорила, — кивнул он головой. — Но все равно, это очень странно. — Он вдруг положил ей руку на плечо. — Но раз ты уж начала этот разговор. Расскажи все толком, что она тебе наговорила. Только толком, толком. Стой! Ты ведь хочешь, чтоб я что-то понял, так? Ну вот и объясни мне что и как.

Она помолчала, подумала.

— У Корнилова уже сложилась нехорошая репутация, — сказала она не сразу. — При всех его разговорах присутствуешь ты. Присутствуешь, и слушаешь, и молчишь, то есть одобряешь. Ты понимаешь, что это значит?

— Ну, ну, — сказал он, когда она замолчала. — Я слушаю, что же дальше? Корнилов много болтает, я молчу. Но какой-нибудь разговор конкретно назывался? Фразы какие-нибудь, анекдоты, хохмочки? Конкретно, конкретно. Тогда-то, там-то.

— Конкретно нет.

— И все это Клара тебе рассказала, когда вы ждали сегодня меня на лавочке. Понятно. Значит, вот о чем с ней сегодня говорил директор.

— Директор? — испугалась она. — Неужели и директор что-то заметил? Тогда это очень и очень серьезно. Вот до чего тебя довел Корнилов. Его пьяные выходки. Гнать его надо, и все!

Он лениво усмехнулся и лег с ней рядом.

— Ладно, теперь уж все равно поздно. Давай-ка спать лучше.

— Ты послушай меня, ты первый и последний раз послушай меня. Я знаю, что ты думаешь про меня. Этого ведь не скроешь. Могу только сказать одно: психолог ты никудышный. Писатель из тебя не получился. Но не в этом дело. Если бы ты имел какую-то цель, что-нибудь да хотел, чего-то добивался. Но ведь ты ровно ничего не хочешь, ты только ходишь и треплешься, рискуешь головой за словечко, за

анекдот. Высказываешь свое недовольство в формах, опасных для жизни. Ты, как говорят юристы, источник повышенной опасности.

Он открыл глаза.

— Это для кого же я такой?

— Ну хотя бы для тех, к кому ты обращаешься. Пойми, люди попросту боятся. А ты покушаешься на их существование. В мире сейчас ходит великий страх. Все всего боятся. Всем важно только одно: выжить и переждать.

— Вот как ты заговорила, — сказал он удивленно. — А я-то думал...

— Ай, ты думал! Противно! Ничего ты обо мне не думал и не думаешь! Не знаешь ты меня, и все! А ведешь ты себя, как хулиганистый ученик. Знаешь, всегда находится такой заводила в классе. Встает, задает ехидные вопросы, класс гогочет, а он сияет, вон, мол, какой я умник! Класс он, конечно, насмешит, учителя вгонит в пот, но из школы тоже вылетит пулей — директора таких не терпят. И им наплевать, кто прав — он или учитель, им важна дисциплина. Пойми, не ты опасен, опасно спускать тебе все с рук. Опасно то, что у тебя уже появились подражатели — они пойдут дальше тебя, хоть на пальчик, да дальше, а потом и вообще. Вот почему в наше время и слово считается делом, а разговор деятельностью. Есть времена, когда слово — преступление. Мы живем сейчас именно в такое время. С этим надо мириться.

— Сейчас ты заговоришь со мной о войне — не надо! — сказал он. — Директор с этим уже надоел.

— Не бойся, не заговорю, а просто спрошу. Ты хорошо понимаешь, что ты делаешь? Тебе что, очень дорог этот Корнилов? Все эти его пьяные выходки, тебе они очень дороги?

«Вот баба, — подумал Зыбин, — обязательно надо будет предупредить Корнилова», — и сказал:

— Ну при чем же тут твой Корнилов? Что ты нас сравниваешь? Корнилову наступили на хвост, вот он и орет дурным голосом. Нет, тут другое. — Он потер себе переносицу. — Ты понимаешь, — продолжал он уже медленно и задумчиво, подбирая слова, — ты говоришь, что я треплюсь, а я ведь молчу, я как рыба молчу, но тут вы все правы, я чувствую, что не смогу так жить дальше. Не смогу, и все, что как-нибудь каркну во все воронье горло, и тогда уж действительно отрываи, как говорит дед, подковки.

— Ну зачем же ты каркаешь, если понимаешь это? — спросила она недоуменно. — Чего тебе не хватает? Тебе-то кто наступил на хвост?

— Стой, послушай — я сегодня целый час дрожал и прощался с жизнью. Бог его знает, что я пережил за то время, пока стоял и смотрел на свое окно. Какой ужас: в нем горит свет! Значит, пришли по мою душу. Да! Ничего другого мне и в голову не пришло! Зачем? Почему? За что? Да разве я мог задавать себе такие вопросы? Только дурак сейчас спрашивает: за что? Умному они и в голову не придут. Берут, и все. Это как закон природы. Только я не могу уже больше переживать это унижение, этот проклятый страх, что сидит у меня где-то под кожей. Чего мне не хватает? Меня самого мне не хватает. Я как старый хрипучий граммофон. В меня заложили семь или десять пластинок, и вот я хриплю их, как только ткнут пальцем.

— Какие еще пластинки? — спросила она сердито.

Он усмехнулся.

— А я их все могу пересчитать по пальцам. Вот пожалуйста: «Если враг не сдается — его уничтожают», «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина», «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», «Лучший друг ученых, лучший друг писателей, лучший друг физкультурников, лучший друг пожарников — товарищ Сталин», «Самое ценное на земле — люди», «Кто не с нами, тот против нас»,

«Идиотская болезнь — благодущие». Все это вместе называется «новый, советский человек» и «черты нового, советского человека». Ух, черт! — Он ударил кулаком по дивану.

— Да, но чего ж ты все-таки добиваешься? — спросила она. — Мир переделать на свой лад ты не можешь, принимать его таким, как он есть, — не желаешь. Он для тебя плох. Необитаемых островов у нас нету, да тебе их и не отдадут, ну, значит?

Она развела руками.

— Значит! — ответил он твердо. — Значит! — Подошел к шкафу и достал простыни. — Значит, моя дорогая, что уж скоро утро и надо спать. Все! Поговорили!

Она медленно покачала головой.

— Я же тебя люблю, дурак ты этакий, — сказала она задумчиво, — мне будет очень трудно тебя потерять, а ты этого не понимаешь.

Он лег на диван, вытянулся и закрыл глаза.

— Вот ты думаешь, что я всегда не права, — сказала она.

— Напротив, ты всегда права, — ответил он уже сонным голосом. — Всегда и во всем. В этом и все дело.

Он спал и думал: «Тут две беды. Первая, что у тебя тоже люблю, и здорово еще люблю, а это всегда все пугает. Вторая в том, что ты права. Пошлость-то всегда права. Помнишь, я тебе прочитал Пушкина:

Хоть в узкой голове придворного глупца
Кутейкин и Христос два равные лица.

Да для любого здравомыслящего Кутейкин куда больше Христа, Христос-то миф, а он — вот он. Он истина! И, как всякая истина, он требует человека целиком, со всеми его потрохами и верой. Исканья кончились. Мир ждал Христа, и вот пришел Христос-Кутейкин, и история вступила в новый этап. И знаешь, у него действительно есть нечто сверхчеловеческое. А я вот не верю и поэтому подлежу не презрению, а уничтожению».

Лина ничего не ответила, она только сделала какое-то неясное движение рукой в сторону окна, и тогда он увидел того, кто сидел в кресле и, наклонившись, внимательно слушал их обоих.

— Вы, видно, на что-то намекаете, — сказал третий, и усы его слегка дрогнули от улыбки. — Но, друг мой, на что б вы ни намекали, помните: исторические параллели всегда рискованны. Это же просто бессмысленно.

Зыбин поглядел на него. Он не удивился: присутствие его было совершенно естественным. Да и не первый разговор был этот. Вот уже с месяц как он приходил сюда почти каждую ночь. И вот что удивительно и страшно — они каждый раз разговаривали очень хорошо, по душам, и Зыбин был исполнен любви, нежности и почтения к этому большому, мудрому человеку. Все недоумение, претензии и даже его гнев и насмешка оставались по ту сторону сна — наяву, — а здесь был один трепет, одно обожанье, одно чувство гордости за то, что он так легко и свободно может говорить с самым большим человеком эпохи и тот понимает его. Что это было? Освобождение от страха? «Подлость во всех жилах», как сказал однажды Пушкин, когда рассказывал о своей встрече с царем, или еще что-нибудь такое же подспудное? Этого он не знал и боялся даже гадать об этом. Но сейчас он решил рассказать все.

— Мир захвачен мелкими людьми, — сказал он, прижав руки к груди. — Людьями, видящими не дальше своего сапога. Они — мелочь, придурки, петрушки, кутейкины, но мир гибнет именно из-за них. Не от силы их гибнет, а от своей слабости.

Гость слегка развел руками, он искренне недоумевал.

— Нелогично, — сказал он. — Опять очень, очень нелогично. Кутейкины? Петрушкины? Как же они могут что-то делать против воли

народа? Откуда у вас такое презрение к нему? Вот Угрюм-Бурчеев и тот сказал: «Сие от меня, кажется, не зависит».

— Ах,— ответил Зыбин горестно.— Не в то время пришел ваш Бурчеев, в истории бывают такие эпохи, когда достаточно щелкнуть пальцем, и все закачается и заходит ходуном. А и щелкал-то всего-то карлик, какой-нибудь Тьер. Ведь Гитлер-то карлик, и вокруг него карлики, а умирать он пошел настоящих людей, молодежь! Цвет нации! Прекрасных парней! И это будет смертельная схватка! Может быть даже, самая последняя.

— Отлично,— сказал гость.— Вы, значит, верите, что она будет последняя. А что мы ее выдержим, в это вы верите?

— Я-то верю,— сказал Зыбин и даже вскочил с дивана.— Я-то в это, как в Бога, верю. Но почему же вы не верите своему народу? Вы же сами говорите, у него есть что защищать. Зачем же тогда аресты и тюрьмы? Ведь это ваша любимая песня: «Как невесту, Родину мы любим». Так как же связать то и это?

Гость засмеялся. Он как-то очень добродушно, искренне засмеялся.

— Молодой человек, молодой человек,— сказал он,— как же вы мало знаете жизнь, а еще спорите с нами, стариками. Чтобы построить мост, надо годы работы и несколько тысяч человек, а чтоб взорвать его, достаточно часа и десятка человек. Вот мы и добираемся до этого десятка.

— Да, да, знаю, слышал,— поморщился Зыбин.— И не от вас только слышал. Сен-Жюст еще сказал о своих жертвах: «Может быть, вы правы, но опасность велика, и мы не знаем, где наносить удары. Когда слепой ищет булавку в куче трухи, то он берет всю грудку». Видите, он хоть сознавался, что он слепой, а мы тут... Ладно. Теперь у меня вопрос о себе лично. За что вы уничтожите меня?

— За идиотскую болезнь благодущие,— сказал гость любезно.— За то, что вы остаетесь над схваткой. А ведь сказано: «Кто не со мною, тот против меня».

Зыбин засмеялся тоже.

— Ого! Вы уже стали цитировать Маяковского! Раньше за вами этого не водилось. Неужели и он понадобился сейчас в игре?

— Я, дорогой мой, образованнее, чем вы думаете,— сказал гость.— Это не Маяковский, а Евангелие. Зря вы испытываете меня.

— Да, да, простите, слукавил: Евангелие от Матфея, глава двенадцатая, стих тридцатый.

— Ну вот видите, когда и кем это уже было сказано,— скупой улыбнулся гость,— так что же вы здесь зря прохаживаетесь насчет Христа и Кутейкина? Христы изрекают и проходят, и строить-то приходится нам, Кутейкиным. В этом все и дело. А вы нам мешаете, вот и приходится вас...

И он нажал какую-то кнопку.

Звон был длинный и пронзительный, вошли двое, и один схватил Зыбина за плечо.

Но он все-таки сумел сказать то самое главное, что хотел.

— Весь вопрос,— сказал он,— состоит только в том, можно так или нет. Если нельзя, то вы поставили мир перед ямой. Будет война, голод, смерть, разрушение. Последние люди будут выползать откуда-то и греть ладони около развалин. Но и они не останутся в живых. Но знаете? Я благословил бы такой конец. Что ж? Человечество слукавило, сфальшивило, заслужило свою гибель и погибло. Все! Счет чист! Можно звать обезьян и все начинать сначала. Но мне страшно другое: а вдруг вы правы? Мир уцелеет и процветет. Тогда, значит, разум, совесть, добро, гуманность — все, все, что выковывалось тысячелетиями и считалось целью существования человечества, ровно ничего не стоит. И тогда демократия просто-напросто глупая побасенка о гадком утенке. Никогда-никогда этот гаденыш не станет лебедем,

Тогда, чтоб спасти мир, нужно железо и огнеметы, каменные подвалы и в них люди с браунингами. И тогда вы действительно гений, потому что, несмотря на все наши штучки, вы не послушались нас, не дали себя сбмануть гуманизмом! Вы вездесуци, как святой дух,— в каждом френче и паре сапог я чувствую вас, вашу личность, ваш стиль, вашу нестигаемость, ваше понимание зла и блага. С каким презрением и, конечно, с вашими интонациями сейчас у нас произносятся «добрый». Да и не добрый даже, а «добренький». «Он добренький, и все». «Он бесклассово добрый». «Он внеклассовый гуманист». «Добрый вообще, справедливый вообще, справедливый ко всем на свете». Можно ли осудить еще сильнее, выругать хлеще? Да, опасное, опасное слово «добрый»! Недаром им Сервантес окончил «Дон Кихота»! Вы поверили в право шагающего через все и всех и поэтому спасли нас от просто добреньких. А я не верил вам и поэтому проиграл все. Я действительно разлагал, расслаблял, расшатывал, и нет мне места в вашем мире необходимости. Вы не дали себя расслабить благодушием, как бы хитро ни подсовывали его вам наши общие враги. Поэтому нет сильнее и чище той правды, которую вы внесли в мир. Давите же нас, вечных студентов и вольных слушателей факультета ненужных вещей. К вашим рукам и солдатским сапогам, которыми вы топчете нас, мы должны припадать, как к иконе. Так я скажу, если вы правы и выиграете эту последнюю войну. Ох как будет страшно, если кто-нибудь из вас — фюрер или вы, вождь, ее выиграете. Тогда мир пропал. Тогда человек осужден. На веки вечные, потому что только кулаку он и служит, только кнуту и поклоняется, только в тюрьмах и может жить спокойно.

Он говорил и плакал, плакал и бил себя в грудь кулаком. Он разбросал все подушки, и тогда кто-то, стоящий рядом и невидимый, сурово сказал:

— Ну брось! Что ты разревелся? Ты же отлично знаешь, что не выиграет ни тот, ни другой, ни третий, выиграем мы с тобой. Страна! Народ! Ты! Директор! Клара! Корнилов! Дед! Даша! Ты же повторяешь это себе каждый день! Знаешь, я боюсь за тебя — как ночь, так у тебя этот бред! Нельзя так, нельзя, опомнись!

А звон все продолжался.

От этого звона он и проснулся. Всю комнату заливало раннее, тонкое, прохладное солнце. Соседская черная кошка сидела на подоконнике и в ужасе глядела на него. Он протянул руку, и она мгновенно исчезла. Линь не было. Только на стуле лежала пара ее шпилек. Зазвонил телефон. Он поднял трубку и услышал голос Клары:

— Георгий Николаевич, вы опаздываете уже на полчаса, так поедете или нет?

— Да, да! — крикнул он поспешно. — Я сейчас же... Вы где, у сторожа? Отлично. Он спит?.. Нет, нет, не будите. Там у него в шкафу... Ну хорошо, я сам.

Он опустил трубку на рычаг и с минуту просидел так, неподвижно, стараясь отделить явь от сна. Все стояло перед ним с одинаковой ясностью и достоверностью — окно, разговор за столом, разговор на диване, то, что было раньше, то, что было после. «И что это он зачастил ко мне?» — подумал он.

— Ох, не к добру это! — сказал он вслух и начал собираться.

Клара ждала его. На ней был походный костюм, ландштурмовка и полевой бинокль на ремне через плечо. Рядом на скамейке лежала его сумка с продуктами. Сторож сидел рядом, громко зевал и кулаком растирал глаза. Он всегда просыпался на заре.

— А я боялась, что вы опоздаете, — сказала Клара. — Берите мешок и идите. В семь тридцать с продуктовой базы отходит на Или колхозная пятитонка. Мы ее еще застанем, если поторопимся.

Он легко поднял сумку, перекинул ее через плечо и сказал:

— Наверняка застанем, пойдемте.

Шофер ссадил их у правления колхоза. Он работал недавно и поэтому никого тут не знал. «Справку,— сказал он,— можно было бы навести у бухгалтера». Но бухгалтера не было, поехал по точкам, на его месте сидела ларечница, но она никого не знала.

— Савельев, тот со дня основания работает,— сказала она на его вопрос, у кого можно достать списки рыбаков.— У него все ведомости. А я тут недавно. А что, разве на кого жалоба подана?

Так Зыбин от нее ничего и не добился. Когда они с Кларой вышли на улицу (серые сырые пески, рытвины и на самом гребне бугра над обрывом правление — вот эта гудящая от ветра фанерная коробка),— так вот, когда они вышли из правления, Клара спросила:

— Теперь куда?

Он сел на лавку и распустил ремни на сумке.

— У вас никаких экстренных дел нет? Ничего такого сегодня у вас в музее не предвидится? (Она покачала головой.) Тогда сойдем вниз и пройдем по берегу. Там везде рыбацкие землянки. В любой нам скажут, где Савельев.

...Великая тишина и спокойствие обняли их, как только они спустились к реке. Здесь было все иное, чем там, на бугре. Медленные глинистые воды текли неведомо куда, таинственно изогнутые деревья стояли над ними. Узенькая тропинка хрустит и колет ноги. Берег взмыл косо вверх и навис желтыми, зелеными и синими глыбинами. Тихо, мрачно и спокойно. И он тоже притих, замолк и стал думать о Лине. Вернее, он даже не думал, он просто переживал ее снова.

«Открой глаза»,— сказал он Лине, когда все кончилось.

Она послушно открыла глаза и посмотрела на него тихим и каким-то исчерпывающим взглядом. Сама пришла и постучала. И влезла в окно. Такая гордая, хитрая, выскальзывающая из всяких рук. И он вспомнил самое давнее — какой она была тогда, на берегу моря, в день расставанья,— резкая и злая, все сплошь острые углы, обидные фырканья, насмешки. Как это все не походило на вчерашнюю ночь.

— Георгий Николаевич,— позвала Клара сзади.

Он остановился. Оказывается, за своими мыслями он шел все быстрее и быстрее и ушел так далеко, что пришлось его догонять. Она тяжело дышала. Волосы лезли на глаза. Она провела рукой по лицу, отбрасывая их.

И вдруг почти истерическая нежность и чувство вины охватили его.

Он схватил ее за руку.

— Кларочка,— сказал он,— я ведь совсем...— И он хотел сказать, что он совсем, совсем забыл о ней, и осекся.

Он не забыл о ней. Он просто думал о Лине. Он знал за собой это — когда задумывается, то бежит. Чем больше задумывается, тем быстрее бежит.

— Ничего,— сказала Клара и скинула рюкзак.— Только жарко уж очень.

Зной здесь, у реки, был сухой, неподвижный, сжигающий, как в большой печке.

— Этот человек сзади, по-моему, нас догоняет,— сказала Клара. Зыбин оглянулся. Человек поднял руку и помахал им.

— Да, действительно,— сказал Зыбин,— догоняет.

— Может быть, это и есть Савельев?

— Может быть. Подождем!

— Ух! — сказал человек, подходя.— Совсем пристал. Ну и шаги у вас. Трудно вытерпеть, а еще с сумками.— Он вынул платок и обернул им лицо.

Это был молодой парень, розовый, круглолицый, синеглазый, похожий на Кольцова.

— Это вы приходили в правление? — спросил он.

— Да, — ответил Зыбин, смотря на него. — Мы.

— А только что вы ушли, и бухгалтер пришел. Он вас ждет.

Зыбин поглядел на Клару.

— Что ж, пойдём? — спросил он ее вполголоса.

— Зачем идти? Поедем, — улыбнулся парень. — Он мне велел за вами бечь, а сам в машине ждет.

Зыбин посмотрел на высокий берег.

— А где же мы поднимемся?

— А вот дальше, у мертвого дерева лесенка есть, — объяснил парень. — Дайте-ка ваши сумки.

Он подхватил обе сумки и улыбнулся.

— О! — сказал он с уважением. — Булькает!

— А там и закуска есть, — ответил Зыбин.

— Неплохо, — засмеялся парень. — А у нас второй день стоит ларек закрытый — переучет.

— А тихо-то у вас, — сказал Зыбин.

Теперь он шел неторопливым шагом и опять чувствовал необычный простор, тишину и спокойствие.

— А ведь сюда город хотели перенести, Кларочка, — сказал он. — Вот в эту степь. Это после землетрясения девятьсот девятого года. Хорошо, что Зенков отстоял. Зенков — это тот, который собор выстроил, — объяснил он парню.

— Замечательный человек, — с готовностью подхватил парень. — Говорят, в соборе этом ни одного гвоздика нет. Все само собой держится.

— Ну, это, положим, враки, — ответил Зыбин. И вдруг остановился.

Перед ним из-за поворота появилось несколько невысоких деревьев с острыми зелеными листьями необычайной нежности и хрупкости; огромные матово-белые цветы лезли на макушку, сваливались с сучьев. Они висели гроздьями и были пышными, огромными, блестящими, как елочные украшения. То есть каждый цветок не был огромным, он был крошечным, но вся шапка была огромной, как театральная люстра. А цвет у шапки был талого молока: матовый и чуть молочно-желтый. Нигде Зыбин не видел ничего подобного.

— Что это за деревья? — спросил он.

— А мертвые, — ответил парень. — Задушенные.

— Но на них же листья и цветы, — сказал Зыбин.

— А вы подойдите, подойдите, — сказал парень.

Это была действительно мертвая роща, стояли трупы деревьев. И даже древесина у этих трупов была неживая, мертвенно-сизая, серебристо-зеленая, с обвалившейся корой, и кора тоже лупилась, коробилась и просто отлетала, как отмершая кожа. А по всем мертвым сукам, выгибаясь, ползла гибкая, хваткая, хлесткая змея-повилика. Это ее листики весело зеленели на мертвых сучьях, на всех мучительных развилках их; это ее цветы гроздьями мельчайших присосков и щупальцев, удивительно нежные и спокойные, висели на сучьях. Они были так чужды этой суровой и честной смертной бедности, что казались почти ослепительными. Они были как взрыв чего-то великолепного, как мрачный и волшебный секрет этой мертвой реки и сухой долины ее. В этом лесу было что-то среднее избушке на курьих ножках, или кладу Кощея, или полю, усеянному мертвыми костями.

— Страшное дело, — сказал Зыбин. — Вы понимаете, Кларочка, они же мертвые. Их повилика задушила.

Клара ничего не сказала, только мотнула как-то головой.

— И она тоже погибнет, — сказал Зыбин, — только она не знает об этом. Она такая же смертная, как и они. Вот выпьет их до капли и сдохнет.

И вдруг сказал:

— Смотрите, их двое, и машут нам. Сюда идут!

Действительно, с горы спускались два человека. Один, высокий, с плащом через руку, впереди, другой, низкий, в плаще и в шляпе, сзади. Он был кривоногий, как такса.

Зыбин сунул руки в карманы и встал неподвижно, ожидая их. Клара подошла и облокотилась о ствол мертвого дерева. Парень молчал. Два человека! Два человека!! Два человека шли молча, не оставившаяся и не переговариваясь. Походка их была тяжелая и неторопливая.

«Хорошо, что я оставил браунинг,— подумал вдруг Зыбин.— Надо бы...» Но мысль мелькнула и пропала.

«Надо было обязательно встретиться с Линой,— подумал он почти бессмысленно.— Боже мой, как у меня все нелепо получается! И как тогда было хорошо на море!»

И он сейчас же увидел белую стену городского музея на самом берегу, старую рыжую пушку у входа на камнях, маленького человека с указкой в руке — это вдруг на мгновение пришло к нему, согрело его, и он улыбнулся.

Клара стояла у дерева и неподвижно и пристально смотрела на приближающихся. Он к ней обратился с чем-то, она не ответила.

Первым к Зыбину подошел тот кривоногий, что шел сзади, высокий остановился поодаль и с любопытством оглядел Клару. Всю, с ног до головы. У кривоногого были курчавые черные волосы, густые брови, сросшиеся на переносье, острый маленький подбородочек, быстрые, острые мышинные глазки. А в общем — чахлое, ничтожное личико.

— Здравствуйте,— сказал он.

— Здравствуйте,— ответил Зыбин.

— Жарко,— сказал маленький и расстегнул плащ (показались красные нашивки).— Товарищ Зыбин? Мы не дойдем с вами до машины? Нужно поговорить.

— А вы что, из правления? — спросил Зыбин, словно продолжая какую-то игру, и взглянул на Клару. Она молча стояла у дерева и смотрела на них.

— Из правления,— многозначительно улыбнулся кривоногий и, обернувшись, посмотрел на высокого. Тот все так же молча рассматривал Клару.

— Ну что ж, пожалуй, придется ехать,— сказал Зыбин.

Он вынул из кармана десятку и протянул Кларе.

— Дойдете до правления, там найдете попутную машину. Поезд будет только вечером,— сказал он деловито.

— Ну зачем же такую красивую девушку заставлять по такой жаре что-то искать,— серьезно сказал кривоногий.— Мы доведем ее. Да, впрочем, вы сами доведете. Нам ведь вас только на пару слов.

— Я сейчас же пойду к директору, Георгий Николаевич,— сказала она.— Они дадут нам проститься?

— Ай-ай-ай! — улыбнулся кривоногий (высокий по-прежнему стоял молча и неподвижно).— Вы смотрите, как они нам не доверяют.

— Ничего,— сказал высокий снисходительно,— постараемся заслужить их доверие.

Клара вдруг ухватила Зыбина за плечо.

— Слышите! Пусть предъявят документы, слышите! — крикнула она.— Так мы никуда не пойдём.

Кривоногий улыбался все ласковее и ласковее. От этого все черты, мелкие, хищные и незначительные, сближались, и лицо теперь казалось почти черным.

— Если предъявлять, то начнем уж с вас,— сказал высокий, приближаясь.— Паспорт у вас с собой?

— Но домой-то вы ее, верно, доставите? — спросил Зыбин.

— Ну конечно,— равнодушно успокоил его высокий.— У нас две машины.

— А ордер при вас? — спросил Зыбин низенького и вынул паспорт. Высокий взял его, открыл, закрыл и сунул в карман.

— Ну а как же? — удивился низенький.— Мы, Георгий Николаевич, свято выполняем закон. Мы сделаем что-нибудь не так, а потом вы нас затаскаете по прокурорам. Знаем мы это! Нет, у нас все в порядке.

Высокий вынул из сумки новенький сверкающий бланк. Слово «ордер» выглядело как заголовок. Подпись была голубая, факсимильная. Его фамилию вписала от руки круглым, почти ученическим почерком какая-то молодая секретарша, нежная мамина дочка.

Зыбин посмотрел, кивнул головой, отдал ордер и повернулся к Кларе.

— Ну что ж? Давайте хорошенько попросимся, Кларочка! Можно? — спросил он высокого.

— Да, пожалуйста, пожалуйста,— всполохился кривоногий.

— Да ради Бога,— равнодушно сказал высокий.

И они оба слегка отошли к мертвой роще.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

О, муза истории Клио!

Зыбин крепко спал, и ему снилось Черное море и тот городишко, в котором он три года назад прожил целых два месяца.

Город этот был маленьким, грязненьким, с улочками-закоулочками, то в гору, то под гору, с лавочками-прилавочками, с садами-садовочками и, наконец, с курортным базарчиком над самым-пресамым морем.

До полудня этот базарчик дремал, а после обеда вдруг становился самым шумным и веселым местом города. На середку его выкатывались два дубовых бочонка, устанавливали их на козлы, и усатый грек в белом фартуке, вечно под хмельком, с шуточками-прибауточками угощал всех желающих настоящим портвейном и мадерой. Пара стаканов — полтинник, пять стаканов — рубль; за два рубля — пока назад не пойдет.

Вино было мутное, теплое, пахло оно перегорелым сахаром, и от него, верно, подташнивало, но все равно к вечеру ишачок увозил уже пустые бочонки.

А рядом с бочонками были на циновках разложены сувениры: засушенные морские коньки, похожие на бессмертники, связки белых и желтых ракушек — бусы, плоские сиреневые камешки — с морем, чайками и пальмами и, наконец, крабы. Вот крабов было тут больше всего — наверно, сотни,— всяких: желтых, красных, розовых, багровых, почти черных — их притаскивали из дома на лотках и осторожно расставляли по циновкам... Так они стояли на колючих ножках, сверкали лаком, ходили то на туалетные коробки, то на туфельки-баретки, то на огромные круглые пудреницы, и вокруг них всегда толпились курортники. Зыбина они интересовали не слишком, но на базар он ходил — ему тоже до зарезу нужен был краб, но не такой, как тут, а настоящий, черный, колючий, в шипах и натеках, с варварски зазубренными клешнями, в зеленых подводных пятнах на известковом шишковатом панцире, но именно таких на базар-то и не выносили. Вероятно, они были все-таки не ходкий товар, да и то сказать, разве такого поставят на комод на белое покрывало с мережкой между круглым зеркалом и той же самой туалетной коробкой?

Еще до приезда сюда, в санаторий имени Крупской — Зыбин там занимал одну из пяти коек в угловой комнате,— он, листая каталоги

и проспекты, установил про себя три достопримечательности этого городишка. Первая — во время оно здесь существовал крупнейший античный порт, отсюда вывозили в Италию зерно (найдена обширная посвятельная надпись Посейдону, разрыты остатки амфитеатра, работает городской музей). Вторая — возле городка расположен едва ли не единственный на Черном море детский пляж (детский парк, карусель, больница костного туберкулеза, а летом и Центральный детский театр под художественным руководством Натальи Сац). Однако этот пляж и уходил каждое утро Зыбину боком. Просыпался он рано, часов в пять, одевался, брал книгу, бинокль и незаметно прошмыгивал на улицу, к морю. Было тихо, светло, безветрено. Все еще спали — швейцар в дверях, дворник на дворе, привратник у ворот, — и никто не замечал ни как он уходил, ни как возвращался. А возвращался он часов в семь и сразу заваливался спать. Правда, в девять всех будили на завтрак, но он спал все равно. Но еще через час хочешь не хочешь, а приходилось вставать. Угловая комната выходила окнами на детский пляж, на какой-то особенный, специально отгороженный сектор его, и по утрам стекла дребезжали от детского визга. Пока дети баловались и свободно могли упасть и захлебнуться, мамы сидели на простынях и шумно переживали: «Рудик, ты куда полез! А что я тебе сказала, Рудик, сегодня утром?! Только до грудки, только до грудки, скверный ты мальчик! А, ты вот как!» — и вслед за этим всегда раздавался резкий визг. Конечно, спать было уже невозможно, он вставал, одевался в пижаму, садился перед окном с книжкой в руках, но не читал, а смотрел на море. И через некоторое время наступала тишина, детей уводили. Мамаши вставали с простынь, переговаривались, расхаживали, слегка массировали себе ладонями животы и ляжки. Потом они лезли в море, но так как это были особые мамы, то купались они без всякого плеска и шума, достойно и не особенно долго. Через полчаса, обалдев от солнца и моря, они уже выкарабкивались на берег и забирались под навес, там они пили из зеленых термосов, похожих на осовахиимовские противогазы, горячее какао, раздирали багровыми ногтями апельсины и, наконец напившись и наевшись, вяло сваливались на бок и тихо засыпали. И все на пляже засыпали тоже. Ветер бродил по песку, вздувал юбки и блузки, добирался до зонтиков и корябал их спицами песок, колыхал огромные голубые, как глобусы, мячи и, так ничем основательно и не заинтересовавшись, тихонечко уходил с пляжа.

А еще через час в санатории звонили на обед. Зыбин вставал, бросал книгу на тумбочку, переодевался и шел в столовую. И дальше все шло как по-заведенному — обед, купанье, прогулка, кино или что-нибудь в этом роде, потом ужин, вечерняя прогулка и сон. Но иногда, перед обедом, случалось необычайное — на пляже (и всегда в одно и то же время!) появлялась тонкая женская фигурка: черное трико, загорелые ноги, короткая светлая гривка. Она шла, болтала руками, смеялась, пинала подвернувшийся мячик, и он летел через весь пляж, бросала кому-то что-то веселое и исчезала так же внезапно, как и появлялась.

Вот это и было второй достопримечательностью города.

О третьей много говорить не приходилось — в городе помещался единственный в Советском Союзе Институт виноградарства и виноделия.

А море возле городишка плескалось тихое, мутно-зеленое, ласковое, как задремавшая на солнцепеке кошка. Бог его знает, каким оно было две тысячи лет назад, когда к извилистым берегам его подплывали красногривые морские кони и драконы из Афин и Неаполя, но сейчас можно было уйти в море с километр — и все тебе будет по поясу, по грудку, по шейку и только далеко, там, где опускаются на воду бакланы, — с ручками.

Зыбин облюбовал себе одно место и каждый день приходил сюда

до восхода, небо в эти часы было еще темное, с прозеленью, звезды прозрачны, тени призрачны, а море пустынно и пляж пустынен, и ничего не было ни в небе, ни на море, ни на суше. А на самом пляже только пустые размалеванные узорчатые теремки, изрытый песок, навесы и тени от них.

Он смотрел с высокого берега на пляж и дальше, на море, и еще дальше, на быстро светлеющий горизонт, и молчал. И все в нем тоже малало. Легкая дымка лежала на всех предметах мира, и волны катились медленные, бесшумные. Было тихо, спокойно, чуть безнадежно, чуть жутковато — так бывает, когда зайдешь ночью в опустевшую пригородную станцию, где горит под потолком только одна лампа и никого нет, или в ночную аптеку с заспанным провизором или пройдешь по запертому рынку. Только, конечно, здесь все было выше, огромнее, торжественнее и печальнее.

«Как перед лицом Вечности», — сказал бы он, если бы умел говорить красиво, но так говорить он не умел и поэтому только стоял и смотрел. Что-то очень-очень многое приходило ему в голову в те минуты, но все неопределенно, спутанно, и ничего из этого он не мог ухватить и держать в себе, пожалуй, только вот это: тишина, высота и даль.

Постояв так еще с пару минут, он подходил к деревянной лестнице, клал руку на перила и соскальзывал вниз.

Здесь настроение его менялось снова. Вот тут, думал он, может быть, точно на этом самом месте, где сейчас лестница, а внизу будка мороженщицы, толпились судовладельцы, матросы, рабы, родственники, ждали судов, гонцов, известий о походе Александра Македонского в Индию. Удивлялись, гадали, покачивали головами, ловили слушки и сами небось еще что-то к ним присочиняли. Вот он пересек Сирию, промчался через всю Азию, прошел страшные огнедышащие степи ее, где живут людоеды и амазонки, а кони их жрут человечину, и двинулся к самым границам мира. Достиг Инда. Переплыл его. Встал лагерем и провозгласил Всемирную империю, родину Новой нации персогреков. Что-то будет, что-то будет! Земной шар свалился ему в ладонь, и он играет им как яблоком. Теперь — все! Прекратятся все войны, утихнут все распри, сами собой исчезнут границы, и будет единая земля и едино небо, и на небе Бог, а на земле этот божественный юноша, сверхчеловек, ее хозяин; счастливое время, в которое мы живем, счастливые наши дети.

Ни беса лысого из этой дурацкой петрушки, разумеется, не было. Мир не яблоко и не мячик, и его — шалишь! — в кулаке не сожмешь!

Хозяин вселенной непостижимо скоро отдал концы (а может, и помогли — подсыпали чего-нибудь), а слуги, сразу ставшие царями и тоже богами, передрались, перерезались и стали провозглашать. Они провозглашали, они провозглашали, они провозглашали до тех пор, пока не перестало что им провозглашать, тогда они все рухнули, пожгли города и библиотеки, высунули языки и отреклись от всего. А кончилось все это безнадежным и страшным утомлением мира. Волны этого утомления доходили, конечно, и сюда, но вряд ли оно тут особенно чувствовалось. У истории в то время были слишком короткие руки и так далеко они не протягивались.

А потом наступила Римская империя. Войны, кризисы, убийства и безнадежие — Август, Тиберий, Нерон, Христос и христианство — город стал римской колонией. Теперь из его бухт отходили транспорты с зерном (став Великими, империи почему-то всегда начинают голодать), и навстречу им шли суда с бронзой, мрамором, статуями императоров, льняными и шелковыми тканями, порченой монетой, которую в ту пору таскали за собой мешками. Потом империя затрещала по всем швам — она ведь из Великой сделалась Всемирной, — кого-то убивали, что-то жгли, кому-то что-то доказывали и, конечно,

ничего доказать не могли. А певцы и поэты творили, а императоры воевали, а юристы кодифицировали, а философы подводили подо все базу — город же прижался к земле и ждал, ждал, ждал, чем же все это кончится! Э! Да ничегошеньки он не ждал, он просто жил, как тысячу лет до этого, и все! Ловил и солил рыбу, сеял хлеб, давил вино, справлял свадьбы и ни о чем больше не думал. «Да, вот так, — сбрасывая туфли и заходя в воду, думал он, — вот так именно и было. Жили, любили, деток рожали и больше ни о чем не думали. Это мы теперь что-то за них придумываем, а они просто жили, да и все тут. Ведь и я тоже живу сейчас, и все. А может, через тысячу лет и про меня начнут что-то выдумывать, какие-то необычайные мысли мне приписывать, провиденье, трагедийность, чувство истории, потому что буду я уже не человеком, а памятником — и не просто памятником, а памятником чего-то, а вот чего — они уж придумают сами».

Это была его навязчивая идея, он думал об этом каждый день то зло, то грустно, то равнодушно, но никогда не весело, потому что понимал, что это бред и он начинает уже бредить.

Иногда он встречал в эти часы таких же, как он, праздношатающихся, их было немного, любителей одиноких утренних прогулок, всего два или три человека. Но все они были какие-то особые люди, совсем не похожие на тех, кого он встречал днем. Впрочем, что ж? Он ведь и сам был не совсем дневной.

Но особенно его поразил один человек. Он на этот раз шел по пляжу и увидел: в море, далеко от берега, стоит человек. И даже не человек стоит, а просто торчит из воды голова. «Вот еще чудило», — усмехнулся Зыбин и остановился. Прошло пять минут, семь, десять, Зыбину уж надоело стоять, а голова все не двигалась. «Что он там делает, — подумал он уже сердито, — на море, что ли, смотрит?» Человек действительно смотрел на горизонт — на ясную, широкую и почти зеленую ленту рассвета. Вверху было тяжелое темное небо, внизу черная вода, а в глубине ленты как будто что-то происходило, назревало, рвалось вовне, стреляло искрами. И Зыбин тоже стал смотреть, но скоро это ему надоело и он пошел дальше.

И встретил второго человека.

Человек этот сидел на камне и швырял в море гальку — небольшой круглолицый толстячок с лысиной. Когда Зыбин подошел, он, не оборачиваясь, произнес:

— Когда бросаешь камни в воду, следи за кругами, иначе твое занятие будет бессмысленно — так сказал Козьма Прутков.

— Мудрые слова, — вздохнул Зыбин сзади.

— Еще бы! — Толстячок примерился и бросил плоский камешек. — Эх, сорвалось, а раньше и до шести блинов пек. — Он посмотрел на Зыбина. — Слушайте, а где же я вас видел? Вы не из «Дзержинского»?

— Нет.

— Черт, где ж я тогда вас видел? — Он смотрел на Зыбина пристально и напряженно. — И не из «Худфонда»?

— Нет, не из «Худфонда». Я вообще не художник, — усмехнулся Зыбин.

— Хм! Жаль! Хотя, положим, в этот час мы все художники! Да! Но альбома-то у вас нет! Значит, вы точно не художник, так откуда же, а?.. А, вспомнил! Так я на рынке вас видел! Вы еще какого-то там особого краба искали! Так? Ну конечно! Ну что, нашли?

— Нет, — ответил Зыбин. — Такого, как надо, не нашел.

— А какого же вам надо? — усмехнулся толстячок.

— Натурального.

— То есть как это натурального? — весело удивился толстячок. — Да они и все не из папы-маше.

— Мне надо было настоящего, черного, прямо из моря, — объяснил Зыбин.

— Ах вот какого! Да такого вы там не найдете! Это надо вам у рыбаков искать. Хотя нет! Они теперь крабов тоже не ловят, у них артель, план. Не знаю, не знаю, где вы такого найдете. Слушайте, а я вот вспомнил, я вас второй раз здесь встречаю — ведь это вы вчера сидели на скамейке около лестницы? Так? Ну вот, ну вот, что, тоже не спится?

Зыбин улыбнулся. Ему этот толстячок почему-то сразу понравился, он был весь какой-то совершенно свой, мягкий, округлый, добродушный, в мешковатом костюме, в туфлях на босу ногу.

— Да нет, не то что не спится,— сказал он,— а просто грешно просыпать такую красоту.

— Правильно,— толстячок даже с места вскочил,— очень правильно вы сказали: грешно. Только сейчас ее и увидишь, а как мамыши придут да деток приведут, да еще наши пьяницы с бутылками пришествуют — то будет уж не море, а парк культуры и отдыха. Или, как сейчас говорят, парк отдыха от культуры! Это точно! Это совершенно точно! А я вот, знаете, приду еще затемно, сяду на этот вот камешек — я его специально со склона скатил — и сижу, сижу. И вот туда гляжу, на турецкий берег. Ведь там восход. Восходы тут, я вам скажу, замечательные, совсем не такие, как в книгах. Там ведь «игра красок», борьба тьмы и света, пожар и еще что-то, нет, тут ничего этого нет. Тут все совсем иное — покой. И вот сидишь, смотришь и до того засмотришься, что утеряешь всякое представление о часах. И вдруг в пионерском лагере горн заиграет. Это значит, ты часа три как пенек на одном месте проторчал. Вот вы сейчас снизу идете, не обратили внимания, стоит там человек, в море? Или нет? А, стоит! А знаете, кто это? О, это знаменитая личность. Это один румынский коммунист. Его пять лет в одиночке продержали, и он за эти пять лет дальше вот этой скамейки ничего не видел — такая камера была. Тут стена, тут стена, тут стена, в углу параша, вверху окошечко — вот и все. И лампа в решетке. Слепнуть даже стал. Всего неделю тому назад его на самолете привезли, хотели положить в больницу — он ни в какую! Везите к морю! — вот и привезли, поместили в санаторий ЦК, а теперь директор не знает, что с ним делать, ему же режим предписан, по звонку ложиться, по звонку вставать, не перекушаться, не перегреться, не переутомиться, — а ему все нипочем! Уходит ночью, приходит ночью — ну что ж, вязать его, что ли? Я его, знаете, понимаю. Ведь простор! Смотрите, какой простор! На сотни верст только море, море, море — вот оно, вот! — Он откинул голову, раскинул руки и глубоко вобрал в себя воздух. — Простор! —
Сзади заиграл горн.

— О! — сказал толстячок. — «Бери ложку, бери хлеб и садися за обе-е-ед». Так моя племяшка поет. Значит, уже девять. Пора! Вам к маяку? Ну и отлично, по дороге, значит. Пошли. Значит, вы не художник, а если не секрет, кто?

— Историк я,— объяснил Зыбин. — По Риму.

— А-а,— сразу посерьезнел толстяк. — Ну, ну. А тут есть на что посмотреть. Вы, конечно, в музее уже были? Нет? Как же так? Обязательно зайдите. Там директор много что собрал — вазы, монеты, три статуи. А я ведь... — Он вдруг остановился и продекламировал: — «Квоускве тандем Катилина абутере пациенция ностра». Вот! На всю жизнь врезалось! Так тогда врезали. Я ведь в тысяча девятьсот шестнадцатом году Первую классическую минскую гимназию окончил! Клиндер Макс Адольфович — такую фамилию вы никогда не слышали? Он у нас древние языки преподавал. Вот уж знал предмет. Еще бы, из образованнейшей семьи! Культурнейшие люди! Он у нас ученическим хором дирижировал. Помню, раз учили мы «Коль славен». Ну, ребята у нас в то время уже были со всячинкой. С идеями! Кто поет, кто только рот раскрывает. И я тоже рот раскрываю. Вот он наклонился и в самое мне ухо пропел: «Жи-и-ид! Что ж ты не пое-е-

ешь?» Ну, я и запел! — Толстяк расхохотался, засмеялся и Зыбин.

— Так, значит, вы в классической учились? — спросил Зыбин. — А я ведь думал, что...

— Что все евреи в коммерческие и в реальные шли, — подхватил толстячок. — Правильно, так и было. Но мой папа обязательно хотел, чтоб я стал адвокатом. Ну хотя бы помощником присяжного поверенного. Тогда евреев-то не больно в самое сословие пускали. Но мой предок однажды в Киеве Оскара Грузенберга слышал, с тех пор словно слегка тронулся. Портрет его у себя повесил, речи покупал и по-особенному переплел-то. Да вот обманул я отца, не вышло из меня адвоката! Не вышло! — И толстячок даже немного погрузнел.

— Да! — вздохнул Зыбин. — Да! — И только что хотел спросить толстячка, так кто же он будет, как тот сказал:

— А в музей вы обязательно зайдите. С директором познакомьтесь. Это такой человек — вот увидите, на каждого отличного специалиста как на Господа Бога смотрит. Он вам многое что порасскажет. Вот, кстати, и насчет краба, может, что дельное посоветует. У него все десятиклассники на подхвате.

— Я найду, найду, — поспешно заверил Зыбин. Ему и в самом деле стало неудобно: десять дней как приехал и еще не был в музее.

— Зайдите, зайдите, — серьезно посоветовал толстячок. — Ну, а засим позвольте пожелать вам всего наилучшего — вот мы уж и дошли. Звать меня — Роман Львович, я тут рядом с вами в доме отдыха имени Цюрупы. Очень было приятно познакомиться... Если, может, когда надумаете зайти в шахматы сгонять. — Он слегка поклонился и быстро ушел.

А Зыбин вдруг остро подумал: «А откуда же он знает, где я нахожусь, ведь мы только что случайно познакомились?!»

Была и еще одна встреча — тоже очень ранняя, — но не на этом месте, а много дальше, там, где уж начинался дикий берег без пляжей и скамеек. Вот там однажды он и повстречал ее — ту самую в черном трико и с гривкой. Только об этом он боялся вспоминать. И она ему, верно, не снилась.

Хлопнула дверь. Зыбин вскочил. Горела тусклая тюремная лампочка. Стекло за решеткой было фиолетовым. На кровати напротив сидел высокий худой старик, поросший щетиной, и смотрел на него.

— Ну и долго же вы спали, — сказал старик.

Зыбин вздохнул и уселся на кровати.

— А сколько сейчас времени?

Старик слегка пожал плечами.

— Да, кажется, что ужин привезли, вон слышите, визг — бабки по полу передвигаются. Значит, уже шесть часов. А ведь здесь днем спать не полагается. Это для вас сегодня почему-то сделали исключение. — Он привстал и протянул руку. — Ну что ж? Давайте знакомиться. Буддо Александр Иванович, доставлен в сию смиренную обитель из городской колонии. Шьют новую статью. А вас как прикажете именовать?

Зыбин назвал.

— Из музея?! — радостно удивился Буддо.

— Да-а! А откуда вы...

— Господи, да я же из колонии! Там мы каждый день «Казахстанскую правду» читаем, от корки до корки. А вы там часто статьи помещали: о Библии, о музее, о раскопках. «Г. Зыбин». Это вы?

— Я.

— Ну вот. Ну, страшно рад! То есть, конечно, плохая радость, но-о... Да, провел я, Георгий Николаевич, в этой колонии пять лет

незаметных. Можно сказать, как у тещи на печи пролежал. Я ведь там топливным складом заведовал. Саксаул выдавал. Все надзиратели передо мной на лапочках ходили! Ну а как же? Захочу — вместо полтонны семьсот пятьдесят им отпущу, а захочу — он и своих пяти-сот недоберет. Весы же у меня дрессированные! В общем, жил! Газеты, книги, радио! По выходным кино! Жить можно!

— Ну а потом что?

— А потом забрали. Теперь вот новое дело шьют.

— Язык?

— Да, начали с языка, а теперь кое-что и посерьезнее клеят.

Пятьдесят восемь-восемь через семнадцать. Вам это ничего не говорит?

— Нет.

— Террор через соучастие. Сочувствовал убийцам Сергея Мироновича Кирова. Вот как!

— А свидетели — заключенные?

— А кто же еще? Они, милые, они, мои родные! Весовщик да подсобный рабочий. Я же его и пригрел. Такой хороший мальчик: красивый, вежливый, культурный, из порядочной семьи — музыковед. Дядя — академик, агрохимик! Вот он мне, сукин сын, и удружил! Написал цедулю. Показал, что я восхвалял Николаева. Говорили, конечно, мы и про Николаева, но совсем не в том смысле.

— А в каком же?

Зыбин знал, что в тюрьме расспрашивать не полагается, но ведь Буддо сам лез на разговор.

— Да просто я сказал, что странно мне все это дело-то, то есть не то странно, что Кирова убили — нашелся сумасшедший и убил, такие происшествия всегда были и будут, — а то странно, как дальше-то все развернулось!

— А как развернулось?

— А так, что приехал Сталин. и сразу два главных гепеушника полетели к белым медведям. Говорят, он даже тут же на перроне нашивки с них сорвал и по мордам нахлестал, ну это хорошо, они это заслужили. А вот после-то пошло что-то непонятное.

— Что ж непонятного-то?

— То, что вдруг кинулись на дворян. Стали хватать и высылать. Позвольте, их-то за что? Они же мимо этого Смольного небось и проходить боялись! Партиец же стрелял! Партиец! С пропуском в Смольный и с разрешением на браунинг! Значит, вот какая категория причастна к убийству, а взяли правнука Пушкина и выслали в двадцать четыре часа. «А что, разве Пушкин не дворянин?» — это прокурор по надзору одному пушкинисту так ответил. Очень все это непонятно — очень! И потом вот в сообщении такое, например, проскользнуло: «У убийцы при обыске забрали дневник, где он пытался объяснить убийство личными мотивами». Какими же именно? Договаривайте уж до конца! Может, он свою бабу приревновал, может. Киров мужа прогнал, а бабу его оставил. Тот и озверел! Может так быть? Может! С Котовским именно так и было. Вот я это сказал, меня и забрали. Соучастие через сочувствие! То есть моральное участие в убийстве. В теракте! Что ж? Я сознался.

— Ну и что же вам за это будет?

— Что? Да ничего! Сунут еще червонец — и все. А так как сроки не складываются, то возобновят старую десяточку и пошлют куда-нибудь подальше. Ладно! Поедем! В Колыму уж не погонят. Мне шестьдесят. А там надо землю рыть, лес сводить, тачку-пертачку гонять. Вот вам сколько? Тридцать? О, это самый их возраст! Они этот возраст обожают! Это верное СФТ, а то ТФТ — знаете, что это такое? Пригоден к среднему или тяжелому физическому труду. Первая и вторая категории: шахта, дамба, тачка! А что они вам предьявляют?

— Не знаю.

— И даже приблизительно не догадываетесь?

— Нет.

— Ну, значит, агитацию. Если сами не знаете, то, значит, обязательно агитация. Пятьдесят восемь, пункт десять. Универсальная статья! Всем подходит. Полчаса поговорил, сексот написал, слово прибавил, слово отбавил — и готово, пригоняй «черный ворон» и забирай. Но сейчас за это больше пяти не дают. Восемь, только уж когда что-нибудь действительно есть. Если только разговоры предъявят, то советую: берите. А то они еще что-нибудь присочинят! У них фантазия богатая! А что вы улыбаетесь! Не верите?

— Да нет, верю,— ответил Зыбин ласково, продолжая улыбаться (хорошо, право, что он не один в камере, хорошо, что ему попался старик лагерник, а не юнец, которого пришлось бы утешать и разговаривать, хотя, с другой стороны, есть, есть в этом Буддо что-то очень неприятное, и наверно, вот это самое: «Что ж тут поделать? Ладно, поеду». Кого Зыбин никогда не мог выносить — это вот таких непротивленцев).— Да нет, верю, что слово прибавил, слово отбавил — и вызывай «черный ворон», но только со мной-то у них так не получится.

Буддо невесело усмехнулся.

— Да? Ну дай вам Бог, дай вам Бог! Желая всего самого хорошего, но только у меня и этого утешенья нет. Я знаю: они не для того берут, чтобы отпускать. Они человека навечно приваривают.

— То есть как это, навечно? — удивился Зыбин.— Так, значит, если бы вы и кончили срок...

— Так ведь не кончил же я, не кончил же! — болезненно улыбнулся Буддо.— Забрали же! Только, конечно, что-то рано забрали. Обычно они в последний год это продельвают, а со мной что-то поспешили.

— Значит, из вашего лагеря никто еще на волю не выходил? — воскликнул Зыбин.

— Почему не выходил? — улыбнулся Буддо и слегка кивнул на дверь.— Только вы не кричите, а то вот он стучать в дверь будет. Если срок кончил, так и на полчаса не задержат, но только вот сколько ты на воле-то пробудешь? Тут тоже нужно иметь масло в голове, а то и месяца не продержишься. Вот если поступишь кассиром или, скажем, ночным сторожем и ни с кем не будешь компании водить, а самое главное, не женишься — ох, жены и здоровы сажать! — а так, отсидел и домой, в постель! — то года два, ну три, ну три с половиной, может, протянешь.

— А там?

— А там все равно заберут.

— Да за что же?

— За что. За... Эх, чуть было не сказал вам по-лагерному! За ту же антисоветскую агитацию и заберут. Они новых статей не любят придумывать. Зачем? И старых на всю жизнь хватит.

— Это даже если я воды в рот наберу?

— Даже если и наберете. Да ведь не наберете, не наберете же! Ну год, ну два промолчите, а потом что-нибудь да и ляпнете. Нет? Чудак вы! Ну, вот, скажем, книжку вы ночью на дежурстве читали. Поинтересуются у сменщика, что за книжка, а вы сказали: да ничего, интересная. Понравилась. Или в кино пошли, вас увидели, спросили, как понравилась картина, а вы ответили: скучная. А вот автора книги через полгода взяли да посадили; а режиссера в Кремль вызвали, руку пожали и патефон ему подарили. Вот вам и все. С одной стороны, восхваление врага и вражеской литературы, с другой стороны — клевета на советское партийное искусство. Вот уж хорошее начало есть. А дальше вы с соседкой поругались. Вы что

же думаете, она не знает, где на вас искать управу? Господи, да она такое туда напишет! Вот уж два свидетеля! И хватит! Сидите!

— Но позвольте, ведь нужны еще какие-то доказательства?

— Какие? Кому? Кому они нужны, Георгий Николаевич? Какие еще доказательства? Все и так доказано! Вы сидели? Сидели! За что? За антисоветскую деятельность. Хорошо! А вот за этой самой патриоткой ничего, кроме вытрезвителя, не числится. Это доказано? Доказано. Ну вот и точка. И органам все ясно. Распишитесь, что читали ордер.

— Ну а если за эти годы я перековался? Осознал свою вину?

Буддо засмеялся и погрозил пальцем.

— Экий вы шустрый! Нет, это вы бросьте! Осознал он, перековался! Шутить изволите! Это кто же вам, разрешите спросить, позволил перековываться, а? Вот Рамзин — тот да! Тот начисто перековался! Ему разрешили! Или вот — читали вы в сообщении о процессе троцкистско-бухаринской банды, что бандиты, боясь разоблачения, убили инженера Бояршинова, а был он не просто инженер, а лицо, ранее судимое за вредительство? Читали? Вот он-то перековался. Ему после смерти это разрешили. Для наглядности. А мы с вами — шиш! Как были врагами, так врагами и сдохнем. Так-то, батенька!

— Так что же это, по-вашему, это кайново клеймо, что ли? — крикнул Зыбин, этот разговор раздражал его по-настоящему.

— По-моему! — усмехнулся Буддо. — Что выходит по-моему, это мы помолчим, а вот по товарищу Ежову и товарищу Вышинскому выходит точно так! И не клеймо, то хоть каленым железом да сводится, а болезнь крови, порочная наследственность, гены от отца к сыну, от сына к внуку. Вот потому и высылают из Ленинграда не только дворян, но и дворянчиков. Это и есть классовый подход. А я этого, дурак, не понял и трепался. Почему? Да за что? Все мне нужно было знать, болвану. Вот за это и попал!

— Значит, вы считаете, что вас сейчас взяли за дело?

— А как же! Конечно! А здесь не виноватые не сидят. Георгий Николаевич. Кто делом, кто словом, кто мыслью — а все виноваты. Вот и вы виноваты будете.

— Я не буду, — ответил Зыбин и отвернулся.

Буддо с сожалением посмотрел на него и покачал головой.

— Да ведь не выдержите вы, Георгий Николаевич, не выдержите! — сказал он страдальчески. — Изматаетесь! У них же в руках все, а у вас ничего. А главное — ни к чему все это! Что они задумали, то и сделают! И никто на свете им не помешает. Страна в их распоряжении, и разве только хуже себе сделаете.

— Это как же так?

— А так! У них ведь и лагеря всякие. Ведь одно дело — городской топливный склад или сельхоз, там бахча, там заключенные вечером в реке купаются, коней поят, и другое дело Колыма, «Колыма, чудная планета» — там из ватников и ночью не вылезают, потому что спят зимой в палатках. Заживо сопреешь. Опять качаете головой? Эх, Георгий Николаевич, не знали вы еще горя, а вот...

Дверь отворилась внезапно и бесшумно — высший шик, освоенный только не многими из тюрем, — на пороге стоял разводящий.

— Кто здесь на букву «З»? — спросил он. — Собирайтесь на допрос.

Его провели по узкому тюремному коридору, как будто сплошь состоящему из железных дверей (перед одной из них, с откинутой кормушкой, стоял надзиратель и о чем-то разговаривал с заключенным; когда они поравнялись, он повернулся и спиной прикрыв кормушку), потом через другой коридор, где было только две двери, но огромные, глухие, похожие на церковные ворота, они были заложены на засовы, — и наконец вывели на лестницу, каменную, узкую,

похожую на черный ход. На ее площадке стоял столик, лежала большая канцелярская книга и сидел солдат. Надзиратель протянул ему квитанцию, солдат взял ее, посмотрел и занес что-то в книгу. Они поднялись еще на этаж, вышли на лестницу, но это была уже совершенно иная лестница, с большими площадками, со стеклянными дверями, просторная, мраморная, с ковром и перилами. Через нее они вышли в другой коридор. Он был пуст и тих, как глетчер. Горели лампы дневного света. От стерильных стен веяло нежизненной чистотой и холодом. Большая высокая дверь, обшитая черной кожей, замыкала коридор.

— Руки назад! — прошипел разводящий и постучал.

— Попробуйте, — ответил ему сочный благодушный голос.

Открылся большой уютный кабинет с кадками зелени. Всю стену занимала карта Советского Союза. На окнах висели волнистые кремовые шторы. В углу рогатая вешалка-стояк.

Хозяин кабинета, широкоплечий, здоровяк, курчавый и губастый, приподнялся из-за письменного стола.

— Здравствуйте, Георгий Николаевич, садитесь, — пригласил он. — Вон на тот стул, у стены. — Он кивком отпустил разводящего. — Что ж! Давайте знакомиться. Начальник Второго СПО Яков Абрамович Нейман. Ну, прежде всего, как вы себя чувствуете-то?

— Спасибо, нормально, — ответил Зыбин, усаживаясь за крохотный столик в углу кабинета.

— Ну и отлично! Я было уже забеспокоился, вид у вас был неважнецкий, хотя, конечно, жара, дорога, волненье. Так что ж, будем, значит, разговаривать? Вообще-то с вами будет заниматься другой человек, но... Вы курите? И отлично делаете, лучше уж пить мертвую, чем отравлять себя этой гадостью. Так вот, у меня к вам один вопрос, и не следственно, а чисто познавательного характера. Фамилия Старков вам что-нибудь говорит? Говорит! Тогда скажите, какое отношение вы имели к его делу.

Зыбин усмехнулся и пожал плечами.

— Ровно никакого!

— Ровно никакого? Отлично! — Яков Абрамович выдвинул ящик стола и достал оттуда синюю аккуратно подшитую папку. — Так как же вы тогда объясните, что в августе тысяча девятьсот тридцатого года вас вызывало по этому делу Московское отделение ГПУ и допрашивал вас тогда товарищ Разумный? Вот протокол допроса. Зачитать?

— Просто случилось недоразумение. Меня допросили и сразу же отпустили.

— Но ведь под подписку?! Ах, идеалистические времена тогда были! Теперь так не отпустишь! Да! Отпустили! Вот тут и постановление есть с резолюцией! Но раз отпустили, значит, все-таки брали, так? Вот слушайте, я читаю протокол допроса: «Вы обвиняетесь в том, что 14 августа сего года сорвали общее собрание студенческо-преподавательского состава вашего института, обсуждавшее статью «Известий» о групповом бандитском изнасиловании студентки второго курса университета Вероники Кравцовой». Что вы можете сказать по этому поводу? Вот видите, какая формула обвинения? Групповое изнасилование.

Нейман откинулся и насмешливо поглядел на Зыбина. (И тогда Зыбин подметил: в его глазах стоит выражение хорошо устоявшегося ужаса.)

— Хорошо. Читаем дальше. Ваш ответ:

«Собрания я не срывал, а просто изложил свое мнение об этом деле».

Вопрос следователя: «А в чем же оно состояло?»

Ответ: «В том, что резолюцию с требованием расстрела обвиняе-

мых, предложенную парткомом, мы ни обсуждать, ни тем более ставить на голосование на этом собрании не можем».

Вопрос: «Объясните, почему?»

Ответ: «Во-первых, потому, что в Уголовно-процессуальном кодексе прямо сказано: «Судьи независимы и подчиняются только закону». А это было бы прямое давление на суд».

Нейман усмехнулся и покачал головой.

— Вот ведь какой вы законник! — сказал он. — «Во-вторых, потому, что до суда мы вообще ничего не знаем. Все трое обвиняемых наши товарищи, вину свою они начисто отрицают. Свидетелей нет, обвинения строятся всецело на предсмертной записке Кравцовой Старкову. Вот и все, что нам известно. Ничего более конкретного нет».

Вопрос: «Следствие предъявляет вам эту предсмертную записку: «Сто раз я тебя проклинаю за то, что ты меня вчера напоил и выдал на издевательство. О! Никому я не желаю столько зла, как тебе!» — разве это недостаточно конкретно?»

Ответ: «Нет. Конкретна здесь только злоба. Что такое напоил? Что такое выдал на издевательство? Как это могло быть реально? Кравцова не девочка. Она жена видного человека, бывшего руководителя края. Какая же ей была нужда идти в номер гостиницы и напиваться до потери сознания? На все эти вопросы должен ответить суд, а его еще нет. Так дождемся хотя бы первых его заседаний. Вот что я сказал. После этого выступило еще несколько человек, и собрание не стало голосовать».

Вопрос: «Значит, вы не отрицаете, что собрание не стало голосовать после вашего выступления?»

Ответ: «Нет».

Вопрос: «В каких отношениях вы были с покойной?»

Ответ: «Встречаясь, мы здоровались».

Вопрос: «Где и когда это было в последний раз?»

Ответ: «За два дня до ее самоубийства, на том самом собрании, на котором и зародилось все это дело».

Вопрос: «Поясните, что это было за собрание?»

Ответ: «Это было собрание студенческого литературного кружка. Я сидел возле Кравцовой и видел, как ей посылали записки. Потом я узнал, что сговор встретиться в гостинице «Гренада» около памятника Пушкину произошел именно тогда и через эти записки».

Вопрос: «От кого вы это узнали?»

Ответ: «От следователя прокуратуры, который меня вызвал тогда же. Кроме того, раз записки к Кравцовой шли через мои руки, то когда мне их предъявили, я их узнал по почерку».

Яков Абрамович оторвал голову от дела и засмеялся.

— Вот овечья задница! А тоже называется следователь! Все секреты наружу! Попался бы мне такой!

— Выгнали бы? — спросил Зыбин.

— С волчьим билетом! — огрызнулся Яков Абрамович. — Хорошо. Читаем дальше.

Вопрос: «А не могли бы ваши товарищи этими же записками пригласить и вас в свою компанию?»

Ответ: «Нет».

Вопрос: «Почему же?»

Ответ: «Они не были моими товарищами».

Вопрос: «Но разве вы их не называли только что товарищами?»

Ответ: «Я и вас назвал только что товарищем».

Яков Абрамович бросил папку и расхохотался.

— Ах осел, осел, — сказал он весело, — и ведь главное — все записывает! Материал собирает! Не протокол допроса, а пьеса из великосветской жизни! Нет! Зыбина голой рукой не возьмешь! Он не такой! Правда? Так! «Протокол писан с моих слов и мной прочитан...» —

Он захлопнул папку.— Так! Ну, Георгий Николаевич, ныне все осужденные давно на свободе, они и отсидели-то не больше двух лет, версия об изнасиловании Верховным Судом отвергнута, так что вы и формально оказались правы! И все-таки в вашем участии в этом деле есть что-то не вполне понятное. Так вот, не пожелаете ли что-нибудь сказать в дополнение к этим протоколам?

Он сидел, смотрел на Зыбина, улыбался, а в глазах стоял тот же привычный, хорошо устоявшийся ужас. И все замечали это, только он не замечал и честно считал себя весельчаком.

Зыбин подумал и начал говорить. («А что я теряю? Ведь это все давным-давно известно. Старков-то действительно на свободе».)

— Дело было маленькое, грязненькое, запойное, и весь антураж его был соответственный,— сказал он.— свицкий антураж: то есть номер в гостинице сняли на чужой паспорт, а встретились на бульваре — две бабы, трое парней, началась попойка. Суд интесуется, когда бабы ушли, сами они ушли или под руку их выводили, сколько пустых бутылок нашли, заблевана была уборная или нет. В общем, сцена из «Воскресения», и свидетели такие же — швейцар, коридорный, буфетчик, горничные.

— Да, но самоубийство-то все-таки было самое настоящее,— строго напомнил Яков Абрамович.

— И самоубийство бульварное, с пьяных глаз, вероятно. Наутро она сказала соседке: «Вы пока ко мне не заходите, я буду мыться». Ушла, как говорит соседка, затем словно форточка хлопнула, вот и все. Когда муж взломал дверь, она лежала в луже крови, рядом валялся браунинг, а на столе вот эта записка. Ну чем не сюжет для какого-нибудь Брешко-Брешковского?

Яков Абрамович слегка улыбнулся.

— В гимназии мы им увлекались,— сказал он.— Слушайте, она была красивая?

— Она? — Зыбин задумался. Все, что он говорил и слушал до сих пор, не вызывало у него ровно никаких образов, а сейчас он вдруг увидел женское лицо почти неживой белизны, точности и твердости очертаний, короткие блестящие черные волосы и злые губы.— Да, она была очень красивой,— сказал он убежденно.— Но красота у нее была какая-то необычайная, тревожная. Может быть, обреченная. Такую раз увидишь и не забудешь.

— Иными словами, она и на вас произвела впечатление человека незаурядного? — спросил быстро Яков Абрамович и сделал какое-то короткое движение, как будто хотел ухватить эти слова.— Ну хотя бы по наружности? Так как же с ней могло случиться, как вы сказали, вот такое? Такое, как вы сказали, брешко-брешковское? (Зыбин пожал плечами.) Да, но все-таки почему? Почему? Вы не задавали себе таких вопросов?

— Пути Господни к человеческой душе неисповедимы, Яков Абрамович,— вздохнул Зыбин,— а дороги дьявола тем более.

— Это Старков-то дьявол?— фыркнул Яков Абрамович.

— Ну да, дьявол! — отмахнулся Зыбин.— Простой парень, работа. И меньше всего богема. Что везло ему, это да. У нас его считали гением. Он даже выпустил книжонку в два листа. Вы знаете, что это тогда было?

— Хорошо, а второго, Мищенко, вы знали? Его, кажется, тоже печатали?

— Даже очень здорово! У него были стихи даже в «Молодой гвардии». А это же толстый журнал.

— Так. А третий?

— Ну а третий был просто хороший парень. От сохи. Писал что-то, печатался где-то, а где и что — никто толком не знал, наверно, в таких изданиях, как «Жернов», «Крестьянская газета»,

«Земля советская». С ним я был просто хорош, да и все. Его гением никто не называл.

— Ну а муж? Вы его видели?

— А как же! Муж и был виновником всего торжества. Он на первой скамейке сидел. Целую неделю этот болван слушал все, что говорили о его жене и о нем самом.

— А что ему оставалось еще делать? — Яков Абрамович резко остановился перед Зыбиным.

— Вот именно! — воскликнул Зыбин. — Что делать? Раз ты полез мордой в помойную бочку, тогда ничего не поделаешь, хлебай уж досыта. Ведь это он настоял, чтоб ребят судили за изнасилование его жены. Именно так и толковалась предсмертная записка; защита же, наоборот, стояла на том, что никто ее не насиловал — сама все организовала, сама пришла в номер, сама переписалась и легла под кого-то. Что же еще? Прокуратура же уперлась на мертво: не сама напилась, а напоили. Помните три знаменитые японские добродетели? Ничего не вижу, ничего не слышу, ни о чем не рассказываю — вот так себя и вели судьи. Ой, кто только не прошел тогда перед судом! Писатели, околосписатели, редакторы, агенты угрозыска, дельцы, студенты, профессура. Допрашивали приставляю, что такое вдруг с улицы предстать перед таким вот трибуналом. И вот тут мне два свидетеля вспоминаются... Один мужчина и одна женщина... Хотя это не особенно по существу...

— Да нет, уж расскажите, пожалуйста, — попросил Яков Абрамович, — кто же она была такая?

— Лучшая подруга Кравцовой, некая Магевич — красивая черная девушка с матовым лицом, похожая на турчанку. Ее пригласила и привела сама Вероника. Писатели, мол, придут, весело будет, пойдём. Ну та и пошла, а потом почувствовала неладное, верно, поняла, что это не попойка, а еще что-то, и ушла. Господи, ну что ей за это было! Ей чуть в лицо не плевали: то зачем ты пришла, то зачем ты ушла. Задавали вопросы, знаете, как это умеют прокуроры? С усмешечкой. Обрывали, орали. Прокурор дул воду стаканами, и у него пальчики дрожали. Кончилось тем, что ее с запарки чуть не усадили рядом со Старковым, но кто-то, наверно, вовремя опомнился. Как же женщине пришить соучастие в изнасиловании? Впрочем, в этом чаду все было возможно. Так вот, я поражался этой Магевич. Как она сидела! Как отвечала! Как слушала! Не плакала, не кричала, а просто сидела и слушала. А вокруг нее визг, смех, рев, прокурорская истерика! Весь шабаш нечистой силы! А она ничего! Очевидно, адвокаты ей сказали: «Молчи. Они сейчас все могут. На них управы нет». И она молчала. Вот это первая свидетельница защиты, которая мне запомнилась.

— Но вы говорили, что их было двое.

— Да нет, их было много, человек двадцать. Но запомнились-то мне особенно эти двое. Второй был мужчина, Назым Хикмет. Я его знаю. Он постоянно ошивался у нас в буфете, в коридорах, на переменах. Вот его вызвала защита и попросила рассказать о его знакомстве с Кравцовой. Ну что ж, он рассказал. Однажды, рассказал он, стоит он на задней площадке трамвая — дело было позднее, — и вот подходит к нему красивая рослая женщина, представляется и говорит, что ей очень хочется с ним познакомиться. Ну что ж? Он мужик что надо! «Я очень рад», — отвечает Хикмет. Тогда она сразу, с ходу, зовет его к себе: я, мол, одна, муж в Крыму, идемте, выпьем, потолкуем. Все это Хикмет рассказал просто, спокойно, не спеша, с легким приятным акцентом. Впечатление от рассказа осталось тяжелое. Даже муж что-то заверещал. И тут прокурор, спасая, конечно, положение, спрашивает: «Ну и какое впечатление произвела на вас она? Студентки, изучающей литературу и желающей по-

знакомиться с видным революционным поэтом, или просто наглой проститутки?» Хикмет слегка пожал плечами и эдак певуче, легко, просто ответил: «Наглой — нет, но проститутки — да». Весь зал как грохнет!

— Ой, как неприятно! — строго поморщился Яков Абрамович. — Но вам, конечно, и это понравилось.

— Да нет, я был просто в восторге! — воскликнул Зыбин. — Наконец-то хоть на минуту среди этого чада, ора и казенной мистики я услышал человеческий голос. Ведь Хикмет сказал только то, что все, ну буквально все, включая прокурора, судей и мужа, в ту пору твердо знали. Да, шлюха! Да, злая, неудовлетворенная, несчастная шлюха, для которой своя жизнь копейка, а на чужую и вовсе наплевать. И вот в зале Политехнического музея в публичном заседании происходит ее канонизация. Она превращается в святую. Произнесено страшное слово «богема». Студентка, казенная богемой! Государству нужны такие жертвы, и поэтому трое талантливых, молодых — отнюдь не богема и не пьяницы, — здоровых парней должны сложить свои головы. Но они сопротивляются, негодяи, и прокуроры гробят и гробят их. Еще бы, какая наглость! Оправдываются! Перед пролетарским судом можно только признаваться, разоружаться и просить пощады: «Клянусь, что если государство сочтет возможным сохранить мне жизнь, то я...» Вот так нужно говорить, а они льют грязь на покойницу, спорят с обвинением, адвокатов себе наняли! Жалкие козьяки! Они думают, что можно что-то доказать! Да все уж давно доказано и подписано! Пролетариат должен увидеть звериное лицо богемы! Ваш долг перед обществом помочь в этом, а вы, как слепые котята, барахтаетесь, выгораживаете свою шкуру, отстаиваете свою правду. Да кому она нужна? Вот что было на суде, понимаете?

— Нет, — вздохнул Яков Абрамович, — не понимаю. Объясните.

Он вернулся к столу, сел и твердо положил перед собой оба кулака.

И вдруг Зыбину что-то расхотелось говорить, то есть начисто расхотелось. Ему даже стало стыдно за то, что он сейчас вдруг так распелся. В самом деле, разве его затем взяли и привели в этот кабинет — руки назад! не оглядываться! по сторонам не смотреть! — чтоб что-то понять, выяснить, в чем-то разобраться? Господи, кому тут это нужно? Он буркнул что-то и отвернулся.

— Что? Вы не хотите? — Он сразу же понял, что больше Зыбин говорить не будет, но это было уже и не важно. Теперь он окончательно уяснил себе все, даже и то, кому следует поручить его дело. И, покончив с этим, Яков Абрамович откинулся на спинку кресла и закурил.

— Итак, Кравцова была красивая, — сказал он задумчиво, не глядя на Зыбина. — Даже вызывающе красивая, а ведь тот глупый следователь прокуратуры прав, Зыбин ведь тоже мог пойти в эту «Гренаду», мог бы.

— Мог бы, — ответил он с вызовом, — ну и что из этого?

— Да нет, ничего, но мог бы! И тогда был бы четвертым и получил бы ту же статью и меру, что и те трое. И вероятно, тогда сегодня бы я с вами не беседовал. К человеку, осужденному за изнасилование, политические статьи почему-то не прилепляются.

Он подмигнул и добродушно рассмеялся.

— Да, но тут, конечно, возникает другое, — сказал он, — не было бы этого дела — не было бы и вашей речи, не было бы и всего дальнейшего, в том числе сегодняшней нашей беседы. Ведь вы же кому-то говорили, что вам на все открыло глаза именно дело Старкова.

— На что на все? — спросил Зыбин.

— Ну хотя бы на нас, на нашу деятельность. Вы ведь считаете, что этот суд был делом рук органов. Что ж! Вполне, вполне

допускаю! С половой контрреволюцией мы боремся так же энергично, как и с любой другой. С лозунгами «наша жизнь — поцелуй, да в омут» нам не по дороге. Это факт! Трудность тут, конечно, в том, что не сразу во всем разберешься, пока все это только стихи да водка, притом стихи-то эти продаются в любом магазине ОГИЗа. Но в результате получается-то что? Люди ничего незаконного как будто не творят, пьют и стихи читают, а мы теряем и теряем кадры. Ведь после таких стихов становится действительно на все наплевать. Как это? «Здравствуй, ты моя волчья гибель, я навстречу тебе выхожу» — так, кажется? Ну вот и в этот раз тоже была пьянка, читали стихи, и после этого одна из участниц убежала, а другая покончила с собой. И не просто покончила, а с запиской... «Сто раз я тебя проклинаю...» А борьба с богомой к этому времени стала нашей идейной задачей. Значит, и дело надо было провести так, чтобы полностью выявилось лицо богомы. Для этого процесс вели при открытых дверях в одной из самых больших аудиторий страны. Мобилизовали все лучшие силы суда и прокуратуры. Так ведь? Газеты каждый день печатали отчеты. Защищали лучшие адвокаты — Брауде, Рубинштейн, Синайский! Кажется, чего еще требовать? А вы и тут оказались недовольны. В вашем институте, где училась покойная, собрались ее товарищи и потребовали высшей меры. Вполне понятное требование. Ну пусть оно не по форме, пусть оно юридически несостоятельно! Пусть! Понятно, что суд при вынесении приговора с этой резолюцией и не посчитался бы, у него свой порядок. Никто по-настоящему этого и не требует, но общественное, товарищеское внимание ведь находило выход в этой резолюции? Так ведь? И тут вылезаете вы — правдолюбец! — и, будто заступаясь за закон, за право, за Уголовно-процессуальный кодекс и черт знает еще за что, срываете собрание. Видите ли, судьи независимы и подчиняются только закону! Да кто против этого спорит? Кто? Кто? Кто? Вы что? Что-то новое вы открыли? Беззакония не допустили? Чью-то оплошность поправили? Вы просто-напросто сорвали обсуждение. По какому праву, позвольте вас спросить? Почему вы захотели перечеркнуть весь политический смысл процесса? Все, над чем трудились сотни наших людей — прокуроров, журналистов, работников райкома, юристов? И вы говорите, что не понимаете, почему вас тогда арестовали и доставили в ГПУ? Не понимаете? Так тут непонятно действительно только одно — почему вас отпустили?

— Да,— ответил Зыбин,— это действительно непонятно! Тогда я считал, что только так и может быть, а сейчас сам удивляюсь. Действительно — взяли и отпустили! Чепуха! Но ведь для того, чтобы выработался такой тип следователя, какого вы хотите, для этого нужно некоторое время, Яков Абрамович!

И тут Зыбин вспомнил Эдинова. Идя с допроса, он думал: «Нет, надо было бы ему все-таки рассказать про Эдинова. Пусть бы знал. Потому что не с курсового собрания у меня все началось, а с председателя учкома седьмой образцово-показательной школы Георгия Эдинова. с Жоры, как мы его звали».

Он пришел в камеру и лег — Буддо спал и похрапывал. Зыбин лежал тихо, вытянувшийся, подобранный и зло улыбающийся.

«Эх, Жора, Жора, разве я могу тебя когда-нибудь забыть. Ты ведь один из самых памятных людей в моей жизни. Я ведь даже повесть хотел, Жора, о тебе написать, несколько раз садился, брал тетрадку, исписывал несколько страниц, но только что-то ничего путного у меня не выходило.

А сейчас бы вышло! Сейчас у меня выкристаллизовался ты весь! Вот слушай, как бы я начал».

В одном из кривых арбатских переулков стоит и до сих пор большое красное кирпичное здание. Когда меня впервые привели туда,

это была уже обыкновенная советская школа одного светлого, но теперь уже совсем забытого профессорского имени. А лет семь до того тут была гимназия, принадлежавшая тоже профессору, и тоже именитому. Гимназию эту профессор построил по последнему слову тогдашней педагогической индустрии — высокое светлое парадное с разлетающимися дверями, триумфальная лестница под красными дорожками. Двухсветные рекреационные залы с турниками («В здоровом теле здоровый дух!» Профессор преподавал римское право). Классы. Лаборатории. Школьный музей. А вверху, на пятом этаже, на этаж выше, чем учительские, святая святых — кабинет директора. Там висело авторское повторение Репина (Державин слушает молодого Пушкина), стоял стол стиля ампир с бронзовым прибором и наполеоновскими безделушками и под прямым углом к нему и другой стол, весь уставленный сухарницами и продолговатыми фаянсовыми блюдами в виде большого листа. Здесь собирался педагогический совет. А рядом была другая комната — лакейская, что ли, то есть я не знаю, как ее называли тогда, но в ней на полке рядом стояли орденоносные самовары, причем одни необъятной величины; был буфет с посудой, мельхиором, ведерочками для шампанского и подносами. Отсюда во время совета чинно и величественно выходил личный служитель профессора с бакенбардами, а за ним его жена, спокойная тощая старушка, и они разносили чай. (Я их хорошо помню, они жили где-то рядом и часто приходили посидеть в передней и поговорить о прошлом.) На этот пятый этаж, по словам старых служителей, не смел подниматься без вызова ни один из учащихся. Здесь и воздух был иной. По утрам кабинет спрыскивали хвойной водой из пульверизатора. Так вот, когда я пришел в школу, самой страшной комнатой был не этот кабинет — в нем сидела заведующая, — а лакейская комната с бумажкой, написанной от руки: «Учком. Ячейка РКСМ». Ты был председателем учкома. Заведующая все наши немощные души поручила тебе и ни во что не вмешивалась. Учителей тоже отсылала к тебе — ты один казнил и миловал. И скоро каким-то ловким маневром переселил заведующую в лакейскую, а сам занял кабинет директора. Заведующая была старая дама, фальшивая и лживая, она носила на шее бархоточку и черный медальон с алмазным сердечком. Любила, когда на школьных вечерах читали Бальмонта и «Белое покрывало», но нюх у нее был собачий, то есть она боялась тебя так же, как свое прямое начальство. А впрочем, кем же ты был как не ее прямым начальством? Ты, Георгий Эдинов, председатель учкома, секретарь комсомольской ячейки, руководитель драмкружка, еще кто-то, сильный, здоровый, скуластый, высокий, с бескровным кремовым лицом (у меня был такой башлык), в крагах и кожаной куртке! Никто не знал, откуда ты взялся и кто тебя взял. Официально тебя, конечно, выбрали, но мы все отлично знали, что тебя никто не выбирал. Ты просто появился, и все тут. Ты появился и стал ходить по школе, по всем пяти этажам ее, все засекать, все усекать, во все проникать. Ты говорил, проходя мимо кого-нибудь из нас: «Зайди-ка ко мне во время большой перемены», — и мы сразу же обмирали. А чего нам, кажется, было бояться? Ведь все это происходило не в царской гимназии с ее волчьими билетами, педелями, фискалами, с беликовыми и передоновыми, а в честной советской трудовой школе. И вызывал нас опять-таки не классный инспектор, а товарищ, наш товарищ. Вот это была первая и самая гнусная ложь. От нее шли все остальные лжи — и крохотные, и побольше, и, наконец, та наибольшая, во имя которой ты и возник, Эдинов. Я ведь потому ничего и не сумел собрать и написать о тебе, что так и не понял — кто же ты в самом деле? Просто, как пишет Достоевский, «мальчишка развитой и разращенный» (этот тип я постиг вполне) или чудовищный гибрид будущего кандидата педагогических наук Пе-

редонова с Павликом Морозовым — тоже еще на свет не родившимся (писатели двадцатых годов еще не были так умудрены, как их знаменитые и увенчанные коллеги тридцатых и пятидесятых годов). Во всяком случае, ты был весь обращен в будущее. И на Павлика, пожалуй, походил не по прямой, а какой-то очень-очень хосвенной линии. Кто этот в самом деле бедный, злодейски убиенный гацанок? Не о таких ли написал Гёте: «Du, armes kind, was hat man dir gethan»³. Представь, я до сих пор не знаю этого. Я только вижу, чем все это кончилось. А начиналось все вполне невинно. Вот, скажем, санитарная тройка. Сначала это были действительно только девчонки с чисто вымытыми розовыми лапками. На переменах они ловили нас и осматривали наши ногти и воротнички. Но ведь девчонки что? Кто их слушал? От них выворачивались, откупались обещаниями, просто показывали язык и убежали. Ты быстро покончил с этой кустарщиной. «Во-первых,— приказал ты,— надо составлять акт и подавать в учком», во-вторых, вслед за девочкой шел верзила — он хватал меня за шиворот и волок в учительскую. Вот в этом и была твоя гениальность. Ты ввел порядок и понял, из кого должны состоять твои тройки. Вместо первых и законопослушных учеников ты стал набирать в тройки самых отпетых — хулиганов, ловчил, тупиц,— было бы мальчишеской совести поменьше да кулаки побольше. И все переменялось. Эта шобла была тебе предана, как шайка молодых щипачей своему тертому пахану, и поэтому они из самых последних превратились, само собой, в самых первых. И исчезли все безнадежные, успеваемость скакнула чуть не на сто процентов (наши бедные педагоги боялись тебя больше, чем мы). Так ты весомо, грубо и зримо продемонстрировал силу товарищеского воздействия, мощь коллектива и талант руководителя. И что по сравнению с тобой, действительно, стоили все демоны и бесы старой гимназии, все эти педали, инспекторы, директора — бездарные беликовы, параноидные передоновы! Да гроша медного не стоили они — стукачи и фискалы! Они были просто глупы и беспомощны! Им лгали с истинным упоением и вдохновением. А тебе не врал. Ты быстро покончил с этим ремесленничеством. Любой староста отвечал на любой твой вопрос: о чем ты его спрашивал, о том он и рассказывал. О родном брате и то рассказал бы. И попробовал бы тот его тронуть! Ого! Ты и с этим покончил сразу же. Правда, старички постарше, из тех, кто еще от отцов слышал о каких-то былых традициях товарищества — не об этих, которые так успешно насаждал и насадил ты, а о тех допотопных, когда человек был еще человеку не «друг», а иногда враг и друзья объединялись и блюли друг друга,— те могли еще увернуться от ответа или просто соврать. Но мальчиши были честны, неподкупны и суровы — они все несли в учком к его председателю в кожанке и поскрипывающих крагах... Бог знает, куда ты все это нес, Георгий Эдинов. Но во всяком случае, все наши немощные души ты крепко держал в кулаке. Вернее, в клеенчатой общей тетради, этаким книге живота нашего. Мне тоже однажды пришлось ее увидеть. Тогда в нашем классе случился криминал, и мне пришлось говорить с тобой. Это был первый в моей жизни разговор меня с государством, один на один, в казенном пустом кабинете, по казенной надобности. Правда, история была на редкость неприятная. Как-то после последнего урока у нас в классе появился и пошел по рукам револьвер. Конечно, без единого патрона, со сбитой ручкой, но с бойко вращающимся барабаном. Все крутили его по очереди. Подержать в руке настоящий бельгийский кольт — ого-го! Это чего-то стоило! А потом после уроков кто-то с этим кольтом подбежал к чинной стайке девчонок в углу двора и прицелился в них. Те, разумеется, бросились врассыпную, а потом быстро успокоились, вместе с нами

³ Бедное дитя, что с тобой сделали.

гоняли этот барабан и целились друг в друга. После этого кольт пропал. Кто его принес — так и осталось нераскрытым. Но прошла неделя, кто-то стукнул, и началась паника. Боевое оружие! Заряженное! Оставшееся от белых! С полной обоймой! С гравировкой «За веру, царя и отечество!» Двуглавым орлом! (Ни орла, ни надписи этой, конечно, не было, но шептались именно о них — ты был и правда большим талантом, Эдинов!) Немедленно найти и выяснить, чей он. Выяснить, выяснить, выяснить! Выявить, выявить, выявить! Сначала собрали старостат просто. Потом старостат с тройками. Потом заседал педсовет совместно с учкомом. А раз после занятий пришел в класс физкультурник и провел беседу. (Это был вялый высокий блондин с красными полосками бровей и постоянно лупящимся носом. Мы к нему относились как к своему.) Бесполезно. Никто ничего не знал (к счастью, староста наша болела). А через три дня объявили нечто чрезвычайное — общее собрание обеих смен. Явка обязательна. Мы пришли. На сцене стоял стол под красным сукном, и сидел за столом под пальмами костистый дядька лет сорока, во френче и в пронзительном троцкистском пенсне. Кто-то из учкома объявил собрание открытым и предоставил слово тебе. Ты скромно поднялся с одной из средних скамеек и взшел на сцену. Ровно такой же ученик, как и мы все. «Вот, ребята, — сказал ты, — нашу школу посетит один из руководящих работников райкома партии. Он хочет с вами поговорить». Товарищ из райкома поднялся и заговорил. Голос у него был мягкий, переливчатый, но с этаким металлом. «Меня что больше всего удивляет в этой нехорошей истории с кольцом? — сказал он просто. — Не он сам, нет. Больше всего удивляет ваше отношение к своим же ребятам, своим товарищам. Они вас спрашивают, а вы либо молчите, либо говорите им неправду. Зачем лгать своим друзьям? Вот это совсем мне непостижимо! Обманывать Жору Эдинова? Водить за нос Благушина? (Был у нас такой подонок, раньше из самых отпетых, сейчас самый ответственный.) Ведь вы с ними на одной парте сидите, на переменах в футбол играете, вместе домой идете, завтраками делитесь — и лжете им? Почему? Не верите, что ли? Никак не уместается это у меня в голове, ребята! И другое совсем непонятно — вот я узнаю, у вас начались разговоры о фискалах, доносах, доносчиках, ябедниках. Какие фискалы? Какие ябедники? Ведь это же давным-давно умершие понятия нашего проклятого прошлого, и я не пойму, кто и зачем их воскрешает. Мы давным-давно осиновый кол в них забили. Среди вас не может быть доносчиков, нельзя же доносить на самого себя. Верно, ребята? — Тут он даже немного посмеялся. — Но, — и тут он сразу мгновенно построжел, — вы должны быть сознательными друзьями, и если ваш друг вольно или невольно повел себя не так, как следует в нашем социалистическом обществе (были тогда действительно сказаны эти слова о социалистическом обществе? Сейчас я уже сомневаюсь. Может быть, это просто историческая aberrация, обман слуха, и я услышал то, что говорилось много позже), вы обязаны во имя его самого же довести до сведения ваших старших товарищей, ваших старших товарищей!» На эту тему он говорил еще с час. Так вот, после этого собрания ты и вызвал меня, Эдинов. В учкоме никого не было. Уже горело электричество. Ты сидел за столом, я сидел поодаль. «Ну так что скажешь?» — спросил ты. А чего я мог сказать, я молчал — и все! Тогда ты сказал: «Ты знаешь, кто принес кольт. Учти — у тебя плохая успеваемость по математике и отвратительное поведение. А школа держит первенство по Москве. Сейчас самое время тебе об этом подумать!» Я молчал. «Верно?» — спросил ты. Я опять-таки молчал, потому что и это была правда. Ты посидел, посмотрел на меня таинственно и сказал, что вызвал меня только потому, что хотел, чтобы я сам во всем честно разобрался. Вот я только что слышал прекрасную

речь ответственного товарища. Товарищ этот мне объяснил все, так неужели я и дальше буду запираться? И губить себя? В нашей стране не может быть неисправимых. Помню ли я, каким был Николай Благушин хотя бы в прошлом году? Хорошо! А сейчас? Вот он все осознал и исправился по-настоящему. А я? Нет, так советские учащиеся себя не ведут. Во всяком случае, учащиеся советской образцовой школы, носящей такое светлое имя великого ученого Михаила Ковалевского (ей-Богу, ты сказал именно так, может быть, и издеваясь), так не могут себя вести. Так ты говорил, строго и ласково, глядя прямо в мои лживые глаза. Пятнадцатилетний капитан — тебе вряд ли было больше — нашего бестолкового школьного корабля. А я изворачивался, мекал, не знал, куда себя девать, просто сгорал от конфуза и злости. Я ненавидел себя, тебя, всех, кто тебя поставил над нами. А ты уличал меня на каждом шагу, не особенно настаивая, но и не отступая, — ты просто преследовал меня по пятам. Наконец мне все как-то осточертело, на его «ты должен...» (подумать? решить? сказать?) я рявкнул: «Ничего я тебе не должен, и пошел бы ты от меня...» Вот тогда ты выдвинул ящик, вытащил книгу живота и ласково погладил ее. «Ну зачем же так, — спросил ты с мягкой наглостью. — Все равно ведь скажешь, некуда тебе деться. Вот где ты у меня. Прочитай?» «Прочитай!» — крикнул я. «Да, я прочту, пожалуй, — сказал ты с той же ласковой ненавидящей улыбкой, — но тогда тебя на следующем заседании педсовета исключат из школы. С чем ты придешь домой? Ведь тебя бить будут. Ремнем. Тебя бьют дома, я знаю. Бьют, а?» — ты подмигнул мне. Ты был прав, дома меня били, но если бы у меня был этот самый кольт, да еще если бы он стрелял, — я бы не задумываясь разрядил его весь в эту наглую ухмыляющуюся морду. Но у меня не было его, и я молчал. Я дошел до такой грани отчаяния и унижения, что дальше идти было уже невозможно. Теперь мне уже было все равно. Я просто ничем не мог помочь себе. И тут вдруг ты, Эдинов, обнял меня за плечи. «Ну и дурачок же, — сказал ты ласково и простецки, — ненормальный и не лечишься. Смотри!» Он снова выдвинул ящик стола, вытащил кольт и бросил его на стол. «На! Смотри! Герой! У него же курка нет! Мы в тот же день его и забрали, но нам важно было сознание, сознание! А тут круговая порука. Разве это в советской школе терпимо? Закуришь?» — он вынул кожаный портсигар и протянул мне.

Это было актом величайшего доверия. За куренье исключали на три дня, на неделю, совсем. Ходили, правда, слухи, что Эдинов курит, но видеть этого никто не видел. Впрочем, может быть, один исправившийся Коля Благушин... Так мы и расстались, выкурив перед этим, как он сказал, «трубку мира», и ты больше никогда не вызывал меня в учком, лишь встречаясь, заговорщицки улыбался. Ведь у нас с тобой была тайна, да и весь ты жил в этих тайнах — ответственный, осведомленный, все понимающий с высшей точки зрения — таинственный... Где ты сейчас? Жив ли? По-прежнему ли улавливаешь души, или и твою уже успел кто-то уловить? А это вполне может случиться. Ведь над твоим столом висел портрет Льва Давыдовича, да и тот, кого ты приводил к нам, носил звонкую партийную фамилию, но лет через десять я прочел ее с таким титулом: «ныне разоблаченный враг народа», — а ты потом, кажется, у него работал, так что все в конце жизни может быть.

Он уже спал и видел все это во сне. А между тем совсем рассвело. Полоска неба за решеткой стала сначала белой, потом голубой, потом розовой. Кусты около окна стрекотали уже по-дневному отчаянно и развязно. Из коридора слышались ясные утренние женские голоса — это ходили по камерам фельдшерница и сестра.

Буддо сидел на кровати и листал самоучитель английского языка 1913 года.

— Ну, с боевым крещением вас, Георгий Николаевич,— сказал он, когда Зыбин поднял голову.— Вот ваш ужин остался от вчера, ешьте, пока не убрали. Сечка.

Зыбин молча встал, прошел к столику, сел, но есть не стал.

— Ну что же это вы? — упрекнул Буддо.— Так разволновались? Ничего, ешьте, ешьте, а то ведь и ноги протянешь. Хотя нет, во время следствия не дадут, а вот потом — это уж как сочтешь. Кушайте, кушайте. Сечка-то с мясом! Знаете, как ее тут зовут? — Он покосился на волчок.— Сталинская шрапнель!

— Остроумно,— улыбнулся Зыбин и зачерпнул ложку.

— Ну вот и на здоровычко,— похвалил Буддо.— А заключенные вообще, Георгий Николаевич, люди острые и находчивые. Только вот следователи-то еще понаходчивей их! Посзыше, как говорят в лагере. Так что? Со статейкой вас? Как, еще не предъявили? Что же вы тогда делали? Анкетой занимались. О, это они любят, умеют! Тут они психологи. Ты дрожишь, кипишь, а они тебе — где родился? где учился? когда женился? И точат, точат кровь по капельке. У вас кто следователь-то? Не знаете? А у кого были? Как, у самого Неймана? — Буддо даже учебник положил.— А какой он из себя? Ну правильно, курчавый, небольшой, толстогубый. Э-э, дорогой, значит, они всерьез вами занялись. О чем же он вас спрашивал?

Зыбин усмехнулся и развел руками.

— То есть?

— Да чепуха какая-то. Дела давно минувших дней. Да и совсем не мои даже.

— Но а все-таки, все-таки?

— Ну понимаете...— Зыбин подумал и начал говорить.

Он рассказал то же, что и Нейману, а потом и прибавил еще кое-что от себя. Так, он сказал, что самоубийство Кравцовой ему очень понятно. Резкая, во всем разочаровавшаяся женщина. Была личной секретаршей, стала женой. К мужу питала почти физическое отвращение. Изменяла ему нагло, явно, с каким-то даже отчаянием. На суде это выяснилось полностью. Любила ли она Старкова или нет — не поймешь, но то, что ее бросили, она переживала тяжело. А почему он ее бросил — тоже ясно: приехала жена с ребенком и надо было что-то решать. И если бы он сразу оборвал все, то конечно ничего бы и не было, но он тянул, врал, что-то выгадывал — словом, гнался за двумя зайцами сразу. От прямого разговора уклонялся. Вот тогда она и выдумала эту злосчастную вечеринку. Здесь, в передней номера, состоялось их решительное объяснение. Старков, прижатый к стенке, выложил ей все. На выражения, наверно, не постеснялся. В общем, они смертельно поругались. Кравцова была женщиной решительной, а тут еще водка, и вот... «А ну-ка, Володя, идите сюда». Володя подошел. Огонь потух, потом зажегся. Старков посмотрел, плюнул, выругался и ушел. Но опять все, вероятно, сошло бы, если бы Володя догадался ей утром позвонить. Вот тогда и «хлопнула форточка». А в общем, пьяная мерзость и гадость, о ней и говорить противно!

Пока Зыбин говорил, Буддо молча листал самоучитель, а потом поднял голову и спросил:

— Хорошо, а вы тут при чем?

Зыбин рассказал о собрании и своем выступлении.

— Понятно! Так знаете, как будет начинаться ваша обвинилочка? — Он на минуту закрыл глаза и задумался.— Вот, значит, так: «Следствием установлено, что, еще будучи студентом такого-то института, Зыбин Гэ Эн, пытаясь выручить своих собутыльников, арес-

тованных за бандитизм, сорвал студенческое собрание, посвященное обсуждению и заклеиванию их преступной деятельности. Арестованный и допрошенный тогда же органами ГПУ, он дал уличающие себя показания, однако следствие, стремясь быть к нему максимально объективным, в то время не нашло нужным привлечь его к уголовной ответственности. Воспользовавшись этим и приняв великодушие за слабость, он...» — ну и пошло, и пошло! Да, с самого начала нехорошо у вас сложилось. Нейман, это дело! Очень, очень погано! Хотя...

Он вдруг отбросил книгу, ахнул и даже всплеснул руками.

— Слушайте! Дорогой! Великолепная же мысль! Да, да! Я бы так и сделал, свел бы все исключительно к этому! Да, да! — Он засмеялся. — Именно так. Ах, черт возьми! Нет, есть у меня все-таки что-то в башке, есть! Вот будет чудно! Воспользуйтесь! Обязательно воспользуйтесь!

— Что чудно? К чему к этому? — не понял Зыбин.

— Господи Боже мой! — воскликнул Буддо. — Да как же вы не понимаете? Они же вам руку протянули! Ведь в том деле, кроме пьянства, хулиганства и бытового разложения, они вам ничего не предъявляют! Так? Ну чего же вам еще желать. Сознвайтесь, и все! Говорите: «Да, признаюсь, что я выступал на собрании потому, что хотел выгородить своих собутыльников. Мы вместе пили. Я и сейчас такой. Пью, гуляю, баб к себе вожу, работу заваливаю, но вот политики — нет, политики я не касаюсь! Она мне ни к чему. А просто я богема, аморальная личность!» Вот и все. И ничего вы больше знать не знаете. Они от вас наверняка тогда отвяжутся.

— То есть как же отвяжутся? — удивился Зыбин. — Ведь это же готовая статья! Завал работы! Хорошее дело!

— Какая статья! — воскликнул Буддо в азарте. — Какая? Статьи за богему, Георгий Николаевич, нету, а есть литера СОЭ — социально опасный элемент. И полагается за это СОЭ по Особому совещанию три года без поражения и конфискации! И поедете вы по этой литере не на Колыму, а в местную колонию. А там получите расконвойку и через года полтора выйдете с чистыми документами на свободу. Красота! Послушайте меня, времена сейчас поганые, отсидитесь за высоким забором. Сведите все к пьянке, и конец.

— А три года как же?

— Вот вы какой, ей-Богу! — рассердился Буддо. — Да что вы, вчера родились, что ли? Вы что же, отсюда прямо на свободу хотите выйти? Ни в чем не виноват! Опять зазря посадили! Так, что ли? Да ведь это значит, вы туда, а следователь сюда, на вашу койку? Пойдет ли кто-нибудь на это? Как вы не понимаете, освободить вас им сейчас попросту невозможно.

— Это почему же? — запальчиво спросил Зыбин.

— Вот святая простота! Да потому, что вы уже сидите! Стойте, стойте, ведь вы считаете себя невиновным? Так? Ну вот, вас тогда, семь лет назад, например, выпустили — ну и что же? Вы раскаялись? Благодарность к органам почувствовали? Да черта с два! Вы небось всюду ходили и орали: «Сволочи! Негодяи! Ночь продержали! За что? Провокаторы!» Так? Ну так или не так? — Он засмеялся. — «Ночь продержали!» Вот поэтому-то вас и нельзя выпустить. Виновного можно, а невиновного нельзя. Виновный в ноги упадет, а невиновный ножом пырнет. Значит, исходя из этого, статью они вам приварят обязательно. Теперь вот вопрос: какую? Если будете брыкаться да злить их — они вам такую подберут... да еще в такое место направят... Это они умеют. Вы знаете, есть лагерь, где зеки больше полугода не живут. Так вы послушайте меня, Георгий Николаевич, вырывайте у них СОЭ — и все! В нем ваше спасение. Они поупрямятся, поорут да и согласятся.

«Черт бы побрал этого сумасшедшего,— подумал Зыбин,— и ведь не разыгрывает, искренне говорит. Вот чертовщина-то!»

— Бог знает, что вы такое говорите, Александр Иванович. Ведь это же с ума надо...— начал он сердито и вдруг осекся, вспомнил — и Нейман сказал: «И тогда, вероятно, сегодня я бы с вами не беседовал. К человеку, осужденному за такое, политическую статью не прицепишь».

«Да, да,— подумал он,— да, да. Так оно, верно, и есть. Это сумасшествие, но оно имеет свою систему. Все это знают и все притворяются, и следователи и подследственные, все они играют в одну и ту же игру».

Он неслышно вздохнул, поднял ложку и стал есть сталинскую шрапнель.

— Не дай мне Бог сойти с ума, вот что я думаю,— сказал он.— Это из Пушкина. Но я еще побарахтаюсь! Я посмотрю, что из всего этого выйдет. Да, посмотрю!

Буддо ничего не ответил и только вздохнул. И весь вечер они оба молчали.

Он снова спал, видел во сне тюрьму и метался. «Боже мой, Боже мой,— думал он,— как все это нелепо получилось, ведь мне обязательно надо было увидеть Лину. Ведь она будет ждать! Боже мой, Боже мой, какая глупость. И как хорошо нам тогда было, на море».

И сейчас же он увидел белую стену городского музея, старую рыжую пушку у входа на камнях и маленького человечка с указкой в руке.

Разговаривая, они отошли от витрины. Директор был тощим, желтолицым, с усиками. Вся биография его читалась на его лице — сначала он, вероятно, преподавал историю или географию в средних классах. Затем стал руководить кружком краеведов — начинал с коллекции бабочек, птичьих гнезд и гербариев, а кончил черепками чернофигурных ваз и обломками мраморных надписей. И как раз подошло время открывать музей, так он, само собой, сделался его экскурсоводом и директором. Вечерами он писал отчеты в центр и составлял планы экспозиции, а днем проводил экскурсии. Жаловаться на перегрузку не приходилось — сейчас вот, например, он водил по комнатам только одного его, скучающего, равнодушного ко всему на свете курортника. На все объяснения курортник этот только согласно кивает головой да хмыкает. Что ему до города, что ему до многовековой истории его и что ему до музеев! И действительно — город Зыбина совсем не интересовал, он выглядел так обыденно и скучно, как будто кто-то не глядя рубанул топором по куску старой, пыльной Москвы, вырубил, вырвал несколько улочек да и грохнул их сюда, на морской песок. И вот где-то возле тупичков и особнячков Большой Мещанской заплескалось море!

Вот оно-то действовало на Зыбина со страшной медленной силой — оно входило, вдавливалось в него все глубже и глубже, проникало во все поры его, плескалось и гудело во всех его мыслях и снах. Да! Она наполняла его до краешков, эта «моря бледная сирень в мутно-лазуревом сосуде», только он, пожалуй, еще не сознавал этого.

Директор отговорил свое и отошел от последней витрины. Рабочий день окончен, пора закрывать музей.

— Вы ведь нездешний? — спрашивает он.— Ах, вы из санатория имени Крупской? Ну, ну. Знаю, знаю. Я рядом живу. Идемте.

Они выходят. День стоит высокий, солнечный и прозрачный, кричат чайки. Море поднимается, опадает, ласково ухаёт и шипит внизу, под высоким берегом. Они идут молча, и Зыбину вдруг становится неловко.

— Вот знаете,— говорит он,— Латышев в «Известиях Археологической комиссии», кажется, за тысяча девятьсот десятый год, опубликовал из этих мест надпись фаса Навклеров, то есть общества судовладельцев. Из нее следует, что здесь где-то в заново отстроенном храме была водружена статуя бога Посейдона. Хорошо бы было нащупать, где он стоял.

— Как, как вы сказали?

Директор останавливается, вынимает записную книжечку, просит повторить.

— «Известия», тысяча девятьсот десятый год? Номер не помните? — Да, об этом сведений ему что-то не попадалось. Ведь «Известий»-то в музее нет. Надо будет опять затребовать по междубиблиотечному.

— А разве у вас в библиотеке?..— спрашивает Зыбин.

— У нас библиотека? У нас знаете что? У нас вот что...

Вдруг директор загорается, сует книжечку в карман и рассказывает, какой вопросник ему прислали из области. Он расстегивает дерматиновый портфельчик, вынимает и показывает эту бумажку.

— Вот полюбуйтеся — «Планируемые находки на этот год», понимаете, о чем спрашивают?

— Понимаю! «Крокодил»! — смеется Зыбин. — Что ж вы ответите?

— Да, действительно — «Крокодил», — обиженно фыркает директор и прячет вопросник в портфель, — и ведь ничего не поделаешь, надо отвечать!

И он опять говорит о музее, о том идиоте, который сидит где-то там, вверху, в области, ничего не делает, ничего не знает, ничем не интересуется и только рассылает «по точкам» вот такие шпаргалочки. Они говорят о нем, болване, портаче, а потом не только о нем, а и о других портачах, его покрывающих, и еще о других, и затем уже совсем о других, о таких, о которых говорить не полагается, но они все равно говорят.

И тут между ними как некое спасенье, как недоговоренность возникает некто — человек секретный, фигуры не имеющий. Он рождается прямо из воздуха этого года — плотного, чреватого страхами — и идет третьим, вслушивается в каждое их слово, запоминает их всех и молчит, молчит. Но он не только запоминает. Он еще и перетолковывает услышанное. И перетолковывает по-своему, то есть по самому страшному, не совместимому с жизнью. Потому что он самый страшный человек из всех, кто ходит по этому побережью, из тех, кого сейчас несут суда, машины и самолеты. Он непостижим, бессмыслен и смертоносен, как мина замедленного действия.

Позже выяснится, что он еще и очень, смертно несчастен.

Он навеки замкнут в себе. Потому что эти двое носят его в себе, всегда — третьего.

Они шли с Буддо по взморью веселые, беззаботные, готовые обнять весь мир, смеялись и болтали. Дул теплый ветер. День был тихим-тихим и вода темно-прозрачной, как дымчатый топаз, в ней мерцали и переливались разноцветные гольши, длинные водоросли, стайки рыбок.

— Вот здесь под камнями, — сказал Зыбин, останавливаясь, — живут престроеннейшие крабы. Вам необходимо достать для музея хоть одного такого краба.

— Да я и сам уже думал, — ответил Буддо. В этом сне он и был директором музея. — У меня есть один, но с отломленной клешней.

«Как хорошо, что мы вырвались! — радостно подумал Зыбин, и у него даже сердце екнуло — так до краев он был переполнен странством — небом, санцем, морем, так был размягчен и доволен всем. — И как хорошо, что он послушался меня! Милый ты мой

Александр Иванович! Старичок! Я ведь как пришел, так сразу сообразил как и что. Вот мы и на свободе».

Они шли ловить крабов. Крабы водились возле высокого берега под плоскими темными плитами и глыбами. Таких глыбин здесь валялось много — белых, черных, красных, зеленых, таких скользких, как будто их кто натер жидким мылом, наступил — и поехал в воду. Крабы под ними жили целыми семействами: самые маленькие, побольше, побольше, еще побольше, совсем большие и великаны с чайное блюдце. Вот только самых-самых больших здесь не было: самые-самые большие, наверно, жили в подводных гротах или в открытом море.

— А мне обязательно нужен огромнейший краб,— сказал Зыбин.— И не такой, как на рынке, там их вываривают и кроют лаком, такого я даром не возьму. Мне, Александр Иванович, нужен настоящий, черный, со дна моря.

Потом они вошли в море и стали поднимать камни. Одна круглая глыбина была очень большой, да вдобавок она еще до половины ушла в песок. Они вымокли с ног до головы, обломали ногти, зашиблись, наконец все-таки вывернули ее. Под ней оказалась большая, круглая, совершенно сухая ямина, и в середине ее сидел краб-крабище — царь крабов, крабий монарх этих берегов, огромная колючая уродина с зелеными змеючими глазами. Вода не хлынула в ямину, и он так и остался сидеть, а когда Буддо наклонился, этот черт вдруг чуть не с шипом подскочил и выбросил уродливую шишковатую клешню, точь-в-точь заржавевшую скифскую железку. Сейчас он походил на индийского многорукого идола — бога Шиву, что ли? — черного, древнего и страшного.

— Это особый краб, ядовитый,— сказал Буддо, отшатываясь,— вы только взгляните на его глаза, такой если защемит, то уж на-смерть.

Зыбин хотел что-то ответить, но тут вода забурлила, заклокотала, покрылась пеной, как в котле, и пошла воронкой. Они оба сразу очутились по колено в воде, и их начало крутить.

— Крикните,— испуганно прохрипел Буддо,— крикните скорее, а то нас сейчас зальет.

Он хотел крикнуть и не смог — голоса не было.

А вода все прибывала и прибывала, бурая, сердитая, воронками, с сором и пеной. Уже доходила до груди, до плеч, по шейку, и тут он весь напрягся и все-таки крикнул, срывая горло. Как-то очень жалко, жидко, но сразу же понял, что спасен.

Горел желтый свет, он лежал на кровати, и над ним наклонился солдат и тряс его за плечо.

— Нельзя кричать,— сказал солдат испуганно,— карцер за это. — И вдруг спросил совершенно по-человечески: — Что? Сердце?

У солдата было лицо хорошего деревенского парня, с каким-то белесоватым налетом, пушком молодости, ореховые круглые глаза.

— Да нет, так что-то... — бормотнул Зыбин, не сразу приходя в себя. Перед ним все еще плескалось море, блестело солнце, и Буддо, рослый, бодрый, молодцеватый, стоял рядом. Он оглянулся — Буддо рядом не было. Самоучитель английского лежал на пустой кровати.

— Может, доктора? — спросил солдат.

Зыбин покачал головой.

— Ну спите,— приказал солдат уже опять строго и вышел.

Зыбин вытянулся и закрыл глаза.

Все это уже было, было, было! И море, и директор, и то, что они шли по влажным галькам за крабами, а волны накатывались и отбегали у самых их ног. С крабом была особая история. Особая и

чем-то не очень простая. Это он понял тогда же. Краба этого — совсем такого, как он описывал директору, огромного, черного, всего в шипах, известняковых наростах в синей прозелени — заказала привезти одна его сокурсница. Но с сокурсницей тоже была история, и тоже особая. Он влюбился в нее еще на третьем курсе, и она знала, но отнеслась к этому как-то непонятно. Во всяком случае, он не мог понять как. Так вот она и заказала привезти ей краба.

— Только ты хорошенько поищи,— попросила она,— мне надо самого большого. Такого, чтоб поставить на письменный стол. Это будет о тебе память на всю жизнь. Хорошо? Привезешь?

— Хорошо,— ответил он,— привезу.

— Но только не с базара,— остерегла она. — Там продают вареных, красных, как пивные раки. Такого мне не надо. Сам поймай.

— Да ладно, ладно,— ответил он, улыбаясь. — Подумаешь, великое дело. Поймаю! О чем разговор? Привезу.

Но оказалось именно великое дело. Сколько он ни совался на базар, кроме этих отвратительных, похожих на женские баретки или коробочки из ракушек, никаких иных крабов он не видел, и где их ловят, узнать было невозможно. «Да там! Да там, на косе! Этого вот под высоком берегом! Этого у маяка! В море с лодки!» Вот и все, что ему удалось узнать у продавца.

Так он ходил, ходил, искал, искал, и прошло уже десять дней, а так он ничего не нашел. Тогда он вдруг решил: ну к черту всех! поймаю сам.

И, решив это, он явился в музей и сказал директору:

— Ну, я пошел ловить крабов. Вот! — В руках у него был дронтик, на боку ботанизирка.

— Хм, краба ловить! — усмехнулся директор. — Это нелегко ведь! А что ж, рыночные вам, значит, не подходят? Не натуральные? А ну постойте-ка.

Он пошел в запасник, чем-то там погрохотал, погремел и осторожно вынес кусок картона, а на нем что-то несуразное, колючее, торчащее в разные стороны, черно-серое от пыли.

— Вот клешни одной нет,— сказал он с сожалением,— и все время рядом лежала, а сейчас куда-то заделалась.

— Так неужели это краб? — не поверил своим глазам Зыбин.

Директор дунул, и они оба закашлялись, такая поднялась пыль.

— Два года стоит на шкафу,— сердито ответил директор. — Юннаты тут его фотографировали, вот и сломали, наверно. — Он положил картон на стол и отряхнул руки. — Ну что, наверно, с одной клешней вам не годится?

— Да где же такие водятся? — спросил Зыбин изумленно, со всех сторон осматривая это маленькое чудище. Больше всего оно походило на модель какой-то странной машины с поршнями, зубчатой передачей и рубильником. — Я таких что-то еще и не видел. На рынке таких нет.

— А там вы их и не увидите,— ответил директор. — Это какая-то особая порода. Зоологи еще не знают ее. Эти крабы только в одном месте тут и водятся. Так вам что? Действительно такого надо? Можно сходить к одному человеку.

— Ой, да вы меня просто спасете! — воскликнул Зыбин. — А когда же?

Директор поглядел на часы-браслетку.

— Что ж, уже время закрывать. Пойдем, пожалуй, сейчас, по берегу недалеко. Он, наверно, дома.

— Кто?

— Да старик тут один. Грек. Он их ловит. Ветеран наш. Я еще воспоминания его о гражданской записывал. Пойдемте.

Вот и шли они по самому-самому взморью, по влажной и мерцающей полосе его, и маленькие волны все время обдавали их ноги. Говорил директор, Зыбин слушал. Дул теплый ветерок. Вечер был прозрачным и солнечным, а галька под ногами — Зыбин скинул сандалии — была теплой и влажной. Он и до сих пор помнит кожей, как это было хорошо.

— Смотрите, что это? — спросил Зыбин, останавливаясь.

У самого побережья в воде лежала какая-то странная мраморная глыбина. Директор подошел, посмотрел, покачал головой.

— А ведь, вероятно, большая художественная ценность, — сказал он вдруг сердито. — За это надгробье когда-то великие деньги были уплачены. А вот сейчас валяется под ногами, и никому дела нет.

Зыбин наклонился и поковырял камень ногтем.

— Что-то ведь написано, — сказал он.

Директор посмотрел на высокий берег.

— Он вон откуда свалился, видите? Тут каждый год метра три-четыре обваливается, вот кладбище и рушится в море. А написано здесь вот что. — Он наклонился над глыбой. — «Верую. Господи, верую, помоги моему неверию».

— Интересно! — воскликнул Зыбин.

— Очень. Страшно даже интересно! Так интересно, что поп даже хотел этот памятник совсем с кладбища выбросить, к вдове прицепился. «Об этом верю-не-верю, уважаемая Анна Ивановна, надо было ему раньше думать, а теперь так ли, сяк ли, но дело вполне конченное! Теперь уж лежи!» Да! И вот уже тридцать лет как он лежит. Генерал от инфантерии барон фон Дризден. Может, слышали?

— Нет, — покачал головой Зыбин. — Такого не слышал, не по моей части.

— А я его помню. Он ведь перед самой империалистической умер, такой маленький был, а борода, как у Черномора, на две стороны, или как хвост у чернобурки, и все нас мятными лепешечками оделял, от кашля. — Директор снова наклонился над памятником. — Видите, что сделано? Амвон, а на нем раскрытая книга, и позолота на буквах уже лупится. Полежит он так года два — и конец. А может, это большая ценность, ведь какой-то знаменитый итальянец резал, вот фамилию не установлю.

— Ну уж итальянец, — посомневался Зыбин. — Откуда тут итальянец возьмется? Какой-нибудь, наверно, каменорез из Новороссийска.

— А вы нагнитесь, нагнитесь, посмотрите хорошенько, — рассердился директор. — Видите, как сделано — листик на листик! А лента на середине, посмотрите, посмотрите, какая! Муар! А шнурочек какой! Каждый виток виден! Нет, что говорить, большой, большой мастер делал! Он у генерала год жил, памятник его дочке высекал. Ну а потом генерал это самое... Ну, после ее смерти тоже задумываться стал. Вы ее-то памятник видели? Как, и на кладбище даже не были? Ну, это вы зря. Надо сходить обязательно! Таких и в Москве нет. Понимаете, это так... — Он оглянулся, подтянулся, вытянулся, вздохнул, сделал какое-то округлое движение, словно желая очертить все разом, но сразу же и спал, повернулся к Зыбину и заговорил уже опять по-обыкновенному: — Это, понимаете, так: на мраморной глыбине — знаете, есть такой сорт мрамора с блестками и лиловыми искрами — стоит девушка, легкая-легкая, как воздух, и вот-вот взлетит... Нет, никак не могу вам я это объяснить! Но правда, кажется, еще минута — и оторвалась, и туда, туда! А одежда тянет к земле, к плите, к могиле — одежда длинная, развевающаяся, вуаль, что ли? А сама девушка тоненькая-тоненькая и руки как крылья! Сюда, к морю! А на глыбе стихи.

— Из священного писания?

— Нет! Не оттуда! Она, кажется, этого не очень придерживалась. Обыкновенные стихи, Надсон, Пушкин, Лермонтов — ну как в альбоме. Она и сама, говорят, писала. Отец после смерти ее даже книжку выпустил «Танины стихи». Ее Таней звали. До полных двадцати не дожила.

— Умерла?

— С маяка выбросилась. Прямо на камни. Вдрызг.

— От любви?

— Да как будто так, а там кто его знает? Разное говорят. В рыбака она будто, говорят, влюбилась, тут красивые есть рыбаки из греков, прямо Аполлоны, а папаша ни в какую. Очень своенравный старик был! Говорят, проклял ее, или пообещал проклясть, или еще что-то в этом роде, но она его же кровей, не из покорных. Значит, нашла коса на камень. Выйду замуж, и все тут. Вот так и получилось...

Он замолчал, отряхнул руки и вышел на берег.

— Ну а как же она все-таки погибла? — спросил Зыбин.

— Вот что, — сказал вдруг директор решительно, — тут вот что надо: тут надо ходатайствовать, чтоб взяли памятник под охрану. Как представляющий ценность. Да, да! Это, я знаю, можно. В Феодосии армянская церковь такая есть, и ее не трогают. И тут на турецких воротах тоже надпись: «Охраняется государством». Это можно. Как погибла-то? По-разному рассказывают. Говорят, что он ушел в море с рыбаками, а ночью поднялась буря, пошла смерчи, она всю ночь стояла на маяке возле большого прожектора. Смотрела, а утром увидела на берегу доски и снасти его суденышка и ринулась, значит, с маяка на камни. А вы видели, какой маяк? Ну и все! Вдребезги!

— А так может быть?

Директор помолчал, подумал и засмеялся.

— Да нет, конечно. Как корабль гибнет ночью в море, с маяка это не увидишь. Но что-нибудь вроде, наверно, могло быть. Но вот что с маяка она бросилась — это точно. Вот в этот момент, наверно, она и изображена. В полете. В вознесении.

Зыбин закрыл глаза, и в розоватой мгле век ему представилось что-то белое, туманное, лебяжье — тонкие руки, распущенные волосы, покрывало, вздутое ветром, — и все это в вечернем солнце.

— И хороший, говорите, памятник? — спросил он.

Директор посмотрел на него.

— А вот дальше есть подъем, взберемся, посмотрим. И стихи прочтете. Она очень стихи любила, говорят, вот эти, правда, их там нет, но мне здешний один читал: «Легкой жизни просим мы у Бога, легкой смерти надо бы просить». Не знаете, чьи это? Она, говорят, их повторяла всю ночь. Вот обратно пойдём, поднимемся и посмотрим.

Глава II

Прошел коридорный. Он постукивал ключом от волчка и повторял: «Отбой, отбой». Этой блаженной минуты ждали все камеры (после отбоя на допрос не вызывали), но Зыбин и без того уже спал — ему почему-то, в грубое нарушение всех правил, давали спать сколько угодно, — но этот стук дежурного даже до него дошел и во сне.

Ему вдруг привиделось, что он взбирается по узкой винтовой лестнице, и каждый шаг отдается звоном и громом по всему помещению. А лестница ужасная — железная, грязная, скользкая, под ногами чешуя, рыбы пузыри, картофельные очистки, разбухшие газе-

ты, спичечные коробки — все это хрустит и скользит под ногами. Но он все равно лезет и лезет, хотя уже твердо понимает, что не лезть ему надо бы, а просто проскользнуть в камеру, юркнуть под одеяло и притвориться спящим. Однако понимает и все равно лезет. Добрался до последней ступеньки и уперся лбом в потолок. Потолок весь в ржавых потеках и паутине, торчат желтые планки. Он стоит, смотрит на него и не знает, что же дальше. Но что-то должно вот-вот произойти. И верно, происходит, отскакивает дверца, и в четырехугольном прорезе он видит Лину, только одно жестко срезанное лицо ее — квадрат лба, щек, глаз, подбородка. Все это недоброе, серое, нахмуренное.

— А, это ты,— говорит он беспомощно.

— Да, это я,— отвечает она сухо.— Что ж ты хотел меня обмануть? Думал, что я не знаю, какую бабу ты сейчас разыскиваешь и куда от меня скрылся?

И только она сказала это, как он понял, что его обставили — успели ей наговорить, и она поверила.

— Господи,— взмалывается он,— да что ты их слушаешь? Я сейчас тебе все объясню.

— Ах! Все твои объяснения! — досадливо отмахивается она.— А ну покажите-ка ему, пусть сам убедится.

И тут откуда-то появляется Нейман. И стоят они уже не на лестнице, а в давешнем кабинете с пальмами и кожаными креслами — Нейман ласково и ехидно улыбается и вдруг, не отрывая глаз от его лица, проводит рукой по верху кресла. Раздается противный пронзительный визг, он вздрагивает, а Нейман улыбается все шире, все ласковее и говорит: «Ну, посмотрите, посмотрите».

На полу стоят носилки под черным брезентом. И из-под него высовывается рука. «Неужели?» — холодеет он. «Взгляните, взгляните», — настаивает Нейман и пинком сбрасывает брезент. На носилках лежит та — Мраморная. Она совсем такая, как на горе, и даже руки у нее раскинуты так же, для полета. Но вот глаза-то не мраморные, а человеческие: светлые, прозрачные, с острыми, как гвоздики, зрачками — живые глаза в мраморе. «Так что же, она все время на нас так смотрела,— подумал он,— только мы не замечали?»

— И ты хотел меня обмануть,— говорит Лина.— Выдать ту за эту? Ведь я сразу поняла, зачем ты сбежал от меня на Или! Ты вот за этой мраморной ведьмой сбежал, а совсем не за той, что нашли на Карагалинке.

— Да не сбежал я, не сбежал! — говорит он чуть не плача.— Вся беда в том, что меня там арестовали. А еще бы немного, и я бы ее обнаружил, все доказал бы, так вот ведь они помешали!

Лина стоит смотрит на него, и лицо у нее страдающее и презрительное.

— Ну, Лина,— кинулся он к ней,— ну как же ты не видишь? Ведь это же совсем не та, не карагалинская. Это лежит, которую мы с тобой ходили смотреть на высокий берег. Ты старика-то могильщика помнишь?

Лина повернулась и пошла — он бросился было за ней, но тут Нейман очень ловко подставил ему сапог, он упал и с размаху стукнулся об пол. Боль была такая, что искры посыпались из глаз, и ему показалось, у него треснул череп.

Он и верно трахнулся со всей силой о прутья изголовья. Перед ним стоял Буддо и держал его за плечо.

— Ну и довели же они вас,— сказал он задумчиво.— Вы с вечера все бормотали, метались, а сейчас только что я подошел к вам, хотел разбудить, вы как вскочите. Э! Смотрите, ведь кровь идет. Что, не тошнит?

— Да нет, ничего,— пробормотал Зыбин. Ему было почему-то очень неудобно перед Буддо.

— Да какое же там ничего! Ну, лежите спокойно!

Он вдруг поднялся, подошел к двери и несколько раз отчетливо стукнул в оконце согнутым пальцем.

— Что вы? Зачем? — вскочил Зыбин.

— Затем, что надо, — огрызнулся Буддо.

Щелкнула и отворилась кормушка — небольшое продолговатое оконце в двери (в него подают еду), — показалось четырехугольное лицо.

— Гражданин дежурный, — четко отрапортовал Буддо и вытянулся, — заключенный Зыбин набил себе во сне синяк.

Окошечко захлопнулось, щелкнул замок, и дежурный вошел в камеру.

— Это как же так набил? — спросил он подозрительно. — Обо что же?

— Да вот, об спинку, — ответил Зыбин виновато, — приснилось!

Дежурный подошел к кровати и пощупал железные прутья.

— Об эти? — спросил он деловито.

— Да.

Дежурный провел рукой по прутьям.

— Вся бровь рассечена. Запишу завтра к врачу, — сказал он и прикрикнул: — Ночью нужно спать, а не шараться!

— Я и спал.

— Плохо спали, если такой рог! Вот еще что врач скажет...

Он ушел, а Зыбин недовольно сказал Буддо:

— Вот теперь к доктору идти! Ну зачем вы, в самом деле?

— А затем, дорогой Георгий Николаевич, — ласково ответил Буддо, — что все рога здесь на твердом учете. Никто вам их приобрести за здорово живешь не позволит. За незаконный синячок тут сразу пять суток!

— Интересно! А какие же тут законные?

— А те, что сверху приносят! Из следственного корпуса. Вот тот носи сколько хочешь, никто не привяжется. А так чтоб вы их сами себе наставили, а потом вызвали прокурора да закатили голодовку, «требую сменить следователя, а то он меня лупит», — нет, тут это не пройдет, за этим здорово смотрят. А потом, ведь и драка могла быть! А это уж крупный непорядок, за него и дело могут завести.

— Так что же? Там бьют, что ли? — чуть не вскрикнул Зыбин.

— Нет, чаем поят с творожниками, — усмехнулся Буддо, — и плакать еще не разрешают. А будешь плакать — в карцер пойдешь.

— А что же прокурор? Вот вы говорите, что можно прокурора вызвать, голодовку закатить, от следователя отказаться.

— Экий вы быстрый! От следователя он откажется. Это можно опять-таки, если синяки незаконные. Если не дано было указание бить, а следователь проявляет инициативу и все равно бьет, просто кончить дело поскорее хочет или за красотой сюжета погнался и сует вам то, что совсем и не нужно. А против законных синяков прокурор вам не защита. Если дано указание бить — то все! Бьют, пока не выбьют все что надо. Но это уж только там решается, — он ткнул пальцем в потолок.

— В следственном корпусе?

— Еще повыше. На седьмом небе, у гражданина наркома. Вот во дворе радио недавно замолкло, значит, уже час доходит. Если через часа два или три не будете спать — услышите сами.

— Что?

— Люди будут возвращаться с допроса. Кто придет, а кого под мышки притащат. Если проснетесь, послушайте. Это любопытно. Ну хорошо, спим.

Буддо отошел от него, лег на кровать, вытянулся, натянул до горла ужасное солдатское одеяло и почти сразу же захрапел. И лицо

у него стало ясное и довольное. Чувствовалось, что он для себя все вопросы уже давно решил и седьмое небо его никак не волновало.

Зыбин лежал и думал. То, о чем говорил Буддо, было совершенно невозможно. Бить тут не могли, как не могли, например, есть человеческое мясо. Орган высшего правосудия, официальная государственная инстанция, где еще жил, обитал дух рыцаря Октября Железного Феликса, — не мог, не мог, никак не мог превратиться в суд пыток. Ведь во всех биографиях Дзержинского рассказывается о том, как он чуть не расстрелял следователя, который не сдержался и ударил подследственного. И ведь когда это было? В годы гражданской войны и белогвардейских заговоров. Эти книжки и сейчас продаются во всех газетных киосках. Нет-нет, как бы плохо о них он ни думал — но бить его не могут. В этом он был уверен. Но так думала, так верила только одна логичная, здоровая половина его головы — другой же, безумной и бесконтрольной, он знал так же твердо другое: нет, бьют, и бьют по-страшному! Эта мысль пришла в первый раз ему в голову, когда он прочел речь обвинителя на одном из московских процессов («Разговоры о пытках, — сказал тогда Вышинский с великолепной легкостью, — сразу же отбросим как несерьезные»), и особенно, конечно, когда увидел страшные показания обвиняемых на самих себя. Он не был юристом, правом никогда не интересовался, на открытые заседания суда не ходил, даже западные детективные романы и те любил не больно, но то, что обвиняемые наперебой друг перед другом топят сами себя, что свидетелей на эти торжественные, чуть ли не ритуальные заседания приводят и уводят под конвоем, а никаких иных доказательств нет, — все это ему казалось такой нелепостью, таким бредом, что, он чувствовал, объяснить это можно только одним — бьют. И даже не только бьют, но еще и пытаются. И лучше уж не думать, как пытаются.

А раз у него произошел один разговор с директором, и он тоже был не совсем прямым и откровенным, но то, о чем не могли говорить — они тогда договорили до самого конца. Директор в то утро сидел в кабинете и читал «Известия». Когда Зыбин вошел, он легко отбросил газету — она соскользнула по стеклу на пол, — встал и пошел по кабинету.

— Ну гады! — сказал он крепко. — Ну мерзавцы, даже читать противно! То есть никакого уже стыда и совести не осталось. Все наружу. Читал?

Зыбин покачал головой.

— Прочти! Удовольствие получишь. Ах гады! Ах собаки! Плачут, на колени падают, просят учесть, клянутся еще быть полезными.

— И учтут?

— Да, как раз учтут! — огрызнулся директор. — Перешлепают, как собак, и все!

Зыбин ничего не сказал, только плечами пожал.

— А что ты как будто удивляешься? — рассердился директор. — Что ж, миловать за такие дела, что ли?

— Нет, не то, но зачем же они тогда каются?

— Хм! Зачем каются? А затем они каются, что жить они, дорогой, хотят. Очень даже хотят! От крымских вилл да курортов в крематории что-то не больно тянет.

— И что же, для этого нужно колотиться?

— А ты бы не колотся? — усмехнулся директор. — Вот тебя бы так допрашивали, а ты бы дурака валял? Так, что ли?

— Но если доказательств нет.

— Нет? Есть! Такие доказательства есть, что лучше и не надо! Как их предъявят — так сразу все расскажешь!

И наступила тишина.

— Это вы про что? — спросил Зыбин.

— А про то, что нечего тебе дурачком прикидываться, — рассердился директор. — Да что они там, у тещи в гостях? С любовницей на постели валяются? Нет, там, брат, запоешь! Там что было и чего не было — все припомнишь!

— Даже чего и не было?

— Ты не говори чего не надо. За это знаешь что! Что было, припомнят. А каются потому, что процесс должен быть показательным, всенародным. Весь мир теперь смотрит на наш Колонный зал — поэтому и факты должны быть убедительные, яркие, простые.

— И правдивые?

— И правдивые! И, конечно, прежде всего правдивые. А что, разве у тебя есть причины сомневаться, что, скажем, Каменев или Зиновьев не враги народа? Или что Рыков не боролся против сплошной коллективизации, или что иудушка Троцкий из-за рубежа не ведет борьбу на фашистские деньги против нашего ленинского ЦК и лично против товарища Сталина? Есть у тебя такие факты, что этого не было? Ну, что ж ты молчишь? Есть или нет, я тебя спрашиваю? Ну а если все это правда, то все остальное уже мелочи. Ходил, не ходил, говорил, не говорил, встречался, не встречался — все это только для большей наглядности нужно. Вот тебя все интересует — добровольно они колются или нет. Ну, во-первых, какая добровольность, когда речь идет о шпионаже и диверсиях. Ее не было и нет! А во-вторых, ты вот человек грамотный, радио слушаешь, газеты читаешь. Вот я тебя и спрошу — ты не вычитал там, как буржуазия расправляется в своих застенках с борцами за права рабочего класса? Что творит Франко с республиканцами, ты знаешь? Как Гитлер пытается немецких коммунистов? Что он сделал с товарищем Тельманом? Об этом ты думал когда или нет? Так что же, они будут резать на куски наших братьев, а мы в нашем Советском государстве их, гадов и бандитов, и пальцем тронуть не смеем? А что нам на это скажет рабочий класс? Не пошлет ли он нас за такую гуманность ко всем чертям собачьим? Ну что ты на меня так смотришь? Ну что, так или не так?

— Ну, положим, что так, но...

— Ну и все, раз так. И без всяких там «но»! А таким людям не место на нашей советской земле — ты осознаешь это или нет? Теперь дальше. Зачем, спрашиваешь, процесс? Да если бы они были рядовые шпионы, уголовная шпана, то было бы проще простого — прижал к ногтю, брызнули бы они, как вошь, — и все! И никаких оповещений не надо! Но ведь кто это? Председатель исполкома Коминтерна, предсовнаркома, члены Политбюро, наркомы — от таких не отмолишься. Надо, чтобы народ от них самих услышал, кто они такие и каковы их дела. И чтоб еще другое наши люди поняли. Всякое отступление от линии партии — это смерть или предательство. Вон какие люди были, а как скатились в болото оппозиции, как пошли не той дорожкой, то вон к чему и пришли! Так что же тогда о нас говорить, скажет советский человек. Куда же мы забредем, если мы начнем колебаться да умничать, не доверять сталинской линии? Вот для чего эти процессы и признания нужны. Ну что ты опять хочешь сказать?

Зыбин пожал плечами.

— Ничего.

— Ну а раз ничего, то и нечего играть в этот самый бесклассовый гуманизм! Тоже мне засраная интеллигенция — он не понимает, не допускает! А вот Владимир Ильич допускал, он сказал: мы врага били, бьем и будем бить. А ведь был гуманист почище, пожалуй, твоего Льва Толстого.

— Почему Толстой мой?

— А чей же еще? Мой, что ли? Мне его задаром не надо! Тоже мне, развел в тридцать седьмом году непротивление злу. Им можно, нам нельзя. Вот когда пойдешь домой, посмотри — там висит у входа один плакат. Очень наглядный плакатик.

Зыбин этот плакат уже видел. Им были оклеены все стены. Железная перчатка, усаженная шипами, душит змею. Змея извивается, хлещет алая кровь. Алая человеческая, а не змеиная, и железные шипы тоже в крови, и весь плакат, как платок, промок от крови. А надпись: «Ежовая рукавица».

Вот с этого разговора сознание Зыбина как бы раздвоилось. Он не принял рассуждения директора в полный серьез — мало ли что ему придет в голову? — но в душе его вдруг угнездился темный, холодный и почти сверхъестественный ужас. Он боялся брать в руки газеты и все равно брал и читал их больше, чем когда-либо. Боялся говорить об арестах и все равно говорил. Боялся допускать до сознания то, что таилось в каких-то подспудных глубинах, но все равно в душе этот холод и мрак жил, нарастал и уже присутствовал при каждой встрече, при каждом самом беглом, пустом разговоре. Но разум у него был еще защищен надежно этим вот «не может быть». И поэтому он действительно не знал, почему подсудимые на процессах так откровенны, так говорливы, так хорошо выглядят и почему они такой дружной и веселой толпой идут на верную смерть. И что их гонит? Неужели совесть?

В ту же ночь, но, наверно, уже под самое утро, Буддо тихонько тронул его за плечо. Он открыл глаза и сразу же зажмурился. Свет бил в глаза еще более наглый, нагой и обнажающий. Все предметы при нем казались стесанными как топором. Он хотел что-то спросить, но Буддо больно двумя пальцами сдвинул ему плечо и сказал «тсс!».

Где-то совсем рядом плакала женщина — плакала тихо, горько, придушенно, наверно, утыкаясь лицом в платок или подушку.

— Кто это? — спросил Зыбин, но Буддо опять сказал «тсс!» и приложил палец к губам.

Прошел коридорный, поднял глазок и о чем-то спросил женщину. Та как-то странно всхлипнула и ответила, а потом снова заняла, заплакала. И тут Зыбин чуть не вскочил. Он узнал голос Лины. Это она плакала и причитала тут за стенкой. Да он и вскочил бы, если бы Буддо не притиснул его к койке.

— Молчите! — приказал он свирепо, почти беззвучно.

Разговор продолжался. Теперь женщина не плакала, а слушала и отвечала. И вдруг она очень отчетливо произнесла его имя. Тут он уж вскочил, и Буддо уже не удержал его. Боль и страшная тоска сожгли его почти мгновенно, и он сразу позабыл все. Он хотел бежать, ломать все, схватить табуретку и грохнуть ее об дверь. Только чтоб заорал на него дежурный и назвал его фамилию, только чтоб она поняла, что он здесь, рядом — все слышит и все знает. И в это же время какая-то сила, предел, запрет, власть, невозможность пресекала его голос, и он не закричал во всю мощь, а только забормотал — часто и несладно:

— Я гололовку... Я сейчас же смертельную гололовку им! Я к верховному прокурору... К наркому! Я на седьмой этаж сию минуту!

— Да молчите же вы, молчите! — испуганно шипел Буддо, зажимая ему рот. — Чего вы кипятитесь? Ну? Ведь ничего же нет. Это кажется вам. Вот и все. — Наконец ему как-то удалось переломить Зыбина у пояса и усадить на койку. — Вот еще истеричка! — сказал он с презрительной жалостью. — Это же обман чувств, наваждение. Я тоже первую неделю все слышал голос жены. Вот выпейте-ка воды!

И только он отошел от него, как женщина за стеной вдруг громко засмеялась — и он понял, что это не Лина, и даже голоса совсем разные.

— Господи, — сказал он облегченно, как бы разом теряя все силы. — Господи. — И повалился набок головой в подушку.

А женщина сказала что-то уже в полный голос и пошла по коридору, чем-то звеня и напевая.

— Здесь раздаточная рядом,— объяснил Буддо,— ведра и бачки стоят. Вот и кажется.

— А что же вы...— начал было Зыбин громко и возмущенно, но сразу же сник и не закончил. Потому что в самом деле было уже все равно.

Машинально он пощупал бровь. Синяк — предмет строгой тюремной отчетности — наливался как слива и готовился к утру закрыть весь глаз.

Утром его вызвали на допрос. «Неужели опять к Нейману?» — подумал он. Но сразу увидел, что нет, ведут не вверх, а вниз. И кабинет был совсем не такой, как у Неймана, небольшой, темноватый, в окно лезли тополя, а дивана и кресел не было. Следователя звали Хрипушин (Зыбин прочел его фамилию, когда подписывал бланк допроса). Был этот Хрипушин статным мужчиной лет сорока, с тупой военной выправкой, с большим плоским лбом и мощными, похожими на рога жука-оленья бровями. А глаза под этими бровями были у Хрипушина светло-оловянные. Затем был у него еще пробор по ниточке, френч, блестящие сапоги. Но вообще-то, конечно, мужчина что надо. Таких любят ловцы душ человеческих. «Обратите внимание на такого-то студента,— докладывают они.— Я с ним парочку раз толковал, кажется, наш человек». Хрипушин, конечно, по всем статьям был нашим человеком.

— Здравствуйте,— сказал он строго и кивком отпустил разводящего,— вот садитесь сюда,— показал он стул у двери.— А что это у вас с глазом?

Зыбин ответил, что это он расшибся во сне.

— Что же вы так беспокойно спите? — сурово и насмешливо спросил Хрипушин.— У врача были? Хорошо, проверим... Так, имя, отчество, фамилия, год, место рождения. Все точно и полностью.

Зыбин ответил, Хрипушин записал, и затем часа два они оба сосредоточенно работали. Кто родители? Как девичья фамилия матери? Где учился? Где работал? Имел взыскания? Где проживал до ареста? По адресам. Есть ли братья и сестры? Адрес! Какие есть еще родственники? Адреса! Какие знаете иностранные языки? Был ли за границей? Был ли под судом и следствием? Подробно, подробно, подробно! Не торопиться. Сейчас уже некуда торопиться.

Но Зыбин и не думал торопиться — у него даже в голосе прорезались этакие широкие партикулярные нотки, когда он объяснял, что такое фитопатологическая станция имени Докучаева, где работает его сестра, что Докучаев пишется через «о», а «фитопатологическая» через «и», «а» и два «о». Хрипушин тщательно записывал все и лишь иногда вскидывал на него испытующие грозные оловянные глаза — не издевается ли враг? Но враг был совершенно серьезен и спокоен. Он хорошо запомнил Буддо: теперь следователь мудрый пошел, это не то что раньше — он вас уже с первого допроса просветит насквозь. Вот посадит вас у стенки и начнет душу выдавливать, как, да что, да где,— ты и так весь кипишь, хочешь поскорее понять, в чем дело, а он точит и точит...

«Ну нет, на эту дурочку вы меня, дорогие товарищи, не возьмете. Достаточно было уже одного Неймана — а терпения у меня воз и маленькая тележка. Дядя? До революции мой родной дядя по отцу Сергей Терентьевич работал в городе Мариуполе мировым посредником — это через «о»,— а во время империалистической служил в Союзе городов. Это, кажется, с большой».

Так они в полном согласии прописали до вечера. Кончили один бланк, взяли другой. Зажгли свет. Наконец Хрипушин отложил ручку и сказал:

— Теперь назовите всех ваших знакомых.

И тут Зыбин действительно чуть не рассмеялся. До чего все шло именно так, как он ожидал. Еще месяца два тому назад Корнилов, изрядно подвыпив, рассказал ему о своем первом допросе. После очень корректного и неторопливого анкетного разговора следователь вот совершенно так же положил ручку, откинулся на спинку кресла и сказал: «А теперь назовите всех ваших знакомых». «Я спрашиваю его: «То есть как всех?» «Да так вот, всех. А что, у вас их так много?» И стал я называть — назвал сослуживцев, это легче легкого, потом соседей, тоже несложно, а потом дошло до товарищей по учебе — тут уж я стал думать: ведь были просто однокурсники, а были и настоящие друзья, а с друзьями и дела и разговоры были дружеские. Так вот всех их назвать или не всех? Назвал не всех. Затем женщины — с ними уж совсем морока. Если назвать, то их потащат в свидетели, а если нет, то, может, еще скорее потащат — так как же, называть или нет? Вот как бы вы поступили?»

Он тогда пожал плечами и сказал, что так сразу же ему ответить трудно («Ага! А мне, думаете, было легко?» — обрадовался Корнилов), но, верно, некоторые наиболее явные знакомства скрывать все-таки невозможно. «Так вы, значит, назвали бы! — подхватил Корнилов. — И сейчас же пошли бы вопросы — где познакомились? часто ли встречались? где? когда? кто еще присутствовал? были ли в ресторанах? когда, в каких? в какой компании? а может, в кабинете? А потом вызовут ее да и покажут ваши показания. И не полностью, конечно, а строчек с десять, там, где про ресторан. Вот и все! И девчонка уж на хорошем крючке! Вот как я все это сообразил, так у меня в зобу дыханье и сперло. Смотрю на следователя и молчу. И он смотрит и молчит. Ждет. А что ему торопиться? Ему все равно жалованье идет. Вот тут я и взвыл. От нелепости, от беспомощности, оттого, что не поймешь, что же отвечать! Ох этот первый допрос! Он мне вот как запомнился! Потом все много легче пошло — появилась конкретность. И хоть я и виноват не был — я же рассказывал вам, как все это получилось, — но это уж другое дело! Раз заложили, то, как говорится в анекдоте, «не теряйте, куме, силы и идите спокойно на дно». Я и пошел. Раскололся и подмахнул! Не глядя! А что там глядеть! Но вот этот первый тихий — заметьте, совершенно тихий допрос, — вот он мне запал на всю жизнь. Ну а потом выяснилось, что ни беса лысого они не знали. А просто на пушку брали! Есть у них такие штучки для слабонервных!»

Этот рассказ Зыбин запомнил накрепко и даже эти словечки — «заложили» и «раскололся» — тоже запомнил. Да и психическая атака Неймана тоже кое-чему научила. И сейчас, когда Хрипушин задал ему тот же вопрос — назовите знакомых, — он с величайшей легкостью небрежно ответил:

— Да нет их у меня.

— Как? — Хрипушин от изумления даже как будто подавился словом. — То есть вы утверждаете, что... — И сразу же, не давая опомниться и добавить что-то, схватил ручку и записал. — Вот, «знакомых не имею», — сказал он, поднося протокол Зыбину, — прочтите и подпишите. Так, хорошо! Значит, три года живете в Алма-Ате и никого в ней не знаете! Отлично! Запомним!

Он снял телефонную трубку и вызвал разводящего. Он был очень доволен — на поверку этот Зыбин оказался круглым дураком.

А через час Хрипушина вызвали наверх — и он понял, что дураком он. Начальник отдела Гуляев, корректный, точный, холодно-ласковый заморыш, усадил его в кресло, открыл и придвинул портсигар и осведомился, как обстоит дело с его заявлением о путевке в Сочи. Сумеет ли он до этого развязаться с Зыбиным? Хрипушин только хмыкнул и протянул бланк допроса.

— Я с ним за две недели все кончу! — сказал он.

— Да? — немного удивился Гуляев. — Он на вас произвел такое впечатление? Интересно! Что ж, признается?

— Да нет, наоборот, крутится, вертится, но без всякого толка. И сразу же заврался! Напропаляю!

— «Крутится, вертится шар голубой!»,— пропел Гуляев, читая, у него был чистый звонкий дискант. Злые языки говорили, что он до семнадцати лет пел в церковном хоре.— Врать-то он, конечно, горазд. А вот этим заинтересуйтесь-ка! — Он постучал пальцем по строчке.— Отец умер в девятнадцатом году в Самаре. Это почему же вдруг в Самаре? Он же коренной москвич! Может, расстреляли? Ведь там до этого чехи были, может, он к ним и дернул, а?

— Есть заинтересоваться! — по-военному ладно и бодро ответил Хрипушин.

— Да, заинтересуйтесь! Это для общей характеристики будет кстати. Так, так, так! Ах негодяй! К следствию он не привлекался! А что ночь просидел в камере на Лубянке, это не в счет. И это несмотря на наш разговор с ним. Ну, остер мальчик!

— А вы читайте дальше,— усмехнулся Хрипушин,— конец!

— Читаем конец. Так, так, так! Хорошо, хоро-шо! — И вдруг Гуляев возмущенно бросил протокол на стол.— Слушайте, да что это такое! «Знакомых не имею».

— Видите, какой дурак,— с готовностью подхватил Хрипушин.— «Знакомых не имею», так теперь я его буду уличать на каждом шагу.

Гуляев посмотрел на него, хотел что-то сказать, но только вынул из портсигара папиросу, помял, высек огонь из зажигалки, закурил, помотал зажигалкой, чтоб загасить огонь, и только тогда сказал:

— Вы будете уличать его на каждом шагу, то есть называть ему фамилии. Вот это ему и надо. Он сразу же узнает, кто проходит по его делу, а кто нет. Не он нам, заметьте, будет называть кого-то, а мы ему. В этом и все дело.

— Да я его, негодяя, на следующем допросе...— вскочил Хрипушин. Он сразу все понял.

— Сядьте! — улыбнулся Гуляев. — Не надо принимать так близко к сердцу. Ну и начнется у вас на допросах сказочка про белого бычка. Вы скажете: «Вы лжете». А он ответит: «Нет, я не лгу». «У вас есть знакомые». — «Никого у меня нет...» — «Нет есть». — «Нет нет». Ну и сколько же можно тянуть эту резину? А тут еще у вас путевка! Значит, вы будете торопиться. И конечно же, назовете ему имена. Ну и все! Инициатива нами упущена. Но хитер! Ох хитер, дьявол! Нет, если вы его с первого раза не взяли, то теперь уж не возьмете.

Он еще раз затянулся и задумался. Да. Нейман на этот раз оказался прав. Хрипушин — это совсем не то. Требовалась тонкая, продуманная работа. Дело-то планируется не малое. Ни больше ни меньше как открытый алма-атинский процесс на манер московских. Профессор, бывшие ссыльные, писатели, троцкисты, военные, убранные из армии,— шпионаж, террор, диверсия, вредительство на стройках. Приезжал Пятаков, оставил свою агентуру, имелась связь с Японией через Синцзян. Зыбин и собирался туда махнуть с золотом. Но если его не удастся заставить писать и называть имена, то тогда все может полететь. Тут важен каждый месяц, ситуация меняется иногда молниеносно, поэтому самое главное успеть не упустить! Нейман предупреждал: матом и кулаком тут не возьмешь. Но он подумал: если после первого строго законного допроса спустить с цепи эдакого цербера — адского пса с лаем и бешеной слюной,— то можно и взять. А в случае чего — карцер! Не поможет? Ласточка! А потом опять: законность, корректность, тихая беседа, чай с шоколадными конфетами. Книжные новинки. А этот Зыбин к тому же субъект неустойчивый, слабохарактерный, жизни не знает. Здесь он совсем сбился с панталыку, ведет дурацкие разговоры. Так что, пожалуй, можно взять. Конечно, Хрипушин годится только на первые пять — десять допро-

сов, и потом в дело вступают они — он и Нейман, но как затравка Хрипушин хорош. Так думал он — и вот, видно, осекся. Впрочем, осекся ли? Может, случайность? Ведь активного допроса еще не было. Надо подождать. Он еще раз затянулся, затем отложил папиросу и протянул протокол Хрипушину.

— Возьмите-ка! Ну что ж! Ничего непоправимого не произошло, на ошибках учимся. Но теперь я вас буду просить — протоколы сначала пишете начерно и приносите мне. Подписать ему дадите в следующее утро. Так, пожалуйста, будет лучше.

— Да вы не сомневайтесь,— бурно взмолился Хрипушин.— Никуда он не денется, я ему...

— Ну, ну,— Гуляев встал, подошел к Хрипушину и слегка дружески похлопал его по плечу,— ничего, ничего, бывает. Теперь будете иметь в виду это, вот и все.

Когда дверь закрылась, Гуляев подошел к столу, придвинул к себе телефон и вызвал было по коммутатору Неймана, но как только услышал его резкий, отчетливый голос, так сразу же опустил трубку.

— Главное — не пороть горячки,— не то сказал, не то подумал он,— тут нужна выдержка!

Глава III

Когда он вернулся, Буддо в камере не было. На столе стояли две миски — каша и уха из мальков. Он сел на кровать и стал есть. «Ну, сегодня, кажется, сыграли вничью, но так дальше не пойдет — будем драться в кровь. Психическая? Шут с тобой, давай психическую. А что они могут предъявить конкретно? Какие-нибудь комбинации с золотом? В общем, не исключено, конечно, но вряд ли, тогда бы и директор был тут (а кто сказал, что он не тут?). Тогда какие-нибудь разговоры, анекдоты? Вот это более вероятно. Анекдоты сейчас в цене, самый-самый рядовой и не смешной потянет лет пять, а если еще упоминается т. Сталин — то меньше чем восемью не отделаешься. Да, но как раз анекдоты-то он и не рассказывал, просто как-то памяти у него на них нет — Корнилов рассказывал (а откуда опять-таки известно, что и он не тут, за стеной?), рабочие что-то такое говорили, дед раз спяну спел частушку времен гражданской войны («Сидит Троцкий на лугу, гложет конскую ногу. А, какая гадина — советская говядина!»), а он нет. Да, он смеялся! И не оборвал разговор в самом начале! И не сделал соответствующее внушение! И не сигнализировал! Это по нынешним временам тоже кое-что стоит! Все это так, но тоже вряд ли. Чувствуется что-то другое, куда более серьезное. Вот знают они что-нибудь про Лину или нет? А если знают и вызовут ее, то...? Эта мысль сразу взметнула его, он вскочил и зашагал по камере. Так вот, скажем, вызвали Лину, так что они от нее получат? А как ты думаешь, что? И вообще-то, что ты про нее знаешь? Но честно, честно! «А чего честно? Да, многое знаю, все знаю, особенно после той ночи». Дурак! Именно после той ночи ты про нее ничего и не знаешь! Неужели это до тебя не доходит? «Но постой, постой, почему не знаю? Она ведь тогда сказала, что любит, именно потому и приехала сюда, что любит... „Мне будет очень горько, если тебя посадят“, — сказала она тогда. Да, но еще она сказала и вот что: „Зачем ты треплешься? Это же смертельно опасно. Ты же источник повышенной опасности“».

Вот! С этого ты и начинай! С опасности!

Она боится тебя! А ее вызовут и скажут: «Полина Юрьевна, о вас на работе только самые лучшие отзывы, вы молодой растущий специалист. Вот мы знаем, вы в этом году защищаете диссертацию! А с кем вы, извините, связались!» И что ж ты думаешь, она им так и резанет: «Это человек, которого я люблю. Я знаю о нем только хо-

рошее»? Может она так ответить Нейману? Только начистоту, начистоту, а то ты ведь любишь заморачивать себе голову.

Он прошелся по камере, взял со стола свою глиняную кружку, опорожнил ее одним духом и поставил обратно. Вся беда в том, что, пожалуй, именно так она и ответит, не «я его люблю», конечно, нет, этого она не скажет, а вот то, что ничего плохого о нем не знает, это она им скажет. А как же она может сказать иначе? Ведь понятно же, если ты знаешь, что человек дрянь, то какого черта ты с ним связываешься? Но тогда заговорят они: «Ах, вы не знаете о нем ничего плохого? Так вот вам, вот и вот!» И вывалят перед ней кучу всякой всячины. Он — что уж там скрывать! — человек не особенно хороший, лентяй, пьяница, трепло несусветное, кроме того, труслив, блудлив, неблагодарен, дед и то ему как-то сказал: «Это все в тебе непочтение к родителям — знаешь? Чти отца и мать свою, а ты что?» «Мать свою я, верно, не чту. Но на все это им, положим, наплеватель, и скажут они Лине другое. „Разве вы не заметили,— скажут они,— что он не наш, не советский человек? Вот он ходит по нашей земле, живет в наше замечательное время, а всюду выискивает только одно плохое, не видит ничего, кроме недостатков, копается в грязи, сеет нездоровые настроения...“ Вот с этим она, пожалуй, не будет спорить, просто скажет: „Знаете, просто как-то не обращала внимания. Думала, что все это мелочи“. „А-а, нет,— ответят ей,— это далеко не мелочи. Давайте-ка вспоминать“». И что ж, ты будешь ее обвинять, если она что-нибудь такое и вспомнит? Да разве она может быть в тебе уверена на все сто? Вот ей ты тогда натрепался, так почему другому, хотя бы тому же Корнилову, ты не можешь сказать того же? Ведь помнишь, что ты ей сказал: «Вот я как-нибудь не выдержу и каркну во все воронье горло, и тогда уж отрываю подковки». Вот она после твоего ареста и вспомнит эти твои слова. Ну и все, значит! Помочь тебе — не сможешь, а погубить себя — одна минута! И опять же у нее защита, диссертация, как же ее можно обвинять?

— А я и не обвиняю,— сказал он громко.— Нет, нет, я ни капельки не обвиняю, пусть говорит что хочет.

Но на душе у него все равно было очень погано. Хотя бы Буддо пришел, что ли?!

Буддо пришел через час и, чертыхаясь, сел на койку. Он был чем-то очень расстроен.

— Что такое? — спросил Зыбин.

Буддо взял со стола кружку с холодным чаем и стал пить.

— Да что,— ответил он сердито.— Вот пять часов продержали. Какой-то новый, лупастый объявился. Я его и не видел никогда. Глаза как у барана. «С кем вы вели еще антисоветские разговоры? Почему вы не назвали еще такого-то и такого-то, Петрова, Иванова, Сидорова? Мы знаем, что вы с ними делились своими антисоветскими планами». Какими, спрашиваю, к такой-то матери, планами? Что я, лагерь хотел взорвать или в Америку на лагерной кобыле ускакать! Какими же такими планами? И называет ведь, сволочь, только тех, кто должен освободиться в этом году. Начал я что-то говорить, а он как вскочит, как кулачищем грохнет! А кулачище у него с хорошим чайник. «Ах, ты все еще надеешься! Ты еще не разоружился, гад! Не встал на колени! Так мы тебя, гада, по воентрибуналу проведем! На девять грамм! Пиши сейчас же все!» А как писать? Напишешь — им сразу новый срок и на лесоповал! А они из студентов, здоровяки! Таких там только подавай! А писать придется, ничего не поделаешь.

— То есть, значит, вы хотите...— крикнул Зыбин.

— Ой, хоть вы-то не кричите,— болезненно поморщился Буддо и дотронулся до виска.— И так голова разламывается. Да нет, еще пока креплюсь. Да только что толку. Ну не подпишу, подведут их под

ОСО, и все. Те же пять или восемь лет. А ведь пройти по ОСО — это уже самое последнее дело! Так вот и думай — хочешь как лучше, а выйдет как хуже. Ах! — Он махнул рукой, лег, вытянулся и закрыл глаза.

Наступило минутное тяжелое молчание. Зыбин робко спросил:

— А что такое ОСО?

— Как? Вы и этого не знаете? — поднял голову Буддо. — Какой же вы научный работник! О-СО! Особое совещание! Это такая хитрая машинка, что мы вот сидим тут, а она штампует наши судьбы там, в Москве. И все — пять, восемь, десять лет, пять, восемь, десять! И распишитесь, что читали.

— Как штампует? Даже не взглянув на меня?

— Хм! А что им на вас глядеть? — усмехнулся Буддо. — Что вы за зрелище такое? У них там, чать, на это балеринки есть! А насчет того, что они там, а вы тут, то не беспокойтесь. Было бы дело! А дело ваше привезут, и положат, и доложат, и проект решения зачитают, а они его проголосуют — и все! Секретарь запишет, машинистка напечатает, и лети туда, где золото роют в горах. А там дадут вам машинку ОСО — две ручки, одно колесо, и гоняй ее до полной победы социализма в одной стране! Ну что вы на меня так глядите? Что вам еще тут непонятного?

— Пойдите, стойте, — Зыбин провел рукой по лицу. — Вы говорите, в Москве вынесут решение, но ведь в Уголовном кодексе ясно сказано, что приговор выносится судом по данным предварительного следствия, проверенным в зале судебного заседания, это я сам читал! Сам! Так как же они будут проверять без меня?

— Не понимаете? — усмехнулся Буддо. — А я вот другого не понимаю: как вы — научный работник — слушаете одно, а спрашиваете про другое? Я вам толкую о совещании, а вы меня спрашиваете про суд. Да какой же, к бесу, суд, когда не суд, а совещание. Особое совещание при Народном комиссариате в Москве. А человек там осуждается без судей, без статей, без свидетелей, без следствия, без приговора, без обжалования. Слушали — постановили! Литера ему в зубы! И все!

— А как по литеру отправляют? Значит, все-таки не в лагеря? Буддо болезненно усмехнулся и покачал головой.

— Ой, горе вы мое! По литеру он поедет! Не по литеру, а по литере, то есть по буквам, а литеры тоже бывают разные, если, скажем, АСА, или АСД, или КРА, или КРД⁴, ну тогда еще жить можно, а вот если влепят вам КРТА — контрреволюционная троцкистская деятельность или ПШ — подозрение в шпионаже, то все. Сразу же вешайся, жить все равно не дадут! Поняли теперь, что это за штука?

— Нет, — сказал в отчаянии Зыбин, — ничего не понял, ровно ничего, — повторил он безнадежно. — Без статей, без судей, без приговора?.. — И вдруг взмолился: — Александр Иванович, да не издевайтесь вы надо мной, ведь так и с ума сойти недолго! Объясните вы мне, что это за Особое совещание? Что это за литеры? Ну хорошо, ну хорошо, я дурак, кретин, паршивая интеллигенция! Меня еще жареный петух в задницу не клевал! Жил, болван, и ничего не видел. Все это так! Так, конечно! Но ради всего святого, что же это все-таки значит? А где ж мы живем? Не в заколдованном же царстве, не в замке людоеда! В самом деле, ведь вот-вот должна начаться война, надо к ней готовить народ, а мы в это время... — он подавился словом, — или же... — У него задрожали губы, он хотел что-то сказать, но ничего не сказал, только отвернулся к стене.

Буддо взглянул на него и сразу посерьезнел. Подошел, наклонился и поднес кружку с водой.

⁴ Антисоветская агитация, антисоветская деятельность, контрреволюционная агитация, контрреволюционная деятельность.

— Ну, ну,— сказал он успокаивающе и слегка похлопал его по плечу.— Не надо так! Не надо! Вот выпейте-ка! Ай, беда. Вот уж правда беда! И откуда она взялась на нашу голову? Иван Грозный, что ли, ее с собой нам оставил или татары проклятые занесли? Ведь и не объяснишь и не расскажешь!

И он стал рассказывать.

Возникло это странное чудище в 1934 году. Тогда в постановлении ЦИК «Об образовании общесоюзного НКВД» (то есть органа конституционного и постоянного) взамен ликвидируемого ОГПУ (органа временного и чрезвычайного) говорилось следующее:

5. Судебную коллегия ОГПУ — упразднить.

6. НКВД СССР и его местным органам дела по расследуемым ими преступлениям по окончании следствия направлять в судебные органы по подсудности в установленном (каком?) порядке.

8. При НКВД СССР организовать Особое совещание, которому на основе положения о нем (каком? Господи, каком же все-таки?) предоставлять право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет и высылку за пределы СССР⁵.

Калинин, Енукидзе. Москва, Кремль, 10 июля 1934.

Так выглядело первое и, кажется, чуть не единственное сообщение об Особом совещании в печати. Упомянулось же оно официально (если не считать речей Вышинского), кажется, всего еще один раз — в обвинительном акте об убийстве С. М. Кирова. Тогда дела одних обвиняемых прокуратура направляла в военную коллегия (это значило — расстрел в двадцать четыре часа без обжалования и помилования), а дела других «за отсутствием состава преступления» вот в это самое Особое совещание. Подписал эти обвинительные заключения А. Я. Вышинский, а составил Лев Романович Шейнин.

Вот, кажется, и все упоминания в официальной печати об ОСО.

А вообще-то оно даже как бы и не существовало вовсе. Люди, составляющие эту страшную, всемогущую и совершенно безответственную тройку (их, кажется, было точно трое), не имели ни фамилий, ни званий, ни должности. Они были — ОСО. Ни один из осужденных не видел их подписи под приговором. Ему никогда не оставляли приговор для обжалования. Потому что не было ни приговора, ни обжалования. Был аккуратный бланк формата почтовой открытки. Вот примерно такой.

Выписка из протокола заседания Особого совещания
от

С л у ш а л и:

Об антисоветской деятельности
Иванова Петра Сидоровича (год,
место рождения).

Выписка верна — (закорючка)

П о с т а н о в и л и:

Осудить за антисоветскую деятельность
Иванова Петра Сидоровича
(год, место рождения) на пять лет
лишения свободы с отбыванием в
Свиглаге⁶.

«Подпишитесь на обороте, что читали,— ласково говорил офицер, предъявляя эту шпаргалку,— и вот еще раз на копии... Спасибо!» —

⁵ В сборнике материалов по истории социалистического уголовного законодательства (Юриздат. М. 1938) есть такое уточнение: «...учреждается оно в составе а) заместителей наркома НКВД СССР, б) уполномоченного НКВД РСФСР, в) начальника Глав Управления милиции, г) наркома НКВД союзной республики, на территории которой возникло... Обязательно участвует прокурор СССР или его заместитель — итого 8 или 9 человек, не считая технического персонала».

⁶ Северо-Восточные исправительно-трудовые лагеря, то есть Колыма.

и прятал бумажку в папку. Осужденного уводили, и с этого момента для него начинался лагерь — тачка⁷.

Но этот детский срок — пять лет в Свितлаге — существовал очень недолго. Потом машина ОСО стала набирать мощностъ, колесо закрутилось, сроки заскакали: восемь лет, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять! А потом сроки исчезли вовсе и начались расстрелы (это, правда, уже во время войны). А форма оставалась такой же — «слушали — постановили» и «распишитесь на обороте». Вот и все⁸.

Но если для этой таинственной тройцы ОСО не существовало ни доказательств, ни судебного следствия, ни свидетелей, ни допроса подсудимого, ни статей закона, ни закона — словом, всего того, что делает суд судом, а убийство убийством, если, далее, верша все самое тяжкое, ОСО не боялось ни прокурора, ни надзора, ни закона, ни государства, ни собственной совести, потому что оно само уже было всем этим — законом, прокурором, судом, и государственной совестью, и государством, то была все-таки некоторая малость, некая видимость законности, с которой ОСО считалось, ибо без нее существовать не могло. А звалась эта малость в разное время по-разному: с материальной стороны это была «спецзаписка» и «меморандум», а с политической — «изоляция» и «укрепление морально-политического единства советского народа».

И это не Иван Грозный нам оставил, не татары занесли, а мы сами на себя выдумали и взлелеяли. Самое же название ОСО, точно, получили по наследству от полицейского государства Александра III. Именно таким Особым совещанием, «образованным согласно статье 34 Положения о государственной охране» при министерстве внутренних дел, был в свое время осужден на ссылку⁹ некий Иосиф Джугашвили, как потом оказалось, человек с короткой памятью на все доброе и с великолепной, истинно творческой на все злое и страшное. Правда, в те годы, чтоб сослать на поселение хотя бы того же Джугашвили, потребовалось ни много ни мало, а личная подпись императора — «согласен», сейчас же ровно ничего не требовалось, кроме толстого засургученного пакета из плотной бумаги. Но пакет этот в дело не входил, а только прилагался к нему. Что находилось в этом пакете, никто не знал, ни подсудимый, ни даже военный прокурор, дававший санкцию на отправление этого пакета в Москву. Ему просто сообщалось в общей форме о содержании пакета. Подследственному же вообще ничего — не его ума это было дело.

Есть игра «третий лишний». Вот что-то подобное было и тут. Двое играли — один не участвовал. Он был третьим и лишним, то есть подследственным.

Толстый засургученный пакет содержал меморандум или спецзаписку. Изготавливалась эта записка из самых разнородных материалов. В ее состав входили:

а) агентурные сводки и показания сексотов. То есть то, что даже законодательно запрещалось считать доказательством. Однако они и являлись основой всего дела. Без сексотов меморандум составить было бы просто невозможно (сексот — секретный сотрудник —

⁷ «Машина ОСО — две ручки, одно колесо», — говорили лагерники о тачке. И это было верно в отношении и ОСО и тачки.

⁸ Только и всего в положении об ОСО сказано: «Должно быть указано основание применения этих мер».

⁹ В делах ОСО большое место занимали меморандумы с литерами ПШ (подозрение в шпионаже), АИР (агент иностранной разведки) и т. д. Вот уж чего не было раньше. «...Особому совещанию могут подлежать только представления о высылке, сделанные властями, подчиненными министерству внутр. дел; как учреждение гражданского ведомства, оно не... может контролировать действия военных властей...» А тут было как раз все наоборот. Только военный прокурор, зная лишь литеры, но совершенно не посвященный в суть дела, направлял эти дела в ОСО. (А вообще об этом см. Лемке, «250 дней в царской ставке», стр. 282—283, отношение генерала Бонч-Бруевича к Белецкому.)

так советские люди называли ненавидимое ими племя осведомителей ГПУ, НКВД, МГБ и т. д.);

б) анонимки;

в) доносы (доносили жены, мужья, любовницы, соседи, отцы, дети, доносили позарившиеся на жилплощадь, на наследство, на молодого мужика, на красивую бабу, доносили шизофреники, потому что им действительно что-то такое показалось, доносили иногда сами на себя, испугавшись своих неожиданных ночных мыслей и преступных сомнений. Иногда — и не так уж редко — после этого люди не дожидались прихода ночных гостей и кончали сами. В общем, это был тоже обширный раздел материалов);

г) характеристика. (Характеристики эти составлялись оперработником, подписывались начальником оперативного отдела и утверждались зампарткомом. Подлогов здесь было не меньше, чем во всем остальном. Любкой Гагарин именовался обязательно князем, а, скажем, Иванов Петр Сидорович считался выходцем из княжеской среды, если мать его была Гагарина. Каждый даже родившийся в 1900 году в Риге или Либаве все равно проходил как гражданин, «проживавший долгое время на территории вражеского государства и сохранявший с ним дружеские и родственные связи».)

Если к тому же выяснялось, что у арестованного хотя бы на самых далеких развилках родства были репрессированные (а по советски говоря, у кого их тогда не было?), то в меморандуме он назывался не иначе как «близкий родственник ныне разоблаченного врага народа»... Кончался меморандум так:

«На основании всего изложенного

ПОЛАГАЛ БЫ

осудить Иванова Петра Сидоровича, выходца из враждебного класса, за его антисоветскую деятельность на 8 лет лишения свободы с пребыванием в лагерях Сибири или Дальнего Востока».

Подписывал эту бумагу начальник спецотдела. Утверждал замнаркома, и дело летело в Москву с референтом от наркомата.

Затем оно рассматривалось в одно из чисел, специально отведенных для данной республики, на заседании ОСО.

Папки лежали на столе, члены ОСО брали их на минуту в руки, перебрасывали страницы, заглядывали в меморандумы, переговаривались, записывали разговоры нарзаном. Смеялись. Острили. Представитель республики докладывал им дело и зачитывал проект решения. Потом председатель спрашивал мнение референта и проводил опрос («Ну как, товарищи, согласимся?»), а утром машинистка уже печатала на бланке «слушали — постановили»...

Так, во всяком случае, представлял себе это дело Александр Иванович Буддо, да, кажется, так оно и было в действительности.

А просуществовало это чудовище двадцать лет — до сентября 1953-го (см. передовую журнала «Советское государство и право» за 1959 год — номер первый).

— Вот так и получается, дорогой Георгий Николаевич, — сказал Буддо, — что подсудимый вовсе не заинтересован в том, чтобы доказать свою невиновность. Ну, скажем, суд заворотит его дело на исследование. Ну и что? Подержат его еще месяца два и отошлют дело в Особое совещание. И так суд дал бы ему по материалам лет пять или шесть и отправил бы в местную колонию на бахчи, а по меморандуму ему всыпят в Москве всю десятку и погонят «в Колыму, Колыму, чудную планету», — вот и все! А вот вы знаете, что рядом с нами, в другом коридоре, есть камера оправданных по суду. Сидят и ждут, когда им всыпят по ОСО десятку! И всыпят, и дай Бог как всыпят!

— Почему? — спросил Зыбин. Голова у него гудела. Сознание работало неясно. Он теперь был готов поверить во все. Вот он по-

пал в машину, колесо завертелось, загудело, заработало, и нет уже ни входа, ни исхода. И ничего больше не имеет значения. Ни ложь, ни правда, ни стойкость, ни мужество — ничего! Нелепый случай его отметил, а остальное доделают люди, к этому призванные и приставленные. И нечего винить ни случай, ни людей.

Он чувствовал себя вялым, расслабленным, как бы погруженным в волокнистую вату. Больше всего хотелось лечь и вытянуться. Он лег и вытянулся.

— Почему, спрашиваете? — спросил Буддо и подвинулся, чтоб дать ему место. — А потому, дорогой, драгоценнейший мой Георгий Николаевич, что осужденный по ОСО — это поручик Кижэ, арестант секретный, фигуры не имеющий. У всех порядочных заключенных статьи, а у этого буквы, у всех преступников на руках приговор, где видно, за что про что он страдает, и он — пожалуйста! — его всегда может предьявить, а у этого выписка. Все порядочные люди — воры, убийцы, насильники, спекулянты — в свободное время строчат кассации, а ему и писать некуда и не про что. Всех преступников освобождают по звонку, а этого — еще бабушка надвое сказала, то ли освободят, то ли нет. Придет из Москвы бумажка «слушали — постановили», и сиди еще пять лет. Я одного такого знаю, который уже пятнадцать лет сидит и вот теперь кончает и новый срок ждет, а о воле он и думать забыл, когда с ним о ней говорят, он только рукой махнет. Вот начальство и понимает — все преступники как преступники, а этот какой-то черт в образе человека. Какая вина за ним — не поймешь, а опасен пожизненно, и чем скорее он концы отдаст, тем для человечества лучше. И вот гоняют его в тайгу, под землю, на Чукоткин Нос — лес сводить, тачки гонять, золото рыть. Вот помантулят его этак года три, и конец ему — бирка на ногу и в вечную мерзлоту. Одним словом, не дай Бог вам во всем оправдаться! Берите богему! Берите, пока ее вам предлагает добрый человек. Искренне, искренне советую!

Глава IV

...В тот день я все-таки достал краба. Директор не соврал, был такой грек. Он жил у моря в какой-то развалюхе и ловил всякую всячину: таскал курортникам звезд, морских ежей, змей, скорпионов, крабов. Когда мы подошли к его лачуге, он как раз возвращался с ловли. В одной руке у него была острога, в другой жестяное ведрышко. Увидев нас, поставил ведрышко, вытянулся и козырнул острогой. Высокий, загорелый, почти совершенно черный грек с острым лицом и усам.

— Здравия желаю, господа хорошие, — сказал он четко и насмешливо, — или теперь так не говорят? Да, «граждане», «граждане» теперь говорят! — Он, видимо, уже здорово хватил и теперь смотрел на нас влажными веселыми глазами. — Здравствуйте, граждане, чем могу услужить?

Я взглянул на директора.

— Да вот, Сатириади... — начал он неуверенно.

— А, это вы, товарищ директор, — как будто только что узнал его Сатириади. — Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, пожалуйста, Иван Никанорович. Вот по вашей-то части ничего что-то и не попадалось! Так, черепки всякие нестоящие есть. Зайдите, загляните?

— Да нет, нам краб нужен, — ласково сказал директор.

— Кра-аб? — как будто даже удивился старик. — А что же, на базаре их разве мало? Вон их сколько там, любого хорошего бери, хошь красного, хошь желтого.

— Да нет, нам такие не нужны, — сказал директор.

— Ну а каких же вам? Таких, что ли? — И он поставил ведрышко на землю.

Я посмотрел. В ведрышке была только желтоватая вода да черное выпуклое доньшко. На доньшке лежали две красные гальки, вот и все.

— А где же краб? — спросил я.

— А вот, — сказал директор и поддел ведро носком ботинка.

И тут что-то двинулось, поднялась муть, я увидел, что черное — это не дно, а спина краба. Он был страшно большой и плоский, и, наклонившись, я разглядел на нем бугры и колючки, какие-то швы, края панциря, зубчатые гребешки.

Директор еще раз слегка встряхнул ведро, и тут краб шевельнулся, и в одном месте, очевидно, возле усов, вдруг закрутились песчинки, словно ключ забил.

— Какой же он огромный, — словно сокрушенно покачал головой директор, — а ведь он, пожалуй, больше моего.

— Ну, сравнили! — качнул головой Сатириади. — Такого лет пять не было! Видишь, как палец проколот! Наскрозь! Теперь неделю ни за что не возьмусь! — Большой палец его, верно, был обмотан серой тряпичей. — А вам что, для себя или еще куда требуется?

— Да не мне, а вот этому молодому человеку, — кивнул на меня директор. — В Москву хочет увезти. Для науки. Если не очень подорожишься, конечно.

— Да что мне дорожиться! Дороже водки не возьму! Мне теперь водки много надо! Конпрессы спиртовые на палец буду класть. Может, разобьет кровь, а то — беда! — Он поднял ведрышко. — Ну, пойдём, коли так, в хату, не на пороге же рядиться!

Взял он, однако, с меня довольно дорого. Я отдал ему все что имел, да еще у директора признал полтинник. Но все равно мы считали, что сделали хорошее дело, и обратно не шли, а летели.

— Ну пять не пять, — говорил весело директор, — но далеко, далеко не каждый год такие попадают, тут он вам не соврал! Ладно, а что вы с ним делать-то будете? Ну, положим, вылущить я вам его помогу, а вот как его усыплять? Эфир ведь, пожалуй, его не возьмет — уж больно здоров! Придется хлороформировать, а где хлороформ взять? Может быть, у ваших докторов он есть?

— Ничего, — ответил я (теперь, когда краб сидел у меня в ведре, мне все казалось легче легкого), — я вот сейчас его посажу под кровать, а к утру он содохнет. Они же без воды не живут.

— Пожалуй, — согласился директор.

И только мы поднялись на высокий берег, как сразу на нас налетела ты, Лина. Ты была в белом платье и черных очках, помнишь? Какая же ты была, а? Ах, Лина, Лина!

Он погрозил ей пальцем, хохотнул, повернулся на бок, и тут стерильно белый, ужасный свет наотмашь ударил его по лицу. Под утро свет этот набирал силу и становился таким пронзительным, что пробивал все: веки, ладонь, подушку — все, все! Зыбин ненавидел его. Сон был волей, а свет тюрьмой, и тюрьма эта присутствовала во всех его снах. Вот и сейчас — счастливые, свободные, веселые, они стояли на высоком берегу над морем, болтали, смеялись, а белый мертвенный свет, пробившийся из яви, горел над ним, и он все равно был в тюрьме.

Так у него всегда начинался кошмар; то и это мешалось, сон и явь перебивали друг друга, разрывали его на части, и он бился, бредил и вскакивал. Но сейчас он не бредил, сейчас он просто стоял и смотрел на Лину. А Лина взяла его под руку и сказала:

— Вот, Иван Никанорович, взгляните на рыцаря! Раньше рыцарь спасал даму от разбойников и увозил ее к себе. А этот вот рыцарь спас от разбойников и смысла! Слушайте, спаситель, ведь это же бессовестно, а?

Она говорила и держала его за ладонь, улыбалась и глядела прямо в глаза. Это было так хорошо, что он опять тихонько захихикал в подушку.

...Нога у нее, видно, Александр Иванович, прошла, а тогда на берегу она лежала как мертвая, на боку; вот так она лежала, смотрит, Александр Иванович, я покажу, вот так она лежала, и руки у нее были раскинуты, видите как? Как-то через голову. И такая восковая выгнутость и неестественность. Ведь и мертвые тоже лежат так. Вот почему я ее принял за мертвую. Но все это продолжалось не больше минуты, нет, меньше, меньше! Какая там минута, секунды какие-то! Она вдруг подняла голову и завопила на кого-то: «Бери и уходи! Бери и уходи! А то сейчас наши придут!»

И только он крикнул это, как белый свет как из опрокинутого ведра опять хлынул на него.

— Тише! — шикнул на него Буддо. — А ну проснитесь! Опять набьете синяк! А ну лягте как следует быть! Ну!

Зыбин открыл глаза, увидел прямо перед собой прокуренное, закопченное какой-то желтой копотью лицо Буддо, и его мгновенно передернуло от отвращения: «машина ОСО — две ручки, одно колесо», буро-сизая щетина, табачный кадык, шея, как у столетней черепахи, и устоявшийся крепкий запах собачины и махорки.

— Что с вами такое? — спросил Буддо сердито. — Опять пригрезилось? А все оттого, что лежите не по-человечески. Вот видно, что никогда не работали физически. Лежать надо свободно, отдыхая, а вы свернетесь крюком, и, конечно, легкие стиснуты, сердце работает с перебоями, ну и лезет всякая дрянь.

— Да, да, да, извините! Я знаю! — поспешно забормотал Зыбин. — Я сейчас... — И опять закрыл глаза.

Но море уже ушло. Не было ни моря, ни солнца, ни ветра, ни чаек — была только розовато-желтая мгла под веками да этот проклятый свет. Тогда он вытянулся, закрыл глаза и стал считать до тысячи. И через десять минут, верно, свет ушел и они опять были вдвоем.

Вдвоем они поднимались на гору, туда, где стоит памятник. И она слегка сомневалась, надо ли сейчас идти, и спрашивала:

— А не поздно мы идем? Здесь очень быстро темнеет, а я ведь такая трусиха.

А хромать она все-таки немного хромала.

«Вы понимаете, Александр Иванович, почему она хромала: она в море вывихнула ногу. Ну это же очень просто там ее вывихнуть, ведь там везде эти глубины, они плоские, скользкие, нога так и едет, — ну вот, она встала, поехала, поскользнулась и вывихнула колено. Хорошо, что было совсем мелко, а то захлебнуться могла. Тут на пляже были уж такие случаи. Так вот, было мелко, она выползла из воды и доползла до одежды. А на платочке лежали ее вещички — золотые дамские часики, аппарат «лейка», перламутровый биннокль, портмоне. Если бы это случилось на пляже и не так рано, то, конечно, беда была бы не больно велика, сразу бы и помогли, но ведь вообразите: дикий высокий каменистый берег, никто на него не ходит, купаться тут нельзя, а время часов шесть, наверно. Знает, лежи и жди! Вот тут к ней и подкатил этот орел — их там в это время до черта, — подошел, посмотрел и с ходу: «Мадам, что с вами? Не могу ли чем-нибудь помочь?» Она думала, что человек попался, обрадовалась, просит его: «Сходите в такой-то санаторий, попросите кого-нибудь прийти, я вот, видите, ногу вывихнула, идти не могу». «О чем разговор, мадам, сейчас!» Подошел, хватить портмоне и часы и бежать!

Вот если бы он, Александр Иванович, не побежал, а пошел себе просто, я бы, пожалуй, не сразу сообразил бы как и что, я сначала тогда бы бросился к ней, ну а он с концами бы, конечно, но как он побежал, то я сразу и припустился за ним. А он пробежал еще метров сто, видит, что не уйдет, что догоню, и швырнул все в песок. Ну, конечно, дальше гнаться я за ним не стал. Вернулся, подошел к ней. Она лежит. Длинная, белая-белая, лицо мокрое от слез и пота, губу закусил — лежит. «Что с вами?» «Да вот нога!» И больше ничего. Вы знаете, Александр Иванович, я до сих пор удивляюсь: что же меня такое осенило? Откуда оно взялось? Я никогда раньше с такими вещами и дела не имел, ну читал что-то подобное у Джека Лондона или Майн Рида, не помню уж точно, у кого и что прочитал. «Подождите», — говорю. Сел на песок, взял ее ногу в руки, посмотрел, пощупал коленную чашечку — она лежит, только зубы стиснула и постанывает, — я приподнял ногу да как крутанул ее! И еще раз, и еще! Щелкнуло там что-то и, чувствую, стало все на место. Посмотрел на нее, а она без памяти, и голова в песок ушла. Боль-то, конечно, страшная. Губу прикусила, и все лицо мокрое от пота. Опустил я ее ногу, сел с ней рядом, Александр Иванович, взял ногу, положил ее себе на колени...

Он хохотнул и слегка потряс головой. Из всех самых дорогих воспоминаний самое-самое дорогое было вот это. Он берег его, как сокровище, и все снова и снова возвращался к нему, поворачивал так и этак, разглядывал все до мельчайших подробностей и прибавлял еще новые, каких не было.

Потом она снова пришла в себя, и он стал поднимать ее с песка. Сначала это у них никак не выходило. Тогда он сказал: «Стойте-ка, попробуем так». Обнял ее за пояс, посадил и придержал за спину. Она села, перевела дыхание, облизала губы, поправила с боков волосы и сказала: «Тут у меня фляжка с холодной водой, дайте, пожалуйста». Он подал — простая алюминиевая фляжка. Она развинула ее, стала пить, пила, пила, потом положила на песок, поглядела на него, улыбнулась и сказала: «Вот ведь история, а? Глупее ничего не придумаешь». «Ничего, — ответил он, — бывает! Вот как пойдешь-то? Идти вы не можете, а одну я вас не оставлю тут». Он был страшно серьезен, мрачно-серьезен. Почему-то на шутки его не хватало. «Вы встать можете, — спросил он, — держась за меня, а?» Она поглядела на него и мученически улыбнулась. «Попробую, только держите меня крепче за пояс». Но ничего из этого не получилось. Она несколько раз пыталась встать, но только приподнималась и тяжело оседала опять. «Нет, так не пойдет, — сказала она, — знаете что, подхватите меня пониже и хорошенько подтолкните. Тут уж ничего не поделаешь». Он понял, одной рукой обнял ее за пояс, а другой подтолкнул вверх. И еще раз. И еще несколько раз. И она встала. Она встала и стояла на одной ноге, обняв одной рукой его за шею и пошатываясь. Другой — больной — ногой она только чуть касалась земли. «Ну как?» — спросил он. «Да вот привыкаю, — ответила она. — Знаете что, опустите меня опять, я оденусь». Он осторожно опустил ее и подал платье. Она повертела его в руках, подумала и сказала: «Нет, так его, пожалуй, не наденешь. Давайте опять встанем». Опять встала. Она собрала платье складками, подняла над головой и сказала: «Пожалуйста, держите меня за пояс. Только осторожно, я боюсь делать резкие движения».

И так она оделась, но опять как-то неосторожно двинулась, разбредила ногу и застонала. Потом он опустил ее на песок, и она надела тапочки. После этого она сказала: «Теперь дайте мне полежать спокойно минут пять, и пойдём». Она легла и вытянулась, а он сидел около нее, смотрел на море. А она лежала с закрытыми глазами, легко дышала и такая была... такая... Наконец он сказал: «Тут видите,

крутой подъем — придется мне донести вас на руках до дороги. Там уж пойдете сами». «Хорошо,— сказала она послушно,— только давайте минутки две отдохнем». Минут через пять он сказал: «Ну, берите меня за шею. Крепко держитесь? Держитесь крепче! Опля!» Оторвал ее от земли и понес на руках. (Это опять-таки было его самое-самое дорогое.)

...Ну а потом она пошла. Хромала очень, но все равно нести ее я уже не решался — ведь город же! Представляете себе зрелище! На улице еще никого не было, но все равно я не решался. А она молодец, шла и даже не стонала, только когда нога подвертывалась — вскрикивала. Но плечо у меня три дня потом болело. Тогда я ничего не замечал. «Больно?» — спрашиваю. «Ничего, ничего, идемте, идемте». — «А может, отдохнем? Вот лавочка». — «Нет, пошли, пошли, тут уж недалеко — вот за углом». А как свернули за угол, так вылетела целая толпа — парни, девушки, кто с надутыми поясами, кто с мячами, и сразу к ней: «Лина, что с вами? Что случилось?» Окружили, подхватили за спину, посадили на скамейку. Кто-то за сестрой побежал, ну а я сбежал, конечно. Вот и вся история, Александр Иванович, видите, какой я спаситель.

— Да,— ответил Александр Иванович.— Вижу, чувствую. А зачем вы с ней в гору поднимались? Там что-то было?

На гору они поднялись уже под вечер. Когда-то сюда была проложена настоящая дорога, сначала лесенка, потом что-то вроде шоссе — сейчас же ничего не было: осталась только неверная, все время осыпающаяся под ногами тропинка, и идти по ней надо было осторожно, держась за кусты и выбирая место, куда встать, а то сразу ухнешь по колено в бурьян или частый крапивник. А крапива здесь вырастала несокрушимая: черная, высотой с человека, с нежными желтыми сережками, вся осыпанная серой цветочной пылью, и от нее таинственно пахло. И вообще все, что находилось ниже тропинки на склонах горы, все было таинственным: черные круглые колючие кусты, бело-желтые, в ржавых пятнах камни, козьи кости, собачий скелет с раскрытой к небу частой решеткой ребер. Сидит на тоненькой осине кобчик и смотрит желтым кошачьим глазом; взмахнешь рукой, крикнешь, он только для приличия пригнетса как на пружинах и опять сидит. Идешь и думаешь: а что же делается в этой гуще? В колючем кустарнике, в желтых и пустых дудках, в этих мощных лопухах и репейнике, в крапивных зарослях — что там? Кто здесь ходит, кто живет и почему на пустой дудке висит вон насквозь промасленный, как блин, серый брезентовый картуз? Кто его сюда повесил? Зачем? Когда?

— Пойдите, спаситель,— сказала Лина, отпуская его руку,— я сниму тапочки, а то ноги скользят. Пойдите-ка там, вверху.

Она возилась долго, что-то снимала, надевала и когда подошла к нему, вдруг солнце зашло за тучку и как-то внезапно стемнело. То есть небо над ними было еще светлое, и море сверкало нестерпимо для глаз, они видели его в прорези горы, но по склонам уже легли прозрачные сумерки. Блин на дудке теперь казался совсем бурым. А рядом была настоящая пропасть. Он как-то не так ступил — и посыпалось, камень оборвался из-под его ноги и мягко по травмам покакал по склону, докатился до репейников и застрял там.

— Ну, еще с десятков шагов,— сказал он бодро,— еще один поворот — и пришли!

Он говорил, только чтоб ее подбодрить, но действительно получилось так, как он сказал. Они поднялись еще несколько шагов и сразу очутились на прямой широкой дороге, а прямо перед ними зеленел спокойный, как в сказке, ровный лужок, поросший невысокой травкой, и белела кладбищенская стена.

— Ну вот, дошли,— сказал он,— может, отдохнем?

Стена была невысокая, по грудь человеку, из-за нее виднелись кресты и склепы — странные кубы и прямоугольники из желтого известняка. Так строят только для покойников. Но рядом стояли черные кипарисы, и все равно было красиво. Он посмотрел на все это, затененное легкими, прозрачными сумерками, похожими на дымчатое стекло, и подумал: «И дернул меня черт притащить ее сейчас. Ведь минут через двадцать совсем стемнеет. Уж подождать бы утра и подняться с другой стороны».

— Садитесь, отдохнем,— сказал он и сел на придорожный камень. Он лежал тут на дороге — большая четырехугольная мраморная глыба.

Она тоже села, тяжело вздохнула и закрыла глаза. Он посмотрел на глыбу: с одной стороны она была обтесана, ее, видно, тащили сюда, но почему-то не дотащили до стен кладбища и бросили. Почему? Может, революция подошла и живым стало уже не до мертвых?

Он вынул из кармана ее плоскую фляжку и сказал:

— Предложил бы вам водки, но...

Она слегка поморщилась.

— Воды бы...

— Что ж, поищем воды,— сказал он бодро,— какая-нибудь труба здесь да торчит. Что ж, пойдем, пожалуй?

— Еще минутку,— попросила она, но просидела долго, пока совсем не стемнело, тогда она поднялась и сказала: — Идем.

И только они прошли несколько шагов, как белая стена оборвалась, и они увидели в этом провале ночь. В ней перемешалось все: и чернота земли, и густота кустарников, и лиловатость мрамора, и ангелы, и небо с крупными синими звездами, и верхушки деревьев, и за деревьями как бы наискось повешенное море, а по небу быстрые лиловые вспышки. Он вынул из кармана фонарик — лиловый лучик скользнул по траве и рассеялся, не долетев до стены.

— Пойдемте,— сказал он.

Встали и снова пошли, но только прошли несколько шагов и наступили на первую могилу, как что-то ухнуло и застонало. Она сдавила его ладонь. Он тихо засмеялся и похлопал ее по руке.

— Ну, ну,— сказал он,— ничего особенного, сова. Их в этом хозяйстве должно быть до черта. Вон ведь какие апартаменты.

Он осветил овальное узорное окошко с разноцветными стеклами и бронзовыми пальмами вместо решетки. И вдруг его рука дрогнула: высокий худощавый старик в синем комбинезоне появился из-под земли, стоял перед ними и неподвижно смотрел на них.

— Доброй ночи,— сказал Зыбин несколько опалело.

— Добрый, добрый вечер,— ответил старик благодушно,— какая же сейчас ночь? Вечер! А я вот что смотрю: вы ведь с этой стороны поднимались?

— Да. А что?

— Как что? Как же вы так рискнули? Там же рогатины стоят. Здесь же никак ходить нельзя. Свалишься — костей не соберешь. В прошлом году двое насмерть расшиблись. Милиция нам строжайше запретила! Здесь все скрозь сытется.

Он говорил, а сам как будто улыбался.

— Да никаких рогаток мы, дедушка, не видели.— Лина прижалась к Зыбину и слегка потеряла подбородком его плечо.

— Да это как же нет, когда я сам и ставил,— покачал головой старик.— Нет, они есть, да вы ими пренебрегли. Вот что! Ну а если свалились и на дороге лежат, то все равно. Там надпись черным по белому: «Проход воспрещается».

— Да совсем там ничего не было! — воскликнул Зыбин.

— Да неужели кто опять сбросил? — спокойно удивился старик.— Да, наверно что так! Это третью мою заграду они ниспровергают!

Ну хулиганы! Ну подлодочки! До всего-то им дело! Стоит памятник. Так он, может, сто лет тут простоял. Его ни белые, ни красные, ни зеленые не трогали, так нет, пришел герой из ваших, ученый в белом костюме, сел под него, вынул бутылку, хватил стакан-другой — и все! Растянулся! Встал через два часа, уставился, как баран, смотрит: ангел с крестом. Смотрел, смотрел да как швыркнет башмаком — стоит! Он его — спиной! Стоит! Так он задом уперся, пыхтел, пыхтел, аж посинел — здоровый ведь боров, пьяный! Все стоит ангел. Тут уж такое горе его взяло, такое горе! Повернулся от памятника и не знает, что же ему делать. И выпить нет — хоть плачь! Увидел меня: «Дед, достань пол-литра!» «Нет,— говорю,— водки у нас нет: покойникам не подносим и сами не пьем. А что ж,— говорю,— вы остановились-то? Спиной его лупили, задницей перли, давай теперь лбом — вон он у вас какой! Может, свалится». «А,— говорит,— все равно все это на снос!» Вот какие попадают ученые! А что это вы так припозднились? Сюда надо придумать, пока солнышко высоко. Вы что, так гуляли и забрели или посмодать пришли?

Странный это был старик, он и расспрашивал и рассказывал все одним и тем же тоном — легким, смешливым, добродушно-старческим, и было видно, что ему на все про все наплевать, и на то, что кто-то пойдет по такой дороге, а потом и костей своих не соберет. Зыбин ответил, что нет, они не гуляли и забрели, а пришли специально взглянуть на кладбище.

— Ну, ну,— как будто по-настоящему обрадовался старик.— Здесь есть что посмотреть. Ну как же! Здесь один такой выдающийся памятник есть, что его в музей хотят взять.

Зыбин сказал, что именно из-за этого памятника они и пришли сюда.

— Так вы не туда идете! Вы сейчас совсем заплутаетесь! Стойте-ка, я вас сейчас провожу.

Он отделился от стены и сразу же исчез, был — и нет, не то в стену ушел, не то в землю провалился. Лина стиснула руку Зыбина, но старик уже вылезал откуда-то из-под земли. В руках его был большой закопченный фонарь. «Ну, пойдём»,— сказал он. Фонарь он нес как ведро, махал им, и тени от этого шарахались в разные стороны. Освещалось только то, что под ногами — трава, земля, а впереди была все равно темнота.

Они миновали несколько крестов и ангелов и поравнялись со склепом, большим, длинным, похожим на склад. Одно окно горело снизу желтым керосиновым светом.

— Да тут живут! — удивилась Лина.

Старик махнул фонарем.

— А как же! — ответил он, с удовольствием взглядывая в ее лицо.— Тут вот и живем. Там у меня инструменталка, а тут жительство. Двое нас: я да садовник Митрий Митрич, такой же старичок, как и я. Тому уже восьмой десяток давно пошел.

— Садовник? — удивилась Лина.

— Садовник, гражданочка, садовник. Митрий Митрич. Знаменитый человек был. Когда-то на островах у графа Полюстрова служил и на все высочайшие банкеты цветы доставлял. Его в Царское сманивали — не пошел. Мол, тут и дед мой кости сложил, и отец, и я тут же с ними. Да вот, видишь, не вышло. Как в гражданскую тут застрял, так и остался. Вот вместе теперь живем.

И опять голос у старика был легкий, шуточный и чуть ли не издевательский, как будто он рассказывал и в то же время приглашал посмеяться над рассказом.

— И не страшно вам? — спросила Лина.

Это так понравилось старику, что он даже остановился.

— А кого ж тут бояться-то? — спросил он весело, и глаза его насмешливо заморгали.— Злым людям тут делать, гражданочка, нечего.

Чем тут поживишься? Вот только уж алкоголик затешится с пьяных глаз — это да! Такое приключение бывает! А так — все больше парочки. — И он слегка мигнул фонарем на них обоих.

Лина сжала пальцы Зыбина и спросила неуверенно:

— А вурдалаки?

— Что-о? — нахмурился старик. — Вурдалаки? Вона что! Это которые, значит, из могил выходят да кровь сосут! — Он вдруг засмеялся и покачал головой. — Нет! Оттуда, гражданочка, никто не выйдет. Там дело вполне крепкое! Зарюют, камнем придавят — и все! Как не жил на свете! Мертвый человек — он самый безвредный! Это живые все шебаршатся, хватают, к себе тянут, и все — «мало, мало, дай еще! давай мне еще и это!». А мертвый сам с себя все раздает. А как останется один скелет — это уж, значит, точно, раздал все нажитое, одну основу себе оставил. Она уже его собственная! От матери! Вот так, молодые люди!

Он говорил и весело глядел на них обоих. Зыбин заметил, как Лину вдруг передернуло, у нее сейчас было осунувшееся и сразу как-то похудевшее лицо. Старик, видимо, был дока — он знал толк в таких разговорах и любил их.

— Все равно страшно, — сказала Лина и плотно прижалась к Зыбину. Тот слегка обнял ее сзади. Она прильнула еще ближе.

— Страшно! Да что вы, помилуйте! — почти по-светски воскликнул старик. — Природа! Закон! Закон-с природы! Из земли создан, в землю и отойдешь. Чего ж страшиться-то? Удивляюсь! Особенно вам, ученым, удивляюсь! Учатся всякому природоведению, синтаксису, а ведь доведись что — хуже самого черного мужика. Ей-богу, хуже! Вон внучок у меня в седьмой класс зимой пойдет, журналы читает, как что — «ты, мама, отсталая, сейчас так уж не говорят». Такой научный! А был он у меня раз, припозднился — я аккурат ему силок мастерил — и лег тут. Утром выбег по своему делу, смотрю, через сколько бежит — лица на нем нет! Что такое? «Деда, деда, там мертвяк из-под земли вылез!» — «Где мертвяк? По какому случаю? А ну пойдём взглянем». — «Нет, нет! Я не пойду!» Вон какой ученый! — Старик опять засмеялся. — Вышел я, верно, кто-то скребется, решетку у могилы раскачивает. Подошел, а он уже весь облевался и на памятник лезет. А грязный, а страшный, а весь в земле! Ну правда вурдалак! Это он, значит, тыкался, тыкался, тыкался в решетку, только башку расшиб. Так он сообразил — на памятник полез, чтоб, значит, оттуда, сверху, за решетку сброситься. Вот до чего допиться можно! Такие приключения тут да, случаются. А все, что вы говорите... — Он с улыбкой поглядел на Лину и слегка махнул рукой. — Ну вот мы и подошли. Вот он, памятник, смотрите!

...Вы понимаете, Александр Иванович, эта статуя была действительно замечательной. Когда мы осветили ее фонарем, то она прямо взмыла перед нами — такая страшная легкость! Пьедестал-то из черного гранита, его не видно. А внизу-то, Александр Иванович, и были все эти надписи — ночью-то гранит невидим, конечно, но только тронешь его фонарем — он так и вспыхнет, так и обдаст голубыми искрами. И вот когда мы его так со всех сторон обшаривали, и появилась эта старуха...

Не старуха, конечно, она была, ей еще и пятидесяти лет, наверно, не стукнуло. Они ее сначала точно не заметили. Просто поднялись к памятнику — и вдруг из темноты послышался спокойный, густой и какой-то очень полновзвучный голос:

— Здравствуй, Михеич! С кем это ты?

И старичок вдруг засуетился.

— А, это вы, Дора Семеновна, — заблеял он. — Что ж не повести-ди-то? Ростислав-то Мстиславич где? Тоже с вами? Вот видите, мо-

лодые люди захотели Юлию Григорьевну проведать, да заплутались в могилках-то. Вот я и взялся их проводить по случаю ночи.

— Положим, у тебя сейчас и днем заплутаешься,— спокойно сказала из темноты женщина.— Я давно тут хожу — никакого порядка нет. Не смóтрите вы! Ни ты, ни тот обломок империи!

— Да какой же тут может быть полный порядок, Дора Семеновна,— махнул фонарем старик.— Помилуйте! Все ведь в море рушится. Вон дорога обвалилась, ходить нельзя. Вчера милиционер был, так объявил — последнее лето, а там запретят тут жить.

— Да уж скорее бы гнали вас отсюда, что ли! Все равно толку нет! — вздохнула женщина и подошла к ограде. Была она высокая, плотная, с пестрой шалью на плечах.

— Здравствуйте,— слегка поклонился ей Зыбин.— Вот пошли, не рассчитали, темнота застала. В первый раз тут — трудная дорога!

— Если правильно идти, то она не трудная,— ответила старуха.— Надо вон оттуда идти, тогда легко. Лучше всего утром сюда приходите или при полной луне, а так, при фонарике-то, что увидишь? Ну, посмотрите, посмотрите.

Она вышла из ограды и оказалась высокой, крепкой, еще не старой брюнеткой с крупным, грубоватым, но красивым лицом, черными, очень правильными бровями и бархатным взглядом. Когда она подняла руку, убирая со лба и висков черные тонкие волосы, блеснул браслет.

— Да уж лучше бы закрывали,— сказала она.— Никому сейчас мы не нужны! Вот до нынешнего лета фотография здесь была — так стекло разбили, фотографию дождем смыло. А решетку с той стороны свалили и вон куда оттащили. Зачем? Кому надо? И жаловаться некому! Ну решетка еще ладно, а вот памятник жалко. Больших денег он стоит! Музейная же вещь! Ее в Эрмитаж бы!

— Запрещено, Дора Семеновна,— вздохнул старик.— Приказ будто такой есть особый — культ будто это!

— Знаю, что культ! Ну смотрите, молодые люди, хорошенько смотрите! А то придете и ничего не увидите — на известку отдадут. Это сейчас просто! Культ. Отец ставил, думал, будет триста лет стоять, а он и двадцать пять лет не простоит! Встал бы покойник, посмотрел на дело рук своих! Вот он тут как раз рядышком лежит. Фамильное место-то!

— Скажите, а вы ее знали? Вот эту девушку? — спросил осторожно Зыбин.

— А как же! Моя ж это кузина Юленька! На два года я ее старше. С детства ее знаю. Мы с ней все эти горы облазили. Тогда тут курзал грузинский стоял с музыкой. Шашлыки и красное вино. А в этом месте скамейки были. Она любила сюда приходиться утром, пока еще народа нет. Вот сядет тут и рисует все в альбом море — она хорошо красками рисовала.

— А как она умерла? — осторожно спросила Лина.

Женщина ответила не сразу. Она сначала немного как будто подумала.

— Смерть пришла, вот и умерла,— ответила она равнодушно и вдруг заговорила часто и резко.— Не от любви! Нет! Это все курортные байки. Рыбак! Маяк! Глупость это! Ничего подобного! Она еще, что такое любовь, как следует и не понимала. Обожала нашего кузена-кадета — и все! А стихи эти, что сейчас на камне, она их в особый альбом списывала. Думала потом ему поднести. Будто она его любит, а он ее нет — она готова за него умереть, а он над ней только смеется. Вот такую любовь себе вообразила. И письма ему такие писала. После смерти ее все их в шкатулке нашли. А умерла обыкновенно. Глупо то есть умерла. От стрептококковой ангины. Лазала по горам и простудилась. А потом эта зараза пристала — и все! В неделю сгорела.

Она плотнее накинула платок на плечи и подошла к ним. Очень

хорошо сохранившаяся сорокапятилетняя женщина с крупным лицом, сочными губами и каким-то большим, спокойным и в то же время глубоким и проникающим взглядом, и от этого взгляда Зыбину стало вдруг не по себе. Ему в голову пришло что-то совершенно сумасшедшее. «Вот она сейчас уйдет, и мы никогда не узнаем, кто она такая и откуда взялась,— остро подумал он, всматриваясь в лиловые тени около ее насурьмленных глаз и в беспощадный разлет бровей.— Придем сюда завтра, и окажется, что никакого тут Михеича нет, то есть, может быть, он и был, но умер сорок лет назад, а склеп стоит забытый и тут яма, кости и памятник». Он думал так и чувствовал, что цепенеет от страха. Вот откуда она взялась? Ведь не было же ее здесь — и вдруг появилась. И старик откуда-то из-под земли вылез и свел их сюда, к этой старухе.

Он посмотрел на Лину. Она не отрываясь смотрела на женщину.

— А знаете, я где-то вас видела,— сказала она вдруг.

— Так и я вас тоже,— охотно ответила женщина и слегка улыбнулась.— На пляже. Мы раз с вами даже вместе купались.— Она протянула руку.— Разрешите представиться, артистка Московской госфилармонии Дора Истомина-Дульская. Может, видели афишу с моим портретом? Всегда месяца два мы гастролируем в этих местах. Нам, кажется, по пути? Пойдемте. Свети нам, Михеич.

«Старый могильщик, старый могильщик, куда же ушел ты, старый могильщик? Зарой меня в землю, старый могильщик, чтоб я уж не видел, мой старый могильщик...» — он бормотал, ворочался с боку на бок, а над ним стоял солдат, тряс его за плечо и повторял: «Вставайте, вставайте! На допрос, на допрос...» Наконец он вскочил. Горел желтый свет — значит, было еще не поздно. Койка Буддо пустовала. Он поднялся, пригладил волосы, выпил воды, оделся и спросил солдата: «Так ведь отбой уж?» «Идем»,— ответил солдат.

И они пошли. У него, наверно, была температура. Идя по коридору, он хватался за стенки, его шатало. Наконец они остановились перед той же знакомой дверью, что и вчера. «Подтянись,— прошипел солдат,— что ты весь расхристанный?»

Дверь отворилась сама. Хрипушин стоял посередине кабинета. Он поглядел на Зыбина и усмехнулся. Видно, тот был в самом деле хорош: растрепанный, расстегнутый, башмаки без шнурков. Потом взял квитанцию, подошел к окну и подмахнул ее. Солдат вышел. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Хрипушин мимоходом. «Спасибо, хорошо»,— ответил Зыбин, усаживаясь на свой стул в углу. Хрипушин тоже прошел к столу, плотно уселся и положил кулаки перед собой. Он был отлично выбрит, выглажен, начищен и подтянут. «Ну а без спасибо можно?» — спросил он. «Можно»,— ответил Зыбин и провел рукой по лицу: кажется, точно жарок, вот и разламывает. Еще не хватало, чтоб здесь разобрало. А как зарос-то! Жаль вот, зеркала нет. «У вас нет зеркала?» — спросил он. И тут произошло что-то совершенно непонятное. Хрипушин вдруг взревел, как бык. Он бахнул кулаком по столу. Из чернильницы взлетели чернила, посыпались карандаши, что-то зазвенело.

— А ну встать! — заревел Хрипушин, вскакивая.— Да я тебя! Встать, вам говорят!

Но Зыбин продолжал сидеть. Теперь он понимал, что его точно лихорадит. Мысль работала очень туго, он даже хорошенько и не осознал, что произошло. Тогда Хрипушин как-то сразу очутился около него (через стол он перепрыгнул, что ли?) и вцепился ему в ворот.

— Вставай, проститутка! — прохрипел он в ухо, раскачивая его и почти душа.— Встать, тебе говорят!.. Зеркало ему! Ты у своей курвы его спроси!

Все это произошло настолько внезапно и нелепо, что Зыбин и верно поднялся. Тогда Хрипушин отпустил его.

— Ах ты,— проговорил он как-то даже горестно.— Ведь совсем обнаглел, вражина! Зеркало ему подавай! Да где ты находишься? Ты что? Ты к своим проституткам пришел, гад, враг, сволочь? Забыл, где ты?

Зыбин молча смотрел на него. «Ну вот и все,— подумал он.— Сейчас он ударит меня, а я дам ему по скуле и вышибу челюсть. И еще поддам ногой в морду, когда он упадет. Сейчас, сейчас! Вот сию секунду!» Он знал, что это точно будет, что после этого сюда ворвется банда будильников, хорошо откормленных ражих жеребцов, его стиснут, свалят на пол и будут топтать, пока не превратят в мешок с костями. Что-что, а это они умеют. Но тут уж ничего не поделаешь, не его на это воля! Жаль только, что следователи сейчас, сказал Буддо, не носят с собой браунинг, а то можно было бы и шутку сыграть, и отделаться безболезненно. Но раз так, то так, и он с улыбкой поглядывал на Хрипушина.

— Но почему же проститутка? — спросил он.— Ведь вы троцкизм мне предъявлять не будете? Так какая же тогда проститутка?

Хрипушин перевел дыхание и разжал кулаки. Он уже что-то понял. То есть он, конечно, ничего не понял, но находился в том высоком взлете гнева, в котором не полагались перерывы. Вот как взревел он с места в карьер, как ухнул кулачищем по столу, так и надо было продолжать: орать, лупить, крушить, материть — словом, сразу превратить человека в кусок дерьма. Тут секунды решают все. Если враг поддался и заговорил, ну хотя бы запротестовал,— он уже все расскажет! Но сейчас что-то удерживало его и от кулаков и от криков, и не какое-то там соображение или понимание, а что-то тонкое и острое, похожее на нюх и чутье. Кроме того, ведь разрешения бить он не имел. Такие разрешения вообще спускаются не всегда и не по всем статьям. Тут так: если зек подписал — ну молодец! Победителей не судят. А будет шум — получай выговор за брак!

Вот так они и стояли и смотрели друг на друга. Хрипушин с бычьей яростью, в которой было, однако, и порядком неуверенности; Зыбин — просто и прямо, потому что это был, вероятно, его последний день — тот итог, к которому пришла вся его путаная и нелепая жизнь.

Ни капли злобы не было у него против этой здоровенной орясины. Он испытывал только что-то вроде ощущения кошмара, страшной нелепости того, что происходит, сна, который он не в силах прервать. «Как хорошо тогда было у моря,— вдруг остро и быстро подумалось ему,— а теперь вот... И кому это нужно? Да никому это не нужно».

Наконец Хрипушин резко повернулся, пошагал за стол и сел. Сел и Зыбин. И оба они разом почувствовали, что не знают, что же делать дальше. Сидели и старались не глядеть друг на друга. И тут вдруг зазвонил аппарат. «Майор Хрипушин слушает!» — крикнул в трубку Хрипушин с облегчением. Его о чем-то спросили. Он ответил, что еще нет, а потом сказал, что да. Тогда ему, видимо, приказали прийти. Он гаркнул «есть» и тут же вызвал какой-то номер (на Зыбина он не смотрел). «Здравствуйте,— сказал он через секунду.— Что вы делаете? Тогда возьмите работу и зайдите в такой-то кабинет». Он опустил трубку и посмотрел на Зыбина.

— Ну вот что,— сказал он нехотя.— Вы много на себя тоже не берите. Вскочил! Здесь и не таких видали! Посидите, подумайте. Писать вам все равно придется.

В дверь постучали.

— Да,— сказал Хрипушин.

И вошел очень молодой светловолосый парень с папкой в руках. У него было совсем мальчишеское пухлое лицо и светлые усики. Он походил на гусара из какого-то историко-революционного фильма.

— Можно? — спросил он, останавливаясь около Зыбина.

— Да, да, проходите, — сказал Хрипушин и встал. — Я сейчас вернусь.

Глава V

Мальчик сел у стола и папку раскрыл. Посидел так немного, полистал ее, что-то выписал себе на лист бумаги, потом поднял на Зыбина тихие глаза и спросил:

— Так что же вы все не сознаетесь? Нехорошо это! — Тон у него был солидный, но вполне дружелюбный.

А Зыбин вдруг начал дрожать. В нем все ходило и дребезжало. Заломило позвоночник. Только сейчас он понял, что такое быть развинченным.

— Да в чем сознаваться, — не то пожаловался, не то огрызнулся он, — ведь ни о чем не спрашивают, только орут!

— А вот не надо быть анонимным, надо все по чести рассказывать, тогда и с вами будут вежливы, — сказал мальчик нравоучительно и вдруг совсем по-иному спросил: — А в чем же вы сознаетесь?

«А ведь это и есть будильник», — вдруг сообразил Зыбин и так развеселился, что даже чуть не рассмеялся. Про будильников ему рассказывал Буддо. Будильники — это курсанты высшей юридической школы НКВД, здесь они отбывают практику. Главное их назначение — сидеть на конвейере. Следствие должно идти непрерывно несколько суток, иначе толку не будет. Следовательно, положим, отсутствовал, отрычал положенные ему часы — а Бог знает, сколько ему уж их там положено, то ли восемь, то ли все двенадцать, — и ушел к жене и детям. Тогда на его место садится будильник и начинает бубнить: «Сознавайтесь, признавайтесь! Когда же вы будете сознаваться? Надо, надо сознаваться! Пишите, пишите, пишите. Вот ручка, вот бумага, садитесь и пишите». Так до утра, до прихода отоспавшегося хозяина кабинета. За это будильнику засчитывается практика. Так будущие юристы, прокуроры и судьи не только познают тонкости советского права, но и готовятся заодно к зачетам. Перед каждым из них лежит учебник или «Вопросы ленинизма».

Перед этим же будильником лежали не книги, а какое-то подшитое дело — видимо, он сдавал следственное делопроизводство.

— Здорово! — сказал Зыбин. — Так вот, оказывается, вы какие!

— То есть как — какие мы? — удивился мальчик.

— Да вот такие будильники! Вам что, лет двадцать исполнилось? А знаете, как вы называетесь по-ученому? Вегилиа. Можете даже записать. Вегилиа, а по-русски конвейер, или бдение, а изобретен он не вами, а в шестнадцатом веке болонским юристом Ипполитом Марсельским. В России же впервые был применен, кажется, в деле Каркозова в шестьдесят четвертом году и дал отличные результаты.

— Да вы что? — ошалело спросил мальчик.

— Да ничего я. Ничего! Правда, делали тогда несколько иначе. Заключенного сажали на высокую скамейку, и двое дядечек толкали его с разных сторон, чтоб он не спал. И вот ученый юрист Ипполит Марсельский пишет: «Я убедился, что это как будто несерьезное испытание, чем-то напоминающее даже детскую игру, оказалось настолько действенным, что его не выдерживали даже самые лютые еретики». Слышите, юноша, лютыми-то они называли нас, подследственных.

— Да вы про что все это? Я не понимаю! — почти в панике воскликнул юноша.

Тихонько вошел Хрипушин, сделал мальчику знак глазами и остановился у двери, слушая.

— Да вот про это самое, — продолжал Зыбин, весь содрогаясь от своей отчаянности, от легкой готовности идти сейчас на все что угодно — на смертельную драку с будильником, во всяком слу-

чае вот наконец-то на него снизошло то, чего так не хватало ему все эти дни,— великая сила 'освобождающего презрения! И сразу же отлетели все страхи и все стало легким. «Так неужели же я в самом деле боялся этих ширмачей?» — Про это самое,— повторил он с наслаждением,— про то, что раньше вас жандармы проделывали с Каракозовым. Знаете вы это имя? Да нет, куда вам знать, там ведь вас не этому учат! Так вот его сажали между двумя такими будильниками, как вы,— только те были не сексоты из студентов, а жандармы,— и они не давали Каракозову спать. Когда он засыпал — толкали. Потом один из них рассказывал: сидит, говорит, он между нами и ногой, сволочь, качает, а мы смотрим — как перестанет качать, так мы его, значит, и толкаем.

— Ну хватит молоть! — строго сказал Хрипушин, проходя и садясь за стол.

Мальчик поднялся, и Хрипушин отпустил его кивком головы, но тот дошел до двери и остановился, слушая.

— Так вот, рассказывает этот будильник, он так прихитрился спать, что спит, сволочь, и во сне все равно ногой качает, так мы его...

— Кончайте,— махнул рукой Хрипушин.

— Так мы его все равно стали толкать через каждые пять минут, качает он или нет. Вот так!

— И заговорил? — спросил Хрипушин.

— Заговорил!

— Так вот и вы тоже заговорите, господин ученый секретарь,— усмехнулся Хрипушин.— И имейте в виду, все до словечка расскажете, до имечка! Потому что вы не в царской охранке, а у советских чекистов. А мы научим вас уважать следствие. Вот так, гражданин хороший! Спасибо, Игорь. Идите.

Будильник вышел, бросив на Зыбина быстрый и, как ему показалось, какой-то смеющийся взгляд. «Хороший мальчик,— подумал Зыбин,— пожалуй, посидит тут несколько месяцев и поймет все. А впрочем, он и сейчас все понимает и сидит. Да, силен черт! Очень силен!» Дребезжанье в нем прошло совсем. Он был сейчас совершенно собран и спокоен. И снова уже с улыбкой посмотрел на Хрипушина — но и тот улыбнулся тоже.

— Все партизаните? — спросил он.— И тут, значит, тоже ведете антисоветскую агитацию? Ничего, ведите, ведите, тут вы что угодно можете говорить, советские люди не из слабых.

Он вынул из папки лист бумаги тетрадного формата, встал и поднес Зыбину.

— Прочтите и распишитесь,— сказал он.

На листке было напечатано, что он, Г. Н. Зыбин, такого-то года рождения, такого-то рода занятий, по имеющимся в распоряжении НКВД Казахской ССР материалам, является достаточно уличенным в том, что он, проникнув в Центральный музей Казахстана, распространял пораженческие слухи, вел антисоветскую агитацию, клеветал на мероприятия партии и правительства, а затем скрыл валютные ценности, принадлежащие государству, и пытался с ними убежать за рубеж. Кроме того, он уличался в том, что вредительски оформлял выставки, пытаясь протащить наряду с портретами героев труда фотографии ныне разоблаченных врагов народа, то есть совершил преступления, предусмотренные статьями пятьдесят восемь пункт один и пятьдесят восемь пункт десять, часть вторая, пятьдесят восемь пункт семь УК РСФСР и указом от 7 августа. Поэтому он, чтоб не скрылся и не помешал следствию, подлежит аресту и обыску. Подписал начальник I оперотдела Белоусов, санкционировал зам прокурора республики по спецделам Дубровский.

— Распишитесь,— повторил Хрипушин, подавая ему ручку.— Пройдите к столу и распишитесь.

Зыбин легко подмахнул бумагу, возвратился на свое место и сел. Сел и Хрипушин. С минуту оба молчали.

— Ну так что ж? — спросил Хрипушин.— Будем признаваться или нет?

— В чем же?

— Да вот в том, о чем здесь написано, по порядку. Как вы, еще будучи студентом, вели разложеческую работу в своем институте — тут нам прислали об этом красивые материалчики,— как вы ввели в заблуждение органы и ушли от ответственности, потом каким образом и с чьей помощью проникли в музей — мы ваших покровителей тоже всех знаем, и о них будет особый разговор,— какую вы вредительскую работу проводили в музее, кто вас в этом поддерживал — так откровенно, откровенно, ничего не тая! Кого вы завербовали, как вы наконец, осмелев, перешли к прямым действиям. Потом про эту историю с валютой. Ну и так до конца.

— Здорово! — сказал Зыбин и рассмеялся. — Богато! Ну и нарисовали же вы мне следственную идиллию! Что же, давайте факты, поговорим!

— Так вот они же! — сказал Хрипушин с непоколебимым, тупым убеждением.— Вы арестованы — факт! Вам предъявлено обвинение — факт! Что же это, с потолка взято, что ли? Или мы берем невиновных? (Зыбин пожал плечами.) Да нет, нет, отвечайте: что мы, по-вашему, берем невиновных? Так? Ага, молчите? Ну вот вам, значит, и первые факты.

— Значит, есть и еще? — спросил Зыбин.

— А фактов про вас сколько угодно,— заверил Хрипушин.— Вот здесь, в столе, три папки фактов.— Он вынул и положил их одну на другую.— А там, в шкафу, еще пять таких же, так что хватит.

— Так вот и предъявите их мне,— сказал Зыбин.

— Да я вам их только что предъявил,— опять-таки, даже, может быть, и неподдельно, удивился Хрипушин.

— Какие же это факты? Это статьи обвинения.

— Экий же вы,— покачал головой Хрипушин и даже улыбнулся в сознании своей непоколебимой правоты,— а в чем же обвиняют вас как не в фактах? Это все, что вы подписали, и есть факты обвинения. Вас же не обвиняют в теракте или в шпионаже, ведь нет? А почему? А потому что таких фактов в распоряжении следствия нет, а есть в его распоряжении совсем иные факты. Вы клеветали на органы НКВД — факт это? Факт! Распространяли антисоветские измышления — опять-таки факт? Факт! Вредительски оформляли музейные выставки — опять факт? И не один даже! Вот на первый раз расскажите следствию об этих фактах. Валютой займемся потом.

Зыбин только пожал плечами и усмехнулся.

— Так, значит, будем вот так друг перед другом и молчать? — спросил Хрипушин.— Ну что ж, давайте, у нас времени хватит.

— Да я жду, когда вы меня спросите о чем-нибудь конкретном.

— Х-х! А я вас, значит, не о конкретном спрашиваю? Ну вот конкретно. Расскажите о своей антисоветской деятельности в музее. Вот как, например, вы вредительски оформляли витрины. Ну вот что смеетесь? Ну вот что, скажите мне на милость, вы сейчас смеетесь, а?

В дверь постучали, и Хрипушин бодро крикнул: «Да, заходите!»

И вошла женщина. Это была высокая, черноволосая, очень молодая и красивая женщина, чем-то похожая на какую-то американскую актрису немого кино. Вошла, остановилась у двери и спросила, улыбаясь:

— Можно к вам?

Таких женщин тогда появилось немало. Наступало то время, когда ни обложки журналов, ни кино, ни курортные рекламы без них обойтись уже не могли.

Это были те самые годы, когда, по самым скромным подсчетам, число заключенных превысило десять миллионов.

Когда впервые в науке о праве появилось понятие «активное следствие», а спецпрокурорам была спущена шифровка — в попытки не верить, жалобы на них не принимать.

Когда по северным лагерям Востока и Запада пронесся ураган массовых бессудных расстрелов. Обреченных набивали в камеру, но их было столько, что иные, не дождавшись легкой смерти, умирали стоя, и трупы тоже стояли.

В эти самые годы особенно пышно расцветали парки культуры, особенно часто запускались фейерверки, особенно много строилось каруселей, аттракционов и танцплощадок. И никогда в стране столько не танцевали и не пели, как в те годы. И никогда витрины не были так прекрасны, цены так тверды, а заработки так легки.

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек,—

пели пионеры, отправляясь в походы. «Каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране»,— гремел оркестр на гуляньях. И многие этому действительно верили. Лозунг «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее» стал государственной истиной, основой, аксиомой нашего существования. Ибо так именно осознавал создаваемую им для нас действительность «самый гуманный человек на земле».

Написав эту строчку, Фадеев застрелился.

Вот в это время и появились такие женщины — чудные и загадочные цветы Запада, у которого мы отняли все — его гуманизм, науку, передовое искусство и литературу, а под конец даже красоту его женщин. Но это были наши красавицы, социалистические, и поэтому все: глаза, прическа, цвет волос, улыбка, походка,— обуславливалось неким жестким каноном допустимости. И костюмы этим женщинам шили соответствующие — неяркие, легкие, коверкотовые (только что японцам продали КВЖД), подчеркивающие рост и плечи, с неясным намеком на грудь. И никаких там декольте, никаких там коротких юбок, никаких тебе открытых коленок и брюк! Такие же женщины сортом попроще водились в машинописных бюро, управлениях делами, секретариатах, парикмахерских, но самые элитные и элегантные осели в крупных главках и наркоматах. Иметь такого секретаря стало делом чести какого-нибудь союзного наркома.

Они восседали на строгих креслах, обшитых черным пухлым дерматином. Перед ними было бюро и столик, заставленный телефонами.

Все у этих красавиц было необычным. Они носили сумочки невероятных фасонов, в этих сумочках лежали пудреницы величиной с плюшку. На них были золотистые, прозрачные насквозь чулки со стрелками, мужественные часы «Зенит» из легированной стали, а самые модные из них водили на поводке злющих собачонок с утробным рычанием, с глазами телескопов и жабыми мордочками. В столовую эти дамы не ходили. Завтрак и чай им приносили уборщицы. Они небрежно поднимали накрахмаленную салфетку, снимали длинными прохладными пальцами бутерброд или пирожок — мгновенье! — и на случайно забредшего колхозника изливался перламутровый свет их ногтей — острых розовых стрел. Посетитель обалдевал и уходил раздавленным («Куда вы лезете, товарищ? Разве не видите — перерыв»), а когда возвращался через час растерянный, извиняющийся за свое существование, неуклюжий от робости: штаны съезжали, ботинки жали,— то уж принимал без споров все, что ему преподносили: и вежливый отказ, и добрый совет обратиться к третьему заместителю

(а тот пошлет к черту!), и даже приказ забирать свои документы и убираться — эти дела рассматриваются не тут! Но были и другие посетители — таинственные, гибко извивающиеся угри или же развязные веселые медведи. Они либо тихо вплывали в кабинет, либо шумно вваливались, бухались в кресла так, что пружины звенели, растягивались, сбрасывались, клали на колени пузатый портфель, и вот что-то вынималось оттуда, разворачивалось и торжественно ставилось на стол. Раздавался восхищенный вскрик, и затем Охраняющая входы начинала петь, как иволга. «Ну зачем же вы, Эрнст Генрихович?.. — пела она. — Ну какой же вы, право, Михаил Потапович, я же вас уже просила. Ведь это же, наверно, стоило вам таких трудов... Ах, такая красота! И сколько же...?»

— Берите, берите, дорогая, — отвечали Эрнсты Генриховичи или же Михаилы Потаповичи. И отодвигали локтем сумочки. — Это ведь все опытные образцы. В производство пустим с конца квартала. Но это будет уже не то...»

— Ах, ну конечно же, это будет уж не то, — заливалась Охраняющая входы.

И тут дверь в кабинет будто как-то сама собой открывалась. Нарком ждал.

Это были ширпотребовские Мэри Мэй и Глории Свенсон... Их было много всяких разновидностей и рангов — от почти всамделишных голливудских звезд с утомленными ртами, от светлых длиннолицых высоких блондинок до просто хорошенких кудрявых девушек, для которых все еще оставалось впереди. Но это, так сказать, были дневные звезды — жены, любовницы или девушки, ищущие пристанища. Существовали и другие, чисто ночные дивы, те вили гнезда в других местах — в мрачных зданиях прокуратуры, в секретных частях, в приемных каких-нибудь чрезвычайных управлений, в закрытых «ящиках», в трибуналах и прокуратурах.

Вот такая ночная валькирия — секретарша или секретарь-машинистка — и залетела сейчас на свет лампы в кабинет следователя Хрипушина.

— Проходите, проходите, пожалуйста, — забеспокоился и завертелся Хрипушин. — Вот сюда, сюда. — Голова его так и дергалась в мелких поклонах.

Женщина, сохраняя все ту же улыбку-перманент, прошла к столу и положила какую-то бумагу.

— А-а, — сказал Хрипушин, — да-да! Но...»

Он огляделся, ища стул, но стула не было. Были стулья, пять или шесть (на последнем и сидел Зыбин), но все они были намертво приторочены друг к другу (на случай какого-нибудь крупного разговора подследственного со следователем).

— Минуточку! — крикнул Хрипушин, и его словно вымело.

Тогда секретарша (а Зыбин уже точно понял, что это не машинистка, а именно секретарша, и Бог еще знает, какого высокого начальника) обернулась и посмотрела на него. Только на секунду! Она тотчас же и отвернулась и стала что-то перебирать на столе. Он ведь был просто зек — так мало ли таких растерянных и нелепых субчиков без шнурков, поясов, в сползающих штанах (в тюрьму ничего металлического не допускалось, поэтому обрезались и пуговицы) приходится ей тут видеть каждую ночь — мало ли! Но тут влетел Хрипушин со стулом и сразу же о чем-то заговорил с ней. Потом она села, и он сел. Он читал то, что она ему принесла, и читал долго, нахмурившись, а потом вдруг поднял голову и удивленно спросил: «А где же?» Не dokonчил, словно подавился словом, схватил настольный блокнот, написал что-то и придвинул к ней.

— Он тут, — ответила она ему и сказала: — Вы идите, а я посижу. — И так как он молчал и по-прежнему смотрел на нее, что-то

выжидая, повторила уже настойчиво: — Идите!

Тогда он встал и быстро вышел.

Секретарша посидела немного, потом подняла голову и снова взглянула на Зыбина. Но теперь это был прямой, открытый, хозяйский взгляд. Только Зыбин уже не видел его.

Он был далеко, далеко.. Опять у моря. Оно уже давно подступало к нему, шумело и билось в висках, пробивалось через зеленый лак стен, лики Сталина и Ежова — а вот сейчас прорвало их мутную плену, забурило, вспенилось и затопило все. Он стоял над ним на уступе скалы в жарком и ясном небе без тени и облачка и что-то кричал вниз.

И снизу, с полосы моря и песка, ему отвечали. И вот тут к нему подбежала Лина и сказала: «Ну вот, еле-еле отбилась от своих. Обещала через минутку возвратиться. Пойдемте скорей. Он все сидит у вас под кроватью?» «Да»,— ответил он, и они пошли, покатались вниз по каменной дорожке. Она держала его за плечо и чему-то все время смеялась. «Чему это вы?» — спросил он ее. «Ничему. А правда хорошо?»

— Правда,— ответил он, вдыхая полной грудью море.

Они шли по песку, размахивая руками, и смеялись. И сейчас он тоже улыбнулся им, молодым и красивым, сидя на краешке своего стула и всматриваясь в них через портреты Ежова и Сталина.

— Слушайте, а чем это повеяло с моря? — спросила она, останавливаясь.— Какой странный запах! Чувствуете?

— Чувствую,— ответил он, вбирая обеими ноздрями соленый терпкий воздух,— это пахнет морем и сохлой рыбой. Видите, сколько тут чаек? Это они ее сюда натащили.

И как раз большая белая птица с черной шапочкой и свинцово-серыми крыльями пролетела прямо над ними.

— У них тут на отмели столовая,— сказал он,— смотрите, как плещутся. А крика-то, крика-то! Словно бельё полощут! Вот от этого так и пахнет.

— Морем и рыбой? — спросила она.

— Морем и рыбой,— ответил он.

— Нет, ну как же тут хорошо! — крикнула она, останавливаясь.— Знаете, не нужно никакого вашего краба, давайте просто побродим по побережью.

Он хотел ей что-то ответить, но тут откуда-то извне, из страны Зазеркалья, из темной глубины другого бытия, где нет ни моря, ни неба, а есть только стол, стулья и портреты на голых стенах, раздался сухой и резкий голос:

— Вы что же? Спать сюда пришли? Зачем же так? Давайте уж не будем.— Секретарша сидела за столом и в упор глядела на него.

В дверь входил Хрипушин.

Глава VI

С этого дня в жизнь Зыбина плотно вошел конвейер. Тот самый бесприорышный метод, который впервые в 1550 году открыл знаменитый юрист Ипполит Марсельский, затем в шестидесятых годах прошлого века как-то раз ловко применили александровские жандармы. Указание о применении таких и подобных таким методов дал Вождь, а идейно обосновали их Верховный прокурор Союза и секретарь ЦК Ежов. Разрабатывали же их скромные практики — народные комиссары внутренних дел республики, следователи управления госбезопасности, профессора философии права, начальники отделов и врачи. Только в то время этих врачей что-то никто не называл еще

«убийцами в белых халатах», но, конечно, это-то от них никуда не ушло.

Целый день с восьми часов утра (в эти часы в кабинете было уже много солнца, старые тополя под окном шумели, как морская пена, в соседнем детском парке всюду заливались птицы и кричала иволга, легкий ветерок гулял по бумагам) с часовым перерывом на обед они — он и следователь — сидели друг против друга и молчали. Но молчать все время было тоже не положено, и вот, раза четыре в день, Хрипушина словно выбрасывали из кресла, он вскакивал, краснел, лиловел, бил кулаком по столу и громко матерился — так, чтобы рядом слышали, — подследственный отвечал ему так же, но тихо — чтобы рядом не слышали. Так они ругались минут двадцать и люто ненавидели в это время друг друга. Потом как по сигналу утомленно смолкали и дальше уже сидели спокойно. Их обоих мучило от этого, но поделаться они ничего не могли — таковы уж были жестокие правила игры, в которую они вступили. Так продолжалось до вечера, а когда окна становились перламутровыми и в парке начинали петь иные, вечерние птицы, повеселевший Хрипушин зажигал на столе лампу и вызывал будильника. «Ну на этот раз смотри, чтоб писал! А то мы иначе поговорим!» — говорил он бодро Зыбину, потом улыбался будильнику и уходил. И эти ночные бдения тоже проходили мирно (а могло быть и иначе, в соседних кабинетах с перерывами орали всю ночь), и хотя Зыбину попадались все разные парни, они, в общем-то, вели себя одинаково. Кроме нескольких вполне безобидных «сознавайтесь, сознавайтесь, когда же вы будете сознаваться?», «давайте не валять дурака, вот бумага — пишите!», — кроме этих совершенно мирных и обязательных рефренов, в никакие иные следственные разговоры эти парни не вступали (зато другие, не следственные вопросы их интересовали очень — правда ли, что наши ученые поймали в тайге дикую бабу? правда ли, что в долине реки Сырдарья зарыта гробница Македонского, а в ней сорок грузовиков золота? как казнят на электрическом стуле? существует ли на самом деле гипноз или это только выдумка? кто такая Мата Хари? что такое Железная Маска? кто такой Азеф?). Правда, некоторые поначалу пытались втолковывать политически неграмотному обывателю Зыбину, почему такие вот, как он, абсолютно нетерпимы в развитом социалистическом обществе, отчего это называется социалистической законностью и что будет лет через пять, когда капитализм останется, может быть, только за океаном (вот тогда и его, Зыбина, выпустят), но уже через пять минут разговор заходил в такой безнадежный тупик, что будильник либо быстро срывался на самую оголтелую газетную демагогию и сердито смолкал, либо признавался, что этот материал они еще не проходили. Правда, один неприятный эпизод все-таки был.

В тот вечер, когда Хрипушин вызвал будильника, пришел худощавый мужчина средних лет, с острым желтым лицом и быстрыми рысчучими глазами. На нем был черный глухой френч и краги. Он вошел без книг, с большим печатным листом телефонов в руках, и, глядя на него, Зыбин подумал, что нет, на будильника этот не похож — вероятно, он следователь, а может быть, даже ночной дежурный по следственной части. Когда Хрипушин вышел (он как-то очень быстро вышел, не произнеся даже свое обычное напутствие), будильник прошел за стол, положил перед собой лист с номерами телефонов, позвонил куда-то и сообщил, что он там-то, потом взглянул на Зыбина и спросил просто:

— Ну, не надоело это вам?

Зыбин сказал, что очень надоело.

— Ну и надо кончать! — ворчливо прикрикнул будильник или следователь. — Вот бумага, вот ручка, садитесь к столу и пишите.

Зыбин сказал, что и рад бы писать, да нечего.

— То есть как это нечего? За что же вы здесь сидите? За подлую антисоветскую деятельность вы здесь сидите! Вот о ней и пишите! Вот перечислите мне, в каких организациях вы состояли! Ну?

Зыбин пожал плечами и перечислил — он состоял в пионерской организации, потом в профсоюзе работников просвещения, в Осоавиахиме.

— Ишь ты, умник! — засмеялся будильник. Он встал, заложил руки в карманы и подошел к Зыбину. — Нет, это все наши организации, а вы про свои расскажите, контрреволюционные. (Зыбин молча пожал плечами.) Ну что вы жметесь? Тут жаться нечего, тут надо говорить! — Он пододвинулся вплотную и навис над ним лицом к лицу. — Ну? Ну, долго, я вас спрашиваю, мы с вами в молчанку будем играть? Да ты не отворачивайся, не отворачивайся! — зарычал он вдруг. — Ты в лицо гляди, когда с тобой говорят, контра проклятая! Что глаза-то прячешь? Когда родную советскую власть японцам продавал, тогда небось не прятал? Тогда прямо смотрел! — Он уперся коленом в колено Зыбина и ощерился, как разозлившийся пес. — А что ты растопырился, как старая блядь? А ну встать! Встать, вам говорят!

— Слушайте, — мирно, терпеливым штатским голосом начал Зыбин, подбирая ноги. — Я вас прошу все-таки...

— Вста-а-ать! Я попрошу! Я тебе так попрошу, гад! — И вдруг, кусив губу, он размахнулся и прямо-таки всадил сапог ему в колено.

Жгучая, огненная боль сразу же сожгла Зыбина всего. Он даже на секунду, вероятно, потерял сознание. Удар пришелся на старый рубец, костную мозоль, такую болезненную, что Зыбин с детства не мог даже опуститься на это колено. С минуту он сидел неподвижно, весь заполненный этой болью, потом собрал дыхание, снял пальцем слезы, наклонился и засучил брюки. Сапог сбил кожу. Рубец налился и стал похож на черную гусеницу. Зыбин давил ее, и потекла кровь. Он вздохнул и покачал головой.

— Да ты мне еще будешь! — заорал будильник, совсем теряя голову, и снова занес ногу. — Вста-ать!

Зыбин послушно поднялся, посмотрел на будильника и вдруг молниеносно схватил его за горло, «за яблочко, за яблочко, за самое яблочко», как кричали в одном историко-революционном фильме. Продержал так секунду, ударил коленом в живот, мотнул, как дохлую соломенную куклу, туда и сюда и, заламывая подбородок, швырнул к двери. Все это в пяток секунд — точно и четко, как на учении ближнего боя. Будильник отлетел к двери, стукнулся о косяк, крикнул и сел на пол.

А Зыбин тоже сел и ладонью обтер кровь. Некоторое время оба они молчали.

— Ах ты, — изумился с пола будильник, хотел что-то крикнуть, но вдруг зашелся и затрясся в мучительном кашле.

— Вы воды выпейте, — посоветовал Зыбин и привстал было за графином.

— Сядь! — рявкнул будильник и, шатаясь, встал с пола.

Зыбин обтер ладонь о брюки и снова наклонился над коленом.

— Вот если вы мне повредили коленную чашечку, — сказал он и вдруг закричал: — Кровь! Кровь течет! Видишь, дегенерат, что ты наделал! Кровь течет! Ах ты поносник несчастный!

Будильник испуганно шикнул, вскочил и уперся в дверь спиной, но ее уже толкали.

Он отступил.

— Что там у тебя такое, капитан? — спросил чей-то густой и спокойный голос, и показался седой красивый старик с белым коком, в военной форме. Он был осанист, представительен и походил на екатерининского вельможу — начальник отдела майор Пуйкан. Зыбин вытянулся в струнку, коленка у него была голая, в крови.

— Да вот, в дурачка задумал играть, — в сердцах ответил следова-

тель, сразу приходя в себя,— припадок его забил! Вызову врача, сразу выздоровеет! Я его в рубашу затаю! Колено у него, видишь ли!..

— Это все тот? — спросил старик, рассматривая Зыбина.

— Да, тот самый! Ученый! Ничего! У меня не попартизанишь! У меня все подохнет, как на собаке! Ничего! Коленка! Ничего!

— Да, слышали, слышали про его подвиги,— многозначительно сказал старик и вышел.

Капитан подождал, пока закрылась дверь, возвратился к столу, сел и спросил:

— А вы знаете, что вам за это будет? (Зыбин молчал.) Опустите штаны. Вот сейчас отсюда в карцер пойдете. («Боже мой,— подумал Зыбин.— Неужели отправят? Вот бы выпался!») Опустите штаны, вам говорят!

— Одним словом, так: если вы меня еще ударите...— сказал Зыбин ласково.

— Ну и ударю,— азартно подхватил следователь,— и сто раз ударю. И морду разобью, ну что ты мне сделаешь? Что? Что? Что?— Однако с места не сдвинулся.

— Плохо будет,— пообещал тихо и серьезно Зыбин.— Очень плохо, я вам устрою репутацию битого! Вас завтра же отсюда палкой погонят! Битого-го!

— Ты, вражья морда, говори, да не заговаривайся! — крикнул следователь.

— Не ори, козел, не глухой! — крикнул Зыбин, и следователь сразу же сник.

— Ну ладно,— пообещал он зловеще.— Завтра я тебе покажу что-то. Да опусти же, опусти брючину,— сказал вдруг он совсем уже другим тоном,— ведь тут женщины ходят, неудобно! Задрался!.. Ученый! Опустил!

И правда, женщина за время этих ночных бдений появлялась в этом кабинете уже несколько раз. Это была все та же секретарша. И каждый раз, когда она заходила, красивая, стройная, подтянутая, сдержанно улыбающаяся, и спрашивала что-нибудь у будильника, Зыбин всегда ловил ее взгляд. Она глядела на него теперь прямо, пристально, не скрываясь. И он смущался, ерзал, уж слишком он сейчас был неказист — грязен, небрит, растерзан — и никак не мог понять, что же такое в этом взгляде: сочувствие? невысказанный вопрос? или просто бабье любопытство — что же ты за зверь такой?

И потом в бессонные ночи, сидя на этом стуле, он думал: «А не встречался ли я с ней где-нибудь в городе?» Но, кажется, нет, не встречался.

Глава VII

Но ни карцера, ни рубашки не последовало. Да и вообще ничего больше не последовало. Утром, как обычно, пришел Хрипушин — свежий, принявший душ, отмякший за ночь,— и капитан ушел, а Хрипушин что-то приговаривал, над чем-то мелко посмеиваясь, снял и повесил на металлический стояк коверкотовый плащ — кто-то недавно верно написал, что коверкот был тогда у органов почти формой,— прошел на свое место, отодвинул кресло, сел, водрузился и быстро спросил:

— Ну, герой, надумал что-нибудь за ночь? Нет, умная у тебя голова, а дураку досталась — так, что ли?

И снова потянулся длинный, мучительный, жаркий, бессмысленный день. Они сидели друг против друга, вяло переругиваясь, мельком переговариваясь, и иногда на пятнадцать — двадцать минут теряли друг друга из виду — один засыпал, а другой делал вид, что пишет или читает.

А вечером появился новый будильник, и на следующую ночь другой, и еще на следующую еще другой — и были они не капитаны, не

дежурные по следственной части, а просто парни лет двадцати, двадцати трех — злые и добродушные, молчаливые и разговорчивые, тупые и вострые.

И так продолжалось еще три ночи.

Бессонница мягко и гибко обволакивала мозг зека. Все становилось недействительным, дурманным — все мягко распалось, расслаивалось, как колода карт, бесшумно рассыпавшаяся по стеклу. Он жил и двигался в каком-то странном пространстве — слегка сдвинутым и скошенном, как в кристалле. Воздух казался густым и синеватым, словно в угарной избе. Все носило привкус сна и доходило через вату. Это и помогало — ничто не поднимало на дыбы, на все было, в общем-то, наплевать. Просто когда Хрипушин с руганью бросался на него, как бы сами собой включались ответные силы: верно, это вставал на дыбы и рычал древний пещерный медведь — инстинкт. Этот зверь понимал, что нельзя, чтоб его тут били. Раз ударят, и еще ударят, и тысячу раз ударят, и совсем забьют. Потому что сейчас это и не удар даже, а вопрос: «А скажи, нельзя ли с тобой вот так?» — и ревел в ответ: «Попробуй!»

А колено болело все больше и больше. Сидеть было трудно, но на вопрос Хрипушина, что у него с ногой, Зыбин просто ответил: зашибся.

— И что это вы все зашибаетесь? — покачал головой Хрипушин и отослал Зыбина с конвойным в санчасть.

В санчасти — белой прохладной камере — горели синие спиртовки, пахло валерьянкой и было тихо и спокойно. Бинтовала Зыбина фельдшерница, еще молодая, но уже безнадежно засохшая маленькая женщина, вся засаженная золотыми мухами. А потом из-за ширмы вышел молодой красавец с длинными волосами на обе стороны. Пальцы у красавца были твердые, холодные, методичные, и вообще он так походил на Станкевича или юного Хомякова, что на вопрос, как же он так зашибся, Зыбин чуть ему не ляпнул правду. Красавец пощупал у него пах, спросил, не больно ли, и сказал:

— Больше сидите или лежите. Я освобожу вас от прогулки.

— Я и так сижу сутками, — ответил Зыбин, но молодой Хомяков ничего, кажется, не понял, а отошел к умывальнику.

Затем Зыбина снова отвели в кабинет Хрипушина, и опять началась та же детская игра.

А игралась она так. (Оба сидят усталые, распаренные, обоим все это до чертиков надоело.)

— Ну когда же мы будем рассказывать? — спрашивал следователь зека.

Зек отвечал:

— О чем же?

— О подлой антисоветской деятельности, — говорит следователь.

— Подлостями не занимаюсь, — отвечает зек.

— Так что ж вы думаете, — скучно и привычно тянет следователь, — мы так ни с того ни с сего забираем советских граждан! Так, что ли? Так у нас не бывает! — Зевает.

— Может быть, — отвечает зек, зевая, — может, так у вас и не бывает, но со мной вышло именно так.

— Так что же вы думаете... — снова привычно и скучно заводит следователь.

Так продолжается еще с час. А потом оба окончательно устают и умолкают. Потом Хрипушин звонит разводящему. Но бывали, впрочем, и неожиданности. Иногда следователь не остережется и пустит в ход любимый аргумент этих мест:

— У нас отсюда не выходят.

Но тут зек быстро спрашивает:

— Так что ж, по-вашему, советский суд уж никого и не оправдывает?

Сразу же создается острейшая тактическая ситуация: ведь не скажешь ни «да», ни «нет». И следователь начинает орать.

— Не смей оскорблять пролетарский суд! — захлебывается он. — Как это никого не выпускают! Кого надо, того выпускают!

А однажды следователь упомянул об огненном мече: «Вас поразила огненный меч!» — и проклятый зек тут же его осек: «Э, вы поосторожнее про этот огненный меч! Вы знаете, у кого он был? Этот огненный-то? У Михаила Архангела! Слышали про союз Михаила Архангела? Ну, союз жандармов с подонками. «Бей жидов, спасай Россию!» Так что вы не больно с мечом-то».

Но было и еще неприятнее.

— Слушайте, перестаньте же наконец орать, — просит зек.

— Это на порядочных не орут, — упоенно гремит следователь.

— И говорите, пожалуйста, вежливо.

— Это с порядочными говорят вежливо, — восторженно закатывается следователь. (Это на него нашел особый стих — хамский и жизнерадостный.)

— И предъявите же мне наконец что-то конкретное или дайте очную ставку.

— Это порядочным дают очную ставку, — грохочет следователь, но тут зек начинает хохотать, а следователь спохватывается и замолкает.

Почему допрос идет такими кругами и так нелепо, Зыбин долго не понимал, объяснил ему все тот же Буддо. Это случилось часа через два после санчасти. Позвонил телефон, Хрипушин послушал, опустил трубку и сказал:

— Ну ладно, иди отдыхай! А потом обязательно будешь рассказывать, тут тебе не милиция!

Ночью после санчасти разболелась по-настоящему, и в камеру Зыбин шел хромя. Пришел, сел на кровать, заголил ногу и стал осматривать колено. И даже через повязку чувствовал его сухой жар. «Ну гад, — подумал он, — ну шантрапа несчастная, не дай мне Бог тебя еще встретить. Я тебе при всех пуцую кровь, паразит! А может, правда заявить: вот, мол, избил следователь». Но тут же отбросил и эту мысль. Если уж начинать, то по-настоящему закатить — голодовку, добиться прокурора, если надо — принять драку (теперь он уже понимал, что во время допросов не убивают, ведь убить — это значит дать скрыться). Так вот, если начинать, то уж идти до самого конца. Очевидно, так и придется. Но стоит ли упреждать события?

Через час вернулся Буддо, увидел его и страшно обрадовался. Они не виделись почти неделю.

— О, да вы совсем молодец! — крикнул он, тиская Зыбина в объятиях. — После столько-то суток... Ну так что все-таки, подмахнули им, что надо? (Зыбин покачал головой.) Как? Неужели так-таки ничего? А как же они вас тогда отпустили? А за колено что держитесь?

— Да вот... — ответил Зыбин и заголил колено.

— Здорово! — покачал головой Буддо. — Ну, с боевым крещением! Вот это уж точно законный синяк — носите его смело, никто не придерется! Чем это он вас? Сапогом, наверно! Это они любят! Вы что же, сказали ему что-нибудь, или это он так, в порядке активности?

— В порядке активности, — буркнул Зыбин и больше ничего объяснять не стал.

Буддо посмотрел на него и тяжело вздохнул.

— Эх, Георгий Николаевич, Георгий Николаевич! — сказал он. — Ведь это же значит, что они за вас как следует принялись! И на конвейер поставили, и вот чем награждают. Плохо ведь дело, батенька, а? Совсем плохо! И чего вы их доводите? Что толку?

— Здравствуйте пожалуйста! Так это я их, оказывается, довожу? — усмехнулся Зыбин.

Буддо неприятно сморщился.

— Эх, оставили бы вы свой глупый гонор, батюшка, и поглядели бы в глаза, так сказать, простой сермяжной правде! Ей-Богу, это не повредило бы! Гонор, норов, «не тронь меня» — это все хорошо, когда имеет хождение. А здесь не тот банк! Тут допрос! И не просто допрос, а активный! А это значит, что когда вас спрашивают — надо отвечать, и отвечать не как-нибудь, а как следует.

— Да что им отвечать? Что? — вскопчил Зыбин. — Ну пусть они спрашивают, я отвечу. Так ведь не спрашивают, а душу мотают: «сознавайтесь, сознавайтесь, сознавайтесь». В чем? В чем, мать вашу так?! Вы скажите, я, может, и сознаюсь! Так не говорят же, сволочи, а душу по капле выдавливают!

— Хм, — усмехнулся Буддо, — а что же, по-вашему, эти сволочи должны вам говорить? Это ваша обязанность им говорить, потому что вы зек. Вот вы, я вижу, батенька, и до сих пор не поняли, что же с вами случилось. А пора бы! Ох, пора бы! Вот вы послушайте меня, я вам расскажу. Наши органы отличаются тремя главными особенностями... Угодно вам не перебивая выслушать — какими?

— Ну, ну, — сказал Зыбин и лег.

— Только тогда действительно не перебивайте. Итак, первая: никаких колебаний у них в отношении арестованного нет. Сомнения, брать вас или нет, у них были, но кончились на день раньше вашего ареста. Теперь все. Теперь вы не только арестованы, но и осуждены — не будьте же ишаком, поймите, что происходит, и тогда все обернется легко и для вас и для следователя! И не фырчите на него, что там фырчат? Не он вас сюда затащил и не он вас отпустит. Его дело собачье — оформил и сдал. Но ведь и оформить-то тоже нелегко. Форм много, и у каждой свой отеночек. Положим, что все, кто тут сидит, контрреволюционеры — это так! Но ведь у агитатора одни родовые признаки, у шпиона другие, у вредителя третьи. Тут все должно сходиться по инструкции — знакомства, высказывания, национальность, с кем пьет, с кем живет, в се, в се!

— Одним словом, — усмехнулся Зыбин, — я не личность, а преступник, определенный заранее, вот как жучок в определителе — такие-то усики, такие-то крылышки, надкрылышки, жевальца. Определили на булавку, так?

— Может, по-вашему, по-ученому, и так, не знаю. Ну а вот насчет преступника вы опять ошибаетесь. Не преступник вы, а человек, и-зо-ли-ру-емый от общества! Ибо — вот это и есть второй принцип — вы, голубчик, человек вредный, сомнительный, не советский.

— А чей же?

— А батюшка вас знает, чей вы, ну, наверно, вот тех господ, что сидят за рубежом да на нас с вами зубы скалят, — Чемберлена, лорда Керзона, господина Форда — акул капитализма.

— А откуда же вы взяли, что я такой?

— Я-то ниоткуда не взял, а они — из всего вашего облика. Из ваших манер: ходите боком, подсмеиваетесь, шуточки-прибауточки какие-то отпускаете. А над чем смеяться-то? Смеяться сейчас не над чем! Время серьезное! Смеются вон в парках на гулянье, а вы небось у себя дома норовите смеяться, за закрытыми дверями! С компанией! Это не полагается — подозрительно! Да и вообще... Вот скажите прямо: вы признаете, что наши вожди — это и есть самая подлинная народная власть? И что никакой иной не только не было, но и не должно быть? Признаете или нет? Но прямо, прямо...

— Давайте устроим голосованье, спросим народ, я-то что?

— Вот демагог! Народ спросим! А он, значит, не народ! Да, да, верно, вы не народ, народ верит своей власти, а вы малOVER, брызга, ходите, подмигиваете и посмеиваетесь. А раз не верите, то и других — не дай Бог еще война — можете совратить. А ведь еще когда-когда было сказано: «Горе тому, кто соблазнит малых сих». Вот! И Вождь эти слова еще с тех самых пор запомнил. Значит, вы че-

ловек опасный. В обществе вас оставлять рискованно — надо изолировать. Ну и изолируют. Через военную прокуратуру в Особое соещение. Справедливо ли это? По классической юриспруденции — нет, а по революционному правосознанию — безусловно. Гуманно ли это? В высшей степени! Ведь цель-то, легко сказать, какая! Счастье будущих поколений!! За нее ничего не жалко!

— Это кому же не жалко? Вам, что ли?

— Не мне! Не мне! Я такой же враг, как и вы! Лучшим умам, совести человечества не жалко! Роллану, Фейхтвангеру, Максиму Горькому, Шоу, Арагону не жалко! Они люди мужественные, их кровью не запугаешь. Что вы усмехнулись?

— Ничего! Оригинально вы говорите!

— Да нет, дорогой, для нас, для старой интеллигенции, это совсем не оригинально. Нам это было обещано давно, только не больно мы в это верили. «Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть». Эту песенку нам еще в девятьсот пятом году пропели! Да и кто пропел-то? Друг Надсона! Поэт-символист Минский! А гениальный писатель пролетариата Горький уже в наши дни добавил: «Если враг не сдастся — его уничтожают». Ну а вы не сдаётесь! Скандалите, синяки вон зарабатываете! Так может себя вести только нераскаившийся враг — и, значит...

— Да нет, я согласен, — засмеялся и махнул рукой Зыбин, — если действительно все может быть сведено к этому, то я согласен.

— А вы сомневаетесь, что все уже давно сведено именно к этому? Зря! Хотя нет, конечно, не зря! В этом и есть ваше вражеское нутро, значит, вы должны быть уничтожены, или, скажем мягче — мы ведь гуманисты, единственные подлинные гуманисты! — изолированы! Хорошо, если вам это понятно, то идем дальше. Какая же тогда, спрашиваете вы, цель допросов? Ну об одной я уже все сказал — канцелярия, делопроизводство. Дело должно иметь абсолютно законченный вид — так, чтобы его можно было показать абсолюту, самой высокой инстанции. Вы видели, что на обложке-то наших дел написано? «Хранить вечно!». О! Вечно! Слово-то какое! Вечно! Это значит — Пушкина забудут, Шекспира, Байрона забудут, всяких там Шелли-мелли забудут, а нас — нет. В нас, врагов, вечно будут тыкать пальцем! Смотрите, дети, вот какие были враги!..

— Да ведь и те сволочи, что нас делали врагами, тоже сдохнут, — взревел наконец Зыбин, — пожалуй, даже и пораньше нас! Гады ползучие!

— Ах, враг, враг — вот о чем он думает, — засмеялся Буддо. — Потомство! Потомство, батенька, — вот кто будет тыкать в нас пальчиком! А «потомство — строгий судья!». Как вы однажды написали о Державине. То есть написал-то это Державин, но вы его сочувственно процитировали. И дельно, дельно процитировали. Да, строгий, строгий судья — потомство! И праведный! Так вот этот строгий праведный судья через эн веков должен взять ваше дело в руки и сказать: «Правильно моего предка закатали! Разве с такими обломками можно было коммунизм построить? Мало им еще давали! Хотели наше счастье украсть, подлецы, мистики, идеалисты!» Ну и мировая буржуазия тоже должна умыться, если им ваша папочка ненароком в руки попадет. Все в ней доказано, подписано — все законные гарантии соблюдены, презумпция невиновности — вот она, с самого начала. Преступник признался под гнетом подавляющих улик! На каждой странице видно высокое следственное и оперативное мастерство. Мы истинные гуманисты, господа хорошие. Самое ценное для нас на земле — человек. Мы так просто не хватаем! Мы людоеды, как выражается великий Горький. Ни одного процента брака! А вот вы можете себе представить, — он оглянулся и понизил голос до суеверного шепота, — вдруг сам товарищ Сталин! захотел посмотреть ваше дело, так сказать, проверить его лично — так как же оно должно

выглядеть, а? Вот ведь в чем дело! — Он вздохнул, помолчал немного и сухо сказал: — Это одна сторона вопроса, но есть и другая.

Буддо встал и прошелся по камере, дверь все время моргала очком, но Буддо на это внимания не обращал. Было видно, что он любит говорить. В своем кругу на профсоюзном собрании он, наверно, был заводилой. Сейчас он заливался, как скрипка.

— А вторая сторона вопроса, мой дражайший, милейший и умнейший Георгий Николаевич, такая: ведь никто лучше вас ваших дел не знает. Вот и открывайте их все до единого. Зачем вашему Хрипушину сужать следствие? Он просто должен вынуть из вас все что есть. Вот он и вынимает. Кто вас поддерживал? Кто вам поддакивал? Кто сам что-то говорил? Давайте, давайте их сюда!

— И дают? — спросил Зыбин. Он сидел на кровати четкий и внимательный. Вся вата ушла, появилась резкая достоверность. И нащупывалось что-то еще, склизкое, хитрое, уходящее из пальцев, но что это — он уловить пока не мог, только чувствовал.

— А вы думаете, нет? Снявши голову, по волосам ведь не плачут? Кто себя закатил на десятку, тот и другого не пожалеет, вот и сдают — причем сразу же, с пылу с жару. Муж жену сдает, сын — мать (обратно бывает реже), а брат брата, друг друга — это уж как общее правило. Вот они и топят на очных ставках друг друга. А когда после им в присутствии следователя дают свидания, так знают, как они тогда обнимаются, как плачут?! Ой Боже мой! Ведь оба погибли, только что вот погибли! Ведь и тот уже воли не увидит! Все! Иногда вся семья сидит в одном коридоре — что ж? Статья пятьдесят восемь, пункт одиннадцать — антисоветская организация. Двое говорили, один слушал и молчал — двое в лагерь, один к Нейману наверх. И вот именно отсюда-то исходит третье. Вот вы спрашиваете, почему следователь вам не предьявляет ничего конкретного, а только додонит: «Говори, говори, рассказывай!» Да потому, дорогой, что вас сюда привел не свят дух, а человек! И человек, вам известный! Больше чем известный: ваш лучший друг и брат, — так как же его ставить под удар? Он как воздух нужен стране — он благороден, надежен, проверен и перепроверен, оперативен и вхож, вхож! Ему бы еще служить и служить — чистить и чистить страну от гадов и предателей, а вы его — раз, и погубили! Шепнули, на свидании скажем, «особый привет такому-то» и поглядели соответственно — ну и все! Люди сейчас на эти штуки оч-чень догадливые! Или из лагеря передали с освобожденным цедулю — и опять все!

— Да-а, да-да! — Зыбин встал и прошелся по камере (зрочок в двери сейчас был телесно-розовый, за ним кто-то стоял). — Да, да, Александр Иванович! Очень вы мне хорошо объяснили! Очень, очень!.. Ну а теперь я прилягу. Голова что-то не того... Мой друг и брат! А брат-то мой — Каин: «„Каин, Каин, где брат твой Авель? ” И отвечает тогда Каин Господу: „Я разве сторож брату моему?..”»

Проснулся он от резкого металлического стука. Стучали ключом об лист железа металлической обшивки двери. Он вскочил. Над ним стоял Буддо и тряс его. Оконце было откинута. За ним стояло лицо коридорного.

— Вот еще раз ляжете, — сказал он, — и пойдете в карцер.

— За что? — спросил Зыбин.

— За нарушение правил распорядка. Вон инструкция на стене — читайте! — И солдат захлопнул оконце.

После этого они оба с минуту молчали.

— Да, — покачал головой Буддо, — доводят до конца! Эх, Георгий Николаевич! И что вы партизаните, что рыпаетесь по-пустому? Для чего — не понимаю!

Зыбин сел на койку и погладил колено.

— Что я рыпаюсь? Ну что ж, пожалуй, я вам объясню,— сказал он задумчиво.— Вот, понимаете, один историк рассказал мне вот какой курьез. После февральской революции он работал в комиссии по разбору дел охранки. Больше всего их, конечно, интересовала агентура. На каждого агента было заведено личное дело. Так вот все папки были набиты чуть не доверху, а в одной ничего не было — так, пустячный листочек, письмо! Некий молодой человек предлагает себя в агенты, плата по усмотрению. И пришло это письмо за день до переворота. Ну что ж? Прочитали члены комиссии, посмеялись, арестовывать не стали — не за что было, одно намеренье, — но пропечатали! И вот потом года два — пока историк не потерял его из виду — ходил этот несчастный студентик с газетой и оправдывался: «Я ведь не провокатор, я ничего не успел, я думал только...» И все смеялись. Тьфу! Лучше бы уж верно посадили! Понимаете?

— Нет, не вполне,— покачал головой Буддо.— Поясните, пожалуйста: вы говорите, письмо было послано за день до... Значит, вы думаете...

— Вот вы уже и сопоставили! Да нет, ровно ничего я не думаю. Не сопоставляйте, пожалуйста! Тут совсем другое. Этот молодой человек дал на себя грязную бумажонку и навек потерял покой. Вот и я — боюсь больше всего потерять покой. Все остальное я так или этак переживу, а тут уже мне верно каюк, карачун! Я совершенно не уверен, выйду ли я отсюда, но если уж выйду, то плюну на все, что я здесь пережил и видел, и забуду их, чертей, на веки вечные, потому что буду жить спокойно, сам по себе, не боясь, что у них в руках осталось что-то такое, что каждую минуту может меня прихлопнуть железкой, как крысу. Ну а если я не выйду... Что ж? «Потомство — строгий судья!» И вот этого-то судью я боюсь по-настоящему! Понимаете?

Буддо ничего не ответил. Он пошел и сел на койку. И Зыбин тоже сел на койку, задумался и задремал. И только он закрыл глаза, как раздался стук.

Он поднял голову. Окошечко было откинута, в нем маячило чье-то лицо. Потом дверь отворилась, и в камеру вошли двое — дежурный и начальник. Зыбин вскочил.

— Предупреждаю: при следующем замечании сразу пойдете в карцер, — не сердясь, ровно сказал начальник. — На пять суток! Второе нарушение за день!

— Но я не спал неделю!

— Этого я не знаю! — строго произнес начальник. — Но здесь днем спать нельзя! Говорите со следователем.

— Вы же знаете: они нас не слушают.

— Ничего я не знаю. Мое дело — инструкция. Вот она. Днем спать нельзя. Пишите прокурору. — И он повернулся к двери.

— Стойте! — подлетел к нему Зыбин. — Я буду писать прокурору, дайте мне бумагу.

— В следующий вторник получите, — сказал ровно начальник.

— Нет сейчас! Сию минуту! — закричал Зыбин. — Я напишу прокурору. Я объявляю голодовку! Я смертельную, безводную объявляю! Слышите?

— Слышу, — с легкой досадой поморщился начальник и повернулся к дежурному. — На пять суток его в карцер, а потом дадите бумагу и карандаш.

Так Зыбин попал в карцер. И так он в первый раз за семь суток заснул на цементном полу.

И море снова пришло к нему.

...Я ведь страшно мудрый тогда был. Я тогда вот какой мудрый был — я думал, посидит он у меня под кроватью, содохнет, и все. Сейчас мне самому непонятно, как я мог пойти на такое. Боль и

страдание я понимал хорошо. Меня в детстве много лупили. Бельевой веревкой до синяков, пока не закапает кровь. Мать у меня была культурнейшая женщина-бестужевка, преподавательница гимназии. Она ходила на всякие там поэз-концерты, зачитывалась Северяниным, Бальмонтом. У нас в гостиной висело «Поле блаженных» Беклина, мне дарили зоологические атласы и Брема («Он обязательно будет зоологом»). И била меня по-страшному. Отец не вмешивался и делал вид, что не замечал. А потом он умер, появился отчим, так тот вообще не велел меня кормить — ведь он был еще культурнее!

— Как же ты жил? — спросила она тихо. И они оба вздрогнули от этого неожиданного «ты».

— Да вот так и жил, представь себе, не так уж плохо. Имел товарищей, писал стихи, конечно, очень плохие стихи, сначала под Есенина, потом под Антокольского, я любил все гремучее, высокое, постоянно сгорал от любви к какой-нибудь однокурснице. Тогда я поступил на литфак, как-то очень легко сдал все экзамены и поступил. Надеялся, что буду стипендию получать. Нет, не дали. Я ж из состоятельной семьи: отчим — профессор, мать — доцент.

— Пил?

— Нет, тогда совсем не пил. Тогда я капли в рот не брал. Пить начал много позже. Уже когда кончал. Ведь тогда время очень смутное, страшное было. Есенинщина, богема, лига самоубийц — да-да, и такая была! Трое парней с нашего фака составили такую лигу. Вешались по жребию — двое успели, третий нет. И знаешь, как вешались? Не вешались, а давились петлей, лежа на койке. А-а! — вдруг удивленно закричал он и остановился. — Вот оно что! Теперь я понял, откуда мне знакомо его лицо. Он же меня допрашивал по делу этих самоубийц. Но это еще до Кравцовой было! Да, да! Да как же он-то меня забыл? Или...

— Это ты про...?

— Ну про него, про него! Он же следовательно, только почему же он не сказал мне сразу?

— Ты знаешь, — она взяла его за плечо, — он вчера мне сделал предложение.

— Что?! — воскликнул он и тоже вцепился ей в плечо. — Он вам?.. Он тебе... Ух, черт!

— Да, вчера, после того как тебя увели отсюда твои соседи.

— Здорово! И что же ты ответила?

— Просила подождать. Сказала, что должна подумать. Подумаю и отвечу. Вот подумала.

— И что же?

— Поблагодарю и извинюсь, скажу, что не смогу.

— Не сможете?

— Нет, не смогу. Я же тебя полюбила! Вот только сейчас поняла, что я тебя люблю! Но только, пожалуйста, не думай, что ты меня разжалобил! Нет, нет! И пожалуй, ты зря мне всю эту пакость начал. Теперь же я все время буду думать об этом! Но есть в тебе что-то такое... Яд какой-то, что ли? Ведь я не из влюбчивых — нет, нет, совсем не так! И на всякую лирику и исповеди не податливая. А вот ты меня влюбил с такой великолепной легкостью, что и сам не заметил. А вот сейчас не знаешь, что же делать со мной.

— Нет, не знаю, — засмеялся он.

— Да ты еще вдобавок и невозможно искренен! Это в тебе особенно ужасно. Хорошо. Завтра придумаем вместе что-нибудь. Пока не думай.

Несколько шагов они прошли молча.

— Слушай, — сказал он вдруг, останавливаясь. — Вот ты сказала, что любишь меня. Я тебя — тоже. Так что ж? Целоваться, обниматься? А мне совершенно не хочется. Не в том я совсем настроении!

Она засмеялась тихонько, обняла его, чмокнула в щеку и сказала: — Да нет, все в порядке. Вот и море. Давай краба!

Краб неделю просидел под кроватью — он сидел все в одном и том же месте, около ножки кровати, и когда кто-нибудь наклонялся над ним, с грозным бессилием выставлял вперед зазубренную клешню. На третий день около усов показалась пена, но когда Зыбин к нему притронулся, он пребольно, до крови заклешил ему палец. Тогда Зыбин ногой задвинул краба к самой стене — вот он там сначала и сидел, а потом лежал. На пятый день его глаза проросли белыми пятнами, но только Зыбин притронулся к нему, как он выбросил вперед все ту же страшную и беспомощную клешню (ох, если бы он умел шипеть!). На панцире тоже появилось что-то вроде плесени. На седьмой день Зыбин утром сказал Лине: «Больше я не могу — вечером я его выпущу». Она ответила: «И я с вами». Они договорились встретиться на набережной около маленькой забегаловки, где вчера они сидели втроем, оттуда его увели соседи, чтоб разрешить какой-то спор в корпусе. Когда она пришла вечером, он уже сидел и ждал ее. Краб был в его шляпе. Уже смеркалось — зажегся маяк, на судах горели зеленые и белые огни. Они пошли. Он сказал:

— Вот уж не думал никогда, что во мне сидит такой скот! Обречь кого-то на медленное и мучительное умирание. Никогда бы не поверил, что способен на такое! Но вот рыб же вынимают из воды, и они засыпают. Тоже задыхаются, конечно, я и подумал, что и краб заснет. Вот скот! И из-за чего? Из-за глупой бабьей прихоти!

— А она очень красивая, эта прихоть? — спросила Лина, подхватывая его под руку.

— Ничего, красивая. Но ты много лучше.

— Господи, — даже остановилась она, — неужели ты способен и это замечать?

— Будь спокойна! Очень способен! Но не в этом же дело! Пусть хоть красасвица, хоть Мэри Пикфорд, голландская королева! Что из этого? Беда, что я скот! И, наверно, права была мать, когда говорила: «Я тебя научу, садиста, гуманизму!» — и хватала веревку. Вот ведь как! — Он засмеялся и покачал головой.

— Вот уж никогда не думала, что тебя можно так назвать.

— Не думала! Нет, называли, лет десять назад только так и называли, а я все думал, что зазря. Ведь меня в зоологи готовили, а какой же зоолог не потрошит лягушек? Но это чепуха, детство, а вот сейчас... Я ведь страшно мудрый был, когда покупал краба. Я ведь вот какой мудрый был — я думал: посидит, заснет, как рыба. А боль я должен был понимать. Знаешь, что такое — веревкой по рукам и ногам?

Он закатал до колен брюки и вошел в воду. Краб лежал в шляпе. Лина светила с берега.

— А ты сойти сюда не хочешь? — спросил он.

— Хочу! Сейчас.

Она быстро скинула через голову платье и оказалась в черном трико.

— Слушай, — сказала она, наклоняясь над шляпой. — Еще бы день, и он был бы готов.

— Да, — сказал он. — Конечно! Но больше я уже не мог. У каждого скотства есть какой-то естественный предел. А я перешел и его. Стой. Опускаю!

Он наклонился и опрокинул шляпу. Волны под светом фонарика были прозрачные, тихие, почти зеленые, а по белому подводному песочку бегали их светлые извилистые тени. Краб упал на спину да так и остался.

— Мертв, — сказала Лина.

— Да,— тяжело согласился он.— Поздно. Еще вчера...

— Смотри, смотри!

Сперва заработали ноги, не все, а одна или две, потом движение вдруг охватило их все. Краб перевернулся, медленно, с трудом поднялся. Встал, отдыхая и отходя. Он стоял большой, корявый, стоял и набирался сил — вода шевелила его усики. И как-то сразу же пропали все белые пятна.

— Будет жить,— сказал Зыбин твердо.

Какая-то мелкая рыбешка приплыла, сверкнула голубой искрой и сгорела в луче фонаря, исчезла.

Тогда краб двинулся. Он пошел тяжело, неуклюже, кряжисто, как танк. Шел и слегка шатался. Прошел немного и остановился.

— Будет жить,— повторил Зыбин.

— Будет.

И тут краб каким-то незаметным боковым, чисто крабьим движением вильнул вбок. Там лежала большая плоская зелено-белая глыба. Он постоял около нее, шевельнул клешнями и сразу исчез. Был только волнистый песок, разноцветная галька да какая-то пустячная тонкая черно-зеленая водоросль моталась туда и сюда. Да свет фонарика над водой и светлые круги на дне, да тени от ряби на песке и скользкая, поросшая синей слизью плита, под которую ушел краб.

— Ну все,— сказал Зыбин.— Пошли!

— Пошли,— сказала она и как-то по-особому, по-женски, не то выжидающе, не то насмешливо повернулась к нему, поглядела на него. Тогда он вдруг подхватил ее и понес на берег. Вынес и осторожно поставил.— Ну так ты все-таки решил, что будешь делать со мной? — спросила Лина и засмеялась. Засмеялся и он. И вдруг схватил ее и стал целовать в запрокинутое лицо, в шею, в подбородок, в мягкую ямку около горла. Поддался какой-то тормоз, прорвалась какая-то пауза, и он опять был самим собой.

Засмеялся он и сейчас, грязный и небритый, лежа на влажном цементном полу под ослепительно белым светом лампы. Свет здесь был такой, что пробивал даже ладони. А стены, покрытые белым лаком, сверкали, как зеркала, так, что через десять минут начинали вставать матовые радуги.

Но он не смотрел на них. Он смотрел куда-то вонне себя. Он знал теперь все. И был спокоен.

— И имейте в виду, что бы там еще вы ни придумывали,— сказал он громко солдату, который заглянул в глазок,— какие бы чертоты штуки вы там еще ни напридумывали, сволочи!.. Не ты, конечно! Не ты! — поскорей успокоил он солдата.— Ты что? Ты такой же заключенный! Мы и выйдем вместе! И еще кое-что им покажем! Ты мне верь, я — везучий! Мы им с тобой обязательно покажем!

Он подмигнул солдату и засмеялся.

(Продолжение следует)

НАТАН ЗЛОТНИКОВ

★

ВОЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ

* * *

Тьма во тьму давно проникла,
Словно черный мотылек,
Прежде нулевого цикла
Этот камень в землю лег.

Легкие не слышим крылья
Мотылька в крошечной мгле
И не чувствуем усилья,
Скрытые от нас в земле.

Этот камень держит своды,
Тяжесть нынешней судьбы,
Как держал в былые годы
Основной венец избы,

Храмы держит и бараки,
Нравы, быт, мою строку,
И не в тягость дни во мраке,
Точно крылья мотыльку.

Вольные странствия. 1946

Сквозь пристальный ветер смотрел я без слез,
А может, их не замечал,
То еле тащился вагон, как обоз,
То с бешеной скоростью мчал.

Кого догонял, от кого удирал
И ночи и дни напролет?
С Урала до Волги и вновь на Урал
Летал мой ковер-самолет.

Везло, или так уж удал был и мал,
Иль сбился у черта прицел?
На крышах и в угольных ящиках спал,
Висел на подножках — а цел.

Разъезды и станции знал назубок,
Там рельсы и провода
Сходились и в тесный сплетались клубок,
Светясь, как ночная вода.

Мазутом и шлаком, угарным дымком
Весь путь был пронизан насквозь,
Где жил я, еще не грустя ни о ком,
Еще не хозяин, не гость.

И что ж? Вольных странствий погасла звезда,
Иль, может быть, рухнула связь
С тем миром, где шумно снуют поезда,
За рельсы трусливо держась?

Пастух

Когда холода одолели,
В предгорье вступили снега,
И месяц в начале недели
На землю упал, как серьга,
Откликнулась гулко удару
Река, затаившая дух,
И вывел в долину отару
Спокойный и старый пастух.
Стоял он, спокойный и старый,
Река клокотала у ног
И двигалась рядом с отарой,
А он различить их не мог.
Висела над самой душою
Гора, поднимаясь в зенит.
Но то, что и вправду большое,
То малого не заслонит.

Вдвоем, в единственном числе

Неразрешимого вопроса
Еще не разрешила проза,
Да и поэзия пока,
Хотя и на подъем легка.

Так что же кружит их по свету,
Что прячет в книгу иль в кассету
На новый лад, что их свело,
Лукавой зависти назло?

Ведь даже и в худую пору
Дела вели их круто в гору
Под улюлюканье и свист;
Их норы кроток, путь их чист.

Покуда есть хоть доля шанса,
Как Дон Кихот и Санчо Панса,
Надежды слабое вино
Они допьют, как суждено.

И жизни испытал недуги,
Не разуверятся друг в друге —
Вдвоем, в единственном числе —
На тощей кляче, на осле.



ГАБРИЕЛА АДАМЕСТЯНУ



ТЕТЯ ВИКА

Рассказ

Румынская писательница Габриела Адамештяну родилась в 1942 году. Уже первый роман ее «Мерный ход дней» (1975) был удостоен двух премий: премии Союза писателей за дебют и премии академии. За ним последовал сборник рассказов «Подари себе день каникул» (1979). Широкую популярность писательнице принес роман «Потерянное утро» (1983) Пьеса по этому роману (в инсценировке режиссера Кэтэлины Бузояну) и сейчас с успехом идет на сцене одного из бухарестских театров.

Весна выдалась холодная, уныло-серая; до конца мая ходили в пальто. Как-то незаметно отцвели во дворах абрикосы, а безлистные ветки долго еще гляделись сухими закоченевшими прутьями. Под дождями, под тяжелым, гнетущим небом хилая зелень пробивалась с трудом.

Примерно в эту пору стала Вика Делькэ чаще звонить племянникам.

— Романица,— басит в трубку тетя Вика,— Романица, как твоя мама?

На площади грохот да еще этот чертов автомат... Но тетя Вика последние тридцать, если не сорок лет, коли соседки, мадам Стэнеску, нет дома, звонит только отсюда.

— Романица,— кричит тетя Вика,— как себя чувствует твоя мама? Еще не выписалась из больницы? Что говорят доктора?

— Не беспокойся, тетя, все в порядке.— отвечает Романица.— Мама еще в больнице, и это к лучшему... Ведь дома ее от работы не удержать... А тут лежит себе — отдыхает...

— А как сынишка, Романица? Как Матей? — кричит тетя Вика.

— Ходит в школу, тетя, ходит в школу,— отвечает Романица, а сама от нетерпения так и пляшет у телефона.

Уж очень неудобно стоит телефон — между ее комнатой и комнатой ее бывшего мужа. Хоть развод уже состоялся и бояться ей нечего, а не хочется доставлять ему удовольствие — ведь жизнь у нее не клеится: и мама в больнице и дел по горло...

— А ко мне-то когда соберетесь, Романица? — в тревоге кричит тетя Вика. Похоже, именно это и интересует ее в первую очередь, но она хитрит и спрашивает не сразу.

— Да-да,— торопливо вздыхает Романица.— Придем, непременно придем, ты ведь знаешь, я всегда... Только не на этой неделе. В ближайшие дни не смогу... Пока не смогу... В четверг — не смогу... дней через десять... нет, раньше никак... И хотела бы, да не смогу, понимаешь? Не смогу. Дел по горло.

Она и всегда-то была нескладехой, всегда витала в облаках, а тут еще потеряла в троллейбусе сумку с покупками и кофту, в гастроне позабыла взять сдачу. Правда, если бы ей несколько лет на-

зад сказали, что она будет так вот бегать с работы в больницу, с рынка в суд, а оттуда в собес и почти ничего не перепутает, почти со всем справится, она бы несказанно удивилась. Удивилась бы, может, пришла в отчаяние, а то, чего доброго, и возгордилась бы.

— Так я жду тебя, детка,— хрипит тетя Вика.

И то сказать, ради кого она всю жизнь билась? Разве не ради сестры и братьев? Не ради племянников? Да если бы муж посмел молвить о них дурное слово, она б ему глаза выцарапала!.. Пока у нее была лавка, разве не им давала она щедрой рукой — берите деньги, берите все, чем богата лавка: бочонки брынзы, колбасы, самые дорогие вина из Дялу-Зорилора, разные деликатесы... Никто из родных не уходил от нее с пустыми руками... Разве не тетя Вика с мужем дали денег на свадьбу сестре, матери Романицы? Мебель для спальни ей купили, хорошую мебель, флорентийского стиля... И строились-то братья на ее деньги. А чего стоило ей дать сестре образование... Как горевала она о брате Никулае, когда тот попал на войну. И когда сидел, сколько передач ему носила, сколько горьких слез пролила... А ведь теперь его к себе не дождешься. И если когда заглянешь к нему, у него один разговор:

— Ну как дела, Вика, еще жива, а? Еще скрипишь? На, возьми сто лей, небось пригодятся...

А если сама к нему не наведаешься, годами его не увидишь... И ведь сколько денег ему ни давала, все промотала сука эта, его жена, уши бы мои не слышала ее фальшивого голоса:

— Бо-о-нжу-ур, Вика.— Вишь как, на французский манер здороваешься, сука.— Бон-жу-ур, Никулае нет дома-а-а.

«Бонжур», так тебя растак, ворчит про себя Вика, когда слышит ее фальшивый голос. И тут же вешает трубку. Эх-хе-хе, даешь — хорош, а нет — привет! Так-то оно на белом свете.

Тащится Вика Делькэ к себе домой, ворчит по дороге. Смолоду была она рослая, грудастая, после тридцати раздалась — идет, так, бывало, полы под ней гудят; а теперь и вовсе разжирела, да к тому же ее скособочило. Вот свернула тетя Вика за угол на улицу Кориолана и еще оттуда завидела ржавую, запыленную ставню их бывшей лавки. Бывшая лавка, комната, выходящая на улицу, превратилась теперь в склад и летнюю кухню: у одной стены — штабелем дрова, у другой — уголь, с одной стороны буфет, дверцы сорваны с петель, горы лука, картошка. Помойное ведро, чтобы не ходить под дождем да по холоду, — отхожее место далеко во дворе. Сгорбилась тетя Вика под тяжестью теплого линялого пальто, холодно, хоть и весна; отправляясь звонить, она повязалась двумя платками и надела зубы. С протезами-то беда, долго не походишь, так жмут, рот от них — сплошная рана. А и без них нельзя — без них Вика шепелявит, не разберешь ни слова. Вот и приходится всегда, как говорить по телефону, надевать зубы.

Все так же холодно, но в воздухе повисла дымка. За ночь город наводнили джинсы с предусмотрительно отогнутыми манжетами — на случай, если сядут после стирки. Джинсы фирмы «Ли Купер» на девушках со стрижкой «сассон». Появились первые столики с горой круглых булочек и шоколадных вафель, а рядом дымок — жарятся на решетке мититеи. В центре и на окраинах тяжело гудят дорожные катки, на оставшихся после землетрясения¹ зияниях, на возникших вдруг провалах и пустырях, окутанных белым облаком пыли, надрываются бульдозеры. Прохожие все еще стоят у почерневшей стены, с тупым испугом вглядываясь в руины. Вот снова мелькают девушки с прической «сассон», в джинсах фирмы «Ли Купер», но Андрей и не смотрит в их сторону: он женат вот уже не-

¹ Речь идет о землетрясении 4 марта 1977 года.

сколько лет, он самый положительный из всех мужчин, которых когда-либо знала его сестра Романица.

— Вчера мне опять звонила тетя Вика.

Они оба с тревогой глянули на осунувшееся лицо — обведенные синяками глаза, свалывшиеся седые волосы. В изголовье — лоток с пронзительно зеленой, цвета ряски, рвотой. Стоит Романице протянуть руку к лотку, как глаза больной наполняются тревогой: лоток — самый нужный ей предмет, а все они словно сговорились ее мучить, то и дело его убирают.

— Не трогай, ты же знаешь, что ее это раздражает,— ворчит Андрей.

Его тоже раздражает сестра — глядите, как озабоченно она сует по реанимации в своих белых парусиновых брюках, а сама нет-нет да и посмотрится в зеркало над раковиной. Лоток принесет, судно притащит и снова — в зеркало, потом в окно, вот и глаза, как всегда, подмазанные. И вся эта ее дурацкая жизнь раздражает Андрея, и что матери из-за нее приходилось мотаться с ребенком в детский сад — теперь вот посмотрим, что она будет без матери-то делать...

— Звонит, потому что чувствует: что-то неладно. Потому что ты не хочешь ей говорить... И ведь логики никакой: ну не скажем мы ей, она ведь все равно рано или поздно поймет. Когда увидит, что мамы все нет да нет, поймет...

Вот шепчу, хотя знаю, что мать уже десять дней без сознания. Только время от времени спрашивает:

— Где мы?

Ни разу не застонала с тех пор, как лежит на этой кровати на колесиках. А рана на животе — алым расколом на зрелом арбузе — так и не закрывается, и сухую кожу шва пятнают черно-желтые бляшки инфильтратов.

— Где мы? — Взгляд устремлен в тебя, глаза с неожиданно длинными темными ресницами кажутся особенно большими на похудевшем лице.

Теперь, когда она больше не таскает тяжелые сумки, не бежит на службу в чулках со спущенными петлями, не кричит в раздражении на детей и даже не знает, где на какой она кровати, взгляд у нее вопрошающий, далекий, загадочный.

— Лучше пусть звонит, чем узнает. Ведь это лучше — оставить ей надежду,— мягко возражает Романица.

Но, видно, для брата это не довод.

Глаза у него зеленоватые, глубокого, но неопределенного цвета, кожа пористая, жирная — лицо зрелого мужчины. Высокий, доброт-но одетый человек, глядит чуть недоверчиво, двигается неторопливо.

— К тому же, если ей сказать, у нее может быть удар...

Теперь она уже спиной к брату хлопочет около матери: взбивает подушку, приподнимает мать, поправляет простыню, берет с тумбочки мазь, чтобы растереть больную.

— И что же ты собираешься делать, если ее парализует? Что ты с ней будешь делать? Возьмешь ее к себе?

— Куда же мне брать? Кто будет за ней ухаживать?

Загорелое лицо Андрея еще больше темнеет. Что за глупые у нее вопросы и почему она задает их у кровати больной? А вдруг мать все-таки слышит? Вдруг она не потеряла сознание?

— И тем не менее придется тебе ее брать,— выпаливает он.

У него распухшие веки, покрасневшие глаза... Сможет ли он чего-нибудь добиться? Работает он отчаянно, ночами, он медлителен, усерден и желчен. Возмущается сослуживцами, которые проводят на работе полдня в болтовне или за кофепитием. Возмущается собственной буржуазной пуританской семьей, выпустившей его в жизнь застенчивым и беспомощным, с пожизненной печатью плохой анке-

ты, дурного происхождения — сиди хоть все ночи напролет, все равно не выдвинешься.

— Отчего же именно мне ее брать? По-моему, надо просто оставить ее в покое, — не унимается его дуреха сестра. Сколько он себя помнит, она всегда выводила его из терпения.

Андрей повернулся к ней спиной, распаковывает свертки, сверточки, вынимает термос.

— Вот тут Нелли на парú приготовила.

Он показывает сестре фрикадельки — надо переменить тему. Есть на свете люди, с которыми, как ни старайся, все равно не договоришься.

Воздух в реанимации спертый, тяжелый. А мать лежит такая прекрасная: это прозрачно-белое лицо, тонкие руки, темные мечтательные глаза — куда подевалась крепкая, энергичная, властная женщина?

— Значит, ты стоишь на своем, — для порядка подытоживает Андрей, освобождая термос из бумаг и пакетов.

С самого детства руки у него были золотые, все-то он умел делать — только дай ему срок: все что угодно починит. Ему бы только время, он во всем разберется, он и ночами работает, по четыре-пять часов спит, а ведь как посмотришь вокруг — мало кто в свое дело так душу вкладывает. Посмотришь вокруг — диву даешься, как это все не провалилось в тартарары.

— Завтра придешь?

Романица вышла его проводить. Постепенно запах реанимации — запах мыла, спирта, запах испражнений — отступает. В этот час коридоры пусты. В ординаторской нянечка — та, у которой расширение вен на ногах, — старательно гладит белье, принесенное из дому. Высокий, нескладный Андрей подходит к ней на цыпочках и всовывает бумажку в десять лей в оттопыренный карман передника. Сегодня субботний вечер — слышится музыкальная заставка к сериалу «Богач-бедняк»; последние ассистенты спускаются к телевизору.

— Нет, теперь через три дня, у меня работа, — помедлив, решительно заявляет он.

Вы только посмотрите на него, думает сестра: как всегда, всю тяжесть перекачивает на меня.

Он ничуть не изменился с детства, когда ревел по вечерам в ванной, боясь, что в глаза попадет мыло.

— Так все же как с документами в дом для престарелых? — не отступает Андрей. — Ведь до осени нам надо отдать туда тетю Вику.

Голос у него хриплый, скучливый. Вот уж сколько лет он мечтает встать на собственные ноги, освободиться от груза своих родственников, устроить дом по вкусу, дать Нелли то, что она заслуживает, иметь возможность спокойно работать по ночам. И вот когда ему показалось, что все на мази, тут-то и начались эти ужасы... Все эти напасти.

— ...последний раз мама сказала: тетя Вика права, что не хочет в дом для престарелых... Все старики с их улицы живут у себя дома, она одна... ей и перед соседями, перед знакомыми стыдно... Все-таки Делькэ были людьми заметными, у них и свой магазинчик...

— Подумаешь, важность — лавка... Да если бы лавку у них не отняли, неизвестно еще, что бы она с ней делала. Ты забываешь, какую Вика сейчас несет околесицу...

Романица прекрасно помнит их лавку, и прилавок, под которым играла, и как чуть заметно покачивались весы. И тот вечер, когда ей дали большой пузатый мешок с зелеными купюрами.

— Можешь играть сколько душе угодно, — сказал дядя Делькэ. — Теперь все, инфляция кончилась...

Мужчины шептались в углу, а тетя Вика причесывалась перед зеркалом: рядом с высокой фаянсовой кружкой, белой, в большие

красные цветы, отражалось в зеркале ее свежее лицо, греческий нос, черные вьющиеся волосы — кто бы мог тогда подумать, что их придется красить...

— Ты ведь не знаешь, как выглядят такие заведения... Ты и не представляешь, какие они жалкие... Она права, что слышать не хочет о доме для престарелых...

— Скажи...— хрипло произносит Андрей. Он судорожно ощупывает карманы — куда запропастились сигареты? — Скажи, ты можешь взять ее к себе?

— Ты же знаешь, что мне некуда... Знаешь, что пока...

— Тогда зачем все эти бесполезные разговоры? Ты что, не понимаешь, какую взваливаешь на себя ответственность?

— Да какая же ответственность?

— А такая, что если с ней что-нибудь случится — парализует ее или еще что,— ты возьмешь ее к себе и будешь за ней ухаживать... Вот и все — что ты пожимаешь плечами? Что было бы с дядей Делькэ, если бы он не умер за одну неделю? Это, понимаешь ли, легче всего — корчить из себя сердобольную, говорить, что жалко отдавать тетку в дом для престарелых... А ответственности никакой на себя не брать...

—...Он говорит, что я должна взять на себя ответственность, раз не хочу отправлять ее в дом для престарелых...

Лето разразилось как-то вдруг, тропическая жара, потом ливни прорвали гнетущее небо. Прекратились дожди — и снова зной, точно лихорадка, охватил обессиленное тело. Пестрая крикливая толпа лишаем пятнает залитые солнцем улицы.

Они жались в тени, на задворках, поближе к гаражу, чтобы спастись от зноя и от людских глаз; долгие годы они невольно искали тень, опасаясь ярко освещенных улиц, встречались в чужих квартирах.

— Ну как же ты-то можешь взять на себя... И хотела бы, да не сможешь...

В его голосе вежливое сочувствие и скука. Наверное, сказывается жара, давка в трамвае, усталость — за восемь рабочих часов он сумел проявить рвение, не позабыл и о своих делах. Или, может, ему надоело приходить сюда ежедневно, поддерживать ее и прогуливаться по тротуару перед больницей, засунув в карман тергалового пиджака — слишком теплого по такой жаре, чересчур поношенного, если смотреть на него при ярком свете,— две прочитанные и свернутые трубкой газеты.

— По-моему, это просто позор — запикивать ее в дом для престарелых... Если бы ты знал, какая она была веселая и щедрая! Она на восемь лет старше мамы.

Снова начались эти семейные истории, как это все скучно, но нельзя подавать виду, он никогда не подает виду, если ему что-то не нравится. Он смотрит на нее внимательно, он ведь так хорошо, даже слишком хорошо знает каждую ее черточку. И все ее тело знает до мельчайших подробностей — когда-то она была очень тоненькая, впрочем, и сейчас толстой ее не назовешь. А как одета: точно студентка, точно всего года два назад приехала из провинции. И волосы все так же подстрижены — под мальчишку — или завязаны сзади шнурком. Только что-то уж слишком много стало седых волос на висках и на макушке.

— Когда объявили в августе девятьсот шестнадцатого года всеобщую мобилизацию и дедушка ушел на фронт, а бабушка умерла от тифа, тетя Вика вырастила брата и сестру — маму и дядю Никулае.

Сегодня она как-то особенно взбудоражена. И на мгновение он смешался, с тоской подумав, что придется кривить душой, к ней подстраиваться. Но тут же взял себя в руки; не впервой, пора при-

выкнуть к своему неестественному голосу, к не свойственным ему реакциям. Ведь он немало потрудился, чтобы преодолеть свою импульсивность, выглядеть натурой скрытной и сложной, и втайне гордился, полагая, что ему это удалось.

— А у этой твоей тетушки нет мужа? Она не была замужем, или с ее мужем что-то случилось? — спрашивает он, чувствуя, что пора ему вставить слово.

— Так ведь ты знаешь, что дядя Делькэ умер после землетрясения, — с упреком произнесла Романица.

С каким-то даже шутивым упреком: мол, что ж это ты, ведь я изо дня в день рассказываю тебе каждый свой шаг, а ты все никак не войдешь в курс дела? Разве я не звонила тебе, когда вызвала врача? Я ведь тогда за консультацию сто лей заплатила; врач сказал: если больной проживет неделю, будет жить; так и получилось: дядя Делькэ умер на четвертый день вечером. А в крематорий я не пошла, потому что в тот день мы с тобой встречались, — не может быть, чтоб ты не помнил...

— Дядю Делькэ парализовало после землетрясения... От страха... Впрочем, рано или поздно это должно было случиться: ему было семьдесят девять лет, а весил он сто двадцать килограмм...

Он вежливо и восхищенно присвистнул.

— Бедная тетя Вика, она тоже старенькая, и подумать только, ей пришлось переворачивать его, менять белье...

Она замолчала на полуслове и глянула на улицу, по которой неслись разноцветные машины. Не надо оскорблять стыдливость друга, она так хорошо понимает его, он очень похож на ее брата Андрея. Только много мягче, добрее, ведь за столько лет они ни разу не поссорились... Кажется, он ни разу даже не возразил ей; нет, пожалуй, иной раз он над ней посмеивается, словно она ему чужая. И это, сказать по правде, ее раздражает, но она старается быть справедливой и строго-настрого запрещает себе обращать внимание на всякие пустяки.

— Просто ужасно, как с некоторых пор начинает сдавать память, — говорит он и подносит свою слишком тонкую руку ко лбу.

В солнечном свете лицо его кажется размякшим, седые волосы рыжевато поблескивают на подбородке. Но движения у него мальчишеские — неуверенные, беспоконные.

— Дядя Делькэ всю жизнь изображал из себя просвещенного атеиста, хотя окончил всего четыре класса начальной школы... На двоих у них с тетей была одна маленькая пенсия, и все же им удалось кое-что отложить на книжку... И так как его сожгли в крематории, все их сбережения остались тете Вике. Теперь, когда кому-нибудь из семьи бывают нужны деньги, все бегут к ней...

— Сколько же у них... примерно?

— Да ну, семь тысяч... А ты что думал? — поспешно добавляет она, видя, как забавно он скривился. — Когда на двоих шестьсот пятьдесят лей пенсии, для них это... Да и для меня...

— Всего-навсего семь тысяч? — произносит он. — Когда говорят о сбережениях...

Он весело смотрит на нее и делает вид, что ласкает, поглаживая двумя пальцами по плечу. Они знакомы уже целую вечность, и хоть она по-прежнему выглядит провинциальной студенткой — чуть небрежной, почти убогой, — теперь она уже, что называется, женщина средних лет. Как можно настолько витать в облаках, думает он, продолжая поглаживать ее плечо двумя пальцами. Он думал то же самое, когда видел, как месяц за месяцем она отдаёт работе, за которую в конце концов не получает на руки и трех сотен...

— Ты не понял, — живо возражает она. — Его сожгли не потому, что захотели сэкономить на священнике, а потому, что он сам отказался от церковной панихиды...

Но она уверена, что он все понял. Ведь ты все видишь не хуже меня, не раз мысленно обращается она к нему, когда приходится дежурить в реанимации. Смешанный запах мочи, спирта, испражнений, хлороформа; кровати разделены клеенчатыми занавесями, над кроватями черные таблицы — имя, возраст, характер операции. Кафель стены испятнан рвотой. Ведь ты все видишь не хуже меня. Эти скорбные глаза, тонкие губы, покрытые оранжевой коркой, нити клейкой слюны тянутся из полуоткрытого рта, а голос хриплый, безличный:

— Где мы?

Да разве бы Романица могла все это выдержать, если б не знала, что он все понимает даже без ее рассказов, даже без слов? Чувство такое, будто она все плывет и плывет под водой десятки километров и дышит только через соломинку.

— Его потому и сожгли в крематории, а не ради экономии...

— Но если остались деньги, никто не в обиде... Наоборот, — смеется он. Эдаким тоненьким, ласковым ржанием. — Да, теперь я вспомнил, что ты рассказывала о тете и дяде — жили они не очень ладно, часто ссорились, и когда он умер, твоя мама сказала: вот теперь-то наконец сестра заживет спокойно, — зачастил он, все больше оживляясь.

— Только все было сложнее, — говорит она.

А сама смотрит на очередь, выстроившуюся перед мясным магазином, остается целый час до открытия, и еще через час придет машина с мясом. Поэтому женщины и пенсионеры расположились здесь основательно. Иные даже принесли из дому стулья.

— Сложнее, — говорит она, — потому что, когда он умер, ее уже ничто не радовало. Она даже шить перестала, целыми днями только сидела, сложа руки, и смотрела в пустоту.

Сложнее, все на свете сложнее, вот и Романица теперь смотрит в пустоту, а нет-нет да и бросит исподтишка на него жадный взгляд: как двигаются его тонкие, будто и не мужские руки, как по-детски легкомысленно он смеется. Да, сложнее; ее вдруг охватывает восторженное возбуждение, и она почти понимает, как можно покориться судьбе и зависеть от человека, даже если тебе не нравится, что он слишком низко кланяется начальнику и дарит ему в день рождения бутылку виски «Джонни Уокер», даже если тебя коробят его банальные шутки и то, как другие прохаживаются на его счет, не нравятся его отяжелевшая с некоторых пор фигура — мягкое брюшко, стянутое рубашкой, зад, расплывшийся на сиденье стула... Даже если, сама не зная почему, особенно в жаркий полдень, при раскаленном добела свете, когда все люди спешат и в автобусах теснота, ты чувствуешь полное изнеможение и тебе уже не нужно ничего... Этот слепящий свет, и жара, и тебе все обрыдло...

Но иногда бывает, ты с таким нетерпением высматриваешь его из окна реанимации. А потом бегом сбегашь по лестнице, сжав кулаки в карманах белого халата, стиснув зубы; нет, мысленно говоришь ты осунувшемуся лицу с провалившимися глазами, в обрамлении свалявшихся от долгого лежания волос, нет, говоришь ты охрипшему голосу, пересекая четыре потока разноцветных мчащихся машин, нет, теперь я целый час не буду думать о б э т о м.

— Нет, — говорит она, запыхавшись, — нет, я не хотела опаздывать.

В глазах у нее признательность и почти веселый блеск.

— Ну полно, — нетерпеливо отмахивается он и с тоскою смотрит на тяжело ползущие к остановке трамваи, на подножках которых гроздьями висят люди. — Ну полно, — говорит он, — только-то и всего? Ведь мы с тобой раз и навсегда уговаривались: ты там занимаешься

своими делами и если можешь — спускаешься, а нет — так нет... Я и час подожду... Никак не удастся найти блат в милиции.

Фраза вырывается будто сама собой, он столько времени ждал подходящего момента, но момент так и не подвернулся, вот он и брякнул.

— Когда ты сдаешь экзамен? — спрашивает она и в своем озбоченном голосе слышит фальшивую ноту.

— В субботу. Так что завтра и послезавтра я не смогу прийти, — торопливо добавляет он. — Буду упражняться в движении с места на склоне.

Его вдруг охватывает нетерпение, и он поспешно смотрит на часы.

— Ну, кажется, пора. — И он тихонько подталкивает ее плечом, давая понять, что ей пора идти.

О нет, только не туда, ну хоть еще немного, совсем немного, чуть не взмолилась она; а сама идет впереди, спотыкаясь обо все неровности асфальта.

Открытые двери дома обдают знакомым запахом жареного лука и сырости.

— Здесь на четвертом этаже живет Опришан...

Память у нее хорошая, да и каждое его слово она впитывает, поэтому ей известно, кто такой Опришан: знакомство с Опришаном он годами поддерживает — влиятельный сановник, которому долго не везло с женитьбой, все попадались девушки с плохими анкетами. Но вот наконец-то подвернулась подходящая, и он женился и живет в трехкомнатной квартире как раз в этом доме, вдоль которого она плетется, огибая переполненные помойные баки.

— Значит, он порядочный человек, раз не отхватил себе квартиру ближе к центру, — говорит Романица с наигранным воодушевлением.

Но она не хочет слушать свой голос, не хочет обо всем этом думать. Она давным-давно совершенно автоматически отвечает ему именно то, что он ждет от нее услышать. Но по своей неловкости и лени делает это неумело: голос-то все равно звучит фальшиво.

И вдруг она останавливается и протягивает руку — будто собирается до него дотронуться.

— О, понимаешь, понимаешь? Мне так страшно возвращаться, — говорит она жалобно. — Я боюсь, не случилось ли чего в мое отсутствие.

— Бедняжка, — произносит он рассеянно и сочувственно. — Что же может измениться за час?

Потом испуганно оглядывается и торопливо гладит ее по голове.

— Бедняжка... надо же — такие несчастья... А у меня, как назло, экзамен на права, — говорит он, и голос у него рассеянно-виноватый.

Он снова испуганно оглядывается, привлекает ее к себе и поспешно целует, целует, укусив ей губы и прижав ее к стенке; непонятно, зачем ему это на ослепительно ярком свету, — вызывает ли он к ее чувственности или просто решил закончить свидание по всем правилам.

— Ты узнаешь это место? — спрашивает она.

Спрашивает мечтательно и заговорщически. Никогда бы она не стала его спрашивать, если б не пришла в такое отчаянье при мысли, что надо снова туда возвращаться. Поговорим еще хоть пять минут, слышится в ее голосе, поговорим о том, как мы, бывало, встречались здесь, хоть немного еще поговорим — об этом, все равно о чем, поговорим еще немножко, хоть минут пять, хоть четыре минуты или даже хотя бы три. Но он замолчал, она чинно идет рядом, провожает его до трамвайной остановки.

— Ну конечно, — торопливо произносит он, — как не помнить.

Как не помнить! Она так любит вспоминать об этом, что он автоматически отвечает ее словами.

— Да,— декламирует он,— оттуда было видно ярко-желтое поле сурепки и озеро и на озере лодки и рыбаки...

Он внезапно замолкает и бежит к трамваю...

— Так до субботы!.. В то же время! — кричит он уже с подножки.

Теперь надо вернуться туда, и вот она в нетерпении ждет у перехода, сжав кулаки в карманах халата и переминаясь с ноги на ногу. Раскаленный пыльный воздух спален светом, полон скрежета тормозов и звона трамваев. Она бежит сквозь этот шум, с трудом отрывая сандалии, увязающие в мягком, как пластилин, асфальте. Оглядывается по сторонам, хмурится — с ними со всеми ничего, ничего не случается, они стоят в очередях, возвращаются с работы, везут в колясках младенцев, тащат детей за руку... С ними не случается ничего неожиданного и страшного, на них покоится равновесие мира. Ни с кем ничего не случается, так почему же с ней, почему со мною?.. Почему именно с ее матерью? — ведь ей в день операции исполнилось шестьдесят лет, и за всю жизнь она болела всего два раза гриппом. Романица бежит, лавируя среди машин, хмуро, сердито озираясь по сторонам. Почему именно с ее матерью? У мамы всего лишь одно нарядное платье, деньги на него она взяла в кассе взаимопомощи перед женитьбой Андрея, и синий костюм — его она оставила в гардеробе больницы. Выйду я отсюда или нет? Она больше размышляла про себя, чем спрашивала, говорили-то шепотом, чтобы не услышали дети, ожидавшие ее в конце коридора. А потом поднялась по лестнице решительным шагом — в мужестве ей не откажешь. Лицо у нее было строгое, суровое...

Романица пересекает улицу и идет к воротам больницы, проходит мимо пропускной будки. Вахтер — коричневая суконная фуражка на вспотевшем лбу съехала набок — поглощает разложенные на мокрой газете большие куски помидора и огурца, заедая их ливерной колбасой. Тут же вечно голодная бездомная собака — ребра торчат, язык от жары высунут, — по ночам она бродит у морга. Ох нет, ох нет, лучше не думать об этом. Но о чем же, о чем ей подумать?

— Хочешь посмотреть, как выглядит сверху наше поле сурепки и озеро с рыбаками и лодками?

Он волновался и говорил поспешно, глотая слова. Накинул ей на плечи полотенце и подвел ее к окошку: да, внизу и впрямь видно озеро, вон и рыбаки застыли с удочками, и ослепительно желтое поле сурепки. А здесь, на последнем этаже, никому их не видно; можно стоять вот так, не одеваясь, и любоваться озером...

И снова прохладные молчаливые коридоры с удаляющейся одинокой фигурой в белом халате. И назойливый запах реанимации. Нет, еще не сейчас, я не буду думать об этом.

Он, как всегда, отправил ее вперед, и она шла одна в слепящем белом свете дня. И озеро вблизи было просто гигантской ямой с мутной, застоявшейся водой, края ямы, запакощенные, замусоренные, пересечены в разных направлениях дорожками, заросли белладонной. А сурепка пропитана пылью от бетономешалки. Кучи мусора, бездомные собаки из снесенных домов, огромное, раскаленное небо и на нем когти экскаватора. Новые дома возникали с такой быстротой, что она всякий раз, приходя туда, плутала полчаса — из тех драгоценных трех, что они могли провести вместе. Вот и теперь — сколько ни глядела она из окна реанимации, а никак не могла узнать то здание, где они встречались в былые времена, откуда было видно поле сурепки на берегу озера, где неподвижно сидели рыбаки. Зато как хорошо знакомы ей дверь реанимации, прохладные коридоры, запах спирта, хлороформа, кровати, разделенные клеенчатыми занавесками...

— Что вам здесь надо? Кого вы ищете?

Тетя Вика! На табурете у самой кровати больной. В своем парадном платье, сшитом еще до войны, — темно-синего натурального шелка в белый горошек. Под мышками оно, правда, малость посекалось, но это не видно.

— Зачем ты пришла? Ведь я сказала тебе: сиди дома.

— Ну-ну, дорогая Романица! — У окна на табуретках — госпожа Стэнеску и господин Попеску. Соседи тети Вики. — Ну-ну, дорогая, как же ей не повидаться с сестрой? Она имеет право.

Мадам Стэнеску — высокая, худая, с длинным угреватым носом. Мадам Стэнеску растит внука. По утрам сын мадам Стэнеску привозит его на машине, а вечером забирает. Внук боится мадам Стэнеску. И с невесткой она не ладит.

— Когда мы пьем у меня кофе, только и разговору — мол, опять звонила детям и опять не дозвонилась. Убивается она, говорит: ничего не знаю о сестре... Мы и апельсины принесли.

— Я господину Попеску десять лей дала, — вставляет тетя Вика.

Капельки пота высыпали у нее на лбу и на подбородке; она обмахивается картонкой, на которую нянечка сметает мусор, и радуется, как ребенок, удавшейся проделке. Волосы — наполовину седые, наполовину рыжие (с тех пор как умер дядя Дельчук, она перестала краситься) — собраны на макушке в крошечный пучок.

— Я дала господину Попеску десять лей, и он привез нас сюда. Узнал, что сегодня приемный день... Вахтер нашел фамилию в списке больных, позвонил по телефону, мы поднялись по лестнице и попали сюда. Мы принесли апельсины.

— Мадам Вика так волновалась, без конца звонила по телефону, — вступает господин Попеску. — Звоню детям, говорит, а дети меня обманывают, один говорит одно, другая — другое, а я не сплю, даже карбамзин не помогает, как подумую, что она мается, — не могу спать.. Всю ночь мучаюсь — я ведь ничего не знаю о сестре, все племянников спрашиваю: вы-то ко мне не собираетесь? Ведь больше двух месяцев ни один не переступил моего порога.. Ладно, говорю, хорошо хоть я знаю, где эта больница, на каком трамвае ехать...

Господин Попеску — парикмахер; ходит по домам — кого пострижет, кого побреет, в свои семьдесят семь лет все еще помаленьку зарабатывает. Привел к себе женщину, тоже вдову, той шестьдесят пять было, но прожил с ней всего три месяца: не понравилось, как готовит; а может, еще что не понравилось, только он велел ей уходить. Росточку он маленького, под носом седые колючие усики; сидит неподвижно на стуле, расставив ноги, морщинистыми руками на колени опирается.

— Апельсины ей нельзя, так что придется вам взять их назад.. Возьми их и съешь сама, у тебя ведь нет денег на апельсины, — раздраженно говорит Романица.

— Я апельсины не ем..

— Не ешь, потому что не хватает денег, а раз все равно купила.. В общем, ешь или не ешь — бери их назад, здесь они только сгниют..

И вовсе ее не жаль — сидит здесь в своем темно-синем шелковом платье, прилипшем на груди и на спине; а под мышками не вспотела, всю жизнь она присыпает под мышками содой. Белые ноги расставила — жарко.. Ты ссоришься из-за нее с братом, пытаешься ее защитить, а она тут со своими ханжескими словесами, и ей хоть бы что! Сидит себе преспокойно на стуле, ноги расставила, взмокла, смотрит на кровать, на эти провалившиеся глаза, на седые всклокоченные волосы, смотрит и молчит — ей хоть бы что.

И эти двое явились — мадам Стэнеску со своим длинным угреватым носом и господин Попеску с седыми колючими усами, — смотрят на кровать испуганно и жадно.

С тех пор как мать положили на эту кровать с колесиками, она не может сама переворачиваться и не сводит подозрительного взгляда с трубки, из которой капает жидкость. Месяц назад ей делали вливание и залили постель, может, и сейчас она смутно об этом помнит.

Смотрит на трубку с подозрением.

— Напрасно вы взяли на себя эту ответственность. — Романица глянула в окно, потом в зеркало и вылила жидкость из лотка в умывальник. — Тете могло сделаться плохо в дороге. Или здесь, когда поднималась. Напрасно вы ее привели... И вообще, с минуты на минуту может войти профессор... Здесь не салон, сюда не приходят в гости. Здесь реанимация.

А троица по-прежнему сидит, уставившись на кровать.

— Вахтер посмотрел на список и послал нас сюда, — заводит своим кислым голосом мадам Стэнеску.

— Иди, тетя Вика, иди, пора, мы еще поговорим с тобой по телефону. — Она дотрагивается ладонью до толстого плеча, проводит по круглой спине, подталкивая тетю Вику к выходу.

И тетя Вика тяжело поднимается — сбита с толку, растерянная, послушная. Лицо красное от волнения и от румян, время от времени она вытаскивает большой клетчатый платок и вытирает пот. Идет нерешительно. Романица чуть подталкивает ее в спину; у кровати тетя Вика замирает.

Останавливается.

Мадам Стэнеску с господином Попеску жадно смотрят на тетю Вику: будет ли она прощаться с сестрой? Вдруг проснулся комар и запищал тонко, пронзительно.

Тетя Вика нагнулась, взяла худую руку с посиневшими ногтями и поднесла ее к губам.

— Я что — священник, ты мне руку целуешь?

От хриплого, враждебного голоса тетя Вика на мгновение пришла в замешательство. И, не оборачиваясь, сгорбившись, поплелась к двери.

Романица закрывает за ними дверь. Она мечтательно смотрит в окно на тротуар напротив, где через два дня должен снова появиться он с двумя скрученными в трубку газетами, читанными-перечитанными. Там построили теперь новые дома, а еще пять-шесть лет назад было грязное поле, заросшее пронзительно желтой сурепкой.

Когда она снова переводит глаза на кровать, взгляд ее становится сердитым: из-под одеяла, топорщащегося на ногах больной, выглядывает пакет апельсинов.

Город раскален, как сушильный шкаф, белый, испепеленный солнцем воздух, отпечатки каблучков на мягком, точно шербет, асфальте. Небо — безнадежно голубое. Удушливая атмосфера с самого утра, с восьми часов все ходят взмокшие, расслабленные; вот дети и придумали устроить поминки ближе к вечеру, когда станет попрохладнее, — все же, что ни говори, шесть недель со дня смерти, тут уж никуда не денешься, соберется вся семья.

День не приходился на пост, все были в добром здравии, почти никто еще не уехал в отпуск. Тем не менее пришли не все, и как раз это и обсуждалось вначале: почему не пришли? Андрей разливал вино, Романица раскладывала еду и разносила гостям тарелки.

— А Вике-то дала? — спрашивали все наперебой.

В первый раз за много лет Вика оказалась в центре внимания. В случаях более важных ее и не приглашали — к чему ее напоказ выставлять? Но сегодня Романица, разнося тарелки, только и слышала шепот: «Вика, Вика».

— ...на похоронах мне так ее было жалко, едва тащится и все плачет, плачет... Мол, мне, а не тебе надо бы умереть, я ведь старше...

— Возьми еще ветчины, тетя Вика, еще салату. Ну, положить? Говори, а то некогда, видишь, сколько народу!

Поминки получились на славу. Андрею удалось достать копченой колбасы, ветчины, да и вино на столах натуральное, его купил Николае, брат покойной, через знакомых — не какое-нибудь, из подвалов патриархии; можно не беспокоиться, завтра голова болеть не будет. Разговаривали о болезни покойной, потом перешли на ошибки в диагностике, обсудили, сколько ушло денег на лечение; атмосфера сразу потеплела. Теперь говорили все разом, называли имена, приводили случаи.

— ...бедная Вика, я с тех пор все время о ней думаю... Ведь теперь случись что, ей-то кто поможет?

— Тебе свинины или цыпленка? Давай того и другого, а? И свинины, и цыпленка, да, тетя Вика?

Вечерет, окна уже посинели, а все равно жарко. Тетя Вика обмахивается книжкой, взятой наугад с полки, щеки у нее пылают. Она сидит на диване, расставив ноги, и тарелка у нее почему-то всегда пустая.

Романица подкладывает тете Вике по два раза одно и то же блюдо прямо-таки с ожесточением, вспыхивающим всякий раз при виде опустевшей тарелки на подоле тетиной юбки. «С Викой ты аккуратнее, она слишком много ест для своего возраста», — тянет ее кто-то за рукав. «Бедная тетя Вика, дорвалась до вкусенького, подумать только, наконец-то она...» — шепчет другой.

— Кекса? Сыра? Или хочешь еще жаркого? А? Да говори же громче, видишь, какой шум. Ты скажи громче, тетя Вика, чего тебе дать...

В комнате и в самом деле стоит дым, гам, обсуждаются списки на дешевую малолитражку, люди информированные сообщают подробности о новой дорожной модели.

— ...она звонила — то мне, то сестре, — неспешно повествует Андрей в другом углу. — Все спрашивала одно и то же: как мама? еще в больнице? Да, еще в больнице, отвечал я, но ты не беспокойся... А операцию-то ей будут делать? — спрашивала она под конец...

— ...что ты говоришь? Ты погромче, тетя Вика, видишь, какой шум. Чего тебе дать? Хочешь еще жаркого?

— Ты положи в банку-то салата, отнеси немного мальчику... Сынишке-то отнеси, ведь тоже живая душа, — шепчет тетя Вика.

Она только что сняла в ванной протез — до того жал, не было мочи, весь рот разодрал, поэтому говорит теперь совсем неразборчиво.

— Мороженого? Лимонного или шоколадного?

— Какого хочешь, доченька... Положи какого хочешь... Да ты посиди, съешь хоть кусок, посиди, поговорим немножко...

— Ну конечно... Если я сяду разговаривать, кто же...

Тетя Вика заворачивает в салфетку кусочек сыра, кладет его в сумку и продолжает есть мороженое.

— Немножко вина? Чашечку кофе, а, тетя Вика?

— Да не вливай ты в нее, как в бездонную бочку! И вино и кофе — при ее-то давлении...

— Не ты разве сказал, что она здоровее тебя?

— Так тебе нужно впихивать в нее, пока она не заболит? Нет, твоя бездумность, твоя безответственность меня просто поражает... Как с документами...

— С какими документами?

— Думаешь, я не понимаю, что ты нарочно тянешь с документами в дом для престарелых? Сегодня у тебя один предлог, завтра — другой. Да кого ты, в самом деле, хочешь обмануть? Только ее и обманываешь — конечно, если ты не имеешь в виду взять ее к себе, когда ее парализует...

— Да почему ее обязательно должно парализовать? Тебе что, хочется этого? Она может еще преспокойно пожить в своем доме... Разве не видишь — она об этом и не помышляет? Живет, как все люди, в своем доме, ходит по утрам пить кофе к мадам Стэнеску. Болтает с соседями.

— А придет соседки к ней колоть дрова на зиму?.. Придет хоть кто-нибудь помыть ее, переменить белье, если тетя Вика не сможет двигаться? Да за тысячу лей никого не заманишь.

— Заладил, что она не сможет двигаться... Ну откуда ты знаешь, как все будет? Она прекрасно может умереть в одночасье...

— Ну конечно, она умрет так, как ты пожелаешь, как тебе удобно...

Тетя Вика сидит на диване в своем платье из натурального шелка — в довоенном платье. Она покончила с мороженым и принялась за кекс. По лестнице застучали каблучки Романицы — она бежит домой: мальчик один, мальчик не знает, что умерла бабушка. Не стоит торопиться сообщать дурные новости, считает Романица, вот она и не сказала сыну, что бабушка умерла.

— ...если я подходила к телефону, она спрашивала: «Нелли? Это ты, Нелли? Как моя сестра, Нелли? Как твоя свекровь? Все еще в больнице?» Голос у тети Вики низкий, хриплый, я сперва и не узнавала ее, думаю, какой-то мужчина, думаю — кто бы это мог называть меня по имени? Потом только ее узнавать стала...

Шаги Романицы уже стихли: у нее сынишка один, и друг должен позвонить, он всегда звонит в это время. В иные вечера, правда, не звонит, особенно теперь, после того как сдал экзамен на водителя, и тогда она долго ждет его звонка, а потом плохо спит. Андрей разливает вино, Нелли рассказывает, как тетя Вика в сопровождении соседки и соседа пришла в больницу, Виолета, жена Никулае, рассказывает о квартире, которую она купила своему сыну от первого брака...

Тетя Вика на диване жует кекс.

— Ты хочешь сказать, что уйдешь от меня? — хрипло спрашивает она.

Она смотрит на него в упор, и он отводит сочувственный взгляд. Перед ними гигантское зеркало озера под оранжево-розовым небом. Где-то вдали яхта. Ласковую недвижную гладь чуть рябит набегающий ветерок, ветерок играет блестящими листьями раскидистой вишни.

Под вишней шаткий металлический столик — одна ножка у него короче, — на гальке бутылки из-под пива и апельсиновой воды.

— Скажи, — повторяет она. — Значит, ты хочешь от меня уйти?

Красный как рак, он ерзает на стуле, в пронзительно ярких весенних лучах солнца, если внимательно приглядеться, можно различить все прожилки под его слишком белой кожей, и кажется, от волнения они могут в любую минуту лопнуть.

И вдруг что-то поднялось в ее душе, забились невидимыми крыльями — был ли это древний инстинкт, инстинкт женщины — матери и заступницы?.. Точно птица налетела, ударила в грудь, ослепила, и, уже ничего не понимая, она глянула на него озабоченно. Его обидели — кто? чем? — она знала одно: надо ему помочь, его защитить.

Теплая, блестящая гладь озера, идиллическая деревня на противоположном берегу... Надо во что бы то ни стало избежать этой бессмысленной, болезненной для обоих сцены. Ну разве не глупость допустить ее? Зачем ей непременно знать, что он делает в дни, когда не звонит ей? Зачем знать, откуда он взял деньги на машину?

С отчаянным упрямством она разглядывает желтые цветочки ивы, лодку, покачивающуюся у причала. Дерево лодки подгнило, маслянистые волны испещрены ослепительно зелеными точками ряски; должно быть, там, под водой, полным-полно черных пиявок.

— Жалко портить такими разговорами чудесный день,— говорит она холодно.

И улыбается радужной улыбкой.

Боже мой! Если бы она могла видеть себя в этот момент со стороны! Под дешевой, наспех положенной пудрой кожа совсем увядшая, морщинистая. Мелкие передние зубы чуть сточились, а сбоку не хватает двух резцов.

— Последние две недели мне все звонит тетя Вика,— говорит она как можно более равнодушно.— Она и Андрею звонила и дяде Никулае: ты ко мне не придешь? — спрашивает она каждого. И знаешь, как обычно: у всех свои дела. Одна я с моей бесхарактерностью...

Она умолкает в надежде переключить разговор и слабо улыбается.

— ...зашла к ней. Принесла арбуз. Пробыла почти целый час, оставила ей двадцать пять лей. Поругала ее — она вроде еще растолстела, не знаю, по-моему, ее разнесло. Она показала мне, что вяжет нам чулки, что не сидит без дела...

Официант принес две тарелки с огромными кусками мяса и яичницей на шкварках.

— И что ж ты думаешь? Сегодня утром — в мой свободный день, и ты ведь как раз сказал, что мы проедемся на машине,— меня будит телефон. Мадам Стэнеску, соседка, она еще привозила тетю в больницу: приходи немедленно, тетя Вика себя неважно чувствует. Постойте, говорю, я же вчера вечером была, и все было в порядке, я поздно ушла, и она чувствовала себя хорошо...

— Все же надо бы когда-нибудь нам обсудить,— вставляет он испуганным шепотом.

Нет, не хватило ему оборотистости, умения обдѣлывать свои дела, не выжал он из жизни того, о чем мечтал. Только и было у него достижений — стипендия на три месяца в ФРГ пять лет назад, место хорошее на службе без надежды продвинуться да мелкие подачки, с помощью которых он выплачивает долги.

— Что? — спрашивает она.

Он опирается локтем о край хромого столика, вилка со звоном падает на камни, но он не поднимает ее.

— Надо бы нам все-таки наконец это обсудить...

И нервным точным движением он наклоняется за вилкой. Кладет ее перед собой, а ей галантно уступает чистую.

— Что? — громко спрашивает она внезапно охрипшим голосом.

Но, почувствовав рядом его нахмуренное лицо, испуганно замолкает. Не ставить себя в нелепое положение. Но ведь сама ее реакция уже нелепа — ведь с этого момента его желания и его запреты значения не имеют. Их можно безбоязненно преступать.

Она сама наливает себе пиво, пьет и наливает снова. Временами забывает о том, что произошло, забывает о страхе потерять его, потом снова твердит:

— Почему? Из-за моей анкеты? Из-за...

— Кушай,— говорит он каким-то новым, властным голосом.

Входит в роль «настоящего мужчины», и снова — но на сей раз гораздо слабее — в ней возникает это абсурдное желание его защитить.

— Кушай,— повторяет он.

И она послушно глотает вкусное мясо, время от времени прихлебывая апельсиновый напиток. Да, теперь он совсем уже не тот застенчивый ласковый мальчик, который, робея, ходил за ней по пятам, ведь они так давно вместе...

— Не могу-у-у,— с мольбой, чуть слышно выдыхает она.

Она не плачет, просто сидит неподвижно в своем черном попли-

новом платье, к которому так и липнут все пушинки, и тупо смотрит на озеро.

А он замолкает, он всецело поглощен едой, съел все свое жаркое и прихватил половину ее порции. Торопливо ест и по привычке испуганно оглядывается.

— Мужчины — циники, — предупредительно, по-отечески объясняет он и кладет нож и вилку на опустевшую тарелку.

Теперь, когда с жарким покончено и она уже не пытается ничего изменить, а только подливает себе пива, жадно пьет его большими глотками, — да, вот теперь он может говорить. Своим новым, самоуверенным голосом высказать по-прежнему робкие, нехитрые суждения.

— Иногда аппетит от волнения, понимаешь? — говорит он.

И объясняет ей, что она единственная женщина в жизни, которую он любил, — маловато для мужчины, добавляет он, краснея и стыдливо отворачиваясь, и две маленькие слезинки скатываются по складочке у носа. Он поспешно утирает их кончиком пальца; поспешным, деликатным жестом того мальчика, который когда-то в чужой комнате с видом на поле сурепки умолял ее не бросать его. Который и теперь, через столько лет, проведенных вместе, не стал мужчиной.

Около хромого столика в беспорядке валяются четыре бутылки из-под пива.

А он, как всякий начинающий шофер, благоразумно выпил только две бутылки апельсиновой воды.

— Здесь за углом три автомата, может, хоть один из них работает, — говорит он.

Она идет звонить. Он тоже аккуратно запирает машину и направляется в продуктовый магазин напротив. Он расторопен, он умеет расположить к себе с первого взгляда.

И он вернулся к машине раньше нее с зеленым пластиковым пакетом.

— Тете Вике я позвонить не могу, у нее нет телефона. Лучше уж прямо поеду к ней, боюсь, как бы... А домой звонила несколько раз, но знаю, почему Матей не подходит...

На него она не смотрит, а голос у нее все такой же хриплый.

— Брынза за двадцать один лей. — Белая жидкость сочится из мешка, и он долго ищет, куда бы пристроить его, чтобы не запятнать машину. — Брынза за двадцать один лей, — повторяет он, чувствуя, что молчание затянулось. Включает зажигание и нажимает на педаль; теперь она будет молча разглядывать город, застывший в слепяще-белом свете. — Знаю, что тебе сейчас не до нее. Но потом пригодится. Знаешь, она редко бывает...

Романица сидит неподвижно, точно застыла. Ей непривычно ездить на машине. Да и привыкать не придется.

И она сидит, уронив руки на подол черного платья, к которому прилипли пушинки. А он все говорит:

— Значит, я тебя к тете Вике... О Матее ты не беспокойся, он, конечно, играет на улице.

Временами он заглядывает в зеркальце заднего вида, протягивает руку, чтобы протереть стекло от невидимой пыли, он следит за движением так внимательно, что слова падают с большими паузами.

— Конечно, Матей на улице... он всегда в это время... на улице... Он всегда играет на улице в это время... вот телефон и не отвечает... а ты... ты напрасно волнуешься.

Играть не с кем, жарко и пыльно. Пыль вокруг низкорослого дяденьки в майке, с остервенением выбивающего джутовую циновку.

— Марш отсюда, не видите, что ли, я выбиваю ковер? — кричит он ребятам.

С лесов неоконченного дома на углу летят облачка пыли и строительный мусор. Дым и мусор летят, будто здесь произошел взрыв. На доске красными буквами выведен лозунг: «В НАШИХ ДЕЛАХ — НАША СИЛА».

Пыль и от этих ребят из дома 15, они играют в мяч, там, среди ребят из дома 15, есть и большие, но Матей они к себе не принимают.

Из друзей Матей, как назло, ни один сейчас не вышел на улицу. Матей забился в тенок у лестницы. Мама сегодня сказала, что придет поздно; пускай он посмотрит телевизор, только осторожно, чтобы ничего не случилось, пускай поест один, потому что она придет поздно. У нее дела. Так она сказала утром.

И отец только что ушел и не знает, когда вернется.

Солнце опустилось за телевизионную антенну подъезда Б; когда оно там — значит, полчетвертого, а кто же выходит гулять в полчетвертого?

Может, мама в больнице, тогда она вернется поздно, а может, у Тетивики — после маминого ухода телефон сто раз звонил. «Алло, это ты, Матей?» — спрашивала какая-то тетенька, они почти все его узнают, редко кто назовет его Романицей: это ты, Романица? Как? О-о-ой, да как же у вас с мамой похожи голоса... А эта сегодня: скажи маме, чтобы пришла к мамам Делькэ,— это тетя Вика, так пусть мама или еще кто из родственников поскорее придут... Но, видно, этой тетеньке не удалось найти ни дядю Андрея, ни тетю Нелли — никого, потому что она все ему названивала, миллион и еще тысячу раз звонила. Пока ему не надоело подходить к телефону и он не пошел гулять.

На улице жарко и пыльно, в лесах бухают молоты, над головой трещит сварочный аппарат. Искры белее солнца, наверху люди закрывают балконы.

— Ничего не поделаешь, им приходится закрывать,— сказала мама,— ничего не поделаешь. Это мы не закрываем, потому что все равно переждем...

— Ничего не поделаешь, вам придется переехать,— сказал он маме,— вам придется переехать, а я здесь останусь...

Он здесь останется. У него здесь друзья — Вали, Флорин, у него здесь Пес, а потом и бабушка вернется. Им-то придется переехать, а он здесь останется. Тетявика тоже бы пришла, если бы не была такая толстая.

— Очень уж ты толстая,— сказала ей мама вчера вечером,— очень уж толстая, из-за этого ты не можешь одна до нас дойти. Ты из-за этого вообще с трудом двигаешься... Зачем ты столько ешь, почему за собой не следишь? Если с тобой, не дай бог, что случится, кто будет за тобой ухаживать?

— Я в родню такая толстая,— сказала Тетявика.— В нашем роду все женщины были такие толстые. Толстые и красивые, не то что теперь — худущие да плоские, как доска, мужчине не за что и подержаться. Видела бы ты свою прабабку, она вот такая была, бывало, ботинки на каблуках наденет, шею в мех закутает... Ты-то худая, потому что у тебя неприятности...

Женщины в их роду толстые, а Матей худенький и самый маленький во всем классе.

— Своди ребенка к врачу,— говорит дядя Андрей,— ты какая-то неосознательная, почему не сводишь ребенка к врачу?

— Я запишу его на спортивные занятия,— говорит мама,— как только освобожусь, я сейчас такая замороченная, но надо, обязательно надо выбрать время и записать его в спортивный клуб, буду провозить его и встречать, ничего не поделаешь, отсюда, из нашего района, все далеко...

Матей все это слушает и дуется: он не хочет ни к доктору, ни в

спортклуб, он хочет играть здесь, со своими друзьями. У него ведь есть Вали и Флорин и есть Пес.

А вон какая-то собака. Да ведь это как раз его Пес и есть.

— Песь-песь-песь, песь-песь-песь,— ласково подзывает Матей.

Да-да, это Пес, он весело тявкает и чудными прыжками приближается к Матею.

Бедный Пес, у него нет хозяина, должно быть, он из снесенных домов, сказала бабушка. С этого все и началось. Бабушка стала давать Матею кости для Пса. Бабушка просто колдунья — всякую живность привлекает, это она научила Матея бросать крошки воробьям, вот когда придет зима, они с бабушкой снова будут бросать крошки на балкон, и прилетят воробьи, а он их пересчитает, однажды прилетело целых шестнадцать, он спрятался за елку, и воробьи налетели — звяrrrr! — целых шестнадцать штук, он подсчитал. Это был абсолютный рекорд прошлого года.

Посмотрим, что будет в этом году...

— Песь-песь! — кричит Матей, и Пес несется к нему чудными прыжками, ну и чудной же этот Пес! Подпрыгивает, кладет ему на плечи лапы и обнюхивает его, потом несется назад.— Песь-песь, пойдй сюда...— Собака опять летит к нему, шерсть у нее серая, а кажется, будто разноцветная, будто она из кусочков.

До чего же Тетявика боится Пса! Убери его отсюда, он меня укусит, кричала она, когда еще приходила к ним. Слышишь, убери его, к черту, он меня укусит... Это все еще при бабушке было, ну и весело же было, они бросали на балкон крошки для воробьев... У Флорина в банке живут рыбки, у Вали есть кот, а у него Пес. Он первый его приручил. Пес знает, кто приносит ему кости. Знает, кто его хозяин. И по утрам провожает его в школу, а днем лежит в тени, лежит и пыхтит вот здесь, под лестницей, но стоит ему увидеть Матея, сразу тявкнет — понарошке — и несется к нему.

Знает своего хозяина.

Надо бы сходить домой, принести кость или кусок мяса. Хлеб Пес не слишком уважает, но, кажется, в холодильнике есть тефтели, правда, в точности он не знает, не поглядел, какая там еда. Лень было.

— Матей-воробей! — кричит с балкона эта дуреха Конопатая.

Ну, Конопатая, пусть только спустится вниз — он ей покажет! Он задаст ей, дурехе Конопатой. Они сговорились с Вали и Флорином, пусть только спустится вниз — они ей покажут!

— Воро-бей! — кричит Конопатая и бросает в него кукурузные зерна, ему просто лень подниматься на второй этаж, а то подняться бы, позвонить в дверь — откроет, конечно, сама Конопатая, и тут он схватит ее за косу и так оттаскает — вот как! — схватит ее за косу и...— Ма-а-те-ей! — кричит Конопатая.

— Пошла к черту! — кричит Матей.— Пошла к черту!..

Ноги у него вспотели и все в пыли.

— Песь-песь-песь! — кричит он ласково, и Пес потешно прыгает.

Матей бросает камень, и Пес кидается, обнюхивает камень — дукает, это кость, ха-ха-ха, смеется Матей, на лесах скрипит ворот, «В НАШИХ ДЕЛАХ — НАША СИЛА», собака сидит у ног Матея, оба смотрят на леса.

Проезжает тяжелый грузовик, пыль, дым, запах бензина. Пес кидается с яростным лаем вслеп, потом возвращается.

Матей снова бросает камень, и опять Пес летит к нему и его обнюхивает. Дело ясное, Пес голоден. Надо подняться, принести кость, немного мяса. Кто знает, с каких пор он не ел, бедняга.

— Я два дня не ела,— сказала Тетявика вчера вечером.— Что верно, то верно — меня разнесло, только я ничего не ем, не знаю, с чего это меня все время тошнит...

— Это из-за жары, ты потерпи немного,— сказала мама.— Лето ведь кончится, а ты в такую жару сиди дома, не ходи больше на площадь звонить, что ты все звонишь? Все время звонишь, то одному, то другому — зачем? У всех свои дела, и напрасно звонишь, от этого к тебе быстрее не придут... И мне напрасно звонишь, я всегда раз в две недели прихожу, чаще все равно не могу, у меня дел — выше головы...

— Я уже больше не звоню, я с трудом хожу... С трудом ноги волочу...

— Толстая ты, вот тебе и трудно ходить, в этом все дело, ты следи за собой, нельзя тебе толстеть...

— Старая я,— сказала Тетявика.— Я на нашей улице теперь самая старая... Мы вчера как раз посмеялись с соседкой, мадам Стэнеску, и с господином Попеску, парикмахером,— как раз посмеялись за кофе: ну, говорю, видно, пришел теперь мой черед, теперь я на нашей улице самая старая... А господин Попеску — знаешь, он какой? — среди мужчин, говорит, я первый, мне в ноябре семьдесят восемь исполнится, я первый среди мужчин, говорит, но мне такое и в голову не приходит... Вот я и смеюсь: видно, пришла моя пора...

Матей вытаскивает из-за пазухи ключ — ключ висит у него на шее — и открывает дверь. В кастрюльке на плите ни костей, ни мяса, он бросает крышку и собирается открыть холодильник, но тут звонит телефон.

— Да,— говорит Матей,— да,— говорит он безмятежно...

Внизу проезжает грузовик, грохот сильнее, чем от мусорщика, тормозит, тормоза отчаянно скрежещут, визг — будто визжит собака.

— Да-да-да,— говорит Матей, вертясь в нетерпении у телефона.— Да-да-да,— говорит он скороговоркой, в спешке криво кладет трубку на рычаг и бежит к окну.

Отсюда не видно, что делается внизу...

Он изо всех сил прижимается лицом к голубой сетке от комаров — круглый год в этом доме комары: на стройке лужи, в подвалах вода...

Но бабушка натянула на окна сетку от комаров, и он никогда не уедет из этого дома, здесь Вали и Флорин, здесь Пес, и еще вернется бабушка, и еще...

Он бежит к холодильнику за тефтелями. На кончике носа у него пыльное пятно: со стройки постоянно летит пыль, голубая сетка от комаров вся пропитана пылью.

Перевела с румынского ТАТЬЯНА ИВАНОВА



ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

★

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Где малина, там крапива

Где малина, там крапива,
Будто изуверство...
Всю мне юность отравило
Двух кустов соседство.

Без крапивы нет малины,
Жить не могут розно,
И одна к другой манила,
Чтоб обжечь нарочно.

Разум был не в силах вынести
И считал дремотно:
Либо здесь несправедливость,
Либо грех просмотра.

Лишь сегодня, через годы,
Понял в пароксизме
Этот замысел природы,
Отраженный в жизни.

И малина, и крапива,
И витье их веток
Дух и душу укрепило.
Жаль, что напоследок.

1987.

Екатерининский канал

На канале шлепнули царя —
Действо, супротивное природе.
Раньше убивали втихаря,
А теперь при всем честном народе.

На глазах у питерских зевак
Барышня платочком помахала —
И два парня, русский и поляк,
Не смогли послушаться сигнала.

Сани набок... Кровью снег набух...
Пристяжная билась как в припадке,
И кончался августейший внук
На канале имени прабабки.

Этот март державу доконал.
И хотя народоволке бедной

И платок сигнальный и канал
Через месяц обернулись петлей,

Но уже гоморра и содом
Бунтом и испугом задышали
В Петербурге и на всем земном,
Сплюснутым от перегрузок, шаре...

А потом, чем дальше, тем скорей,
Все и вся спуская за бесценнок,
Президентов стали, как царей,
Истреблять в «паккардах» и у стенок.

В письма запечатывали смерть,
Лайнеры в Египет угоняли..
И пошла такая круговерть,
Как царя убили на канале.

1972.

Гумплев

Три недели мытарилась,
Что ни ночь, то допрос...
И ни врач, ни ботариус,
Напоследок — матрос.

Он вошел черным парусом,
Уведет в никуда..
Вон болтается маузер
Поперек живота.

Революции с гидрою
Толку нянчиться нет,
И работа нехитрая,
Если схвачен поэт.

...Не отвел ты напраслину,
Будто знал наперед:
Будет год — руки за спину,
Флотский тоже пойдет,

И запишут в изменники
Вскорости кого хошь,
И с лихвой современники
Страх узнают и дрожь...

Вроде пулям не кланялись,
Но зато наобум
Распинались и каялись
На голгофах трибун,

И спивались, изверившись,
И не вывез авось,
И стрелялись, и вешались,
А тебе — не пришлось.

Царскосельскому Киплингу
Пофартило сберечь
Офицерскую выправку
И надменную речь.

...Ни болезни, ни старости,
Ни измены себе
Не изведал
и в августе,
В двадцать первом, к стене
Встал, холодной испарины
Не стирая с чела,
От позора избавленный
Петроградской ЧК.

1967.

Радиопередача

Сильве Капутикан.

Колесико, что ли, крутнул
Сегодня сильнее? —
И вот среди ночи Стамбул
Несет ахинею.

Меня выдирая из сна,
Вещает во мраке:

Мол, черного года резня —
Армянские враки.

А ну не мели, не юли,
Брось, диктор, кульбиты:
История каждой земли
Убийством набита.

Отсталых и главных здесь нет,
 Все как бы на равных...
 И жаль, если держит ответ
 За прадеда правнук.

Не стоит ответа держать,
 Сегодня будь счастлив,
 Что поздний, что можешь дышать
 Своим неучастьем.

Дыши!.. Обелять не спеши
 Лихое наследство.

Пойми: несвобода от лжи
 Доводит до зверства.

Не будем и сами юлить,
 А врать — и тем паче:
 Минувшего не утаить,
 Не переиначить.

Не стоит с ним также играть
 Ни в прятки, ни в жмурки,
 А то можно стыд потерять,
 Как радиотурки.

1987.

Платформа 126-го км

Времена напористы
 Свыше всякой нормы.
 ...Ожидаю поезда
 У лесной платформы.

Времена напористы,
 Но отнюдь не скверны...
 Ожидаю поезда,
 Утишаю нервы.

Было всяких вывертов
 Больше чем донельзя...
 Ноги в джинсах вытертых
 Вытянул на рельсы.

Были силы вынести
 Бед чередованье.

Так что в неподвижности
 Есть очарованье.

Дел — вагон с тележкой,
 Что ж не беспокоюсь?
 Отчего блаженствую,
 Ожидая поезда?

И в начале августа
 Таю от соблазна
 Крикнуть вроде Фауста:
 «Стой, ведь ты прекрасно!..»

Шевельнуться боязно —
 Поврежу вдруг лесу...
 Ожидаю поезда,
 Нужен дозарезу.

1987.



УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС
(1865—1939)



И С ДРЕВА ЗОЛОТОГО ПЕТЬ ЖИВУЩИМ

Водомерка

Чтоб цивилизацию не одолел
Варвар — заклятый враг,
Подальше на ночь коня привяжи,
Утомони собак.
Великий Цезарь в своем шатре
Скулу кулаком подпер,
Блуждает по карте наискосок
Его невидящий взор.
*И как водомерка над глубиной,
Скользит его мысль в молчании.*

Чтобы троянским башням пылать,
Нетленный высветив лик,
Хоть в стену врасти, но не смуди
Шорохом этот миг.
Скорее девочка, чем жена, —
Пока никто не войдет,
Она шлифует, юбкой шурша,
Походку и поворот.
*И как водомерка над глубиной,
Скользит ее мысль в молчании.*

Чтобы явился первый Адам
В купол девичьих снов,
Выставь из папской часовни детей,
Дверь запри на засов.
Там Микеланджело под потолком
Небо свое прядет,
Кисть его тише тени ночной
Движется взад-вперед.
*И как водомерка над глубиной,
Скользит его мысль в молчании.*

Плавание в Византию

I

Тут старым нет пристанища. Юнпы
В объятьях, соловьи в самозабвенье,
Лососи в горлах рек, в морях тунцы —
Бессмертной цепи гибнущие звенья —
Ликуют и возносят, как жрецы,
Хвалу зачатую, смерти и рожденью;
Захлестнутый их пылом — слеп и глух
К тем монументам, что воздвигнул дух.

II

Старик в своем нелепом прозябанье
 Схож с пугалом вороньим у ворот,
 Пока душа, прикрыта смертной рванью,
 Не вострепешет и не воспоеет —
 О чем? Нет знания выше созерцанья
 Искусства нескудеющих высот:
 И вот я пересек миры морские
 И прибыл в край священный Византии.

III

О мудрецы, явившиеся мне,
 Как в золотой мозаике настенной,
 В пылающей кругами вышине,
 Вы, помнящие музыку вселенной! —
 Спалите сердце мне в своем огне,
 Исхитьте из дрожащей твари тленной
 Усталый дух: да будет он храним
 В той вечности, которую творим.

IV

Развоплотясь, я оживу едва ли
 В телесной форме, кроме, может быть,
 Подобной той, что в кованом металле
 Сумел искусный эллин воплотить,
 Сплетя узоры скани и эмали,
 Дабы владыку сонного будить
 И с древа золотого петь живущим
 О прошлом, настоящем и грядущем.

Кровь и луна

Фрагмент

Свет от луны сияющим пятном
 Лег на пол, накрест рамою расчерчен;
 Века прошли, но он все так же млечен,
 И крови жертв не различить на нем.
 На этом самом месте, хмуря брови,
 Стоял палач, творящий свой обряд,
 Злодей наемный и тупой солдат
 Орудовали. Но ни капли крови
 Не запятнало светлого луча.
 Тяжелым смрадом дышат эти стены!
 И мы стоим здесь, кротки и блаженны,
 Блаженнейшей луне рукоплещая.

Перевел с английского ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ.



НИКОЛАЙ КЛЮЕВ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ: ПИСЬМА И ДОКУМЕНТЫ

По материалам семейного архива

В 1934 году Николай Алексеевич Клюев был выслан органами ОГПУ из Москвы по ложному обвинению в «кулацкой агитации» (по статье 58¹⁰ тогдашнего Уголовного кодекса РСФСР). В начале июня того же года поэт оказался в поселке (ныне городе) Коллашево, на территории Нарымского края. Спустя несколько дней он разослал многим своим друзьям и знакомым письма с просьбами о помощи. Среди его адресатов были С. А. Толстая-Есенина и дирижер Н. С. Голованов, певица Н. А. Обухова и ее подруга Н. Ф. Христофорова-Садомова, молодой художник А. Н. Яр-Кравченко... И конечно, очутившись в таком гяжелом положении, Клюев не мог не написать своему многолетнему творческому соратнику — Сергею Антоновичу Клычкову, чья поэзия и проза стали заметным явлением в русской литературе первой трети нашего столетия.

Клюев и Клычков познакомились еще в начале 1910-х годов. Личные встречи поэтов вплоть до 30-х годов были не частыми, ибо жили они до той поры в разных местах. Но их творческое общение, без сомнения, имело большое значение для них обоих — не случайно критика почти сразу же причислила их к тому направлению отечественной литературы начала века, за которым вскоре укрепилось название «новокрестьянская поэзия». Клюев высоко ценил лирику молодого Клычкова, вошедшую в его первые книги «Песни» (1911) и «Потаенный сад» (1913), эти стихи он назвал хрустальными песнями. А когда в печати появился роман Клычкова «Чертухинский балакирь» (1926), Клюев написал автору: «Низко тебе кланяюсь за твою прекрасную книгу Балакирь. После Запечатленного ангела (повесть Н. С. Лескова.— Г. К., С. С.) это первое писание — и меч словесный за русскую красоту. Радуюсь и величаюсь тобой!»¹

В 20—30-е годы оба поэта (творчество которых, как и в дни их молодости, продолжало питаться родниками русского народного искусства и великой древнерусской культуры) подвергались ожесточенным преследованиям со стороны «неистовых ревнителей», задававших тон в Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Тогдашняя Литературная энциклопедия объединила имена Клюева и Клычкова в контексте откровенно очернительского характера: «Он (Клычков.— Г. К., С. С.) является верным учеником отца современной кулацкой литературы — Клюева, учеником, весьма добросовестно развившим в отдельных своих стихах (и в особенности в прозе) мистическую средневековщину, почерпнутую из русского фольклора»².

Сейчас, когда произведения Клюева и Клычкова переизданы и современный читатель может по достоинству оценить как глубину их творческих исканий, так и их незаемное место в русской литературе, ярлыки, выданные поэтам в те годы Литературной энциклопедией, воспринимаются мягко говоря, как дикость. Но в то время данная «энциклопедическая» характеристика, по сути, осветила злопахательскую кампанию, развязанную вокруг имен Клюева и Клычкова. Через несколько лет это привело их к гибели.

Сами поэты очень остро ошущали вопиющую несправедливость гонений на их творчество. Отвечая на нападки в связи с публикацией поэмы «Деревня», Клюев с исключительным достоинством писал во Всероссийский союз писателей: «Просвещенным

¹ Оригинал в ЦГАЛИ. Впервые эти строки опубликованы английским славистом Г. Маквеем («Oxford Slavonic Papers: New Series». 1984, vol. XVII, p. 108).

² Литературная энциклопедия. М. 1931, т. 5. стб. 320.

и хорошо грамотным людям давно знаком мой облик как художника своих красок и в некотором роде туземной живописи. Это не бравое «так-точно» царских молодцов, не их формы казарменные, а образами живущие во мне заветы Александрии, Корсуня, Клева, Новгорода от звуков велесовых до Андрея Рублева, от Даниила Заточника до Посопшкова, Фета, Сурикова, Нестерова, Бородина, Врубеля и меньшого в патре Отца — Есенина. Если средиземные арфы живут в веках, если песни бедной, занесенной снегом Норвегии на крыльях полярных чаек разносятся по всему миру, то почему же русский берестяной Сирий должен быть ошпан и казнен за свои многопестрые колдовские свирели — только лишь потому, что серые, с невоспитанным для музыки слухом обмолвятся люди, второпях и опрометно утверждая, что товарищ маузер сладкоречивее хоровада муз? <...> Я отдал свои искреннейшие песни революции (конечно, не поступаясь своеобразием красок и языка, чтобы не дать врагу повода для обвинения меня в неприкрытом холопстве)³. Клычков, буквально задышавшийся от многолетних облыжных обвинений, выразил свое отношение к ним (выступая на одном из заседаний писательского союза в мае 1932 года, уже после роспуска РАППа) такими словами: «...будут ли в новом Союзе применяться цирковые дрессировочные приемы РАППа, будут ли использоваться способы наказаний, которые напоминают глубокую древность, когда человека, подошедшего не с достаточным благочестием к священному древу, прибавали за конец кишки и заставляли бегать вокруг этого древа этого случайно провинившегося чудака? Дорогие товарищи, годов так пять сам лично я в таком положении пробегал у мамрийского дуба РАППа, на большую половину я свои кишки вымолал, теперь, когда через очень короткое время, возможно, мне пришел бы конец, я начинаю вмазываться обратно. (С м е х.) Товарищи, чего вы смеетесь, мне очень трудно говорить, потому что я-то открыт и откровенен, и разве моя боль вас смешит, а не причиняет вам того же страдания?»⁴

Время показало, что опасения Клычкова (по крайней мере в отношении его самого и Клюева), к несчастью, оправдались: Клюев был изгнан из общества еще до I съезда писателей (который он встретил в Колпашеве), а Клычкову с начала 30-х годов и вплоть до ареста в 1937 году было дозволено пробавляться лишь переводами и редактурой — оригинальных его произведений не печатали.

Когда Клюев обратился из Колпашева за помощью к Клычкову, он вряд ли мог знать, насколько сильно было тогда поколеблено душевное равновесие его адресата. Н. М. Гарина, помнившая молодого Клычкова, по ее словам, «крепким красивым парнем», так описала двадцать с лишним лет спустя встречу с ним: «В 34-м году я встретила Клычкова в последний раз... И была потрясена той жуткой переменой <той>, которая с ним произошла... Осунувшийся... Дряблый... Растерянный... Разбросанный — он выглядел значительно старше своих лет...»⁵ И тем не менее Клычков нашел в себе силы хлопотать за Клюева перед Оргкомитетом Союза советских писателей. А. М. Горским как его руководителем, а также, по-видимому, и перед другими людьми, позиция которых могла изменить положение ссыльного Клюева в лучшую сторону (см. письмо 5). В итоге между 6 и 11 октября 1934 года Клюев был переведен из Колпашева в Томск.

Не позже сентября 1934 года начинается переписка Клюева и с женой Клычкова Варварой Николаевной Горбачевой (см. письмо 6). После перевода поэта в Томск она становится его единственным корреспондентом из семьи Клычковых — с этого времени прямой обмен письмами между Клычковым и его ссыльным собратом прекращается (надо думать, по обоюдному согласию, чтобы лишний раз не привлекать к Клычкову нежелательного внимания).

В. Н. Горбачева была широко образованным человеком, серьезно занималась литературоведческими разысканиями и философией. Обучаясь на филологическом факультете МГУ, она активно включилась в работу университетского Тургеневского семинария. Итогом участия В. Н. Горбачевой в нем стала ее книга «Молодые годы Тургенева (по неизданным материалам)» (1926), в которой проведен интересный анализ философских взглядов молодого Тургенева. В 30-е годы (думается, при участии С. А. Клычкова) занималась литературным трудом; в 1936 году под псевдонимом Варвара Арбачева был опубликован ее роман «Чернышевский». Все, кто знал В. Н. Гор-

³ «Русская литература», 1979, № 1, стр. 94.

⁴ «Oxford Slavonic Papers...», vol. XVII, p. 103.

⁵ Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (далее — ИРЛИ), ф. 736, ед. гр. 66, л. 2.

бачеву, помнят ее сильный характер, упорство и настойчивость в достижении цели и исключительную обязательность по отношению к окружающим. Эти ее качества, без сомнения, давали опору и ей и близким ей людям в преодолении тягот, вскоре обрушившихся на них. Именно В. Н. Горбачева в 1935—1937 годах не прекращала хлопотать об облегчении участи Ключева и регулярно помогала ему материально. Обо всем этом стало известно совсем недавно из ключевских писем и других документов, обнаруженных в семейном архиве Клычковых (далее сокращенно — АК).

Варваре Николаевне суждено было, говоря ключевскими словами, «оставаться близ креста» обоих поэтов вплоть до их трагического ухода в небытие. Она проявила немалую силу духа и после ареста своего мужа летом 1937 года — несмотря ни на что, письма Ключева из ссылки были ею сохранены и в конце концов дошли до наших дней.

Ниже мы публикуем все найденные к настоящему времени в АК письма поэта из Сибири (и два его письма того же периода, взятые из других источников). Находясь в ряду документов драматической эпохи в истории нашей страны, эти письма обладают, кроме того, важной отягчительной чертой — ведь автором их был, говоря словами самого Ключева, «поэт великой страны, ее красоты и судьбы» («...после двадцати пяти лет его поэзии в первых рядах русской литературы»), поэт, «переживающий зенит своих художнических способностей». Это делает сибирские письма Ключева значительным явлением отечественной словесности.

Размышляя над обнаруженными несколько лет назад (в извлечениях) ключевскими письмами из Колпашева и Томска к его близкой знакомой Н. Ф. Христофоровой-Садомовой⁶, В. Личутин точно уловил доминанту их звучания: «А письма Ключева не схожи ли с Аввакумовыми? Он тоже обращался к жалостному чувству, чтобы на Руси не иссякла милость (милостыня) как осязаемое духовное приобретение» («Октябрь», 1987, № 10, стр. 167). Это наблюдение писателя впрямую перекликается с высказыванием самого Ключева в первом же его письме Клычкову: «Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: озаренную смолистыми кострами и запалами самосожжений эпоху царя Феодора Алексеевича и нашу, такую юную и потому многого не знающую».

Действительно, сибирские письма Ключева (естественно для него самого, но необычно для читателя нашего времени) ложатся в русло жанровых, стилевых (и иных) традиций литературы Древней Руси: среди этих писем есть и «челобитная», и «моления», и фрагменты житийного характера... Обращает внимание, что в разных письмах поэта встречаются дословные фразеологические повторы. В первом чтении они могут показаться (даже читателю-филологу) чем-то вроде навязчивого клише. Между тем и здесь проявляется органическая, генетическая близость индивидуального стиля Ключева-прозаика стилевым канонам древнерусской литературы: в своих письмах он стремится соблюдать литературный этикет (термин Д. С. Лихачева). Скажем, часто возникающая в его письмах фраза «Милосердие и русская поэзия будут (имяреку) благодарны», по сути, является этикетной формулой. Ключев всегда употребляет ее там, где того требует этикет соответствующей ситуации («моления» о помощи). Точно так сделал бы на его месте любой древнерусский писатель...

За каждой строкой ключевских писем — крупная и неповторимая творческая личность, неотвратимо вовлеченная в трагический конфликт с эпохой. Но — вопреки всем бедам и напастям, как телесным, так и духовным, — поэт отстоял от гибели стержень своей уникальной натуры, оставшись «живым, живым и только, живым и только до конца». Письма его, предлагаемые ныне читательскому вниманию и сопереживанию, — неоспоримое тому свидетельство.

Письма публикуются в хронологическом порядке, по оригиналам, большинство которых (кроме писем 4 и 21) находится в АК. Письмо 4 (зарегистрированное под № 4395/1095) хранится в одном из отделов Государственного центрального музея музыкальной культуры имени М. И. Глинки — творческой лаборатории дирижерского мастерства Н. С. Голованова (ниже сокращенно — ТЛДМ), письмо 21 находится в частном собрании. Часть писем сохранилась не полностью; некоторые — в дефектном состоянии (с утратой части либо частей текста), что потребовало (если это оказывалось возможным) введения конъектур при подготовке их к печати. Все конъектуры (и кушоры) в текстах, публикуемых ниже, обозначены угловыми скобками и в дальнейшем, как

⁶ См.: Субботин С., «Сибирские письма Николая Ключева» («Красное знамя» (Вытегра), 17, 19, 22, 24 октября 1985 года).

правило, специально не оговариваются. Недописанные части слов восстановлены и помещены в квадратные скобки. Ударения, обозначенные в тех или иных словах, проставлены самим поэтом.

Выражаем глубокую признательность М. С. Ивановой за предоставление письма 21 для публикации и М. И. Голгофской и А. А. Наумову, без чьей компетентной помощи невозможно было бы осуществить комментарий к письму 4 в его теперешнем виде. Сердечно благодарим С. С. Гейченко, А. Л. Казакова, В. Ф. Кропанева, В. Я. Лазарева, А. А. Пулину и В. В. Радзишевского за сообщенные ими сведения.

1. С. А. КЛЫЧКОВУ

«Колпашево, 12 июня 1934 г.»

Дорогой мой брат и поэт, ради моей судьбы как художника и чудовищного горя, пучины несчастья, в которую я повержен, выслушай меня без борьбы самолюбия. Я сгорел на своей Погорельщине¹, как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозерском. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: озаренную смолистыми кострами и запалами самосожжений эпоху царя Феодора Алексеевича² и нашу, такую юную и потому многого не знающую. Я сослан в Нарым, в поселок Колпашев на верную и мучительную смерть. Она, дырявая и свирепая, стоит уже за моими плечами. Четыре месяца тюрьмы и этапов³, только по отрывному календарю скоро проходящих и легких, обглодали меня до костей. Ты знаешь, как я вообще слаб здоровьем, теперь же я навсегда загублен, вновь опухоли, сильнейшее головокружение, даже со рвотой, чего раньше не было. Поселок Колпашев — это бугор глины, усеянный почерневшими от бед и непогоды избами, дотуга набитыми ссыльными. Есть нечего, продуктов нет или они до смешного дороги. У меня никаких средств к жизни, милостыню же здесь подавать некому, ибо все одинаково рыщут, как волки, в погоне за жраньем. Подумай об этом, брат мой, когда садишься за тарелку душистого домашнего супа, пьешь чай с белым хлебом! Вспомни обо мне в этот час — о несчастном — бездомном старике поэте, лицемерие которого заставляет содрогаться даже причудливых к адским картинам человеческого горя спец-переселенцев⁴. Скажу одно: «Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве!» Небо в лохмотьях, косые, налетающие с тысячеверстных болот дожди, немолчный ветер — это зовется здесь летом, затем свирепая 50-градусная зима, а я голый, даже без шапки, в чужих штанах, потому что все мое выкрали в общей камере шалманы⁵. Подумай, родной, как помочь моей музе, которой зверски выколоты провидящие очи?! Куда идти? Что делать? Что-либо ра <часть текста утрачена> ему⁶, как никому другому, следовало бы мне помочь. Он это сам хорошо знает. Помогите! Помогите! Услышьте хоть раз в жизни живыми ушами кровавый крик о помощи, отложив на полчаса самолюбование и борьбу самолюбий! Это не сделает вас безобразными, а напротив, украсит всеми зорями небесными! <Часть текста утрачена.>

Прошу и о посылке — чаю, сахару, крупы, компоту от цинги, белых сухарей, пока у меня рвота от 4-хмесячных хлеба с водой! Умоляю об этом. Посылка может весить до 15-ти кило по новым почтовым правилам. Летним сообщением идет три недели. Прости меня за беспокойство, но это голос глубочайшего человеческого горя и отчаяния. Узнай, что с моей квартирой — соседи мои Швейцер⁷ тебе расскажут подробно. Ес<ть> ли какие надежды на смягчение моей судьбы, хотя бы перевода в самые глухие места Вятской губ[ернии], как, напр[имер], Уржум или Кукарка⁸, отстоящие от железной дороги в полтысячи верстах, но где можно достать пропитание. Поговори об этом Кузнецкий мост 24 с Пешковой⁹, а также о помощи мне вообще. Постарайся узнать что-либо у Алексея Максимиыча. Не может ли мне помочь Оргкомитет¹⁰ хотя бы денежным переводом. Нельзя ли поговорить с Бубновым¹¹? Подать ли во ВЦИК Калинин о помиловании¹²? Думаю, что тебе на свежую голову все это ясней, я вовсе оглох и во всем немощен. Бормочу с тобой, как со своим сердцем. Больше некому. Целую твои ноги и плачу кровавыми слезами. Благословляю Егорушку, земно кланяюсь куме¹³ и крепко верю в ее милосердие. Не ищу славы человеческой, а одного лишь прощения, ото всех, кому я согрубил или был неверен. Прощайте, простите! Близкие и дальние. Мерзлый нарымский торфяник, куда стащат безгробное тело мое, должен умирить и врагов моих, ибо живому человеческому существу

большой боли и поругания нельзя ни убавить, ни прибавить. Прости! Целую тебя горячо в сердце твое. Поторопись сделать добро — похлопочи и напиши или телеграфируй мне. Колпашев, до востребования. Н. А. Ключеву.
12 июня 1934 г.

¹ «Погорельщина» — поэма Н. А. Ключева, законченная в 1928 году. Ее текст см.: «Новый мир», 1987, № 7, стр. 81—97.

² Федор (Феодор) Алексеевич (1661—1682) — русский царь с 1676 года.

³ Ключев был арестован 2 февраля 1934 года (см. письмо 10).

⁴ Ср.: «Население — 80% ссыльных — китайцев, сартов, экзотических кавказцев, украинцев, городская шпана, бывшие офицеры, студенты и безличные люди из разных концов нашей страны — все чужие друг другу и даже, и чаще всего, враждебные, все в поисках жранья, которого нет, ибо Колпашев — давным-давно стал обглоданной костью. Вот он — знаменитый Нарым! — думаю я. И здесь мне суждено провести пять звериных темных лет без любимой и освежающей душу природы, без привета и дорогих людей, дыша парами преступлений и ненависти! И если бы не глубины святых созвездий и потоки слез, то жалким скрюченным трупом прибавилось бы в черных бездонных ямах ближнего болота. Сегодня под уродливой дуплистой сосной я нашел первые нарымские цветы, — какие-то сизоватые и густо-желтые, — бросился к ним с рыданием, прижал их к своим глазам, к сердцу, как единственных близких и не жестоких. Они благоухают, как песни Надежды Андревны (Обуховой. — Г. К., С. С.), напоминают аромат ее одежды и комнаты. Скажите ей об этом. Вот капля радости и улыбки сквозь слезы за все десять дней моей жизни в Колпашеве. Но безмерно сиротство и неприютность, голод и свирепая нищета, которую я уже чувствую за плечами. Рубище, ужасающее видения страдания и смерти человеческой здыть никого не трогают. Все это — дело бытовое и слишком обычное. Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве. Недаром остряки говорят, что болотный черт родил Нарым грыжей. Но больше всего пугают меня люди, какие-то полу-псы, люто голодные, безблагодатные и сумасшедшие от несчастий. Каким боком прилепиться к этим человекообразным, чтобы не погибнуть? Но гибель неизбежна. Я очень слаб, весь дрожу от истощения и от не дающего минуты отдохновения большого сердца, суставного ревматизма и ночных видений. Страшные темные посещения сменяются областью загробного мира. Я прошел уже восемь демонских застав, остается еще четыре, на которых я неизбежно буду обличен и воплощен сам во тьму. И это ожидание леденит и лишает теплоты мое земное бытие. Я из тех, кто имеет уши, улавливающие звон березовой почки, когда она просыпается от зимнего сна. Где же теперь моя чуткость, мудрость и прозорливость?» (из письма Н. А. Ключева Н. Ф. Христофоровой-Садомовой от 10 июня 1934 года. — ИРЛИ, р. 1, оп. 12, ед. хр. 534, лл. 1 об.— 3; об адресате этого письма см.: Субботин С., «Сибирские письма Николая Ключева». — «Красное знамя» (Вытегра), 17 октября 1985 года).

⁵ Ср.: «У меня нет никакой верхней одежды, я без шапки, без перчаток и пальто. На мне синяя бумазейная рубаша без пояса, тонкие бумажные брюки, уже ветхие. Остальное все украли шалманы в камере, где помещалось до ста человек народу, днем и ночью прибывающего и уходящего. Когда я ехал из Томска в Нарым, кто-то, видимо узнавший меня, послал мне через конвоира ватную короткую курточку и желтые штиблеты, которые больно жмут ноги, но и за это я горячо благодарен» (там же, лл. 4—4 об.).

⁶ Скорее всего речь идет здесь о поэте Павле Васильеве (1910—1937). См. письмо 5, прим. 2.

⁷ Сведения об этих людях пока не обнаружены.

⁸ Кукарка — ныне Советск, районный центр Кировской области.

⁹ Пешкова Екатерина Павловна (1876—1965) — общественная деятельница; работала в Политическом Красном Кресте.

¹⁰ Имеется в виду Организационный комитет Союза советских писателей СССР, созданный в 1932 году.

¹¹ Бубнов Андрей Сергеевич (1884—1940) — в то время народный комиссар просвещения РСФСР.

¹² См. ниже заявление Ключева во ВЦИК.

¹³ Здесь и ниже Егорушка — сын С. А. Клычкова, крестник Н. А. Ключева, один из авторов данной публикации; кума — Горбачева (Клычкова) Варвара Николаевна (1901—1975), см. о ней вступительную статью.

2. С. А. КЛЫЧКОВУ

<Колпашево, 12 или 13 июля 1934 г.>

Дорогой брат и поэт, получил твою телеграмму из Новосибирска — благодарю за нее и за твои хлопоты. Денег и посылки еще не получал (сегодня 13-е июля). Жду от тебя письма. Прилагаю при сем два моих заявления¹, которые и прошу лично передать по назначению. И немедля быстрым письмом сообщить мне дословно — все, что ты услышишь и увидишь. В таких бедствиях, как мое, люди продают своих детей в рабство, чтобы спасти хотя бы малое что. Земню

тебе кланяюсь и целую ноги твои, плача кровавыми слезами, — потрудись без шума и без посторонних глаз и ушей — вручить мои заявления по назначению. Если же ты поделиться ими с кем-либо заранее, то знай, что провал обеспечен, ибо сейчас же все попадет в кружало 25—Тверской бульвар² и оттуда по всей Москве. Особенно постараются разные поэтические звезды. Говорю это со всей тревогой и серьезностью. Также нужно не завала заявления, а приступить к делу немедленно, чтобы мне ответ получить до наступления зимы, когда Нарым отрезан на девять месяцев ото всего мира. С ужасом жду зимы. Я — нищий, без одежды и без хлеба. Умоляю Владимира Кириллова³ подарить мне оленьи пимы и шапку, которые он привез с Большой тундры. Они у него все равно погибнут от моли и полной ненужности. Поговори с ним, не волоча времени. Это было бы моим спасением от 60-гр[адусной] Нарымской зимы.

Пимы и шапка — укупорки не требуют — завернуть покрепче в газеты, зашить в тряпку и послать мягкой Ценной посылкой. Только непременно Ценной, иначе может потеряться. Посылка идет с Москвы месяц, письмо 15—17 дней. За всякий кусок, за каждый рубль стираю к твоим ногам сердце свое. Лучше всего, если бы ты сам взял у Кириллова помянутые вещи и потрудился лично выслать. Мне большого труда стоило разыскать сносной бумаги и написать эти заявления. Бумаги здесь нет. Прошу тебя и о ней. Также нельзя ли достать хинина из Кремлевской аптеки от малярии. Это страшное явление не минет меня — оно здесь повально. Умоляю об этом! Прощай, прости! За грубость, но не за холод сердца, ибо такого греха перед тобой я не знаю. Прощай, милый и любимый! Кланяюсь Варваре Николаевне, благословляю Егорушка. Завещаю тебе в случае моей смерти поставить на моей могиле голубец⁴ — в хмурой Нарымской земле. Я, как голодающий индус, каких я видал на страницах Нивы⁵, — и не узнать теперь. Очень ослаб. Весь поседел, кожа стала буро-синей и растрескалась, как сухая земля. Пришли мне Мадур в изд[ании] Академии⁶. Если вышло что Васильева — тоже. Сходи на Гранатный⁷ — вниз к моим соседям — узнай, что с моей квартирой, и сообщи мне. Я ничего не знаю и не слышу. О получении этого письма телеграфируй⁸. С трепетом буду ждать ответа. Отнесись, умоляю тебя, посерьезней — к этому своему благороднейшему труду! Горючо целую. Безмерно скучаю. Долгим рыданием покрываю это письмо. Не забывай милостыней: скажи и другим про это.

Прощай, мой прекрасный брат.

12 июля 1934 г.

Н. Клюев.

При личном свидании с Михаилом Ивановичем⁹ лучше всего было бы, если бы ты с первых же слов сам вслух прочитал ему мое заявление, а потом уже подал ему. Это очень важно. Нельзя ли поговорить с Молоковым, или со Шмидтом, или с матерью Дмитрова, наконец с Верой Фигнер¹⁰. Все эти люди меня знают. И аудиенция не пришлось бы ждать.

¹ В АК сохранилось одно из этих заявлений (во ВЦИК), очевидно, не переданное по назначению (см. ниже). Куда было адресовано второе заявление (по-видимому, аналогичного содержания) — не установлено (но ср. письмо 10).

² Тогдашний адрес Союза писателей (известный Дом Герцена). Современник свидетельствует: «...в доме Герцена на Тверском бульваре <...> все кишело всякой писательской шушерой и провокаторами» (Б. С. Кузин, «Об О. Э. Мандельштаме», — «Вопросы истории естествознания и техники». 1987, № 3, стр. 141).

³ Кириллов Владимир Тимофеевич (1890—1943) — поэт.

⁴ Голубец — памятник на могиле в виде креста с кровелькой.

⁵ «Нива» — популярный дореволюционный иллюстрированный журнал.

⁶ Имеется в виду книга: М. А. Плотников. Янгал-Маа. Вогульская поэма со статьей автора о вогульском эпосе. — С. Клычков, Мадур Ваза — победитель. Вольная обработка поэмы «Янгал-Маа». М. — Л. «Academia». 1933.

⁷ Клюев жил в Москве по адресу: Гранатный пер. (ныне ул. Щусева), д. 12, кв. 3 (дом не сохранился).

⁸ Ср. открытку Клюева Клычкову (почтовый штемпель: Колпашево. 04.8.34.): «Получил перевод 30 руб. в самый разгар голода. Питался только хлебом и диким лесным чесноком. Земно кланяюсь. Заявления посланы ценным письмом в 50 руб. Как только получишь, извести телеграммой. Вся моя надежда связана с этим письмом и тихим с ним обращением без лишних свидетелей. Кланяюсь В[арваре] Н[иколаевне], крестнику. Прощайте. Не забывайте! Н. К.» (АК).

⁹ То есть Калинин.

¹⁰ Молоков Василий Сергеевич (р. 1895) — летчик, участник спасения челюскинцев, Герой Советского Союза; Шмидт Отто Юльевич (1891—1956) — ученый, академик,

руководитель экспедиции на «Челюскине»; Досева Михайлова Парашкева (1862—1944) — мать Георгия Димитрова; Фигнер Вера Николаевна (1852—1942) — член Исполкома «Народной воли», видный деятель русско-революционного движения.



«Колпашево, 12 июля 1934 г.»

Во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
Административно ссыльного в Нарымский край,
в поселок Колпашево поэта Клюева Николая Алексеевича

Заявление

После двадцати пяти лет моей поэзии в первых рядах русской литературы я за безумные непродуманные строки из моих черновиков¹, за прочтение моей поэмы под названием Погорельщина, основная мысль которой та, что природа выше цивилизации, сослан Московским ОГПУ в Нарым на пять лет.

Глубоко раскаиваясь, сквозь кровавые слезы осознания нелепости своих умозрений, невыносимо страдая своей отверженностью от общей жизни страны, ее юной культуры и искусства, я от чистого сердца заявляю ВЦИКомитету следующее:

«Признаю и преклоняюсь перед Советовластием, как единственной формой государственного устройства, оправданной историей и прогрессом человечества!»

«Признаю и преклоняюсь перед партией, всеми ее директивами и бессмертными трудами!»

«Чту и воспеваю Великого Вождя мирового пролетариата товарища Сталина!»

Обязуюсь и клянусь все силы своего существа и таланта отдать делу социализма.

Прошу помилования.

Если же помилование ко мне применено быть не может, то усердно прошу о смягчении моего крайне бедственного положения.

Я инвалид второй группы. Климат Нарыма, повальная малярия, отсутствие специальной мед-помощи, непосильная дороговизна бытовой стороны грозят мне неизбежной гибелью.

Если я недостоин помилования, то усердно прошу уменьшить мне срок ссылки, дать мне минус шесть или даже минус двенадцать² без прикрепления к одному месту.

Все это спасло бы меня от преждевременной смерти и дало бы мне переживающему зенит своих художнических способностей, возможность новыми песнями искупить свои поэтические вины.

Справедливость, милосердие и русская поэзия будут ВЦИК благодарны.

Николай Клюев.

12 июля
1934 г.

Адрес: Северно-западная Сибирь, поселок Колпашево.

¹ В «Листках из дневника» Анны Ахматовой читаем: «Я своими глазами видела у Варвары Клычковой заявление Клюева (из лагеря о помиловании): «Я, осужденный за мое стихотворение — «Хулители искусства» — и за безумные строки моих черновиков» (эти строки не вошли в вариант «Листков», недавно опубликованный журналом «Юность», 1987, № 9, стр. 72—74; они содержат две очевидные — после сравнения с заявлением Клюева — фактические неточности, связанные с ошибками памяти А. Ахматовой).

² Речь идет о такой мере наказания, как высылка с запрещением проживать в шести, девяти или двенадцати крупнейших городах страны.

4. Н. С. ГОЛОВАНОВУ¹

Северно-Запад[ная] Сибирь,
поселок Колпашево.
25 июля 1934 г.

Дорогой Николай Семенович, прошлую зиму я был поставлен в очень тяжелые и невыносимые жизненные условия и в силу их отдалился от многих драгоценных моему сердцу людей, старался лишний раз не быть и у Вас, подвергаясь, быть может, дурному о себе самом пониманию, но ради моей судьбы, как художника и человека, прошу Вас, помогите мне участием, ибо вся моя надежда на помощь тех, кто не может пройти мимо трагедии поэта. Я сослан за поэму «Погорельщина», ничего другого за мной нет. Статья 58-ая, пункт 10-й, предусматривающий агитацию.

Я неминуемо погибну без помощи со стороны.

Услышьте, помогите!

Все свои прекрасные и заветные вещи в Москве я хотел бы предоставить Вам, на Ваши оценку и усмотрение².

Сообщите телеграммой, возможно ли через Вас передать лично Калинин или Ворошилову мое заявление о помиловании. Это самый верный путь к моему спасению.

Прошу великую Нежданову о помощи³. (Так я и не окончил «Повесть об Алконосте нежданом», где есть потрясающие по красоте русские раскопки об Ан[тонине] Васильевне.) Если останусь жив — допишу — это небывалое и многоцветное, как павлин, произведение⁴.

Умоляю о посылке Вашу маменьку и сестрицу⁵ — чаю, сахару, макарон, крупы для каши, сала, сухарей белых, компоту яблочного от цинги и т. п. Деньги только телеграфом.

Сообщение почтой тянется месяцами, с октября до зимнего пути совершенно прекращается.

История и русская поэзия будут Вам благодарны. Целую ноги Ваши и плачу кровавыми слезами.

Николай Клюев.

¹ Голованов Николай Семенович (1891—1953) — выдающийся дирижер и музыкально-общественный деятель. Впервые Голованов встретился с Клюевым в декабре 1929 года на званом вечере у искусствоведа А. И. Анисимова, где поэт читал свои произведения. Вот что писал Голованов, находясь под свежим впечатлением от этого чтения: «Я давно не получал такого удовольствия. Этот поэт 55 лет с иконописным русским лицом, окладистой бородой, в вышитой северной рубашке и поддевке — изумительное, по-моему, явление в русской жизни. Он вывел Есенина на простор литературного моря. Сам он питерец, много печатался. Теперь его ничего не печатают, так как он считает трактор наваждением дьявола, от которого березки и месяц бегут топиться в речку. Стихи его изумительны по звучности и красоте: философия их Достоевско-религиозная — настоящая вымирающая <одно слово ирзбр> Русь. Читает он так мастерски, что я чуть не заплакал в одном месте» (из письма А. В. Неждановой, опубликованного в книге: Н. С. Голованов. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания современников М., 1982, стр. 99; купюра в печатном тексте восстановлена по оригиналу письма, хранящемуся в Вокально-творческом кабинете имени А. В. Неждановой). В личной библиотеке Н. С. Голованова сохранились две книги, надписи Клюева на которых указывают на взаимное дружеское расположение, возникшее между поэтом и дирижером. Одна из этих надписей — на первой книге клюевского «Песнослава» — опубликована в примечаниях к письму Голованова, цитированному выше. Другой книгой, подаренной Голованову Клюевым, является старопечатное Евангелие; стилизованное посвящение на нем гласит: «Во имя Господа Иисуса Христа ради Его св. Имени на русской земле благословляю сие Св. Евангелие Николаю Семеновичу Голованову на спасение жизнь, крепость и победу над врагами видимыми и невидимыми. Н. Клюев. Лета от рожества Бога-Слова 1931. Октября 21 дня» (ТЛДМ).

² Еще до ареста, находясь в крайне стесненном материальном положении, Клюев обратился к Голованову с предложением продать иконы из своего собрания: «Извините за беспокойство, Николай Степанович (так; ошибка памяти Клюева — Г. К., С. С.). Нс я не нахожу возможным предложить свои заветные вещи не показав их Вам! К собранию Ваших глубоко бытовых и мистических икон. «Недреманное око». «София» — весьма уместны «Лозо Авраамово» и «Царь Димитрий Иоан<н>ович, что в Угличе». Вещи подлинны и редкие по изображению Цена по сту руб[лей] за каждую. Я очень болен и в большой нужде Кляняюсь Вам с сердечной преданностью. Милосердие и

русское искусство будут Вам благодарны. Н. Клюев» (ТЛДМ, № 4395/971). В комментируемом письме Клюев вновь возвращается к этому своему предложению.

³ Ср.: «Сходите к Антонине Васильевне Неждановой, Б[ольшой] Кисловский пер[еулок], дом 4. Поговорите с ней обо мне — и о том, чтобы она поговорила с Горьким — об облегчении моего положения. Скажите А. В., что Горькому будет приятно видеть ее — не забудьте. Они давно знакомы — еще по Италии, когда Алексей Макс[имович] был там в изгнании» (из письма Клюева С. А. Толстой-Есениной, отправленного из Колпашева 17 июня 1934 года. — Государственный музей Л. Толстого, АСТ-Е, № 20551).

⁴ Ни текст, ни судьба «Повести об Алконосте нежданом» не известны. В рукописи Н. С. Голованова «А. В. Нежданова» (лл. 96—97), хранящейся в Вокально-творческом кабинете имени А. В. Неждановой, содержится список стихотворения Клюева, обращенного к певице. Вот его полный текст:

«Посвящается Антонине Васильевне Неждановой — Сириной птице, поющей и вызывающей о красоте Русской Народной Земли.

Мне сказали, что ты умерла
Заодно с золотым листопадом.
И теперь, лучезарно светла,
Правишь горним, неведомым градом.

Я нездешним забыться готов, —
Ты всегда баснословной казалась
И багрянцем осенних листв
Не однажды со мной любовалась.

Говорят, — что не стало тебя,
Но любви иссякаемы ль струи?
Разве травы — не ласна гвоя?
И лучи — не гвои поцелуи?

Вспоминаю Тебя и не помню...
Отцвели резедовые дни.
На последнем пути — не легко мне
Сторожить гробовые огни.

Скоро сердце уснет непробудно,
До заката — не встретиться нам.
Присылай белокрылое судно
К полуночным моим берегам.

Там лишь звезды, да сумрак голубый,
На утесе заплаканный крест,
И плывут в океанские губы
Паруса — хороводом невест.

Стонет чайка о юном матросе,
Что погиб, роковое любя.
Н<о> в лугах — на душистом покосе
Я услышал, царевна, — Тебя.

Чтоб малинник по девушке-вербе
До рассвета рыдал соловьем...
Хорошо, когда жизнь на ущербе
Лебединым пахнула крылом.

Словно озеро в синих ирисах,
Ель цветет и резвится форель.
Только траурной мглой кипариса
Просквозило карельский Апрель.

Пусть же сердце уснет непробудно,
Зная тайну ревнивых веков,
Что плывет мое лунное судно
В лед и яхонт любимых зрачков

Николай Клюев».

Как вспоминает М. И. Голгофская, Клюев записал это стихотворение (в ее присутствии) на квартире А. В. Неждановой (январь 1930 года) после того, как он слушал певицу, готовившуюся к выступлению в клюевском автографе, подаренном Неждановой (и ныне утраченном), по словам М. И. Голгофской, практически не было поправок. Это скорее всего означало, что поэт записывал текст, припоминая уже сочиненное, а не создавая нечто новое. Три первые строфы (эпиграф) — это известное стихотворение Клюева начала 1910-х годов (оно очень нравилось Н. С. Голованову — в подаренной ему поэтом первой книге «Песнословия» над стихотворением «Мне сказали, что ты умерла...» есть помета дирижера. «Чудесно»). Основной же текст стихотворения («Вспоминаю Тебя и не помню...») — после его сопоставления с другими произведениями Клюева тех лет — дает основание предположить, что первоначальным его

адресатом был А. Н. Яр-Кравченко (1911—1983), художник, друг поэта. Вероятнее всего, Клюев переписывал А. В. Неждановой это созданное ранее произведение (по-видимому, дав ему другую редакцию).

⁶ Голованова Елизавета Тимофеевна (1864—1947) и Голованова Ольга Семеновна (1893—1969).

5. С. А. КЛЫЧКОВУ

<Колпашево,> 18 августа <1934 г.>

Дорогой Сереженька — прими мою благодарность и горячий поцелуй, мои слезы — за твои хлопоты и заботу обо мне. В моем великом несчастье только ты один и остался близ моего креста — пусть земля и небеса благословят тебя. Мое несчастье не человеческое, а какое-то выходящее из всех понятий о бедах и страданиях. Уж очень я нелеп в среде ссыльных и поселенцев на р. Оби. Нежный, с сивой, как олений мох, бородой, с маленькими руками, с погасшим, едва слышным голосом, с глазами, ушедшими в череп... но что об этом? Я думаю, что все равно меня не спасти, лето я еще прожил, а страшная полярная зима — меня доконает. Нужно иметь хотя бы 50 руб. аккуратно в месяц — за комнатушку и дрова, которые здесь, как это ни нелепо, дороги потому, что привезти их некому — у жителей нет лошадей. Милый мой — подумай, как раздобыть эти ежемесячные 50 руб.? Нельзя ли собрать, попросить кого? В своем отчаянии я ничего не могу сообразить. Но сейчас же — по телеграфу пусть, кто может, помогут мне. Поговори с Леоновым — быть может, он пошлет мне немедленно 50 руб. Квартира моя запечатана — когда будет возможно и что только можно, нужно продать и деньги выслать телеграфом, но когда это — неизвестно. Крепко надеюсь, что ты, тщательно и любовно потрудясь, устроишь эти заявления¹ — они писаны мною, как пишут с эшафота. Если будешь лично передавать, то проси в крайнем случае о смягчении моей участи. Уменьшения срока, перевода туда, где есть медпомощь, и назначения мне хотя бы хлебного пайка. Прошу П. Н. Васильева о милостыне — ради моих песен! Целую его ноги за милосердие — передай ему!²

Неужели он пройдет мимо моей плахи — только с пьяным смехом?!

Кланяюсь Варваре Ник[олаевне], Георгию. Так бы и стукнулся лбом перед кумой — наревелся бы досыта. Прошу телеграфировать о получении этого письма — оно меня до смерти волнует. Хорошо бы результаты получить до зимы, пока ходят пароходы. Если зазимую, не знаю, где буду жить, придется в землянке-яме — где цинга и... конец. Но и за яму нужно платить. Спасите, кто может! Посылки от тебя не получил. 15 р. и 30 р. получил — благодарю. Прощайте! Простите все. Попроси В. Кириллова об оленьей шапке и об оленьих пимах³. Родной мой — живи. Поминай меня — ради нашей молодости и песен.

Жду письма. Помощи. Сердце мое ждать долго не может. Не забывай, Милый, родной, певучий, сладостный брат мой!

Напиши, как съезд писателей — я послал ему заявление-письмо. Нельзя ли узнать, как оно принято?⁴

Прощай!

Н. Клюев.

¹ См. выше заявление Клюева во ВЦИК.

² 9 августа 1934 года Клюев писал П. Васильеву: «Дорогой поэт == крепко надеюсь на твою милостыню. Помогите несчастному. Отплачу сторичей в свое время. Русская поэзия будет тебе благодарна» (АК). Эта открытка была адресована: «С. А. Клычкову для П. Васильева» — и, по-видимому, не была передана адресату.

³ См. письмо 2, прим. 3. «Просили — не дал» (помета В. Н. Горбачевой).

⁴ 5 октября 1934 года Клюев сообщал Н. Ф. Христофоровой-Садомовой: «...есть из Москвы письмо с описанием впечатлений от съезда писателей. Оказывается, на съезде писателей упорно ходили слухи, что мое положение должно измениться к лучшему и что будто бы Горький стоит за это» («Красное знамя» (Вытегра), 17 октября 1985 года).

6. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

<Колпашево, 6 сентября 1934 г.>

Дорогая Варвара Николаевна — получил Ваше письмо, — облил его слезами, благодарю за память, за утеху словами, они так мне нужны. Говорят, что 8 сентября уходит последний пароход, и, быть может, мой стон с этим листком

дойдет до Москвы. Я погибаю от <недое>дания. Впереди страшная <полярная зима,> цинга и т. п. <Часть текста утрачена> поэтически <несколько слов утрачено> изложить ей¹ мою судьбу <несколько слов утрачено> что ее будет рад видеть у себя большой писатель, знакомый ей еще по Италии, и что только она может им по моему делу быть принята и выслушана. Адрес: Большой Кисловский пер., дом 4. Нежданова меня хорошо знает и высоко ценит, и, вероятно, жалует. Заявление о помиловании Калинин, если только Сережа находит это разумным, можно передать через Нежданову же, если она уклонится — то нужно просить Надежду Андреевну Обухову, — но все лично, а не по телефону, и в том случае, если Сереже вырастет какая-либо рогатка и препятствие. Пока же помогите шибко не замедлять милостыней по телеграфу, не то я могу, не дождавшись помилования, умереть с голоду, или меня под свирепые матюги остячка выгонит из угла на снег за неуплату.

Дорогая В. Н., урвите минутку, напишите мне еще страничку. Поговорите о деньжонках с Трениным², он, я верю, меня пожалует и попросит других. Пусть не стесняются суммой. Ваших 50 руб. в Томске я, вероятно, получил³, но мне не объявляли, от кого получение, — таков осторожный режим. Доверенность я посылал и Сереже⁴, и Толе⁵, и другим, но ни от кого не получаю ответа. Напрасно Вы не сообщили имени, отчества и фа<мили> <часть текста утрачена> может <утрачен текст одной строки> стал слаб. Пенсию<нное удостоверение> лежит на столике в моей <квартире,> была бы радость, если получить что-либо⁶. Прошу Вас, не медлите ответом.

Каждый день жизни моей сосчитан. Не припомните ли, сколько раз по моей высылке был у Вас Павел Васильев и Рюрик⁷. Утешали ли они меня или виноватили. Очень прошу обратить на это внимание.

Кланяюсь Вам земным поклоном. Благословляю Крестника. Простите. Прощайте.

Адрес: Сев[еро-]Зап[адная] Сибирь, поселок Колпашев. 6-го сентября 1934 г. Поговорите с Пастернаком, он, наверно, примет — писатель.

¹ Речь идет об А. В. Неждановой.

² Тренин Константин Андреевич (1876—1945) — писатель и драматург.

³ Сохранилась справка со штампом «Бюро жалоб в Гор. почт. Отделении. Москва, ул. Горького 17», за № 1020: «Гр. Горбачев<ой>. На Ваше заяв[ление] от 17/8-34 г. о розыске т/пер. 50 руб. № 1580/6 от 26/4-34 г. Ключеву сообщаем: означен[ный] перевод выплачен лично 7/5-34» (АК). Этот перевод Ключев получил, следуя по этапу в Нарымский край (ср. следующее примечание).

⁴ Приводим текст этой доверенности, сохранившейся в АК:

«Доверенность

следуемого в ссылку по ст. 58/10 в город Колпашев <С>ев[ерно]-запад[ной] Сибири, поэта Ключева Nikol[ая] Алексеевича.

Настоящим доверяю все свое имущество, находящееся в Москве, в доме № 12, кв. 3, по Гранатному пер., писателю Клычкову Сергею Антоновичу, что удостоверяю своей подписью. Ключев Николай Алексеевич. Г. Томск, Изолятор. 12 апреля 1934 г.

Перечень вещей:

- 1) Ковер персидский 7½ аршин.
- 2) Два самовара красной меди 18 века.
- 3) Шесть стульев, резная скамья, два стола и посудный поставец с комодом, старинной русской работы — 17—18-й век.
- 4) Фонарь подвесной, серебряная лампада, две картины, резная полочка и божница, старинной русской работы.
- 5) Три складня — иконы — 16-й—17-й век, и 15-ть икон разных размеров — 16-й и 17-го века, ларец и подголовник, кружка с орлом, два медных светца, один деревянный, 17-й век.
- 6) Кровать ясеневая с периной, ковер, шитый шелком и шерстью, небольшой, черемисской работы, занавес со старинной прошвой. Евангелие и Апостол рукописные — 15-го и 17 века. Книга Кормчая и книга Поморские Ответы рукописная. Посуда и белье. Две старинные скатерти — синяя и белая вышитая.

И все, что находится на кухне, а также и белье, сданное прачке — старушке Лукьяновн<е>, 25-ть штук. И все остальное, что находится в квартире. В узлу платки и сорочка — моей матери.

Николай Ключев.

Адрес Клычкова Сергея Антоновича: Москва, Арбат, Нащекинский пер., дом № 15 — писателей».

Подпись поэта удостоверена начальником канцелярии «Исправ.Трудов. Учреждения Запсибкрая» (текст круглой печати на доверенности). Ниже удостоверяющей подписи Ключев написал карандашом: «Помогите переводом по телеграфу. Г. Томск, Изолятор, Ключеву». Именно об этом переводе и идет речь выше (см. прим. 3).

¹ То ля (далее также Анатолий, Толечка) — Яр Кравченко Анатолий Никифорович.

² Ср письмо 8, прим 3

³ Р ю р и к Ивнев — Ковалев Михаил Александрович (1891—1981), поэт.

7. С. А. КЛЫЧКОВУ

<Колпашево. 21 сентября 1934 г.>

Весьма нуждаюсь в твоём письме, милый. Давно послал заявления ¹, как ответ на твои телеграммы. Клянюсь земным поклоном за твои труды и заботу обо мне недостойном. Помогите. Не забывай. Клянюсь Варваре Никол[аевне], Георгию. Скоро — вероятно, в конце октября пароходы не будут ходить ². Сообщение будет лишь телеграфом. Прощай. Прости! Н. К.
22 сентября ³.

¹ См. письма 2 и 3.

² Спустя полмесяца поэт писал Н. Ф. Христофоровой-Садомовой: «Я в жестокой нарымской ссылке. Это ужасное событие исполняется на мне в полной мере. За окном остоячкой избы, где преклонила голову моя узорная славянская муза, давно крутится снег, за ним чернеет и гудит река Обь, по которой изредка проползает пароход — единственный вестник о том, что где-то есть иной мир, люди, а быть может, и привет с родным гнездом. Едкая слезная соль разъедает глаза, когда я провожаю глазами пароход: «Прощай! Скажи своим свистом и паром живым людям, что поэт великой страны, ее красоты и судьбы, остается на долгую волчью зиму в заточении — и, быть может, не увидит новой весны!» Мое здоровье весьма плохое. Средств для жизни, конечно, никаких, свирепо голодаю, из угла гонят и могут выгнать на снег, если почуют, что я не могу за него уплатить. Н. А. (Обухова. — Г. К., С. С.) прислала месяц назад 30 руб. Это единственная помощь за последнее время. — Что же дальше? <...> я неизбежно и точно, как часы на морозе, замираю кровью, сердцем, дыханием. Увы! для писательской публики, занятой лишь саморекламой и самолюбованием, я не ошутим, как страдающее живое существо, в лучшем случае я для нее лишь повод для ядовитых разговоров и недовольства — никому и в голову не приходит подать мне кусок хлеба. Такова моя судьба, как русского художника, так и живого человека. И вновь и снова я умоляю о помощи, о милостыне. С двадцатых чисел октября пароходы встанут. Остается помощь по одному телеграфу. Пока не закует мороз рек и болот — почта не ходит...» (ИРЛИ, р. I, оп. 12, ед. хр. 534, лл. 16—16 об.; частично опубликовано: «Красное знамя» (Вытегра), 17 октября 1985 года).

³ Авторская дата неточна: эта открытка имеет почтовый штампель «21.9.34».

8. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

<Томск, 12 октября 1934 г.>

Дорогая Варвара Николаевна, жалко, что послал Вам большое письмо ¹, как получал перевод в г. Томск, говорят, что это малость, но я вновь без угла и без куска хлеба. Постучался для ночлега в первую дверь — Христа ради. Жилье оказалось набитое семьей, в углу сумасшедший сын, ходит под себя, истерзанный ². Боже! Что будет дальше со мной? Каждая кровинка рыдает. Адрес: г. Томск, Главпочтамт, до востребования,

Помогите, чем можете ³.

Прощайте.

Ваш Дед Н. Клюев.

12 сентября ⁴.

¹ Это письмо в АК не найдено.

² 24 октября 1934 года, когда поэт уже окончательно обустроился на жительство в Томске он рассказывал (в письме Н. Ф. Христофоровой-Садомовой) о подробностях своих поисков жилья уже в ином — «житийном» — ключе: «Дорогая Надежда Федоровна! На самый праздник Покрова меня перевели из Колпашева в город Томск, это на тысячу верст ближе к Москве. Такой перевод нужно принять как милость и снисхождение, но, выйдя с парохода в ненастное и студеное утро, я очутился второй раз в ссылке без угла и без куска хлеба. Уныло со своим узлом я побрел по неизмеримо грязным улицам Томска. Кой-где присаживался то на случайную скамейку у ворот, то на какой-либо приступок: промкший до костей голодный и холодный, уже в потемки я постучался в первую дверь кособокого старинного дома на глухой окраине города — в надежде выпросить ночлег Христа ради. К моему удивлению, меня встретил средних лет, бледный, с кудрявыми волосами и такой же бородной, человек — приветствием: «Провидение посылает <ет> нам гостя! Проходите, раздевайтесь, вероятно, устали». При этих словах человек с улыбой стал раздевать меня, придвинул стул, встал на колени и стасил с моих ног густо облепленные грязью сапоги. Потом принес валенки, постель с подушкой. Быстро наладил мне в углу комнаты ночлег. Я благодарил, едва сдерживая

рыдание, разделся и улегся — так как хозяин ни о чем не расспрашивал, просил только меня об одном: успокоиться, лечь и уснуть. Когда я открыл глаза, было уже утро. На столе кипел самоварчик, на деревянном блюде черный хлеб... За чаем хозяин поведal мне следующее: «Пришла, говорит, ко мне красивая статная женщина в старообрядческом наряде, в белом платке по брови — прими к себе моего страдальца — обратилась она ко мне с просьбой, я за него тебе заплачу, и подает золотой». Дорогая Надежда Федоровна, вы поймете мои слезы и то состояние человека, когда всякая кровинка рыдает в нем. Моя родительница упреждает пути мои. Мало этого — случилось и следующее. Я полез в свой мешок со съестным — думая закусить с кипятком, но сколько я ни ломал ногтей — не мог развязать пестрядиной кромки которого завязал мне конвойный солдат мешок. Хозяин подал мне ножик, я стал пилить по узлу, и вдоль рубца отлетела уцелевшая пуговка, а за ней из-под толстой домотканой заплатки вылез желтый кружочек пятирублевой золотой монеты!

Вы мне писали, чтобы я пересмотрел свою жизнь; я знаю, что за грехи и за личины житейские страдаю я, но вот Вам доказательство того, что не меркнет простой и вечный свет. Хозяин, соыйный диакон с Волыни, скоро кончает срок своей высылки, поедет через Москву, если можно, то зайдет к Вам с поклонами. Только расспрашивать его не нужно, если он почувствует внутреннее разрешение на это, то и сам расскажет. Про такие явления нельзя говорить холодным, набитым лукавыми словами, людям. Теперь я живу на окраине Томска, близ березовой роши, в избе кустика-жестяника. Это добрые бедные люди, днем работают, а ночью, когда уже гаснут последние городские огни, встают перед образом на молитвенный подвиг, ничего не говорят мне о деньгах, не ставят никаких условий, что будет дальше — не знаю. Уж очень я измучен и потрясен, чтобы ясно осмысливать все, что происходит в моей жизни. Чувствую, что я вижу долгий, тяжкий сон. Когда я проснусь, — это значит, все кончилось, значит, я под гробовой доской. Прошу Вас — потерпите еще немного — не бросайте меня своей помощью по-человечески и по простоте Вашей, Моя блаженная мать небесным бисером оплатит Вам за Вашу хлеб-соль и милосердие ко мне недостойному» (ИРЛИ, р. I, оп. 12, ед. хр. 534, лл. 17, 17об., 18; фрагменты окончания этого письма см.: «Красное знамя» (Вытегра), 19 октября 1985 года).

* На обороте данного письма рукой В. Н. Горбачевой написано: «Пенсию хлопочем вещи сарай желаете высылайте новую доверенность Антонычу аннулируя старые Варвара». Очевидно, это текст ответной телеграммы, отправленной В. Н. Горбачевой в Томск сразу же по получении письма поэта.

* В сентябре 1934 года Ключев был еще в Колпашеве (см. письмо 7); следовательно, здесь он ошибся месяцем (ср. начало письма, приведенного в прим. 2: «На самый праздник Покрова...», то есть перед 1 октября старого стиля).

9. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

<Томск, 1 ноября 1934 г.>

Дорогая Варвара Николаевна. Получил двадцать пять. Благодарю от всего сердца. Живу в углу на окраине Томска у жестяника-старика со старухой. Очень мучительно на чужих глазах со своими нуждами душевными и телесными. Комнатки отдельной здесь не найти, как и в Москве. Это очень удручает. Дрова сорок руб[лей] возик. Везде железные топки с каменным углем. Смертельно ску-чаю. Прошу о письме! Кланяюсь земным поклоном. 1 ноября¹.

¹ Открытка. Год установлен по почтовому штампею.

10. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

<Томск, 26 ноября 1934 г.>

Дорогая Варвара Николаевна, не знаю, как и благодарить Вас за заботы обо мне. Кланяюсь Вам земным поклоном и умываюсь слезами. Прошу Вас не забывать меня весточкой. Можно ли наведаться в Оргкомитете¹ — передано ли во ВЦИК мое заявление²? Надо об этом по возможности чаще напоминать Комитету, потому что он может тянуть передачу годами, как тянул мои заявления о пенсии, пока я сам не добился личного свидания с Калининным. Мне пишут из Москвы, что дама, к которой я просил Вас позвонить³ — была очень больна, вероятно, она еще медленно поправляется. Но весьма бы было любопытно, а быть может, и полезно под каким-либо интересным предлогом, который бы был не похож на просьбу о деньгах — получить от нее разрешения свидеться — и передать ей мой документ⁴ лично. Быть может, она что и сделает, если захочет. Я послал Вам доверенность⁵ (и список вещей). Когда будете ее предъявлять, нельзя ли узнать, почему на предъявленную Зинаидой Павловной Кравченко⁶ доверенность не последовало разрешения получить вещи? Это мне очень важно

знать. О результате Вашего предъявления доверенности известите меня письмом. Как вещи? По возможности их нужно проверить по списку. В первую очередь нужно попытаться продать ковер и складень красный, обложенный медной оковкой, Неопалимой Купины. Этот складень принадлежал Андрею Денисову⁸ — автору книги Поморские Ответы. Писан же он тонким письмом в память Палеостровского самосожжения иже на озере Онего, при царе Алексии⁹. Сплошной красный цвет выражает стихию огня. Этому складню¹⁰ всего бы больше приличествовало быть у меня — связу <я> меня, сгоревшего на своей «Погорельщине»¹¹, с далекими и близкими отцами и дядичами, но что же делать? Они простят меня, слабого и уже одной ногой стоящего во гробе. За складень раньше мне давали полторы тысячи. Теперь сколько дадут. Предложите его Николаю Семеновичу Голованову, изв[естному] дирижеру из Большого театра. Его адрес: Средний Кисловский, дом № 4. Но цены не назначайте — сколько даст сам. Он видел эту вещь у меня на Гранатном. Если даст 750 руб., т. е. половину прежнего — то отдайте, а так попытайтесь продать где-либо иначе. Складень Феодоровской Б[ожией] М[атери] может пойти от 500 руб. Ангел Хранитель большой — от 200 руб. Остальные иконы от ста до 50 руб. штука. Ковер, если он не очень разрушился в сырости, стоит от 300 до 750 руб. Как можете вырядить — Вам виднее. Смотря по покупателю. Древние книги предложите Демьяну Бедному, — он любитель. Свиток пергаментный на древнееврейском языке — стоил тысячу рублей, теперь хотя бы дали сто руб. Это повесть о Руфи, X-го века. В ларце узорном теремном статуэтка Геракла в юности бронзовая <одно слово нрзбр> времени царя Андрияна. Там же серьги из Микенских раскопок¹² — можно предложить музею Изыщных искусств. Но умоляю что-нибудь продать вскорости в течение декабря месяца. Чтобы меня не выгнали на 40-градусный мороз в лохмотьях, без валенок, голодным. Прошу Вас — нельзя ли валенки получить Вам в распределителе — размер отнюдь не больше галош № 10-ый. В моем комоде осталось белого материала 9—10 метров, желательнее его получить — прикрыть мою наготу. Если наторгуете денег, — то нельзя ли купить мне хотя бы пару кальсон готовых и бумазей черной и темно-синей четыре метра на верхнюю рубаху, если бумазей нет, то какого-либо хотя бумажного материала!

И еще к Вам особенное моление: прямо снаходу получите книгу Немецкую Библию — она пуд весу с медными углами и серединой на кожаном переплете¹³. Библия на готическом немецком языке — а в ней, приблизительно в первой половине толщины — заложено в листах мое инвалидное свиде<те>льство¹⁴, бережно переложите его особо в крепкое место, снимите с него копию в горсовете у нотариуса, копию пришлите мне «ценным письмом», а оригинал берегите пуще денег. Дело в том, что этот документ дает мне право если не полного освобождения, то перевода в лучшие климатические условия, чем Сибирь. Я могу очутиться в Воронеже или в Казани, а это было бы для меня истинным счастьем! Потрудитесь для спасения меня несчастного, перелистайте не торопясь Библию — оно там, мое спасение! И я пойду на комиссию. Многие по такому свиде<те>льству освобождаются по чистой. Ах, если бы мне в руки мое инвалидное свиде<те>льство! Помогите! И еще прошу Вас принять во внимание, что если иконы покрыты плесенью, то отнюдь их не тереть тряпкой, а расставить вдоль стенки, хотя бы на пол, но не к горячей паровой трубе, и маленько просушить, пока плесень сама не начнет осыпаться — тогда уже протереть аккуратно в а т о й. Но, Бога ради, не трите никаким маслом, особенно лампадно-гарным, это вечная гибель для иконной живописи!

Пенсионную книжку я получал в Хрустальном переулке. Книжки у меня две — большая, что потерялась, и на место ее получена поменьше, уже вновь действительная (первая неожиданно нашлась). Хотя бы мне получить пенсию со дня моего ареста 2-го февраля по 2-ой май, и то бы было облегчение. В книжке есть листы для доверенности получения, кому я пожелаю.

Если получение за прошлое возможно, то я вышлю Вам доверенность, или Вы пришлите самую книжку — я напишу и вновь возвращу ее Вам почтой — с доверенностью.

До отчаяния нужно мало-мало денег. У моих хозяев в январе освобождается комната 20 руб. в месяц — два окна, ход отдельный, пол крашенный, печка на себя, — то-то была бы радость моему бедному сердцу, если бы явилась возмож-

ность занять ее, отдохнуть от чужих глаз и вечных потычин! Господи, неужели это сбудется?! Мучительней нет ничего на свете, когда в тебя спотыкаются чужие люди. Крик, драка, пьянство. Так ли я думал дожить свой век...

Прошу Вас поговорить с Пришвиным, он ведь близок к Алексею Максимовичу, и сам многие годы относится ко мне хорошо, и злополучную «Погорельщину» мою слушал в моем чтении — и может ясно представить мои преступления. Как принимать мой перевод в Томск? К хорошему это или к худому? Как живет и чувствует себя Сережа^{15?} Близок ли он к Павлу и Рюрику^{16?} Если они Вас не посещают, то я весьма рад этому. Еще раз прошу не забывать меня весточкой. Я ведь живу от письма до письма. В опись вещей я забыл внести фонарь железный, что висел над столом. И Икону Николы с Григорием Богословом в рост, Никола в ризе черными крестами. Размер 6 вер[шков] на 4 вершка. 15-й век. От Толи не получаю уже три месяца никаких известий. Нельзя ли ему написать под каким-либо предлогом, не упоминая меня, чтобы он ответил Вам, и я узнал, что он жив и благополучен? Низко кланяюсь всем милым сердцу. Прощайте. Простите! Адрес: Томск, пер. Красного Пожарника, изба № 12. Мне.
26 ноября
1934 г.

¹ См. письмо 1, прим. 10.

² См. письмо 2, прим. 1, и письмо 3. Видимо, заявление, о котором идет здесь речь, и было одним из двух заявлений, упоминаемых в письме 2.

³ Скорее всего Ключев говорит об А. В. Неждановой.

⁴ См. письмо 6.

⁵ Очевидно, в ответ на телеграмму В. Н. Горбачевой (см. письмо 8, прим. 3) Именно по этой доверенности и было позже получено имущество Ключева (см. письмо 12, прим. 4).

⁶ Вероятно, родственница А. Н. Яр-Кравченко.

⁷ См. письмо 12, прим. 4.

⁸ Андрей Денисов Вторушин (1674—1730) — один из основателей Выговского старообрядческого общежития, видный старообрядческий писатель. См. о нем: «Труды Отдела древнерусской литературы». Л. 1935, т. XL, стр. 42—45.

⁹ В Палеостровском Рождественском монастыре (остров Палей на Онежском озере) в 1687 и 1688 годах (правление царевны Софьи) произошли крупнейшие в истории русского раскола самосожжения старообрядцев.

¹⁰ «Складень оказался казанской подделкой. Шкловский купил и с досадой его вернул» (помета В. Н. Горбачевой).

¹¹ См. письма 1 и 3.

¹² «Увы, не было ни серег, ни свитка, ни статуэтки» (помета В. Н. Горбачевой).

¹³ В АК сохранилось старопечатное издание «BIBLIA: Das ist, Die gantze Schrift, Aites und Neues Testaments Teutsch, D. Martin Luthers... Nürnberg: C. Endter. 1670», однако вид переплета этой книги не совпадает с ключевским описанием. Таким образом, либо поэт запямятовал, как выглядела его «Немецкая Библия», либо речь здесь идет о другой, не дошедшей до наших дней книге.

¹⁴ См. письмо 14, прим. 9.

¹⁵ Клычков.

¹⁶ То есть к Васильеву и Ивневу.

11. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

«Томск, начало — первая половина декабря 1934 г.»¹

«Пишу Вам че>твертое письмо, <дорогая Варва>рия² Николаевна. <В них я говор>ил, что удасть, <быть может,> кое-что из моего <имущества прода>ть и выслать <мне деньги на> хлеб. Свыше человеческих сил мое страдание. Быть может, уцелело что-либо из продуктов: в чайном поставце осталась четверть хорошего чаю не раскупоренной, и в стеклянной чайнице высыпана другая четверть фунта. Кофе в глиняной зеленовато-черной большой сахарнице с крышкой, жареный, два фунта. Цикория в пачках. В кухонном столе двадцать фунтов гречи. Ах, если бы чудом все это уцелело! Много и другого: макаронны, рис, пшено, всего не помню. Быть может, удалось бы соорудить посылочку³. Какое бы было счастье! Жадно жду письма от Вас. Нельзя ли вспомнить мужских черных ботинок? Они совершенно хорошие, и мне хватило бы их надолго. Есть и сандалии. Одним словом, все, что можно. Побеспокойтесь! До гробной доски не забуду Вашего милосердия. Вся надежда, что в течение декабря что-нибудь выяснится с деньжатами. Иначе меня выгонят на улицу. За угол нужно платить 20 руб. в месяц.

С января можн<о бы было уже> нанять отдельн<ую комнатушку,> но, повторяю, не<где взять ежеме>сячные 20 руб. <Толечка не мо>жет ничего боль<ше сделать. Он> живет только на <ученическую сти>пендию⁴; соверше<нно без помощи,> так как родны<е его оставили,> переехали на постоянное <местожительство> в Севастополь. За семьей-то ему было легче, а теперь вовсе тяжело. Желательно бы не сломать резной спинки у моей скамьи. Скамья разбирается, и спинка снимается, только выбрать клинышки с испода и положить спинку плашмя на скамью, перевязать, и она не сломается при перевозке. В Томске глубокая зима. Мороз под 40°. Я без валенок, и в базарные дни мне реже удается выходить за милостыней. Подают картошку, очень редко хлеб⁵. Деньгами от двух до трех рублей — в продолжение почти целого дня — от 6 утра до 4-х дня, когда базар разъезжается. Но это не каждое воскресенье, когда и бывает мой выход за пропитанием. Из поданного варю иногда похлебку, куда полагаю все: хлебные крошки, дикий чеснок, картошку, брюкву, даже немножко клеверного сена, если оно попадет в крестьянских возах. Пью кипяток с брусникой, но хлеба мало. Сахар великая редкость. Впереди морозы до 60°, но мне страшно умереть на улице. Ах, если бы в тепле у печки! Где мое сердце, где мои песни?! Еще раз умоляю о письме. Про запас прощайте. Кланяйтесь моим знаменитым друзьям — русским художникам⁶ и поэтам!

¹ Датируется по содержанию и в связи с письмом 10. Часть текста (примерно восьмая листа) утрачена; его реконструкция, сделанная нами по аналогии с другими письмами поэта последних лет его жизни, разумеется, не носит абсолютного характера.

² Так в письме.

³ Очевидно, это было написано Ключевым до получения посылки из Москвы (в АК сохранилась квитанция на посылку весом 2,8 килограмма, ценность 20 рублей, отправленную в Томск 1 декабря 1934 года).

⁴ Ср.: «...Толя — не имеет ничего, кроме ученической субсидии» (из письма поэта Н. Ф. Христофоровой-Садомовой от 5 октября 1934 года. — ИРЛИ, р. I, оп. 12, ед. хр. 534, л. 16).

⁵ Ср.: «На базаре, как он рассказывал, его принимали за духовное лицо, и женщины клали в его необъятные карманы яйца, пирожки и пр.» (В. В. Ильина. Воспоминания о Николае Алексеевиче Ключеве. — ИРЛИ, р. I, оп. 11, ед. хр. 138, л. 6).

⁶ Примерно в то же время Ключев отправил письмо художнику И. Э. Грабарю (1871—1960), написавшему в 1932 году портрет поэта: «Игорю Грабарю от поэта Николая Ключева. Я погибаю в жестокой ссылке, помогите мне, чем можете. Милосердие и русская поэзия будут Вам благодарны. Адрес: Север[о-]Запад[ная] Сибирь, г. Томск, переулок Красного Пожарника, изба № 12. 7 декабря 1934 г.» (отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи, ф. 106, № 6076).

12. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

<Томск, 21 или 22 января 1935 г.>¹

22 января.

Получил Ваш перевод 40 руб². Кланяюсь Вам за эту помощь земным поклоном. Всякая милостыня более или менее отсрачивает мой конец. Обливаясь слезами, смотрю на четыре десятирублевки и не верю своим глазам. Ведь целый месяц у меня будет хлеб и брусника с кипятком!³ Прошу Вас о письме — каждое Ваше слово для меня значительно. Как моя доверенность?⁴ Как заявление, которое передано в Оргкомитет?⁵ Стоит ли мне цепляться за жизнь или поторопиться закрыть глаза гробовой доской? Простите! Прощайте!

Н. Ключев.

Адрес прежний.

¹ Адресат и год написания устанавливаются по сохранившемуся конверту (почтовый штампель «21.1.35»).

² Квитанция телеграфного перевода от 17 января 1935 года (АК).

³ К счастью, в январе — феврале 1935 года поэт получил материальную помощь как от В. Н. Горбачевой, так и от других своих друзей, 31 января 1935 года В. Н. Горбачева послала ему почтовый перевод на 120 рублей (квитанция в АК). 22 февраля 1935 года Ключев писал Н. Ф. Христофоровой-Садомовой: «Я известил Вас телеграммой, что все переводы я получил в целости. <...> Я теперь не в общей избе — у меня угол за заборной, хотя дверь в общую избу не навешена. Но у меня чисто, купил кровать за 20 руб., есть подушка и одеяло, чайник для кипятка, деревянная чашка для еды, с такой же ложкой. <...> Ключкова не печатают. Это добрый, хоть и рассыпанный человек — иногда его жена (то есть В. Н. Горбачева. — Г. К., С. С.) мне посылает милос-

тыню. И я кланяюсь земным поклоном ночным тучам и вершинам сибирских сосен за ее милосердие» (ИРЛИ, р. I, оп. 12, ед. хр. 534, лл. 22 об — 23, 24). 28 февраля 1935 года В. Н. Горбачева вновь отправила ему телеграфный перевод на 40 рублей (квитанция в АК).

4 В том же письме от 22 февраля 1935 года (прим. 3) Ключев писал: «Доверенность на мое имущество я послал Сергею Клычкову, но еще ничего определенного он не добился» (там же, л. 23 об.). Тогда поэт еще не знал, что 20 февраля 1935 года В. Н. Горбачевой было разрешено взять его имущество из под ареста Приводим (по копии, сохранившейся в АК) опись ключевского имущества, которое было получено В. Н. Горбачевой:

«Опись»

имущества и вещей Ключева Николая Алексеевича, находившихся Гранатный пер., 12, на хранении в домоуправлении, составлена в присутствии Курановой В. А. и Горбачевой В. Н. на основании ордера № 356 Г. У. Г. б. НКВД от 20 февраля 1935 г. Опись производил комиссар Аракчеев.

| №№ пп | Наименование вещей и предмет[ов] | Колич[е- ство] | Состояние вещей | Примечание |
|----------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Буфет | 1 | Старый | |
| 2 | Столов разных | 3 | » | Один расшат[ан- ный] |
| 3 | Кровать деревян[ная] | 1 | » | |
| 4 | Перин | 2 | » | |
| 5 | Тарелок разных | 22 | » | |
| 6 | Блюд <ец> | 7 | » | |
| 7 | Чашек | 12 | » | |
| 8 | Чайников | 9 | » | |
| 9 | Глиняных чашек | 2 | Старые | |
| 10 | Рюмок больничных | 2 | » | |
| 11 | Плащ прорезин[енный] | 1 | » | |
| 12 | Подушки разные | 3 | » | рваные |
| 13 | Брюк разных | 5 | » | рваные |
| 14 | Полотенец разных | 15 | » | |
| 15 | Салфеток | 4 | » | |
| 16 | Рубашек и кальсон | 15 | » | разные |
| 17 | Наволочек | 2 | » | |
| 18 | Платков шелковых | 3 | » | |
| 19 | Мадепалам (так. — Г. К., С. С.) | 6 шт. | Новый | |
| 20 | Байки | 3 1/2 м. | » | |
| 21 | Вудильник | 1 | Старый | |
| 22 | Простыней | 2 | » | |
| 23 | Крестов черн[ого] мет[алла] | 3 | » | |
| 24 | Бритва с прибор[ом] | 1 | » | |
| 25 | Вотинки с коньками | 1 | » | |
| 26 | Вотинки разные | 3 | Старые | |
| 27 | Валенки | 1 | » | |
| 28 | Сандалии кожан[ые] | 1 | » | |
| 29 | Икон разных дерев[янных] | 34 | » | |
| 30 | Картин разных разм[еров] | 6 | » | |
| 31 | Ковров разных | 17 | » | Один большой персидский |
| 32 | Церковная дорожка | 1 | » | |
| 33 | Пальто демисезонн[ое] | 1 | » | |
| 34 | Лапти лыновые | 2 | » | |
| 35 | Икон метал[лических] разн[ых] | 5 | » | белого мет[алла] |
| 36 | Стульев разных | 7 | » | 3 дубовых |
| 37 | Лавка деревянная | 1 | » | |
| 38 | Книг церковных | 24 | » | Старинные |
| 39 | Книг и журналов разных | 200 | » | |
| 40 | Самовары старинные | 2 | » | |
| 41 | Подсвечники красн[ой] м[еди] | 4 | » | |
| 42 | Сундук деревянный | 1 | » | |
| 43 | Корзина плетеная | 1 | » | |
| 44 | Шнатулок разных | 4 | » | |
| 45 | Керосинки | 2 | » | |
| 46 | Рукомятник старин[ный] | 1 | » | |
| 47 | Узел с тряпками и старыми ризами | | | |
| 48 | Свечей | 11 шт. | | |

| | | |
|--|---|--------|
| 49 Гардина дерюжная | 1 | Старая |
| 50 Фонарик черн[ого] мет[алла] | 1 | » |
| 51 Облигаций разных займов на сумму 370 руб. (триста семьдесят) | | |

Понятые

<две подписи>

Вещи по данной описи приняла
по доверенности

В. Горбачева <подпись>

Комиссар отряда

Аракчеев <подпись>».

* См. письмо 10, прим. 2.

13. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

<Томск, не позднее 2 марта (?) 1935 г.>¹

...Не сообщите ли мне, сколько икон сохранилось? Складня было три. Успенне большое, два аршина высоты, на полуночном фоне — черном. Икона всяма истовая: Спас стоит — позади его олонецкая изба — богатая, крашенная — с белыми окнами. Спас по плечи — большой на черном фоне. Ангел хранитель аршинный. Зосим-Савватий семивершковая икона. Ангел хранитель икона девяти-вершковая с тропарем, писанным вокруг лика. Корсунская с большим ликом. Явление Богородицы пр[еподобному] Сергию — икона семь вершков, с нею в руках умерла моя мать. Книга Псалтырь с серебряными уголками — очень для меня дорога. Евангелие рукописное новгородское. Толковое Евангелие рукописное. Книга Поморские Ответы рукописная². Крест деревянный (следует рисунок. — Г. К., С. С.) такой формы. Лампадка стоячая медная (следует рисунок. — Г. К., С. С.) гладкая, без птички (было еще две с ножкою в виде птицы). Из всего перечисленного я хотел бы сохранить «Псалтырь» с серебряными уголками, изображенный крест, икону Явление Сергия, гладкую лампадку и складень с Богородицей посредине, левая сторона расписана у складня белым узором (у второго же складня боковые створки подбиты кожей). Особенно прошу о Книге Псалтырь! Впрочем, все в Вашей воле. За все благодарю со слезами. Все Ваши заботы обо мне недостойном слагаю в сердце своем. Не удосужитесь ли передать поклон, хотя бы по телефону, Георгию Чулкову³ и сообщить мне его адрес? У меня есть несколько нужных слов к нему. Кланяюсь Гранатному пер[еулку]⁴. Там я пережил много прекрасного.

Простите. Не осудите.

Адрес прежний.

Н. Клюев.

¹ Датируется предположительно по содержанию и в связи с тем, что в АК сохранился конверт от заказного письма поэта В. Н. Горбачевой, отправленного из Томска 2 марта 1935 года (почтовый штемпель). Первый лист данного письма в АК не найден. Из сохранившегося текста явствует, что оно написано после получения Клюевым известия, что его имущество выдано В. Н. Горбачевой.

² См. об ее авторе письмо 10, прим. 8 (книга сохранилась).

³ Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — литератор символистского круга. О письмах Клюева к нему у нас сведений нет.

⁴ См. письмо 2, прим. 7.

14. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ¹

<Томск, 1 апреля 1935 г.>

...сломаны, а потому они отваливаются. Складень находился в сундуке, перевязан веревочкой. С левой стороны он расписан беловатыми узорами. Форма: (следует рисунок. — Г. К., С. С.). Самовар маленький с четырехугольным подно-сиком — красной меди, щипцы сахарные большие, чашку синюю, шестигранную с таким же блюдцем, сахарницу белого металла с крышкой (следует рисунок. — Г. К., С. С.). Сахарницу красной меди с крышкой. Братину деревянную с крышкой и ручкой (следует рисунок. — Г. К., С. С.). Четыре деревянных ковшичка для питья вина (следует рисунок. — Г. К., С. С.). Скатерть из белых льняных квадратов вышита синим и красным работы моей матери. Два плата шелковых

маминых, повойник черный атласный. (Бога ради, прошу сохранить!) Две лестовки² кожаных, одна вышита жемчугом, другая более новая, лебедиными перышками (следует рисунок.— Г. К., С. С.). Если когда-либо соберется посылка, то прошу эти лестовки послать мне. Вот и все мое имущество, которое я прошу пока сохранить. Остальное все можете продавать (забыл еще прошу из старинных лоскутов³, которая покрывала верхний край завесы, разделяющей мою комнату). Если уцелели мои белые брюки и холщевая рубаха с пояском из шерсти, на источках стеклярус (пояском было много, в том числе шелковый лиловатый, мой крестильный, и голубой, затканы молитвой — очень для меня дорогие). Сандалии, — здесь я их почию. Шляпа русская — грешневик — серовато-белая ватской валки — очень прошу все послать. Если сохранились полотенца — то прошу **сохранить** одно: на конце вышит зверь, на другом двуглавый орел — шитье моей матери: подарен мне ею на именины, когда я выучился грамоте. Все дорогое, все милое! Все жестоко оскорбленно! Простите, Бога ради, за беспокойство. Но иначе пока нельзя! Что хорошего у Сережи? и вообще у писателей? Что слышно из Оргкомитета о моем заявлении. Писал я туда просьбу сохранить мои рукописи⁴. <Н>ельзя ли узнать, принято ли это к сведению? <Будет> больно за свои писания, если они пропадут раньше меня самого. Хотя бы осталось кое-что из песен моих последних лет⁵. Так иногда думается, не для честолюбия, а для истины. Мой друг Лев Иванович Пулин⁶, который жил у меня, послан в Сибирь же в Маринский лагерь на три года, — пишет мне удивительные утешающие письма, где нет ни слова упрека за загубленную прекрасную юность. Вы его не знаете, но, быть может, видели когда-либо. Упоминаю об этом юноше как об исключительном событии в моей жизни поэта.

Горькому я не писал — потому что Крючков⁷ все равно моего письма не пропустит.

Нельзя ли поговорить с писателем Тренивым о ковре, который хвалил Игорь Грабарь⁸, не купит ли он сам его — или не укажет ли покупателя и не узнает ли цены у Грабаря?

Виру — ковер из вогульских вышивок можно бы предложить кустарному или этнографическому музею. В глиняной керамичной курице, которая стояла у меня на печке — положены в бумаге — серебряные кресты и медный тельник с изображением Егория Побе<до>носца. Уцелела ли курица? Если да, то один круглый крест я благословляю Егорушке, а медный тельник и простой крест с толстым ушком положите мне в посылочку! Очень об этом прошу! Что пишет Сережа? Как он себя чувствует? Пусть утешится, правда ведь всегда круглая! Я скучаю о нем часами остро и невероятно. Итак, я остаюсь в Сибири: «Вон ссыльный дедушко идет», — покажут мне вослед ребята — на нашем переулке, когда я понесу это письмо на почту. Да, ссыльный дедушко! Так велит судьба. Ни о чем не сожалея, страдною тропкою проходит душа.

Ценное письмо получил⁹. Благодарю.

Простите. Не забывайте!

Здоровье мое тяжкое.

1 апреля. Посылку¹⁰ пока еще не получил.

¹ Первый лист этого письма в АК не найден.

² Лэстовка — четки у старообрядцев.

³ Скорее всего эта прошивка была подарена Ключеву В. А. Дынник, женой известного фольклориста Ю. М. Соколова. Как это произошло, рассказывается в письме В. А. Дынник К. М. Азадовскому от 12 января 1976 года: «Как-то Ю[рий] М[атвеевич] пришел домой и с радостной улыбкой сообщил мне, что сегодня вечером Ключев будет у нас читать свою поэму. Собралось несколько человек, друзей. Ключев стал читать. Это была поэма (довольно большая) «О кружевнице...» (по-видимому, речь идет о «Погорельщине», где кружевница Проня — одно из действующих лиц.— Г. К., С. С.) Читал предельно просто, но все было словно заколдованы Я считаю, что совершенно свободна от всяческих суеверий, но на этот раз во мне возникло ощущение, что передо мною настоящий колдун... Стихи были хорошие, но все же не колдовские. Колдовство исходило от самого обличка поэта, от его простого, казалось бы, чтения. Поваяло чем-то от «Хозяйки» Достоевского. В тот же вечер, уже после чтения, произошел один маленький эпизод, который я, однако, хорошо запомнила. Сидя за ужином рядом со мною, Ключев стал внимательно вглядываться в длинную полосу холста окаймлявшую по стенке угольный диван. Это была старинная северная набойка (вернее, сочетание различных традиционных образцов набойки), вывезенная мною из Каргопольского края. И вот Ключев стал уговаривать меня поменяться с ним этой набойкой, предлагая за нее какую-то другую вещь. Я, не желая никакого обмена, потому

что этим холстом очень дорожила, отштутилась и перевела разговор на другую тему. А затем, когда Ключев уже одевался в передней, подошла к дивану, содрала со стены набойку и, кое-как свернув, отдала Ключеву» (цит. по кн.: «Русский Север: Проблемы этнокультурной истории, этнографии, фольклористики». Л. 1986, стр. 215—216).

⁴ Среди просьб Ключева о помощи, содержавшихся в письме С. А. Толстой-Есениной, отправленном из Колпашева 17 июня 1934 года, была и такая: «Просить Г. П. У. передать мои рукописи в архив Оргкомитета — писателей» (Государственный музей Л. Толстого, АСТ-Е, № 20551).

⁵ Письмо поэта в Оргкомитет СП (текст его нам неизвестен), очевидно, сыграло свою роль в том, что некоторые рукописи его «песен последних лет» поступили в итоге из ГПУ на государственное хранение: на подавляющем большинстве рукописей, ныне составивших личный фонд поэта в Архиве советских и зарубежных писателей ИМЛИ АН СССР (ф. 178), стоят инвентарные номера Литературного музея Всесоюзного Союза писателей — учреждения, первым принявшего в 30-е годы ключевские (в основном черновые) рукописи в свои фонды.

⁶ Л. И. Пулин (1908—1969) позднее (в 50 — 60-е годы) работал техническим редактором Приокского книжного издательства. (Сообщено В. Я. Лазаревым.) Письма поэта Л. И. Пулина утрачены. (Сообщено А. А. Пулиной.)

⁷ Крючков в Петр Петрович (1889—1938) — секретарь А. М. Горького. Одна из дневниковых записей Мих. Слонимского дает ясное представление о репутации П. П. Крючкова в писательской среде: «В доме Горького приблизительно с 1933 года стали ощущать господствовать Ягода и его подручный Крючков» («Нева», 1987, № 12, стр. 171). Эти слова Слонимского, безусловно, подтверждают, что опасения Ключева, которыми он поделился с В. Н. Горбачевой, были более чем обоснованными.

⁸ См. письмо 6, прим. 2, и письмо 11, прим. 6.

⁹ 13 марта 1935 года В. Н. Горбачева отправила в Томск письмо ценностью 100 рублей (квитанция в АК). По его получении Ключев писал: «Горячо благодарю за хлопоты. Свидетельство получил. Приветствую Сережу. Благословляю Георгия. Простите! Н. К. 28 марта» (открытка, пришедшая в Москву 3 апреля). Документ, о котором здесь идет речь, — это «инвалидное свидетельство» (см. письмо 10). В АК сохранилась его копия, рукой В. Н. Горбачевой сделанная, очевидно, непосредственно перед отправкой документа в Томск (заверена почтовым штемпелем: «Москва 34 Фрунзенский 13.3.35—7», то есть 13 марта 1935 года). Приводим текст этого документа:

«Отдел здравоохранения Ленинградского Облсполкома
и Ленинградского Совета
Бюро врачебной экспертизы Улица Пролеткульта, д. № 1
Акт освидетельствования № 2245
25-го февраля 1930 г.

Первое освидетельствование

Переосвидетельствование

(подчеркнуть)

№№ прежних протоколов

обл Олонецкая
окр
Район
гор. Вытегра

Фамилия Ключев
Имя Николай

Год рождения, возраст 43 год[а]

Местожительство

Улица Герцена, д. 45, кв. 8

Основная профессия

Поэт

Образование: грамотн, малограмотн, неграмотн, среднее, высшее, специальное (какое именно)

Диагноз (перечень всех заболеваний):

Кардиосклероз, артериосклероз. Склероз мозговых сосудов.
Истерия. Расширение вен прав[ой] голени.

Заключение Бюро Врачебной Экспертизы

Группа в т о р а я Переосвидет. через — нет

Нет ли состояния беспомощности: —

Дополнительные замечания:

Подписали:

Председатель Комиссии (подпись)

Ответст. Руковод. В. В. Э.
(подпись)

Эксперты (подписи)

С подлин. верно (подпись)

25/1 30 г.

Печать: Бюро врачебной экспертизы».

¹⁰ Посылка (5,5 килограмма, ценность 200 рублей) была отправлена в Томск 21 марта 1935 года (квитанция: в АК).

15. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

«Томск, первая декада апреля 1935 г.»¹

...с малиновой бахромой. Платок желтовато-золотистый шелковый без кисточек и повойник черный атласный. Гребешок костяной: вырезан посредине двуглавый орел, по бокам его единороги. Чашку синюю с блюдцем, граненую. Ска-

терть из холщёвых квадратов — вышитую синим и красным, и полотенце — на одном конце двуглавый орел, на другом зверь — вышиты в пятах красным, Икону-складень Неопалимая Купина, по краям медная оковка, и к нему лампадка — ушки херувимами, — вся прорезана в узор, цепочки такие же, внизу подвешено фарфоровое яичко. Книгу Псалтырь — в коричневой гладкой коже, уголки и средник серебряные, в толщину листы золоченые. Все это принадлежало моей матери. По Псалтырю этому я учен мамой грамоте. Псалтырь — книга в длину четверти три, в ширину $1\frac{1}{2}$ четверти. Вот и все, что я умоляю Вас спасти. Остальное, если есть возможность, — продавайте. Я напишу одному человеку об иконах, он придет к Вам с моим письмом и, быть может, купит иконы. Какая бы была радость раздобыть деньжонок! Сообщите мне — передал ли Оргкомитет мое заявление в ЦИК²? Как, возможно ли подать заявление о помиловании³? Сообщите мне адрес Пришвина — я попытаюсь поговорить с ним. Очень прошу об этом! Как живет П. Васильев, крепко ли ему спится? Где пьянист — Оборин⁴? Это мне — любопытно. Еще раз прошу потерпеть меня и мою беду. Кланяюсь земным поклоном Сереже, благословляю Вашего первенца. Простите. Прощайте! Посылку и деньги 20 руб. получил⁵ — Жизнь Вам и свет за сердце милующее. Адрес прежний: Переулоч Крас[ного] Пожар[ника]. Изба 12 — мне.

Кланяюсь весенней Москве!

¹ Письмо датируется по содержанию и в связи с письмом 14 (см. также прим. 5 ниже). Начало письма в АК не найдено.

² См. письмо 10, прим. 2.

³ Ср. проект подачи такого заявления в письме поэта Н. Ф. Христофоровой-Садомовой, датированном концом 1935 года: «Конечно, лучше бы всего устроить подачу помилования трем представителям искусства: Н. А. (Обуховой.— Г. К., С. С.) от сцены, Кончаловского от живописи и от литературы Вересаева. Всем троица и явиться к Калинин. Он русский и зорко провидящ, и, конечно, понял бы, что такая подача челобитной значительна политически и незабвенна историей искусства. Положение мое очень серьезно и равносильно отсечению головы, ибо я, к сожалению, не маклер, а поэт. А залить расплавленным оловом горло поэту тоже не шуточка — это похуже судьбы Шевченка или Полежаева, не говоря уже о Пушкине, которого царь Николай I-ый (ошибка Клюева; нужно — Александр I.— Г. К., С. С.) сослал... и куда же? — в родное Михайловское, под сень Тригорских холм<ов>. Я бы с радостью туда поехал. Поплакал бы, пожаловался бы кое на что могилке Александра Сергеевича!

Не жалко мне себя, как общественной фигуры, но жаль своих песен-чел сладких, солнечных и золотых. Шибко жалят они мое сердце. Верю, что когда-нибудь уразумеется, что без русской песенной соли пресна поэзия под нашим вьюжным небом под шум плачущих новгородских берез. С болью сердца читаю иногда стихи фанерных знаменитостей в газетах; какая серость! Какая неточность! Ни слова, ни образа. Всё с чужих вкусов, Краски? Голый анилин, белила да сажа. Ведный Врубель, бедный Пинксо, Матис<с>, Серов, Гоген! Верлен, Ахматова, Верхарн! Ваши зори, молнии и перлы нам не впрок! Очень обидно и жалко» (ИРЛИ, р. 1, оп. 12, ед. хр. 534, лл. 20—20 об.; частично опубликовано: «Красное знамя» (Вытегра), 19 октября 1985 года).

⁴ Оборин Лев Николаевич (1907—1974) в это время находился в составе советской музыкальной делегации в Турции (Арканов В. С., «Триумфальная поездка». — «Известия», 7 мая 1935 года).

⁵ О посылке см. письмо 14, прим. 10. 25 марта в Томск был отправлен телеграфный перевод на 30 рублей, а 10 и 14 апреля — телеграфные переводы соответственно на 40 и 25 рублей (квитанции в АК). Исходя из дат отправки посылки и тридцатирублевого перевода, можно думать, что Клюев здесь ошибся, назвав полученную им сумму (вместо 30 — 20 рублей). Если это так, то комментируемое письмо датируется первой декадой апреля (так как оно, очевидно, написано до получения переводов на 40 и 25 рублей, не упомянутых в нем).

16. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

«Томск, 9 мая 1935 г.»

Получил 140 и 45¹. Горячо благодарю. Пишу на почте. На праздник писал подробное заказное². Еще раз ото всего сердца благодарю. 9 мая³. Адрес прежний.

¹ Телеграфные переводы, отправленные 29 апреля и 7 мая 1935 года соответственно (квитанции в АК).

² Это письмо в АК не найдено.

³ Год установлен по почтовому штемпелю на этой открытке.

17. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

«Томск,» 25 июля 1935 «г.»

Горячо благодарю Вас, дорогая Варвара Николаевна, за сердечное и милосердие ко мне горькому и недостойному. Гостинец Ваш по почтовому переводу получен¹. Летние месяцы старался Вас не беспокоить своими письмами. Знаю, как Вам дорого обходится летний отдых и как он нужен для Вас. На Вашу милостыню я жил в последние месяцы, как никогда. Купил пшена, чаю, сахару, каждый день хлеб и молоко, но жилища не смог переменить, хотя и были и по внутренним и внешним условиям благие и прекрасные кельи. К несчастью моему, не дешевле сорока рублей в месяц. У меня же общая изба, где народу 14 человек — мужичья и баб с ребятами. Моя бедная муза глубоко закрыла свои синие очи, полные слез и мучительных сновидений. Пусть спит до первой утренней звезды! С тревогой и болью смотрю на первые хмурые тучи, на желтеющий уже березняк — показатель ранней сибирской 8-месячной зимы. Как-то буду я коротать ее?

Здоровье мое сильно пошатнулось — лежал в больнице десять дней. Какая-то незнакомая доселе болезнь сердца и желудка: невыносимая боль. Лежал десять дней за плату 6 руб. в сутки. Бесплатно ссыльным лекарства и больницы не полагаются. Часто вспоминаю свои «заявления», где они и читал ли их кто? Есть ли вообще надежда на помощь мне и спасение?

Как живут поэты? Вспоминает ли кто меня. Или все слишком заняты собой. Обидней всего, что Ленинград молчит², а ведь ему я отдал много сердца, денег и хлеба-соли. Как чувствует себя Васильев? Каковы его победы?

«Часть текста утрачена» зиму. В феврале «минет два» года, а там понатужился бы и на третий. Удивляюсь малодушию моих знаменитых друзей. Вы пишете, что они отнеслись очень холодно к моему самосожжению³. Мужики так не поступили бы. Но всему свое время. Нельзя ли сообщить мне адрес Пришвина и как его по бабушке? Нельзя ли поговорить с Мстиславским⁴. Узнать в Оргкомитете, сделано ли что-либо по охране моих многолетних рукописей. Я писал в Орг — об этом заявлении.

Пронзает мое сердце судьба моей поэмы «Песнь о Великой Матери»⁵. Создал я ее шесть лет. Сбирал по зернышку русские тайны... Нестерпимо жалко. Как гостил Жан-«Крис»тоф⁶? Увидел ли он святого «Христофора»⁷ на русских реках? «Часть текста утрачена.»

Кланяюсь земным поклоном. Не забывайте меня горького.

Кланяюсь прекрасной Москве.

Если можно, вышлите летнее пальто и нельзя ли добыть каких-либо брюк — покрепче — мои совсем развалились. Очень бы желательны какие-либо штiblеты, размер 43. Хотя бы держанные.

Простите. Не осудите.

Благословляю Крестника. Потерпите малость мои вопли. Еще раз кланяюсь. Н. К.

¹ Тридцать рублей, отправленные в Томск 14 июля 1935 года (квитанция в АК).

² А. Н. Яр-Кравченко в то время жил в Ленинграде.

³ Так именует поэт свою ссылку. Ср. строки из письма 1: «Я сгорел на своей Погорельщине, как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пусто-зерском».

⁴ Мстиславский (Масловский) Сергей Дмитриевич (1876—1943) — писатель, общественный деятель. В 1916—1917 годах был одним из соредкторов известных сборников «Скифы», где печатался Клюев.

⁵ Полный текст этой поэмы до сих пор не найден. Сохранившееся начало ее опубликовано: «Север», 1986, № 9, стр. 104—106, в тексте статьи Л. Шведовой и С. Субботина «„Эти гусли — глубь Онега...“ (Из поэзии Николая Клюева конца 20-х — начала 30-х годов)», а также (частично) в кн.: Клюев Н. Завещание. Избранные стихи. (Библиотека «Огонек», № 22) М. «Правда», 1988, стр. 44—49.

⁶ Клюев именует так Романа Роллана, побывавшего в СССР в июне — июле 1935 года.

⁷ Вудучи в ссылке, Клюев читал роллановскую эпопею «Жан-Кристоф». Об этом свидетельствует письмо поэта Н. Ф. Христофоровой-Садомовой от 21 апреля 1935 года (его полный текст см.: «Красное знамя» (Вытегра), 22 октября 1985 года). Вторая половина этого письма от слов «Жизнь проходит...» до слов «...ладони твоих рук» является (исключая восклицание другого происхождения «Смерти смерть поправ!») точной (хотя и с пропусками) цитатой из вступления к десятой книге «Жан-Кристофа» (Ср.:

Роллан Р. Жан Кристоф. Том X. Грядущий день. Пер. А. Н. Горлина. Пб. 1922, стр. 11—12). Конъектура «Христофор» кажется оправданной, ибо именно о святом Христофоре, переходящем реку, говорится в финале «Грядущего дня».

18. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

⟨Томск,⟩ 25 октября ⟨1935 г.⟩

Дорогая Варвара Николаевна. Клянюсь Вам земно и благодарю кровно за милосердие Ваше. Прихожу с почты¹, получив от Вас переводы — и рыдаю в своей конуре, простираюсь сердцем к Вам целую ноги Ваши — «неза»бвенная светлая сестра ⟨несколько слов утрачено⟩ ⟨чем я⟩ только заслужил ⟨несколько слов утрачено⟩ помощь ⟨часть текста утрачена⟩ ⟨глаза⟩ми, полными горь-⟨ких⟩ ⟨несколько слов утрачено⟩ слез, прошу Вас пожер⟨твовать для⟩ меня еще некоторое время — может, меня Господь простит и я умру в жизнь вечную.

Какое здесь прекрасное кладбище — на высоком берегу реки Томи, березовая и пихтовая роща, есть много замечательных могил... Но жаворонков и сельских ласточек по весне здесь не слышно. Ласточки только береговые, и множество сизых ястребов. Еще до Покрова выпал глубокий снег, ветер низкий, всешарящий, ищущий и человечески бездомный. Мой знакомый геолог² говорит, что и ветер здесь слышный из Памира или из-за Гималаев, — но не костромской, в котором сорочий щёкот и овинный дымок. Как Москва? Как писатели и поэты — как они, горемыки миленькие, поживают. Жалко сердечно Павла Васильева³, хоть и виноват он передо мною черной виной⁴. Переживу зиму — на весну оправлюсь. Теперь же я болен. Лежал три недели в смертном томлении, снах и видениях — под гам, мерзкую ругань днем и смрад и храпы ночью. Изба полна двуногим скотом⁵ — всего четырнадцать голов. Не ему мои песни. Лютый скот не бывал в Гостях у Журавлей⁶. Может ли он быть любим? Но блажен тот, кто и скота милует! ⟨Часть текста утрачена.⟩

⟨Копию⟩ инвального свид[етельства]⁷ вышлю. Никак не могу сбить 25ти руб. на нотариальные расходы. Стараюсь. Волнуюсь. Помогли, Свете Тихий, Матерь-роза и простое человеческое Сердце!

Пожалейте меня, не бросайте!

Ваш раб и поэт, не лукавый должник, оставляющий долги всем врагам своим, несущий к Вашему порогу пригоршню горячих слез, с обожанием и преданностью истинной Н. Ключев. Благодарю, благодарю!

Простите. Не осудите.

Адрес прежний. Переводы 60 р. и 40 р.⁸ получил.

Как поживает Осип Эмильевич? Я слышал, что будто он в Воронеже?

¹ В этот раз поэт получил от В. Н. Горбачевой телеграфный перевод на 45 рублей, отправленный 24 октября 1935 года (квитанция в АК).

² 22 февраля 1935 года Ключев писал Н. Ф. Христофоровой-Садомовой: «Я познакомился с одной, очень редкой семьей — ученого геолога. Сам отец — пишет какое-то удивительное произведение, ради истины, зарабатывает лишь на пропитание, но не предаёт своего откровения. Это люди чистые, и герои. Посидеть у них приятно. Я иногда и ночью у них. Поедет сам хозяин в Москву, зайдет к Вам — он очень простой — хотя ума у него палата» («Красное знамя» (Вытегра), 19 октября 1935 года). Так думал Ключев о Ростиславе Сергеевиче Ильине (1891—1944), выдающемся почвоведом и геологе, чьи труды предвосхитили позднейшие достижения почвоведения, геоморфологии и других разделов геологии. Достаточно сказать, что Р. С. Ильин первым еще в 1932 году теоретически предсказал западносибирскую нефть именно там, где спустя несколько десятилетий были найдены основные ее месторождения (см.: Хахлов В. А., Рагозин Л. А., Славин Д. П. «Ростислав Сергеевич Ильин (к 75-летию со дня рождения)». — «Геология и геофизика» (Новосибирск), 1966, № 12, стр. 126—129). Сохранившиеся письма Р. С. Ильина В. И. Вернадскому содержат следующие автохарактеристики мировоззренческого характера: «Из русских философов мне близки — Вл. С. Соловьев, но в сущности не как философ, а как гениальный поэт, затем Н. Ф. Федоров, но с ним у меня расхождение по основному вопросу, — он считал природу слепой силой, губящей человека, а потому призывал науку к преодолению этой враждебной силы. У меня же получилось наоборот, — победа над природой возможна лишь тогда, когда она (каждое изменение термодинамического поля) воспринимается как дар, в противовес которому на основании диалектического закона борьбы противоположностей создается новое, еще невиданное качество, — новый талант. <...> Ошибка Н. Ф. Федорова очевидна, — природа может быть названа враждебной силой только тем существом, которое в общении с ней не накапливает новых качеств, а лишь утверждает в своих старых качествах, отгораживаясь создаваемым своим термодинамическим полем от общеклиматического

термодинамического поля; то есть природу может назвать враждебной только руководящая фауна, а не <фауна>, переходящая в будущий геологический цикл» (из письма от 1 января 1934 года.— Архив АН СССР, ф. 518, оп. 3, ед. хр. 679а, лл. 3 об.— 4); «Для меня диалектика,— это мой природный метод мышления, развитый во мне воспитанием моими отцом и матерью, православными людьми, черпавшими свои образы из Евангелия, которое все напитано борьбою противоречий, трагедией бытия как в его будничных деталях, так и в его космических масштабах. <...> Протестантизм,— он беспопытен в идеях, он антидиалектичен, он построен на бегстве от Евангелия с его борьбою противоречий, с его космической трагедией,— на бегстве к Ветхому завету, где нет трагедии, т. е. в мещанство. (Мещанство,— отсутствие сознания трагичности и антиномичности нашего существования, — отсутствие сознания обступающих нас противоречий, борьба с которыми движет жизнь.) Классическим примером ученого-мещанина является Дарвин. <...> Кроме того, диалектика нельзя научиться обычными методами человеку, живущему не в том мире идей,— подсознательная диалектика неизмеримо выше „сознательной“» (из письма от 13 марта 1935 года.— Там же, лл. 8—8 об.). Эти высказывания Р. С. Ильина демонстрируют масштаб его творческой личности, проницательно угаданный Ключевым. О теплых, дружеских отношениях, сложившихся между поэтом и ученым, вспоминает жена Р. С. Ильина Вера Валентиновна: «Ключев часто бывал у нас, и мы всегда были ему рады. Он умел открывать людям тот прекрасный мир, который видел вокруг себя. <...> При нем все окружающее становилось ближе, уютнее, милее. <...> Говорить своим образным языком о том, что ему дорого, Ключев мог только в соответствующей обстановке и далеко не со всеми. Детская возня даже в соседней комнате делала его молчаливым, и он спокойно сидел рядом с Ростиславом Сергеевичем, пока тот писал, и ждал, когда дети заснут. Мне даже казалось, что мое молчаливое присутствие ему мешало, потому что самое интересное он рассказывал уже тогда, когда я не могла больше бороться со сном и засыпала, т. к. вставала очень рано. Их беседа длилась долго и доставляла Ростиславу Сергеевичу большое удовольствие. Он оставался у нас ночевать» (ИРЛИ, р. I, оп. 11, ед. хр. 138, лл. 4, 5). Думается, отголоском общения с поэтом является следующее место из письма Р. С. Ильина В. И. Вернадскому от 13 марта 1935 года (цитированного выше): «Увы! если бы я был религиозным человеком! Я лишен этого дара, лишен дара молитвы, я сын своего рассудочного века. Увы, я не верю,— а только знаю, т. е. признаю реальные факты» (Архив АН СССР, ф. 518, оп. 3, ед. хр. 679а, л. 9 об.).

³ Скорее всего к тому времени Ключеву стало известно о появлении в печати («Правда», 24 мая 1935 года) письма группы литераторов, требовавших принятия «решительных мер» против П. Васильева вплоть до его юридического осуждения.

⁴ Ср. в связи с этим упоминания о П. Васильеве в письмах 6, 10, 15, 17. По свидетельству тогдашнего редактора «Известий ВЦИК», председателя Оргкомитета СП И. М. Гронского, П. Васильев (бывший ему родственником — они были женаты на сестрах и жили в одной квартире) как-то в разговоре мимоходом коснулся некоторых сторон интимной жизни Ключева, не укладывавшихся в общепринятые рамки. Реакцию Гронского на это вряд ли можно расценивать как адекватную — по его собственному признанию, он позже позвонил Ягоде и потребовал немедленно выслать Ключева из Москвы (Гронский И. М., «С. А. Есенин, Н. А. Ключев и другие крестьянские писатели [Выступление в ЦГАЛИ 30 сентября 1959 г.]».— ЦГАЛИ, ф. 1337, оп. 3, ед. хр. 45). Из того же выступления Гронского со всей определенностью следует, что он питал к Ключеву неприязнь идеологического характера. Поэтому весьма вероятно, что похода обреченное П. Васильевым замечание о Ключеве послужило для Гронского лишь поводом, а не главной причиной его обращения к Ягоде. Во всяком случае, степень истинности объяснения Гронским мотивов его поведения по отношению к Ключеву проверке не поддается. С другой стороны, нам неизвестно, на каких конкретных основаниях сам Ключев негативно оценивал роль П. Васильева в своей судьбе; вовсе не исключено, что ключевская оценка могла возникнуть и как результат целенаправленной дезинформации поэта соответствующими заинтересованными лицами.

⁵ Ср., однако, с рассказом поэта о его соседях по жилью в письме 20.

⁶ «В гостях у журавлей» — название стихотворного сборника С. Клычкова (М. 1930). В последующих письмах Ключев не раз называет Клычкова милым Журавлем или Журавлиным Гостем.

⁷ См. письмо 14, прим. 9.

⁸ Почтовые переводы, отправленные 17 сентября и 7 октября 1935 года соответственно (квитанции в АК).

⁹ О. Э. Мандельштам Об этом периоде его жизни см.: Штемпель Н. Е., «Мандельштам в Воронеже» («Новый мир», 1987, № 10, стр. 207—234).

19. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

Томск, 25 ноября <1935 г.¹>.

Извещаю Вас, дорогая Варвара Николаевна, что последний перевод сорок рублей² я от Вас получил. Благодарю за милосердие и заботу обо мне недостойном. Давно бы погиб без Вашей помощи чудной и светлой милостыни. Всякий раз, как получаю от Вас весточку, умываюсь слезами. В моей жестокой и мрачной обстановке — великая радость всякое доброе слово из другого мира — от милых и заветных людей.

Фининспектор, обходя свой район, спрашивал и меня, на какие средства я живу. Я сказал, что доверенное лицо в Москве продает мои вещи и высылает мне на пропитание от 60 — до 100 рублей в месяц. Когда как. Иногда побольше, иногда поменьше — в зависимости от продажи. Быть может, что спросят подобное и Вас. Местное начальство мне сказала, что все заявления на имя Москвы должны идти через Томское начальство. Не знаю, как быть? Напишите мне — можно ли непосредственно³. Я живу, как в тумане, ничего не слышу и не вижу, и многое перестал понимать. Здоровье мое очень плохое. Был на просвечивании — кабинет выдал мне отчаянную бумажку по сердцу и по желудку. Быть может, скоро меня Господь простит.

Слышал я, что Павел Васильев уехал из Москвы⁴. Это меня очень и весьма удивило. Быть может, Вы знаете или слышали подробности. Очень любопытно.

Кланяюсь Сереже, благословляю Егорушку. Прощайте, все милые, драгоценные люди! Зловещ и темен мой жизненный вечер. Сибирская пурга да волчий вой — последние мои песни.

Целую Ваши ноги.

Искупаю слезами свои грехи. Простите!

Адрес прежний.

«Приписка на обороте листа:» Купил на зиму угля на 80 рублей, две тонны. Значит, не замерзну, от холода избавлен. Что будет с голодом?

¹ Год отправления устанавливается по содержанию.

² Квитанция на этот перевод в АК не найдено. Сохранилась квитанция отправки (4 ноября 1935 года) телеграфного перевода на 95 рублей, очевидно, предшествовавшего тому, о котором говорится в этом письме.

³ В январе 1936 года в открытке Горбачевой поэт вновь возвращается к этой теме: «Получил телеграфом сорок рублей, благодарю сердечно. Жду ответа об условиях подачи заявления. Простите. Н. К. 22 января» (АК). Тот же вопрос и в февральской открытке: «<П>ишу на почте, получил 25 почтой, 100 телеграфом. Благодарю! Как д<ела> с заявл<ением?> 4 февраля» (АК).

⁴ Здесь Клюев, по-видимому, дает понять, что ему стало известно об аресте П. Васильева, последовавшем за соответствующим публичным требованием группы литераторов (см. письмо 18, прим. 3).

20. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

23 февраля <1936 г.,> Томск.

Получил Ваше письмо и переводы (115 и 180 р.), дорогая Варвара Николаевна! Обрадовался всему этому до слез — правду сказать, разрыдался — по-ребячьи или по-стариковски — не знаю, но теплотой повеял мой угол, и маленько я успокоился.

Купил молока, муки белой, напек оладий², заварил настоящего трехрублевого чая, а когда собрал стол, то и пить не мог, все бормотал, шептал и звал любимых — со мной чайку испить! И они пришли. Первой явилась маменька — как бы в венчалной фате, и видима почти по колени³, потом дядюшка Кондратий в отсвете самосожженческого сруба⁴, Сереженька — сильно неподвижный, не освободившийся⁵, Александр, Николай, Владимир, Ильюща⁶ — все отошедшие, но в неистребимой силе живущие, даже до цвета и звука! До Ваших переводов как-то мне не елось, не пилося, теперь же я приотъелся, починился, часто заходил в баню, — это мое любимое учреждение в Томске. Переулок, где я живу, по ворота и до крыш завьюжен снегом, но уже начали сизеть и желтеть зори. Я часто хожу на окрай оврага, где кончается Томск, — впиваюсь в заревые прбдухи, и тогда понятней становится моя судьба, судьба русской музы, а может быть, и сама Жизнь-матерь. Но Сибирь мною чувствуется, как что-то уже не русское: тугой, для конских ноздрей, воздух, в людской толпе много монгольских ублюдков и полукровок. Пахнущие кизяком пельмени и огромные китайские самовары — без решеток и душника⁷ в крышке. По домам почему-то железные жаровни для углей, часто попадаетея синяя Тянь-Дзинская⁸ посуда, а в подмытых половодьями береговых слоях реки Томи то и дело натыкаешься на кусочки и черепки не то Сиамы, не то Индии. Все это уже не костромским суслом, а каким-то кумысом мутит мое сердце: так и блёкнут и гаснут дни, чую, что считанные, но роковое никакой метлой не отметишь в сторону. Не могу надивиться, что складены Неопалимая купина оказался писанным в Казани в 19м веке!⁹ По каким это данным? Выменян он в 60-х годах от последнего Большака знамени-

той Даниловской обители¹⁰ иже на реке Выге у понта Океяна-моря, а принадлежал он Андрею Денисову — писателю книги Поморские Ответы¹¹. Письмо называется иконо-Поморское. Складень подписной одинаковой графьёй¹² со всеми имеющимися на нем подписями. Обыкновенный прием у антикваров — охаять вещь — пустив в ход свой авторитет — оповестить об этом и любителей, которые все у них на счету, а потом через десятки руки, якобы простачка, вырвать у разочарованного владельца — вещь за дешевку. Я напишу в Москву одному человеку, который в свое время хотел у меня купить этот складень. Если он придет к Вам с моим письмом — то покажите складень — получите деньги, не задерживая переведите их мне. Да порядитесь — чтобы деньги были уплачены сразу, а не по частям. А не то ведь вечно около предметов искусства наслушивается множество разнообразных мнений, а это может затормозить выплату. Уж потрудитесь! Зловеще, но для меня не неожиданно — рассказали Вы об Анатолии, он пьян призрачным успехом, до первого пинка, до первого испытания, котор<ое>¹³ для него может оказаться громовым ударом и поразить насмерть. Еще немного, и его путь упрется в пулю или в цианистый кали. Не первого такого встречаю я на своем веку. Ужасаюсь и содрогаюсь и за это обольщенное дитя!¹⁴ Ничего я от него не прошу. «Правду говорят: не спеши волчонка хвалить, дай зубам у серого вырасти. Слётъш, материно молоко на губах не обсохло, а клони перед ним седую голову!» «Не от сильного, не от могучего, не от знатного, от властного — от своего выкормка терплю предательство и поношение!» «Ему расти, мне же малätися! Что ж? Господня воля!.. Благо ми, яко смирил мя еси Господи! Да это что? Трын-трава! Знали бы Вы сердце мое, ведали бы думы мои сокровенные!» «Как Волги шапкой не вычерпаешь, так и слез моих не высушишь!»... Поневоле вспомнишь Потапа Максимыча Чапурина и Алешку Лохматого¹⁵. И сивушек ему Максимыч подарил, и одел в бархат, и бородой щеки ему, как кровному да родимому, ластил¹⁶, а вот что получилось! Свирепая душа Поромовского токаря сказалась¹⁷. Ежовую щетину и бархатом не украсишь! Прошу Вас при встрече с Толей и виду не показывать, что Вы знаете мое душевное землетрясение и что его модная фигура пока мне одному в подлинности понятна! Как Вы узнали Обухову¹⁸? Продавайте все, что можно и что покупают. За все буду глубоко благодарен! Здоровье мое все хуже. Боли в области живота здешние врачи объясняют язвой желудка, — которая быстро увеличивается. Сердце не дает покоя, особенно ночью. Я скоро и тяжело устаю от ходьбы. Жилашка мое без тишины — с 5 часов утра до 10—11 ночи. Слава Богу, что огромный вшивый лишай, занимавший часть шеи, плечо и половину живота, очистился. Это для меня большое облегчение.

Одним словом, преувеличивать нечего, — кой-что пережито и кой-чему я научился и многое понял. Особенно музыку. Везде она звучала — и при зареве костров инквизиции, и когда распускается роза. Извините меня за эти известные¹⁹ строки! Д Прошеного Воскресенья²⁰ бабы и мужики — соседи по избе всю неделю пили и дрались, сегодня же, к моему изумлению, все перекланялись мне в ноги, стучая о пол лбом: «Прости, мол, дедушка, знаем, что тебя обижаем!» И я всем творил прощю. Весь этот народ — сахалинские отщепенцы, по виду дикари, очень любят сатиновые, расшитые татарским стёгом рубахи, нежно розовые или густо пунцовые, папахи дорогого кашмира с тульёй из хорошего сукна, перекрещенной кованым серебряным галуном, бабы любят брошки «с коралловой головой», непременно в золоте — это считается большой модой — и придает ценность и самой обладательнице вещи. Остячки по юртам носят на шее бисерный панцирь, с огромным аквамаринном посредине; прямо какая-то Бирма! Спят с собаками. Нередко собака служит и подушкой. Избы у всех обмазаны изнутри, тепла ради, глиной и выбелены. Под слоями старого мела — залежи клопов. В обиходе встречаются вещи из черной меди, которые, наверное, видели Ермака и бывали в гаремах монгольских Каганов. Великое множество красоты гибнет. Купаясь в речке Ушайке, я нашел в щебне крест с надписанием, что он из Ростова и сделан при князе Владимире. Так разворачивается моя жизнь в снегах сибирских. Покоя нет. Всегда под угрозой, что тебя отправят в Березов²¹ или на Чукотский полуостров. Хотелось бы умереть под широкой весенней березой, когда еще клейкий пушок с листочков не съели тундровые вихри, и чтоб в тоненькую дудочку наигрывала отходную лазоревая птичка. Об этом мое моление к вечным звездам! Обыкновенно при переброске ссыльные посылают телеграммы

своим ближним, и те хлопчут перед Верховным Прокур<ор>ом об оставлении. Если Вы, дорогая Варвара Николаевна, получите от меня такую весть, то от моего великого несчастья прошу Вас — сходить тогда в Камеру Прокурора — объяснить ему, что я уже был в Нарыме, теперь в Томске, и что я и так скоро умру, так как непоправимо и тяжело болен! Но все это не медля ни на час после телеграммы, ибо на сборы времени не дается. Заявление во ВЦИК я вышло отдельно²². Что делает Журавинный Гость²³? Как живет? В Томске есть кой-кто из милых и тоскующих по искусству людей, но я боюсь знакомиться с ними из опасения, как бы наша близость не была превратно понята. Приходил ко мне юноша с лирическими великолепными стихами, но так как стихи были сплошь лиричны, по музыке, чувству, краскам и слову изумительны, но²⁴ я не сказал о них правды, а послал поэта в местную газету, чтобы он был ближе к жизни. Очень меня волнует судьба Васильева²⁵, не знаете ли Вы его адреса? Видели ли Вы что-либо из живописных работ у Толи? Не припомните ли, какими словами он вспоминал меня? Он мне ничего не пишет, и адреса его я не знаю. Очень бы хотелось написать Осипу Эмильевичу, но его адреса я тоже не знаю²⁶. Что выдающегося в поэзии? Я ничего не вижу, а газет не читаю, ибо столичные нужно покупать где-то и каким-то особым умением, а в местной — все местное. Тепло ли у вас в новой квартире? Каков Егорушко? Чай, уж ходит и говорит? Несмотря на бездомье и отсутствие уединения, сердце мое полно стихами. Правда, все они не записаны, а хранятся в арсенале памяти и тихо радуют меня: видно, кое-что осталось и для меня в жизни²⁷. Простираюсь сердцем на Нащёнский²⁸. Клянюсь Вам земным поклоном. Посылку с носильными вещами получил²⁹. Все они не мои — все сгнили. Купили только в особый ларек, где принимают утиль. Один пиджак оказался крепче, — я его продал отдельно за 15 рублей. Было Вам беспокойства с этой посылкой! Как Вас благодарить, не знаю! 2го февраля мой печальный юбилей: исполнилось два года моего изгнания...³⁰

¹ «Квитанция утеряна» (помета В. Н. Горбачевой).

² В. Ф. Кропанев, мальчиком живший в Томске в одной избе с поэтом, вспоминает: «Мне было тогда 9 лет, брату 3 [года]. Я плохо чего помню, но вот запомнил, он нас с братом все время подкармливал блинчиками, которые очень любил и сам пек» (из письма В. Ф. Кропанева (октябрь — ноябрь 1984 года) в редакцию «Литературной газеты»: сообщено В. В. Радзишевским).

³ С. С. Гейченко пишет о поэте: «Любил рассказывать о своих снах. Во сне бывал он и в Африке, и в Голландии, Испании и Иерусалиме, встречался с Ефремом Сирином, Иоанном Богословом, В. И. Лениным» (письмо С. И. Субботину от 22 июля 1982 года). Память Н. Ф. Христофоровой-Садомовой сохранила (во многих подробностях) шесть снов, рассказанных ей Клюевым в 1931—1932 годах; героиней трех из них была его мать:

«Рассказывает Николай Алексеевич Клюев. Второй сон. Иду по переулку в Москве, впереди идет моя Маменька в старообрядческом одеянии: синий посоный сарафан, белая с шитьем блузка и белая косынка. Идет она впереди и очень быстро — я не могу ее догнать. Маменька поворачивает в какой-то двор со старинными строениями, — и вижу, на дверях наклеивает записочки на белой бумаге и спешит дальше. Проходя за ней, я читаю на этих бумажках: «Христос zde уставиcя!» (Христос здесь утвердился!) Иду за ней; она входит в квартирную входную дверь — и я, проходя, читаю ту же надпись. Войдя за ней, я вижу перед собой не комнаты, а виноградник, полный кустов с очень спелыми золотисто-лиловыми ягодами. Виноградник окружен высокой деревянной оградой, а внутри сидит Маменька на итальянском золоченом креслице, а около нее ходят два белых голубка. — «Маменька, — кричу я, — что Вы здесь делаете?» — «А вот, Коленька, сторожу виноград — идет гроза, а я смотрю, чтобы не побило виноград». — «Как же мне к Вам придти, забор-то высок?» — «Нет, Коленька, без пропуска сюда нельзя». После долгой мольбы о пропуске Маменька дает одному из голубей белую записку. Голубь берет ее в клюв и, поднявшись, перелетает через забор. Но я никак не могу поймать его. После очень долгих усилий мне удалось взять из клюва пропуск, и я при этом поранил руку; когда я раскрыл ладонь — она была вся в крови. Я со стоном проснулся, потрясенный, и почувствовал приближающееся мученичество...» (Христофорова-Садомова Н. Ф. Подлинник снов: К воспоминаниям о поэте Клюеве Николае Алексеевиче... — ИРЛИ, р. 1, оп. 33, ед. хр. 100, л. 17).

⁴ Еще в 1916 году Клюев рассказывал профессору-филологу П. Н. Сакулину, что его «дядя по матери — „самосожженец“» (см. бланк анкеты для «Биографического словаря» С. А. Венгерова, заполненный Сакулиным со слов поэта. — ИРЛИ, ф. 377, ед. хр. 353, л. 4).

⁵ Сереженькой Клюев неизменно называл Есенина. Очевидно, здесь говорится именно о нем. Ср. с «четвертым сном» поэта в изложении Н. Ф. Христофоровой-Садомовой: «Иду по безбрежному ледяному полю-пространству, — рассказывает Ник[олай] Алек-

с[еевич].— Полная тьма. Натыкаюсь на какие-то небольшие кочкообразные глыбы, издающие вопли, стоны. Наклоняюсь, ощупываю и с ужасом узнаю человеческие головы, рассеянные по необозримому ледяному пространству. Эти стоны сливались в какой-то потрясающий гул, рев. Ощупываю и разбираю, что все тело погружено в ледяную, замерзшую, скованную, плотную массу по плечи. И лишь на поверхности — полужамерзшие головы с непередаваемо страдальческими глазами, открытым ртом, с перекошенными смертельной судорогой губами и всем лицом. Волосы стояли дыбом вокруг головы, твердо замерзшие, и казалось, что это вокруг огромные терновые венцы. Зубы оскалены в великом неестественном напряжении. Куда бы я ни поворачивался, желая бежать из этого ада,— всюду была одна картина сплошного нечеловеческого страдания — все головы были в одном положении, как ночны. Я все еще старался бежать и внезапно наткнулся на какой-то Знакомый Взгляд, такой же непередаваемо-ужасный, и я узнал... Я узнал одного из моих собратьев-поэтов, погибшего от собственной руки, по своей, упавшей до бездны, воле... Он тоже узнал меня, умоляюще кричал о помощи,— но я сам изнемог в этом мертвяще-ледяном вихре... Я опустился на колени и... весь скованный судорогой, проснулся... Я его узнал...» (ИРЛИ, р. I, оп. 33, ед. хр. 100, л. 20).

⁴ Кому принадлежат эти четыре имени, не установлено.

⁵ Ду ш н и к — отверстие для выпуска пара.

⁶ Тянь-Дзин (Тяньцзинь) — город в Китае.

⁷ См. письмо 10, прим. 10.

⁸ То есть Выгорецкого старообрядческого обжежительства, ликвидированного царскими властями в 1853—1855 годах. Б о л ь ш а к — киноарх, глава общины; личность последнего выгорецкого киноарха установить не удалось.

⁹ См. письмо 10, прим. 8, и письмо 13, прим. 2.

¹⁰ Г р а ф ь я — жесткий рисунок, наносимый острым инструментом по левкасу (первоначальный контур изображения).

¹¹ В тексте описка («который»).

¹² Ключеву вновь вспомнилась здесь гибель Есенина. Из написанного в 1926 году «Плача о Сергее Есенине» (его полный текст см. в кн.: К л ю е в Н. А. Стихотворения и поэмы. Архангельск, 1986, стр. 219—224) очевидно, что Ключев не сомневался в самомольном уходе Есенина из жизни. Ключев был полон мрачных предчувствий о судьбе младшего собрата по поэзии задолго до его кончины. Так, еще в январе 1922 года он обратился к Есенину с письмом, в котором были такие слова: «Страшная клятва на тебе, смертный зарок! Ты обреченный на заклание за Россию...» («Вопросы литературы», 1988, № 2, стр. 276; публикация К. Азадовского). Ср. также с «пятым сном» Ключева в изложении Н. Ф. Христофоровой-Садомовой:

«В другой раз я видел тоже близкого мне поэта, который дошел до полного разложения своего внутреннего мира — такого светлого, радостно-красивого в ранней юности, но не устоявшего перед соблазнами жизни, перешедшего в разгул и развратность,— и Светлое Творчество его покинуло; он не сумел победить испытаний, необходимых для дальнейшего продвижения по высокой лестнице творческих откровений,— и тоже упал и разбился...

Я вижу себя в глубокой подземной пещере — тьма... Я стою и точно чего-то жду — и вот слышу: доносятся неистовые крики, все приближающиеся, все ужаснее, потрясающие,— и мимо меня сверху по узкой лестнице, уходящей в бесконечную пропасть, какие-то страшные чудовища волокут за ноги существо человеческого вида,— и при каждом шаге это существо бьется головой об острые камни нескончаемых ступеней. Существо все залито кровью, и когда его тащили мимо меня — я увидел и узнал того, кто когда-то был близок моему сердцу и творческим вдохновениям. Я весь содрогнулся и зарыдал, протянул к нему руки, а он из последних сверхчеловеческих усилий вопил: «Николай, молись обо мне!» Его поглотила бездна... Я же не могу и передать потрясаение всего моего существа, которое охватило меня и продолжалось и после того, как я проснулся.

Как неписуемо пагубно самоубийство! Как явно отрешает оно от всего светлого и отдает во власть немилосердного истязателя!

Воочию я увидел и проникся пониманием, как опасно, особенно имея дар тончайших восприятий в соприкосновении с образами Вселенной,— утратить чистоту единения с ограждающей непобедимой силой божественного света!» (ИРЛИ, р. I, оп. 33, ед. хр. 100, л. 21).

¹³ Герои романа П. И. Мельникова (Андрея Печерского) «В лесах». Четыре цитаты, обозначенные Ключевым выше, взяты из диалога Чапурина с Колышкиным в финале второй книги «В лесах» (см.: М е л ь н и к о в П. И. (Андрей Печерский). В лесах. В двух книгах. Книга вторая. Пермь. 1984, стр. 428—430); вторая цитата — с изменениями, внесенными поэтом.

¹⁴ Ср. «В лесах» (кн. 2, стр. 428). «Ни саврасок не помнил (Алексей Лохматый.— Г. К., С. С.), ни христосованья <...> Но Потап Максимыч ничего не забыл...»

¹⁵ «Свирепый нрав поромовского токаря (Алексей работал токарем в селе Поромово.— Г. К., С. С.) теперь весь вышел наружу» («В лесах» кн. 2, стр. 427).

¹⁶ Очевидно, в своем письме В. Н. Горбачева упомянула Н. А. Обухову среди тех, к кому она обращалась с предложением о покупке клюевского имущества Н. А. Обухова оказывала и материальную и моральную поддержку поэту начиная с первых месяцев его ссылки. Еще 10 июня 1934 года Ключев писал Н. Ф. Христофоровой-Садомовой: «Получил от Н. А. 50 руб. по телег[рафу] уже в Колпашев. Сердце мое озаряется счастьем от сознания, что русская блистательная артистка милосердием своим и бла-

городством отображает «Русских женщин» декабристов, «во глубину сибирских руд» несущих свет и милость. Да святится имя ее! Когда-нибудь в моей биографии чаша воды, поданная дружеской рукой, чтоб утолить алканье и печаль сосновой музыки моей, будет дороже золота и топазия. Так говорят даже чужие холодные люди» («Красное знамя» (Вытегра), 17 октября 1985 года). Переписка поэта и певицы скорее всего утрачена (писем Клюева Обуховой ныне на государственном хранении нет).

¹¹ Первоначально — «неделовые». Источник этих строк не установлен.

¹² В 1936 году этот праздник приходился на 23 февраля.

²⁰ Берёзов (ныне Берёзово) — посёлок, районный центр Ханты-Мансийского автономного округа. Известен в истории как место ссылки сподвижника Петра I А. Д. Меншикова.

²² Ср. письмо 19, прим. 3.

²³ С. А. Клычков.

²⁴ Так в оригинале. Вероятно, это описка и нужно читать «то».

²⁵ Видимо, именно в это время П. Васильев вышел из тюрьмы — вскоре он вернулся в Москву.

²⁶ О переписке Клюева и Мандельштама у нас сведений нет.

²⁷ Из стихотворений поэта последних лет его жизни пока известно лишь одно: «Есть две страны; одна — Больница...» («Дружба народов», 1987, № 12, стр. 141).

²⁸ Адрес дома, где жили Клычковы, — Нащокинский переулок, дом 3/5.

²⁹ Весом 13 килограммов, ценностью 200 рублей; отправлена из Москвы 10 декабря 1935 года (квитанция в АК).

³⁰ Окончание письма не сохранилось. 9 марта 1936 года Клюев отправил В. Н. Горбачевой открытку с упоминанием об этом письме: «Перевод за самовар (то есть деньги, вырученные за проданный самовар; возможно, 80 рублей, отправленные по почте 4 февраля 1936 года. — Г. К., С. С.) получил, сердечно благодарен. Послал дней десять назад Вам заказное письмо. Прошу о весточке. Низко кланяюсь. Адрес старый. 9 марта» (год установлен по почтовому штемпелю).

21. Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ-САДОМОВОЙ

«Томск, начало марта 1936 г.»

Дорогая Над<еж>да Федоровна — примите мое приветствие и земной поклон за милосердие Ваше. На последний перевод 70 руб. я написал Вам подробное письмо². На Ваши вопросы, в чем я нуждаюсь, тяжело нуждаюсь в обуви, нет брюк на весну и лето, шляпы, верхней рубахи или пиджака и вообще белья. Если можно с Артиста³ — то я бы переделал по себе. Шляпа с его головы мне в самый раз. Мне не в чем выйти в театр, а он здесь очень хороший и главные роли на р<ед>кость⁴. Простите. Не <осу>дите. Жизнь Вам и крепосты!

¹ Письмо написано на открытке с изображением старца и подписью: «Феодор Козьмич умер в Томске 20 января 1864 г.». Датируется по упоминанию в письме Клюева к тому же адресату (июль — август 1936 года): «Я писал Вам в начале марта. Письмо со вложением карточки Федора Кузьмича, Томского легендарного старца. Получили ли Вы его?» (ИРЛИ, р. 1, оп. 12, ед. хр. 534, л. 27 об.). Текст письма 21 предоставлен М. С. Ивановой.

² Это письмо, по-видимому, утрачено; среди находящихся на государственном хранении писем поэта Н. Ф. Христофоровой-Садомовой его нет.

³ Артист — Садомов Анатолий Николаевич (1884—1942), солист Большого театра (бас), муж адресатки клюевского письма. В 1932 году поэт подарил А. Н. Садомову свою книгу «Изда и поле» со следующей надписью: «Светлому русскому артисту Анатолию Николаевичу Садомову ларец песенных самоцветов преподношу в благодарность за хлеб-соль в черные дни моей жизни! Н. Клюев. (Милосердие и русская поэзия будут Вам благодарны.) 1932 г. Москва» (ИРЛИ, р. 1, оп. 12, ед. хр. 536).

⁴ О театре поэт не раз вспоминал в своих сибирских письмах: «В Колпашеве театра нет. Хотя часто сердце щемит от необходимости побывать в нем, но приходится ублаживать себя прошлыми видениями» (Н. Ф. Христофоровой-Садомовой, 28 июля 1934 года. — ИРЛИ, р. 1, оп. 12, ед. хр. 534, л. 8 об.); «В театре здесь (то есть в Томске. — Г. К., С. С.) идет оперетта: «Цыганский барон», «Марица» и т. п. Поэт Дарский, Лидарская — что я слышал; краем уха о них — но не знаю их, как артистов» (ей же 22 февраля 1935 года. — «Красное знамя» (Вытегра), 19 октября 1985 года).

22. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

«Томск, июль (не ранее 5-го) 1936 г.»

<Очнулся> как от летаргического сна, «дорогая Вар» Николаевна. Четыре ме<сяца> был при<ко>ван к постели. разбит пара<личом и совер>шенно беспо<мо>щен. Отнялась <левая рука>² и нога и левый глаз закрылся <несколько слов утрачено>³ сослать в Туруханский край <несколько слов утрачено>⁴ мои не выдержали, к тому же я непоправимо болен пороком сердца в тя-

желой форме. Все это удостоверили врачи по распоряжению местного Н. К. В. Д. Теперь я в своей комнатухе среди чужих людей, которым я нужен, как собаке пятая нога. День и ночь лежу, сегодня первый раз сполз к столу и, обливаясь потом от слабости, пишу Вам: сходите к прокурору республики⁵ — просите его на основании моей непоправимой болезни освободить меня досрочно. Возьмите меня на свое иждивение — это ровно Вас ни к чему не обязывает и нужно лишь официально. Не бойтесь. Я не утружу Вас. Без человека же и бумаги к том, что кто-то меня больного берет на иждивение, — не освобождают, а заключают в лагерь для инвалидов до смерти. А это равносильно тюрьме. Умоляю не откладывать хлопот — так как великое мое несчастье в лице новой ссылки может всегда и неожиданно повториться⁶. Моя тяжкая болезнь сибирскому начальству не помеха. Несмотря на то, что существует определенная статья по болезни досрочно <освободить>. Болезнь же моя превышает пр<одолжи>тельность всякой статьи. П<рошу подать> заявление и Калинин. Ес<ли будет из> Москвы хотя бы слабое дунов<ение милости,> то меня не казнят. Облива<юсь потом,> очень слаб. Кругом ждут <несколько слов утрачено> денег нет. На беду появился аппетит. Кланяюсь милому Журавлю. Тоскую невыразимо, под несметными изьяными мухами — лежу в духоте, давно без бани, вымыть некому, накормить тоже. Левая рука висит плетью. На ногу маленько ступаю. Она распухла, как корчага⁷. Помогите, чем можете! Жду весточки⁸. Кланяюсь со слезами. Заранее сердцем благодарен. Адрес: Переулоч Красного Пожарника, 12.

Долго был без памяти, да и сейчас много не помню.

Простите. Не осудите.

Н. Клюев.

¹ Датируется с учетом следующих строк письма поэта Н. Ф. Христофоровой Садовой (июль — август 1936 года): «С марта месяца я прикован к постели. Привезли меня обратно к воротам домишка, в котором я жил до сего, только 5-го июля» (ИРЛИ, р. I, оп. 12, ед. хр. 534, л. 27). Левый верхний угол листа письма 22 утрачен. Текст реконструируется предположительно, в сопоставлении с другими письмами Клюева.

² Ср. со строками из письма, цитированного в прим. 1: «В своем великом несчастье я светел и улыбаясь сердцем. Я посежен трудной болезнью — параличом левой стороны тела. Не владею ни ногой, ни рукой. Выл закрыт и левый глаз. Теперь я калека. Ни позы, ни ложных слов нет во мне. Наконец настало время, когда можно не прибегать к ним перед людьми, и это большое облегчение» (ИРЛИ, р. I, оп. 12, ед. хр. 534, л. 27).

^{3,4} Это место письма (в целом) реконструируется (с большей или меньшей степенью вероятности) так: «<Если бы решили> сослать в Туруханский край, <этого бы ноги> мои не выдержали...»

⁵ В. Н. Горбачева выполнила просьбу поэта, побывав на приеме в прокуратуре республики в конце июля — начале августа 1936 года. Очевидно, она сообщила об этом Клюеву, ибо 10 августа он (иносказательно) дает свою оценку результатам этого визита (см. следующее письмо).

⁶ Ср. место из письма 20, сопровождаемое прим. 21.

⁷ Из письма поэта, цитированного в прим. 1 и 2: «Я немного стал бродить от койки до стола и до рукомойника. Очень тяжело на чужих людях хворать. Каждую минуту жди ворчанья и оскорбления. Таков мой крест. Господь меня не забывает, посещает и пасет меня своим железом железным!» (ИРЛИ, р. I, оп. 12, ед. хр. 534, л. 27 об.).

⁸ Кроме письма, ответ на которое поэт написал 10 августа (письмо 23), В. Н. Горбачева (по-видимому, сразу же) по получении данного клюевского письма (24 июля 1936 года) отправила ему телеграфный перевод на 95 рублей (квитанция в АК).

23. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

«Томск,» 10 августа «1936 г.»

Дорогая Варвара Николаевна.

Получил Ваш перевод телеграфом¹ и письмо, принял с глубоким сердечным волнением. Благодарю, что не забываете меня несчастного. Благодарю и за хождение и хлопоты Ваши! Я не каждый день могу встать с кровати. Когда опухоль с ног немного спадет, тогда я чувствую себя пободрее. Но письмо написано было давно, только некому его снести на почту и не было конвертов. Что мой дядюшка был с Вами суров², то это доказывает, что он все-таки считал Вас более и<ли> менее за представителя общественного мнения, в частности литературных и художественных кругов. Иначе ведь нельзя. Немножко удивляет, что мое писание понадобилось для его архива. Оно ведь не ему предназначалось³. Пусть так. Теперь посылаю заявление — с горячей просьбой отослать его, как

Вы советуете, прямо⁴. Если мне послать здесь с таким громким адресом, то оно до Москвы не дойдет. Потрудитесь послать по городской почте. Не знаю только, заказным или простым. На заказном нужно писать адрес отправителя, и я затрудняюсь, можно ли в Москве — с Томским адресом. Потрудитесь спросить на почте. Если нельзя, то пошлите простым. Быть может, и будет что хорошее. Слезы заливают мне лицо. Думаю, что эту зиму я не переживу и не дождусь нового зеленого шума — в этот год я не видел весны, а лето вижу с жалкого двора, когда меня вытащат посидеть на вечерке у поленницы дров⁵. Давно не бывал в бане, она от моей избы далеко и дорога оврагами — мне не дойти. Все тело искусано клопами и расцарапано нестерпимым чёсом. С сентября откроется клиника — быть может, примут на лечение, если я смогу платить шесть рублей в сутки! Вы пишете, что послали мне на больницу 30 руб. Я получил 20 руб., а от кого, мне не сказали. Там этого не сообщают⁶. Но за все благодарю со слезами.

Как бы мне хотелось услышать что-нибудь от милого Журавиного Гостя!⁷ Как он живет и как его певучая душенька? Что волнующего в искусстве? Я написал поэму и несколько стихов, но у меня их уже нет⁸: они в чужих жестоких руках. Быть может, нападете на след Толочки — передайте ему от меня низкий поклон. На Ваше письмо, в котором Вы писали, что Толя был у Вас очень модный и пьяный успехами, я написал Вам свою обиду на него. Получили ли Вы такое письмо⁹. Что слышно о П. Васильеве? Где он?¹⁰ Как бы я хотел иметь Мадур-Вазу¹¹: почитал бы с упоением! У меня были с трудом приобретенные кой-какие редкие книги и старинные иконы¹² — мимо которых я, как художник, не могу пройти равнодушно, но и они с злополучного марта месяца в чужих руках¹³. Сибирь объясняет знание древнего искусства — вульгарным церковничеством. Иное понимание этих вещей не входит здесь никому в сознание. Вот тебе и университетский город! Мне ставится в вину — конечно, борода и непосещение п<и>вного зала с уединенными прогулками в сумерки за городом (я живу на окраине). Посещение прекрасной нагорной церкви 18го века с редкими образами для ссыльного чудовищное преступление!¹⁴ Не знаю, в теле или без тела, наяву или во сне, но мне в этой церкви — на фоне северной резьбы и живописи — несколько раз являлась моя покойная мать, — вся как лебединое перышко в синеватых радугах, утешала меня и утирала мои слезы неизреченно ароматным и нежно-родимым платочком¹⁵. Извините, что рассказываю Вам неделовое, но поверьте, что это не лирика, а самая живая — жизнь. Прошу Вас не оставить меня недостойного без милостыни, без весточки! Целую всех милосердных и про запас прощаюсь. Прощайте!

¹ См. письмо 22, прим. 8.

² См. письмо 22, прим. 5.

³ По-видимому, речь идет об одном из заявлений Клюева во ВЦИК.

⁴ Очевидно, новое заявление поэта (адресованное скорее всего в прокуратуру республики) было послано одновременно с данным письмом.

⁵ Ср. строки из письма к Н. Ф. Христофоровой Садомовой, написанного примерно в то же время (август — сентябрь 1936 года): «Я уже хожу по избе и за всякой своей нуждой, но все-таки больше лежу. Иногда приливает тоска к сердцу. Хочется поговорить с милыми друзьями, послушать подлинной музыки!.. За досчатой заборной от моей каморки — день и ночь идет современная симфония — пьянка, драка, проклятия, — рев бабий и ребячий и все это покрывает доблестное радио. Я, бедный, все терплю. Второго февраля стукнет три года моей непригодности в члены нового общества! Горе мне, волку ненасытному! Вся жизнь я питался отборными травами культуры — философии, поэзии, живописи, музыки... Вся жизнь пил отблеск, исходящий от чела избранных из избранных, и когда мои внутренние сокровища встали передо мной как некая алмазная гора, тогда то я и не погодился. Но всему свое время; хотя это весьма обидно» (ИРЛИ, р. 1, оп. 12, ед. хр. 534, лл. 28—28 об.).

⁶ В апреле 1934 года В. Н. Горбачева по просьбе поэта отправила ему в Томский изолятор телеграфный перевод (см. письмо 6, прим. 3). В ответ на ее вопрос, получил ли он этот перевод, Клюев писал так: «Ваших 50 руб. в Томске я, вероятно, получил, но мне не объявляли, от кого получение, — таков острозный режим» (письмо 6), — параллель с данным местом комментируемого письма не только очевидная, но и не случайная (см. ниже).

⁷ См. письмо 18, прим. 6.

⁸ Вместо слов «уже нет» первоначально было «отобрали»; см. также письмо 20, прим. 27.

⁹ Письмо 20.

¹⁰ Летом 1936 года П. Васильев побывал в Средней Азии и в Омске.

¹¹ См. письмо 2, прим. 6.

¹² Здесь Ключев (единственный раз в известных нам письмах из Сибири) сообщает, по существу, о том, что деньги, получаемые им от друзей, шли не только на телесные, но и на духовные его нужды. Из этих слов поэта следует, что и в Сибири он стремился обустроить свое жилище в том старорусском духе, который был так близок его сердцу. Об одной из своих новоприобретенных древнерусских рукописных книг он писал (в письме, цитированном в прим. 5) так: «Я сейчас читаю удивительную книгу. Она писана на распаренном берёсте (от слова «берёсто». — Г. К., С. С.) китайскими чернилами. Называется книга Перстень Иафета. Это ничто другое, как Русь 12-го века до монголов. Великая идея Святой Руси как отображения церкви небесной на земле. Ведь это то самое, что в чистейших своих снах провидел Гоголь, и в особенности он — единственный из мирских людей. Любопытно, что в 12-м веке сорок учили говорить и держали в клетках в теремах, как нынешних попугаев, что теперешние черемисы вывезены из Гипербореев, т. е. из Исландии, царем Олафом Норвежским, зятем Владимира Мономаха. Им было жарко в Киевской земле, и они отпущены были в Кольвань — теперешние Вятские края, а сначала содержались при Киевском дворе, как экзотика. И еще много прекрасного и неожиданного содержится в этом Перстне. А сколько таких чудесных свитков погибло по скитам и потайным часовням в безбрежной Сибирской тайге?!» (ИРЛИ, р. I, оп. 12, ед. хр. 534, л. 28 об.).

¹³ Уже второй раз в этом письме поэт говорит о «чужих руках». Это повторение вкрупне с упоминанием о больнице, в которой при получении больным денежного перевода не сообщают ему о том, кто послал деньги (см. прим. 6), на наш взгляд, имело целью довести до адресата истинное положение дел — Ключева лечили в больнице, находящейся на «острожном режиме». Подтверждение тому, что поэт был тогда арестован, содержится в письме В. Ф. Кропанева (см. письмо 20, прим. 2), рассказывающего со слов матери (И. И. Кропаневой): «Вы спрашиваете, не лежал ли в больнице, не ездил ли куда, не отлучался ли куда-нибудь из дома Н. А. Ключев. Нет, никуда он не отлучался. Его арестовали, приехали ночью и увезли, как и многих других в то время. Мать видела, как это происходило, да и свозье заборку все было слышно. Было это зимой, месяц она не помнит (первая половина марта в Томске — это еще зима. — Г. К., С. С.)» (из письма В. Ф. Кропанева С. И. Субботину от 12 апреля 1985 года). Намек на этот арест, кажется, есть и в словах из не дошедшего до наших дней письма Ключева Н. Ф. Христофоровой-Садомовой, приводимого ею в воспоминаниях о поэте: «Если меня еще раз обидят и арестуют, — я этого уже не вынесу, т[ан] к[ак] сердце мое уже не выдержит страданий; поминать же тогда меня „на погосте“» (ИРЛИ, р. I, оп. 33, ед. хр. 100, л. 11; разрядка наша. — Г. К., С. С.). В больницу Ключев попал, очевидно, уже в тюрьме, а затем (вероятно, было учтено состояние его здоровья) был возвращен на прежнее место жительства. Заметим, что последний арест поэта состоялся летом 1937 года, когда он жил уже на другой квартире (см. ниже — письмо 28, прим. 6).

¹⁴ Скорее всего Ключев пересказывает здесь содержание своих «бесед» с лицами, которым он был подготовлен в Томске как политический ссыльный (говоря его словами, с «Томским начальством»).

¹⁵ Ср. с «шестым сном» поэта в изложении Н. Ф. Христофоровой-Садомовой: «Маменька сейчас здесь была; она вошла в эту дверь (из коридора), вся в белом, как невеста, и в фате, и вся обрызгана как бы дождевыми каплями. Войдя в эту дверь, она сказала: „Христос Воскресел! По этой страшной дороге я исколола все ноженьки! И что же вы делаете — не правите по мне панихид? Ведь Зорифер ходит по земле и налагает на всех язы. Вы все перехвораете, а у тебя и ноги отнимутся!“. Далее Н. Ф. Христофорова-Садомова добавляет: «Он <...> долго был под влиянием этого пророческого сна: как видно из последних событий его жизни — перед смертью в тюрьме у него действительно был паралич обеих ног» (ИРЛИ, р. I, оп. 33, ед. хр. 100, лл. 22—23).

24. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

«Томск, 25 октября 1936 г.»

Приветствую Вас, дорогая Варвара Николаевна! Я все еще лежу. Хожу очень плохо — едва до скамеечки у ворот, чтоб после общей избы, криков и брани — подышать сибирскими гучами, снегом ранним, каким-то лохматым и густосивым, посмотреть на звезды и на санцах памяти прокатиться по прошлому. Вот уже скоро три года — мрачных, мучительных и тяжелых (как жернов на шее), как я в изгнании, а теперь и калека... Умываюсь слезами. Огорчений каждый день не предусмотреть. Я беспомощен что-либо промыслить и сделать для себя по пропитанию. Анна Исаевна — моя хозяйка по квартире, властная базарная баба, — взялась меня кормить за 75 р. в месяц. На исходе месяца начинаются справки — получил ли я перевод и т. п. Следом идут брань, придирки. Очень тяжело. Слез моих не хватает. И я лежу, лежу... С опухшей, как бревно, ногой, с изжелта синей полумертвой рукой. Напишите мне весточку; Ваши слова мне очень помогают! Я послал Вам спешное письмо¹ с новым заявлением. Волну-

юсь, жду ответа. На это спешное от Вас извещение я не получал. Весьма беспокоюсь. Как Вы поживаете? Все ли у Вас благополучно? Какие новости в искусстве? Я ничего не знаю и не слышу. Вам говорили, что Томск город университетский. Для кого — как, а для меня это пустыня, гнище Иова². Для кого озеро Лаче, а для Даниила Заточника³ оно было озером плача. Большая охота поговорить с поэтом-художником. Трудно, конечно, представить, как я придавлен и как болят мои язвы. Как бы подержаться еще на поверхности? — какие существуют для этого средства? Переслано ли «непосредственно» мое заявление?⁴ Прошу Вас, уделите полчаса от своих забот и трудов, — напишите мне! Всякое слово из Москвы для меня ценно, порождая целый хоровод видений и выводов. Очень прошу Вас о милостыне и о письме! Нельзя ли где раздобыть мне смену-две белья — хотя платанного⁵, нет у меня теплой шапки и ничего на руки. Если попадется шапка, то самого большого размера — у меня голова большая, 15 вершков в окружности. Конечно, здесь можно и купить, но для этого нужно самое малое 25 рублей на ушанку овечью <одно слово нрзбр>, какая только и спасает от сибирских морозов и пурги. Не знаете ли адреса Толи — раз он очень модный, то, может быть, он мог бы что-либо купить из моего барахла себе на память обо мне и моей судьбе. Нельзя ли предложить чего Обуховой: Брюсовский пер., дом 7?

Низко вам всем кланяюсь. Погибну, — поминайте и верьте моей любви к вам и истинной теплоте сердеч<ной>. Еще раз прошу о милостыне и о письме — как Вы поступили с моим спешным письмом?
25 октября⁶.

¹ Других писем, датированных августом, сентябрем или октябрем 1936 года, кроме писем 23 и 24, в АК не обнаружено.

² О библейском персонаже Иове см.: «Мифы народов мира. Энциклопедия». М. 1980, том первый, стр. 553—554.

³ О Данииле Заточнике и его «Молении» см.: «Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1 (XI — первая половина XIV в.)». Л. 1987, стр. 112—115.

⁴ См. письмо 23, прим. 4.

⁵ То есть заплатанного (или латаного).

⁶ Та же дата стоит и под одним из сохранившихся писем Клюева Н. Ф. Христофоровой-Садовой, вторая половина которого во многом совпадает с комментируемым письмом. Однако первая его часть написана в совершенно иной тональности, демонстрирующей — вопреки немощи тела поэта — силу его духа:

«Дорогая Надежда Федоровна! Будьте благосклонны к предварительным стихам греческого поэта Феогнида! Жил в половине шестого века до нашей эры. Мне попались из него отрывки (в переводе В. В. Вересаева. — Г. К., С. С.) и очень меня поразили:

Слишком в беде не горюй и не радуйся слишком при счастье!
То и другое умеи доблестно в сердце нести!

Сердце! Не в силах тебе я доставить, чего ты желаешь.
Нужно терпеть: красоты хочешь не ты лишь одно!

Не было, нет и не будет вовек человека такого,
Кто бы в Аид низошел, всем на земле угодив!

Радуйся жизни, о дух мой! Появятся скоро другие
Люди, а я, умерев, черною стану землей!

Бедность проклятая! Как тяжело ты ложишься на плечи!
Как развращаешь зараз тело и душу мою!
Я так люблю красоту и молитву, а ты против воли
Учишь насильно меня грех возлюбить и позор!

Это классическое язычество, а вот тропарь Роману Сладкопевцу: «Се питаеши красными песнопениями помыслы наши и исполняеши сладости божественныя — паче всего богатства мира, пищи и пития, глениы! Цитра золотая, нищетой богата!»

Я так ниц, что, оглядывая на себя, удивляешься чуду жизни — тому, что ты еще жив. На меня, как из мешка, сыплется камни ежечасных скорбей от дальних и лжебратий и ближних — с кем я живу под одной крышей. Но как ветром с какой-то ароматной Вифан <ии> пахнет иногда в душу цитра золотая, нищетой богата! Я все более

и более различаю эту цитру в голосах жизни. Все чаще и чаще захватывает дух мой неизглаголанная музыка. Ах, не возвратиться бы назад в глухоту и немоту мира! Как блаженно и сладостно слушать невидимую цитру!

Вот еще из русских гимнов. Из письма Иоанна Кронштадтского:

Как тебе приятно, как весело
Сидеть под цветущей яблоней,—
Она проста — потому и счастлива.
Вог прост и душа проста.
Какая радость знать это!

Я не пишу никаких произвольных выводов от себя. Но не могу не поделиться с Вами эгим небесным бисером. А уж выводы сделайте сами.

<...> Очень тяжело. Только ночью, уже часа в 3—4, я начинаю отходить от дневной брани и избяных криков а... для бедной души моей играет Роман Сладкопеев на своей золотой цитре, и я засыпаю счастливым» (ИРЛИ, р. I, оп. 12, ед. хр. 534, лл. 26—26 об.).

25. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

«Томск, 3 декабря 1936 г.»

Привет, привет!

Переводы получил¹. Благодарю сердечно. Здоровье плохое. Еще на улицу не хожу. Больше лежу. Очень обидно. Кланяюсь милому Журавлю! 3 «декабря»².

Егорушке привет.

Как мое второе заявление?³

¹ Отправлены телеграфом 30 октября 1936 года (80 рублей) и 24 ноября 1936 года (50 рублей). Квитанции отправки — в АК.

² В оригинале описка — «ноября». Правильная дата и год отправки установлены по почтовому штемпелю на данной открытке.

³ Вероятно, имеется в виду заявление, упомянутое в письме 24 (строки, сопровождаемые прим. 1).

26. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ¹

«Томск, 22 декабря 1936 г.»

...пластинка на кромке этой лавицы² гласит об этом. Ее предложили бы Вы своей маме, быть может, она бы ее приобрела. Предложите складень Николаю <Семеновичу>³ Голованову — Брюсовский пер., № 7, по цене, какую он сам назначит, ну хотя бы 700—600 руб. Он когда-то у меня покупал его, но списаться так трудно. Быть может, Ваше письмо дойдет до него. То-то была бы для меня радость, и даже с теплым углом, на 9ти месячную зиму. Я содрогаюсь — куда я попаду!⁴ В жакты я не имею права, у частников нужно искать по слободкам и трущобам на/краине города, а там зловонные татары и страшный культурный люмпен<н>. Если выкрадут у меня мои полупудовые, усеянные бесчисленными заплатами, — валенки, то я погибну! Когда то денди⁵, еще без успехов и денег, был совестливей и так или иначе обул меня в эти бегемоты, — они мне кажутся теплым раем. Слез моих не хватает от жестокостей моего пути до кладбища. На мое заявление ничего не слышно. Получил обрывок письма Льва Пулина⁶ — очень обрадовался. Недоумеваю, что он ищет меня, прекрасно зная мой адрес! Я писал два заявления его начальству по заточению, но ответа не получил. А он уже давно на воле. Спасибо, что не забыл! Это очень нежный и слабый человек. Как он сохранился — просто чудо!

Объяснил я Васильев, или пишет из тюрьмы? Что Литгазеты называли его бездарным — это ничего не доказывает. Поэт такой яркости, обладатель чудесных арсеналов с кладенцами, может оказаться бездарным совершенно по другим причинам (так сказал один мудрый китаец). Мне бы очень хотелось прочесть бездарные стихи Павла. Хотя он и много потрудился, чтобы я умолк навсегда⁷. Передайте ему, что я написал четыре поэмы⁸. В одной из них воспел и он, не как негодай, Иуда и убийца, а как хризопраз самоцветный! Извините еще за просьбу: если устроите мои вещи — то нельзя ли купить мне мануфактуры черного на верхнюю рубаху 3½ метра и белого или в полоску на две нижних рубахи по 3½ метра и кальсоны, — на мне одни лохмотья, а купить здесь

нечего. Еще мне нужны теплые трикотажные кальсоны (большого размера), теплые носки и хотя бы парочка носовых платков и наволочек. О простыне и не мечтаю. Еще раз Вам кланяюсь земным поклоном. Напишите денди или скажите, что он слишком занят и опоздает на мои похороны.

Адрес пока прежний.

22 декабря

36 г.¹⁰.

Кланяюсь друзьям.

¹ Первая половина письма (первый лист) в АК не найдена.

² Речь идет о скамье, принадлежавшей поэту. См. о ней также в письме 11.

³ В оригинале описка: «Степан[овичу]». Об этом же Клюев писал в письме 10.

⁴ Очевидно, в первой половине этого письма Клюев сообщал о предстоящей ему перемене жилья.

⁵ Речь идет об А. Н. Яр-Кравченко.

⁶ См. письмо 14, прим. 6.

⁷ В это время П. Васильев был в Москве.

⁸ См. письмо 18, прим. 4.

⁹ Эти произведения неизвестны.

¹⁰ В АК сохранился конверт от этого письма. В Москву оно пришло 27 декабря 1936 года (почтовый штемпель). А накануне — 26 декабря — В. Н. Горбачева отправила в Томск почтовый перевод на 50 рублей (квитанция в АК).

27. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

«Томск, вторая декада апреля 1937 г.¹»

Приветствую Вас от всего сердца, дорогая Варвара Николаевна! Благодарю со слезами за помощь, за 100 и 50!² Время делает свое, и я все реже и реже получаю милостыню от своих милых и кровных. Осталось еще полтора года³. Вероятно, они будут самые тяжелые без помощи, при моем нездоровьи. Все три последних месяца я не слезал с постели — от тяжело<го> гриппа, теперь хожу, но плохо, и глубокий непрерывный бронхит истерзал меня. На великую беду Толечка⁴ обещал платить за лучшую и теплую комнату, я поверил, переехал, но теперь меня гонят за неуплату. Обещание осталось лишь словами. Неимоверная горечь на мои старые раны!

У вас там весна, а здесь мороз, — едва почернела дорога. Если возможно, не оставьте меня на праздники без милостыни! Прошу и молю Вас! Если зайдет милый Толечка — поговорите с ним о ковре. Скажите ему, что не было бы для меня лучшей радости знать, что мой любимый и заветный ковер украшает его комнату! Но он ведь при деньгах, знает мое исключительно горемычное положение, почему же он уклоняется от уплаты за него каких-то грошей?! Прошу Вас передать ему точно эти слова! На днях ухожу опять в конуру за 25 руб., полутемную и сырую⁵. И то слава Богу. Город не имеет жилплощади. Крепко обнимаю Журавинного Гостя, большим крестом благословляю крестника. Земно кланяюсь Вам! В предыдущем письме⁶ я просил Вас раздобыть мне что-либо из белья. На мне одни лохмотья! Восемь месяцев не был из-за болезни в бане. Самому не дойти, а помочь некому. Прощайте. Живите. Прошу о восточке!⁷ Адрес можно. Марининский пер., 38, только заказным письмом, простое не передадут. Такие варнаки около меня.

¹ Датируется по сопоставлению содержания письма с квитанциями переводов в Томск, сохранившимися в АК: почтовый на 50 рублей (5 апреля 1937 года) и телеграфный на 36 рублей (25 апреля 1937 года). Кроме того, данное письмо написано на той же бумаге, что и письмо поэта Н. Ф. Христофоровой-Садомовой от 6 апреля 1937 года. Приводим начало последнего (сопровожденного двумя эпиграфами):

«Х. В.

Из книги «Моя жизнь во Христе»
о. Иоанна Кронштадтского.

Благородного и возвышенного духа тот человек, который благоотно и щедро рассыпает всем свои дары и радуется, что он имеет случаи сделать добро и удовольствие всякому, не думая о вознаграждении за то. Благородного и возвышенного духа тот человек, который никогда не зазнается с часто посещающим его и пользующимся его милостыней человеком. Не охлаждает к нему в мыслях своих, но всегда считает его таким, каким считал при первой встрече с ним. А то мы обыкновенно охлаждаем к

тому, кто часто пользуется нашей помощью, так сказать, насыщаемся им, и становимся равнодушными к нему именно в ту ночь, когда всего для него нужнее милосердие, когда, связавши, его поведут во внутренний двор Пилата.

Из книги Разум Цветов (Метерлинка).
Я смотрю на луг, горящий маком, резедой, колокольчиком... Что ждет меня по ту сторону хрупкой иллюзии, которая зовется существованием? В мгновение ока, когда остановится сердце, начинается ли вечный свет или бесконечный мрак? Хрупкие цветы учат нас почувствовать то, что мы вечны. Пчелы знают ароматы рая, мы можем знать сладостный труд цветка, подающего пчеле от того, что он имеет!

Дорогая Надежда Федоровна!

Поздравляю Вас с весенним солнцем! С Воскресением Матери сырой земли. Давно не получал от Вас весточки. Писали Вы мне, что собираете посылку, но я беспокоюсь, что ее нет и нет! Как Вы поживаете, здоровы ли? Я последние три месяца не вставал с койки — все болел и болел. Время делает свое — все реже и реже приходит мне милостыня и вести от моих далеких друзей, а ведь осталось еще не так много — полтора года, если я их вынесу — продержусь, то я и спасен, если Бог грехам потерпит, поэтому прошу Вас — подайте мне милостыню, если это возможно! Если бы не помощь тех, кто ничего не имеет, таких же горемычных, как я, недостойный, то уже наверно бы я сокрушился и стал бы черной землей... Но Образованная Мария делится со мной мало-мало радостью. Одно дуновение края ризы Марииной, <и> я встаю и отряхаюсь, как орел после линяния и сброски старых отживших перьев. Какой радостью-светом полнится мое сердце! Помогите мне ради «Днесь весна ликует!». Волною морскою омоет и мою душу. Не оставьте без праздника, когда о тебе радуется, Благодатная, всякая тварь!» (ИРЛИ, р. I, оп. 12, ед. хр. 534, лл. 30—30 об.).

² Почтовый перевод на 100 рублей, отправленный 28 января 1937 года, и упомянутый в прим. 1 перевод от 5 апреля 1937 года (квитанция в АК).

³ Срок пятилетней ссылки поэта истекал 2 февраля 1939 года. Ни в одном из известных нам писем Клюева из Сибири нет указаний на то, что ему сократили этот срок с пяти до трех лет, о чем недавно можно было прочесть в журнале «Дружба народов» (1987, № 12, стр. 137) и в альманахе «День поэзии '87» (М. 1987, стр. 209).

⁴ См. письмо 26, прим. 5.

⁵ Адрес последнего места жительства Клюева в Томске — см письмо 28.

⁶ Письмо 26.

⁷ Очевидно, сразу по получении этого письма В. Н. Горбачева послала в Томск телеграфный перевод, упомянутый в прим. 1.

28. В. Н. ГОРБАЧЕВОЙ

«Томск, 3 мая 1937 г.»

Дорогая Варвара Николаевна, приветствую Вас и Егорушку и милого Журавинового Гостя. Теперь вы все, верно, на даче — на своем старом балкончике, — где стихи с ароматом первой клубники, яблони цветут. Моя весна до Николы¹ с ледяным ветром, с пересвистами еловых вершин. Перевод (30) получил² — благодарю, да будет светлой Ваша весна! Прошу Вас поговорить по телефону или написать поподробней Надежде Андреевне³ о покупке ковра, что он длинно персидский, старый, крашен не анилином, ремонту лишь руб[лей] на 25^т. Я писал своему племяннику⁴, умолял его о ковре за 400 руб., но ответа не получил⁵. Если его увидите, то скажите эти условия. Я очень нуждаюсь. Здоровье тяжкое. Адрес новый: Старо-Ачинская ул., № 13⁶.

¹ Никола Вешний празднуется 9 мая старого стиля.

² Отправлен из Москвы почтой 26 апреля 1937 года (квитанция в АК).

³ Н. А. Обуховой.

⁴ См. письмо 26, прим. 5.

⁵ Ковер остался в семье Клычковых. В октябре 1986 года он был передан на родину Клюева, в Вытегорский краеведческий музей (см. Стафеев Н., «В дар музею». — «Красное знамя» (Вытегра), 6 ноября 1986 года).

⁶ Эта открытка пришла в Москву лишь 30 мая (почтовый штампель). Более поздних писем Клюева в АК не найдено. Однако, поскольку 12 июля В. Н. Горбачева отправила поэту почтовый перевод на 130 рублей (талон в АК), можно предположить, что до этого дня она получила по крайней мере еще одно письмо из Томска и, следовательно, в конце июня — начале июля 1937 года Клюев был еще на свободе.

31 июля 1937 года С. А. Клычков был арестован. А 27 августа в Москву из Томска вернулись посланные Клюеву 12 июля деньги (почтовый штампель на талоне перевода в АК). Очевидно, В. Н. Горбачева тут же отправила поэту телеграфный запрос с уведомлением о вручении, поскольку в АК имеется ответная телеграмма следующего содержания: «<...> Горбачевой В Н Москва = Ваш 19/90 28/8 Староачинский 13 Клюеву не доставлена адресат не проживает». Эту телеграмму, которая фактически являлась сообщением о том, что Клюев изолирован, В. Н. Горбачева получила 31 августа 1937 года — ровно через месяц после ареста мужа

До недавнего времени исходным источником о самых последних днях жизни Ключева была (в отечественной литературе) статья Вл. Орлова «Николай Ключев» («Литературная Россия», 25 ноября 1966 года), в свою очередь восходящая к посмертно опубликованному мемуарам Р. В. Иванова-Разумника «Писательские судьбы» (Нью-Йорк, 1951). Именно из этих работ и берет начало распространенная легенда о смерти поэта на одной из железнодорожных станций от сердечного приступа и об исчезновении бывшего при нем чемодана с рукописями (ср. также: Чивилихин В. Над уровнем моря. Пять повестей. М. 1967, стр. 598).

Нам известны три независимых мемуарных свидетельства, которые, не совпадая друг с другом в деталях, сходятся в главном — Ключев погиб в томской тюрьме. В. В. Ильина, в семье которой бывал поэт (см. письмо 18, прим. 2), закончила свои воспоминания о нем такими словами: «Летом 1937 г. в Томске наступила полоса арестов. Я жила в деревне и с ним не встречалась. Прошел слух, что он расстрелян как духовное лицо. Мне это кажется мало правдоподобным» (ИРЛИ, р. I, оп. 11, ед. хр. 138, л. 7). Н. Ф. Христофорова-Садомова вспоминает: «К нам <...> зашли двое мужчин, сказали, что они проезжают через Москву из Томска, — и зашли сообщить, что Ключев Николай Алексеевич скончался в томской тюрьме. Ничего не добавив, ушли» (ИРЛИ, р. I, оп. 33, ед. хр. 100, л. 11). Известный ленинградский коллекционер М. С. Лесман (1902—1985) читал в 1985 году А. Л. Казакову воспоминания священника, слышавшего рассказ очевидца о гибели человека, похожего на Ключева, в тюремной бане (сообщено нам А. Л. Казаковым; эта версия нашла недавно отражение в размышлениях В. Личутина о русском характере «О горе-злосчастии»: «Октябрь», 1987, № 10, стр. 168).

Официальная справка Томского областного архива ЗАГС от 1 февраля 1983 года (№ 157), выданная С. И. Субботину, гласит: «На Ваше заявление от 20 января 1983 года Томский областной архив ЗАГС сообщает, что актовая запись о смерти на гр. Ключева Николая Алексеевича за 1937—1941 годы по городскому ЗАГС г. Томска не обнаружена. Заведующая областным архивом ЗАГС З. В. Шахворостова (подпись)» (архив С. И. Субботина).

Этот факт, конечно, не может рассматриваться как опровержение свидетельств современников Ключева — ведь поэт умер не у себя дома и не на больничной койке... Очевидно, установление точных даты и места его кончины — дело будущего.

Публикация, вступительная статья,
подготовка текстов и комментарии

Г. С. КЛЫЧКОВА и **С. И. СУББОТИНА.**

Когда подготовка писем Ключева к печати была уже близка к завершению, скорострительно скончался Георгий Сергеевич Клычков — Егорушка, не раз упоминаемый в этих письмах... Сын С. А. Клычкова, ключевский крестник, талантливый ученый-лингвист, он был в последние годы жизни профессором Московского областного педагогического института, возглавляя одну из кафедр филологического факультета МОПИ. У него было много учеников, которые никогда не забудут, как умело, ненавязчиво направлял Георгий Сергеевич их первые шаги в науке. Он был удивительным человеком: деликатным, добрым, щедрым, простым в обращении — и не защищенным от зла, хамства, не порядочности, сильно ранивших его. Он являл собой тот (редкий ныне) гипс русского интеллигента, который сложился еще в прошлом веке. Больно сознавать, что с уходом Георгия Сергеевича из жизни так внезапно прервалась еще одна нить, связующая прошлое отечественной культуры с ее настоящим и будущим.

С. СУББОТИН.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

БОРИС ЧЕРНЫХ

★

ПАХАРИ И «МУДРЕЦЫ»

Из истории одного колхоза

Борис Иванович Черных — сибирский прозаик и публицист. Читателям это имя почти неизвестно. рукописи писателя многие годы пролежали в столе.

В середине 70-х годов Черных взялся за трудную, непривычную по тем временам, но, как видится нам теперь, очень нужную работу. Подолгу живя в деревнях, входивших в разное время в колхоз имени Кирова, он записывал рассказы старожилов, которые помнили и годы зарождения колхозов, и период нэпа, и гражданскую войну, хранили предания и о первых поселенцах, отовсюду стекавшихся на эти земли в начале века после столыпинских реформ,— крестьянах Средней России, Украины, Белоруссии, Прибалтики... Работа в архивах, изучение документов и газет дополнили картину важными подробностями. Так родилась книга, главы из которой мы публикуем.

Сам крестьянский сын, Черных не просто фиксировал факты, но размышлял над мужицкой судьбой, судьбой народа, пытаясь на примерах отдельных деревень и даже семейств осмыслить путь, пройденный страной. Вот почему по многу раз возвращается автор в своем повествовании к одним и тем же героям, не забывая их родственников и соседей, не обходя их нынешнего бытования. Вот почему теплое чувство привязывает его к деревням, названия которых встретятся здесь не однажды: Евгеньевка, Заусаево, Никитаево, Афанасьево...

Первое впечатление, когда читаешь о тех далеких годах, поражает пестротой. Эту пестроту хорошо, даже талантливо передал в докладе Иркутскому губревкому председатель ревкома одной из местных волостей З. И. Петров. Вот что Петров писал при керосиновой лампе¹:

«1919 год Власть колчаковских начальников, управляющих, старших и младших милиционеров, земских председателей, взятков, запугиваний, пороков и проч. мудрости административно-демократического строя. Наряду с этим большевистская агитация, укрывание дезертиров, уклонение от воинской повинности... В общем, серенькие деревенские будни и напряженно-нервное настроение.

Декабрь месяц. Упорные слухи о падении Омска, о ликвидации колчаковской армии, о восстаниях в Иркутске и в других местах и, наконец, появление из Зимы двух делегатов алатырей. Алатыри разоружают милицию, вооружают земцев, собирают собрание и сообщают, что власть Колчака пала и что власть теперь мы, истинные народные избранники: от эсеров, от эсдеков (имена их многи)...

Поддярживай нас, товарищи.

Мужики, почесавши загривок, спрашивают: «А Советская власть?»

Мы, отвечают делегаты, тоже Советская власть.

А нельзя ли без вас, спрашивают мужики.

В это время из Нижнеудинска Татарников и Кравцов отбивают телеграмму: «Долой Колчака, долой войну, борьба с большевиками»...

¹ Слог оставляю в первоизданном виде.

Мужики предлагают поместить Татарникова и Кравцова в цирк. Один говорит: «Никогда, паря, не видал таких борцов...»

Большинство решает дело проще: «Долой войну, долой Колчака, долой Кравцова и Татарникова, да здравствует Советская власть».

А после этого появляются «коммунисты» из торгово-промышленных товарищеских спекулянтов, ходившие ранее по уголовному... и заявляют: «Мы партия коммунистов, а вы — контрреволюционное серье, айда к нам под контроль». Мужики онемели, опешили и разошлись по домам.

Вдруг как снег на голову отряд Каппеля. Партия коммунистов бежит, а мужиков грабят. Отряд Каппеля улечивается, все возвращаются назад, контрреволюционное серье считает на пальцах убытки. После этого же серье снабжает Красную Армию подводами, фуражом и довольствием...

Спрашивается, как быть серью?..»

Заканчивается этот удивительный репортаж жалобой вполне конкретной: «Мужики устали... Отсутствие указаний, инструкций, законоположений ставит работу в самые тяжелые условия»².

В 1923 году в Заусаеве насчитывалось 132 двора, в Никитаеве 142, в Афанасьеве (с замками) 161 двор, в Евгеньевке 69 дворов (в соседней Натке 52 двора). Нет данных по хуторам Порог (неподалеку от Никитаева) и Дубрава (позже — Красная Дубрава, неподалеку от Заусаева)...

В Никитаеве 20 семей, воодушевленные революцией, решили сойтись в коммуны и сошлись. Согнали вместе коров и лошадей, птицу и ту обобществили. Придумали и стол общий. И вот сидят в конце дня, сумерничают и вдруг немо замрут:

— Галим голос подаа!

— Та нет, мой Ветерок шалит!

Сидят и слушают свои коней, а разбредутся, каждый в одиночку к пряслу крадется — корочку, посыпанную солью, своему дать.

В Никитаеве коммуна просуществовала несколько месяцев, а в Заусаеве «Смычкой» насмешили народ. Три недели сроку отпущено было «Смычке», и скончалась она при всеобщем и гласном одобрении, никто даже не пожалел о ее кончине. А начинали в «Смычке» отважно: Аграфена Осиповна Архипова, в замужестве Гаврилова, рассказала, как отказывали в обеде тем из мужиков, кто — по мнению председателя — плохо работал; и тотчас начались недовольства, вспышки. И разбежались люди.

Не то было в Афанасьеве. Там задолго до революции явился пророк — свой, местный. Пророк носил обыкновенную косоворотку и любил подзудить соседей, выйдя с книжкой в руке на скамейку.

— Живете вы скучно, — говорил он и ласкал книжку, будто в ней таилось откровение.

Звали пророка Семен Петрович Зарубин.

— Я в плену японском поняа, как надо жить, — говорил Зарубин. — Сойтись всем и сообща пахать землю, урожай тоже сообща убирать. Пекарню, как в армии, сделать, чтоб бабы возле печи не толкались с утра до вечера. Калачи, булки, шаньги — кто что желает... И баню общую сделать...

Афанасьевцы, терпеливо слушая речи Зарубина, в этом месте дружно смеялись.

— Сумасшедший ты, Семен! Как можно голыми ходить сообща? Как можно угодить на всех хлебом? Как можно без своей земли жить нескучно?

Семен Зарубин сердился и повторял:

— Я в плену поняа: в одном бараке спасенье, поврозь — гибель.

Ради справедливости отметим: в канун Октября немногие внимали речам Зарубина; но судьба этого человека, плененного японцами в Порт-Артуре и томившегося на чужбине, тянула к нему бедовых мужиков, был в его речах терпкий настой.

Спустя много лет, когда Зарубина уже не будет в живых, первую свою артель афанасьевцы назовут именем матроса Тихоокеанского флота

Судя по дальним теперь отголоскам, Семен Зарубин читывал социал-демократическую литературу, знаком был с «Манифестом Коммунистической партии». Война с Японией, нелепая и кровавая, подстегнула самосознание мужика. Вернувшись из пле-

² Здесь и далее цитируются материалы Иркутского областного государственного архива.

на, Зарубин, утративший вкус к земле, ушел в Тулун (село, с 1922 года — город, уездный центр), попросился на железную дорогу.

— Чему на флоте выучился? — спросили его.

— Слесарять, — отвечал он.

— Грамотен ли?

Зарубин бойко прочитал страницу из псалтыри и написал заявление: «Грамотен, потому прошусь в рабочие».

Видя его смекалку, дали матросу задание изготовить пассатижи к обговоренному сроку по чертежику — так, чтобы не отступить на долю миллиметра от чертежа. Семен ушел сконфуженный; но знающие люди отыскивали мастера-старика. Старик за двенадцать рублей (немалые по тем временам деньги) согласился изготовить пассатижи и взял слово с Зарубина молчать об этом пять лет. Зарубин поехал в Афанасьево, продал петель и на вырученные деньги купил пассатижи.

Так он объявился мастером при железной дороге, ему положили приличную зарплату, дали казенную избу. И стал Зарубин наезжать в родное село по выходным дням, не уставал говорить о народоправстве. Бесило матроса скептическое отношение односельчан к его провидческим речам. Разгоралась иной раз полемика, проще сказать — перепалка; кто-то донес властям, и попал матрос под гласный надзор³.

Жаль, не успел Семез Петрович Зарубин испытать задуманное им на излом. Я думаю, первую коммуну в Тулунском округе организовал бы Зарубин, и еще вопрос, погибла бы она до срока или устояла. Люди, одержимые идеей, голову несут на плаху, и идея побеждает. Надолго ли, по естеству ли — вопрос особый и трепетный.

В канун коллективизации два села — Заусаево и Евгеньевка — загадывали свсю судьбу. Вот позиция Заусаевского сельского Совета (октябрь 1929 года):

«Пленум Заусаевского сельского Совета одобрил постановление высших органов власти о коллективизации нашего с/совета. Повести разъяснительную кампанию... иметь результат не менее 100% всего населения».

Как легко и просто решали дело заусаевцы! Неужто и горький опыт «Смычки» не пошел впрок?..

А евгеньевцы, после «доклада т. Сизых о решениях пленума Тулунского райисполкома о плане организации крупного колхоза в Заусаевском кусте под названием „Великий почин“», почесав затылки, одобрили решения, но... «по 2 (два) трактора нам так и не дали, а только при механизации сельского хозяйства мы сумеем достичь намеченных целей». (Цитирую дословно протокол расширенного заседания Евгеньевского сельсовета.) И — отказались коллективизироваться.

В райкоме и райисполкоме позицию заусаевских депутатов признали революционной, а евгеньевских контрреволюционной.

Евгеньевские мудрецы (а в сельсовете заседали умнейшие Пахом Казакевич, Максим Краснощеков, сидел здесь — заседание-то демократическое, расширенное — и совсем молодой Филя Жигачев) решили не горопиться, не забегать вперед.

Где же их взять, трактора и машины, спросит дотошный читатель. Надобно заводы строить, чтобы делать трактора. А чтобы работали и гудели заводы, надобно возвести электростанции. Кто их возведет нам? Лорд Керзон?.. Так, может быть, лучше артельной лямкой потянуть тяжесть небывалую?..

Замкнутый круг. История разорвала этот круг, а теперь не принято оглядываться назад. Мы будто бы победили, а победителей, как известно, не судят.

Сохранилась запись выступления Михаила Жоголева, отца Ефросиньи Михайловны Шолоховой, последней евгеньевской жительницы:

«Жоголев М. говорит, что тов. уполномоченный зовет в машинное товарищество и приобретать машины коллективным путем, но почему же государство облагает налогом так, что частным владельцам машин приходится хоть руби, хоть жги. Посмотрим сначала, что выйдет из машинного товарищества, которое у нас на участке Натка имеется».

Растерянный «тов. уполномоченный» соглашается с «весомым доводом Михаила Жоголева» (подождать, что получится в Натке), возвращается ни с чем в Тулун и получает выговор — «не провел линии».

³ Этот рассказ записан со слов ветерана колхоза имени Зарубина (потом имени Кирова) Николая Илларионовича Белова, уроженца села Афанасьево.

Под статью евгеньевцам были и неторопливые афанасьевцы. Семен Петрович За-рубин внезапно скончался вскоре после ухода Колчака (очевидцы говорят по-разному: то «от тифа кончился», то «убит классовым врагом»), а нового вожака жизнь не родила. Но когда в середине 20-х годов докатилась до Афанасьева мода на коммуны, то жители села постановили горячку не пороть, а прицеливаться к опыту, нажитому соседями. В Заусаеве, загодя было понятно, смотреть нечего, «Смычка» протрезвила округу. Зато в никитаевской коммуне все недостатки афанасьевцы щупали не раз — до Никитаева ходу один час пешком.

Как-то дошли слухи: в Ергее общинные дела грамотно вершили мужики, и коммуна-де там живет и здравствует. Выбрали делегацию. От мужчин выдвинули Ивана Степановича Долгих, от женщин Анастасию Никитичну Белову. Рано поутру (до Ергея тридцать пять километров) отправились делегаты смотреть ергейское самоуправление.

Добрались к вечеру, сильно проголодались, хотя в дорогу брали шмат соленого сала и хлеб. Хозяева провели гостей в общественную столовую, усадили за долгий стол, сбитый из досок.

Ужин был обильный. После ужина афанасьевцы ждали чего-то из ряда вон выходящего. Они и сами не умели определить, что именно хотели бы увидеть, но ехали и сидели сейчас в предожидании праздника. Ергейцы же, пошептавшись о своем, разбредлись спать. Долгих и Белова пытались расспрашивать председателя коммуны, но тот сослался на усталость и посоветовал им тоже отдохнуть. На следующий день делегатов снова обильно накормили, и не обыденным завтраком, а пирогами — видимо, старались угодить. Потом провели по деревне. Скучота откровенно выглядывала из каждого окошка. У сельсовета висел от руки составленный список штрафников — выходило, каждый третий не сильно торопился на работу, и им грозили штрафом. Вся птица, все овцы и козы были согнаны на один двор, загаженный и неудобный. Ребятишки ходили по деревне тоже необхоженные, грязные.

В обед зато выставили ергейцы три блюда на каждого, ели до усталости, до отрыжки; не вынеся пытки, афанасьевцы запрягли лошадку и бежали из коммуны.

— Компанию в Ергее поить собрали. Ну и че? — говорил Долгих, вернувшись домой. — Поить и дома каждый может, в полное тебе удовольствие.

Собрание выслушало речи посланцев и постановило: чем такая коммуна, лучше никакой.

Миром подступались афанасьевцы к новой жизни, сообщая вдоль и поперек судили и рядили начало, боясь промахнуться. Государство подстегивало и торопило их, а они не хотели спешить.

Пленяет в евгеньевцах и афанасьевцах одно: не решаясь на авантюру (или на, заведомо пустой поиск — что, в общем-то, едино), они свято веровали в Новую Гармонию. В листовничных ее дворцах, представлялось им, люди ходят не по-земному, все в багистовых рубахах, убогаторены, и ни в ком нет зависти, а есть любовь — к отцу и матери, к брату и сестре, к ближним и дальним. И все взрослые как один с песней спешат на общественное поле и с песней идут обратно.

Им, вышедшим из мира, где вечно правила людьми корысть, все мечталось зажить без нужды и взаимных обид.

Представим себе на минуту, что в 20-х годах жители этих сел (а было их вместе с детьми ни много ни мало — более 6 тысяч человек), прослышав о коммунии, задумав коммунию, вдруг решили бы не только предать забвению прежний опыт хозяйствования, но и разом отринуть нажитые прадедами обычаи и нормы морали. Что тут случилось бы? В Тулуе шел разлом, поповны уходили к комсомольцам, разрушение церквей считалось верхом революционности — но то в Тулуе.

В наших селах старое и новое жили, соседствуя.

Загадывая судьбу, знали ли мужики, на что они посягают? Ведали ли, отбиваясь от диктата сверху, что в области заповедной, нравственной, им предстоят испытания нелегкие, искушения немалые? Понимали или не понимали, что новые формы труда неизбежно привносят новое и в быт, в обыденную жизнедеятельность? Соглашаясь с преждевременной кончиной Старого, далеко ли прозревали они Новое?..

Сегодня былинным молодечеством веет из прошлого при упоминании о конской уздечке или пастушеском рожке, умиротворение охватывает душу, и забывается, что труд крестьянина, поставленного в метафизическую зависимость от неба, был подчас натугожным, обморочным.

Рассказывает Михаил Петрович Непомнящих, коренной афанасьевец, мальчиком попавший батрачить в соседние Ермаки:

«В три часа самый сон, но слышу кованые хозяйские сапоги.

— Запрягай!

Выметнусь на улицу. Взрослые мужики — у них сила, а я супонь ногой затягиваю. Котов, хозяин, подойдет, даст по дуге, она набок. Тяну снова изо всех жил. Погода сумеречная, не было б дождя. Нахлестываю коня. В шесть утра, уже со снопами хлеба, возвращаемся домой, на гумно.

— Выпрягай! Завтракаты!

Час передыху, а снова:

— Подымайсы!

Хлеб обмолоченный грузим на подводы, гоним в Тулуз иль везем дрова, целую поленницу.

К восьми часам вечера дома Ужинаем. Команда «ложись!», а ты и без команды носом клюешь».

С 1920-го по 1970-й набралось у Михаила Петровича пятьдесят лет полевого стажа. Был четырехгодичный перерыв, да и те четыре года Непомнящих отстоял на поле — правда, другом, за артиллерийским оружием: войне ни дождь, ни снег не помеха, трудись, мужик! Да еще передохнул полгода в каталажке, хотя и каталажка с полеводческими заботами связана впрямую.

Аксинья Марковна Пугачева вышла замуж за старшего брата Михаила Петровича Николая. Послушаем ее:

«Отец мой служил мельником у Михаила Николаевича Валтусова, никитаевского богача. Жили мы при мельнице, за деревней, нравилось мне то местечко. Дом просторный, теплый, речка Усть-Иткейка звонкая, а выйдет в Ию — тише и теплей становится. Был у нас огород, картошку рассыпчатую выращивали. Завели корову и лошадку английской породы. Помню, каппелевцы шли, стрельба поднялась, ранили нашего Карчика. Бежим по луку, издаля видим, как встал Карчик на колени и будто прощается с белым светом. Выходили лошадку, долго она служила нам... Утром проснусь, в доме тепло, а на улице колготня, сани скрипят — с окрестных сел мужики рожь и пшеницу на помол везут, все счастливые, веселые. Часть помола по договору шла в пользу Валтусова, а Валтусов часть от той части выдавал нам. Жили, не бедовали.

Родители друг дружку любили и берегли, не обижали и нас, малых. Так прошло целых четыре года, и позвал нас хозяин на новую мельницу, в Никитаево. Хватит, мол, дикарями жить на отшибе. Никитаевская мельница была двухпоставная, высокая и мощная. Притулились мы в деревне, народ кругом, а мне тоскливо — охота на луг, где когда-то Карчик милости нашей дождался. Видно, не зря тосковала я — погиб скоро тятя, захворал и быстро умер. Пришлось мне наняться в прислуги к Якову, обыденному крестьянину. Две коровы, кони, земля у дяди Якова (фамилию его не помню). Кормили меня в людях, платили четыре рубля в месяц, да вдруг и я заболела, в чужом-то доме. Как вспомню тятю и домик наш на берегу Иткейки, так боль садит в живот...

Тут и сосватал меня Николай, приехал в чистой рубашке, верхом. Я прямиком ему:

— Я уж не деушка, Коля.

И он прямиком мне:

— Что из того, что ты не деушка.

Деушка-то, дескать, чем лучше? Хуже, дескать.

Изловчились мы и купили в Афанасьеве зимовьюшку, перенесли на эту улицу, нынче заглавную, двух детей родили. Взяли Николая в Красную Армию. Сама я пахала свою полосу, свекровь и Михаил, деверь, помогали. А вернулся со службы Николай — на пару-то мы всласть поработали. Эх и любила на волюшке я вилами поработать! Сено грести граблями — к этому душа не лежала, детская забава вроде, а вот вилами или косой...

Косить научилась поздно, в семнадцать лет, зато сразу во вкус вошла. День не проморгался, а мы уж в поле. Кто посильней, с замахом, того наперед поставим, а слабого — в конец. Мне наперед не доставалось, а и в отстающих никогда не была. Солнце взошло — передых. В речке камень-плитняк. Плиточку отломлю и поточу косу, а плиточку в фартук. Да чирки осмотрю: хватит ли на неделю? А там снова мужики

поднялись, бабы завязывают в узел волосы, чтоб не лезли в глаза,— и до заката: вжик, вжик, вжик, вжик!

Лежит трава, усыхает, тутюшки запахи лови. Зубровка-трава была, куда она нонче подевалась?.. Я ведь, милый, хожу еще в поле—вспоминания покоя не дают. Нет зубровки. Иль нюх потеряла?.. Зубровку-то корешком потянешь, корешок красный, а ссохнется — в узкую трубочку обернется. Сырая ли, сухая зубровка — духмяный, спасу нет!.. На Успенев день, 28 августа, жать начнем, вручную снопы вязать. Сноп толщиной в обхват. Семь снопов стоймя, а три поверху. И снизу нет сырости, и сверху от дождя прикрывает. Вдруг отколе крик: «Ребята, божевка тучу гонит, торопитесь». Кого там, от Бога не убежишь! Сыпанул на березник, корой и небом запахло, но теперь слушать запахи некогда — мечешь снопы до кучи. А дождь вышел на поле, потоптался с краю и напрямик к нам...»

Один за другим шли передо мной свидетели далеких 20-х годов, менялись тетради, истончался карандаш, но ни от кого не услышал я праведного крика: «Да почто мне морока эта, каторга далась! Бросить бы все да махнуть куданибудь...»

Ни одного подобного свидетельства привести не могу. Правда, Семен Петрович Зарубин бежал в Тулун к паровым двигателям, но тот — статья особая: будучи матросом на эсминце, уверовал в машину...

Послушаем рассказ Марии Макеевны Терлецких. Про лен рассказ. Он важен в устах этой женщины, принявшей по наследству вековые навыки, вынче потерянные бесследно.

«В мае, по самому теплу, лукошко через плечо и рукой бросаешь, бросаешь. Семя мелкое, веером падает. Старались погуще сеять — тогда лен сплошной стенкой подымался, ростом поменьше, зато дружный. Потом дождик падет, и зацвело поле синеньким, будто васильки распустились, только запаха нет. Когда отцветет — торчат желтые головочки вокруг стебля. Август настал — дергаем лен с корнем в любую погоду. Если хорошая погода, можно косить сено или рожь жать, а лен подождет... На чистом поле стебли вместе с головкой и корнем оставляем до октября — мокнет и сохнет лен и снова мокнет. В октябре поднимем стебли граблями, навяжем снопы и возем лен домой. Два воза снопов с пяти соток возьмем, и ладно. А дома мужик сколотил полати в бане. Стелем лен и сушим — протопишь каменку на ночь, утром он и сухонький. В шесть рук мнем стебли на мялке. Костра отпадает, а куделя остается. Сбиваем куделю в горстки и на печку, снова сушим. Пыли в избе — не прочихаться. День да ночь отлежала куделя и стала совсем сухая. Тогда беру трепало и треплю, рот и нос тряпчочкой закрою, а пыль в глаза лезет. Потом в руки гребень, с доски сделанный, большущий, и ну чесать, ну чесать. Тут получаются два сорта. Лучший — кужель, а похуже — обдирки.

Прялку наготове держишь. Начинаю прясть — нить тяну и заматываю. Кужель — тоненькая белая нитка, а обдирки потолще. Много мотков намотаю и кужель прямо на мотках — в кипятюк. Прокляпятишь, на доске побьешь палкой, прополощешь в Курзанке. Нить кужельная делается прочная, как вот нитки двадцатого размера, ой, даже суровой, рукой не порвешь... А обдирки кипячу иль нет — мое дело, как сама пожелаю. Сушу на веревке, нити запутаются, опосля возни хватит — в клубок смотать. Сколько-то ден пройдет, спина пристанет, зато знаешь: детиски через год в новых рубахах в школу пойдут. С пяти соток получаешь шестнадцать килограммов кужеля, а обдирок не менее восемнадцати.

Слушай главное. Из клубков на стену снуют куделю. Деревянных гвоздей натыкают и снуют, петляют, основывают, чтобы не путалась. Ходишь по стенам, шупаешь: ах хороша куделя! А дале навойка, то есть наматывают на станок основу, а потом — поперек да нить к нити прибивают плотнехонько... Так сидишь днями, коровушку накормишь, дитятам скажешь: похватайте же есть, а мамане некогда. И сидишь, сидишь. А глаз радуется — полотно по полу полезет, шириной до метра, а длиной метров сорок... Ой долго, долго сидишь — тута в спине не раз заболит. К марту успеешь — хорошо, а нет — к апрелю. Там уже солнышко светит, трава просекается. Размотаешь холст на свежей граве, чтобы под солнышком отбеливался. На речку снесешь, прополощешь, палкой побьешь, в кипятке прополощешь (вода после холста желтоватая) и снова палкой побьешь. Месяц маешься — к реке и обратно.

После того холст мяконький и светлый. А прочной-то! И к телу-то приятный, не то что ваши рубахи резиновые, задохнуться можно в ваших рубахах. Скатываешь холст — и в сундук. А уж новый июнь на дворе, и снова лен посеяли, впрок...»

У семидесятилетнего Ивана Дмитриевича Татарникова в позапрошлом году стало худо с глазами. Он принялся промывать глаза травяным отваром — будто полегчало. Перемогаясь, стал снова навещать в мастерскую, где прошла добрая половина его жизни, водил фуганком по сухому бруску дерева, лаская ладонью выточенную рукоятку для граблей или косы, но резь в подлобье не умирала. Стучало в висках, отдавало в затылке.

Однажды он набрался сил, вышел к братскому тракту, попутным автобусом доехал до районной поликлиники Участковая докторша осмотрела глаза и сказала:

— Лечиться надо, дедушка. Придется два раза на неделе ездить в гости к нам.

— Я ить не тутошний, — отвечал Иван Дмитриевич. — Пешком топать далеко, а на легковушку денег не накопил.

Он еще и шутил.

— Приезжай, деда, на колхозной машине, — велела докторша. — Заработал, поди, чтоб довезли тебя в поликлинику?

Иван Дмитриевич отвечал:

— Поди, заработал.

Накануне обговоренного докторшей дня старик, конфузясь, пришел к Виктору Казакевичу, внуку Пахома Казакевича, бригадир у афанасьевскому.

— Лошади все на вывозке навоза, а машину из-за тебя гонять не имеет смысла, — сказал, будто отрезал, молодой и сильный Казакевич. Слышал бы эти слова Пахом...

Помня наказ врачихи, старик еще раз явился пред очи Казакевича, на сей раз молчал, мям шапку, и снова бригадир было позарез некогда, он даже не посмотрел в сторону Ивана Дмитриевича.

Татарников вернулся ни с чем домой, сидел долго за кухонным столом, решил: «На кой ляд сдалось мне то леченье! И так доживу!»

В мастерской у Татарникова два верстака, один из них колесный — просторный, хоть мастерить стелы, зови гостей и пируй. Печь железная гудит, над печкой полати для сушки материала.

Примостившись на верстаке, Иван Дмитриевич медленно вяжет речь:

— Хомутами, вишь, пахнет, люблю деготный запах... Скоро лошадок совсем не станет... А сани — сани, паря, сложить умеючи надо. На полозья материал березовый идет — березка гибкая, а на обода сосну можно распарить. Сани я любил мастерить. Если разогнаться, то в три дня сани готовы. Само собой, для балы копыльев, облака заготовки должны быть готовы раньше...

За всю жизнь изготовил Иван Дмитриевич столько саней и телег, смастерил столько граблей, починил столько хомутов — на весь нынешний колхоз имени Кирова хватило бы, если бы вдруг в колхозе враз сломалась вся техника.

Могли ли все эти люди, изработавшиеся на полосе или в мастерской, жить без нравственной жизнью? Были ли греховны их помыслы и поступки в пору становления нового строя? Праздные вопросы с заранее известным ответом. Другое дело — несли ли они сами, Жигачевы и Казакевичи, Непомнящих и Терлецких, Татарниковы и другие, в себе самих черты нового, осознавали ли они себя носителями новой морали, буде таковая родилась?

Нелегкий вопрос.

Почему они не рассказывают нам про комсомольские собрания, про красные обозы, что ли, про товарищество в труде?..

Мы еще ждем — вот они запев сделают: революция! Долой стариковские заповеди! До основанья разрушим тот мир и примемся новый строить! Кто был ничем, тот всем станет!..

Но герои вместо необычайного обычайное вспоминают.

Давайте еще раз обратимся к рассказу Михаила Петровича Непомнящих. В 20-х годах стал он увальнем-крепшом, легко прямо с земля брал на закорки куль пшеницы и мог бы претендовать на хороший заработок у деревенских богатеев. Богатеи разные были люди — по характеру, по уровню, если можно так выразиться, нравственности. Еще ведь совсем недавно слова «богатеи» или «зажиточный» означали нечестный, безнравственный человек, а слово «бедняк» было первым признаком порядочности. Опрометчивые суждения рождала эпоха...

Многие старики, а среди них и Михаил Петрович Непомнящих, знали зажиточных, которые были высокоморальными людьми, яростно трудились всю жизнь с зари

до зари, во имя урожая не жалели собственного здоровья. Таким, верно, был евгеньевский Максим Краснощеков, горбом наживший кучу добра, такими были Исаков в Заусаеве и Дмитрий Татарников в Никитаеве.

Все они не прятали нажитой опыт, приходили на помощь соседу и следовали буквально всем заповедям общинного уклада. Чинить ли поскотину, ремонтировать насыпь, сообща валить лес для деревенской школы — всюду они участвовали на равных. Они были активистами в сельсоветах, хотя семьи у зажиточных насчитывали всегда по десятку ртов и время приходилось считать на минуты. Отыскал я однажды в бумагах несколько строчек о Федоре Татарникове, великом труженике, крепком хозяине. Односельчане избрали его председателем Никитаевского сельсовета, а потом вынуждены были отпустить с поста, потому что «нет рабочих рук, хозяйство приходит в упадок». Одна строчка, но какая многозначительная!

К подростку, а следом юноше Михаилу Непомнящих козьева отнеслись с должной заботой. Поили, кормили, одевали. Раз Михаил обратился к хозяину:

— Дядь, купи мне сапоги. А то я большой и все в чирках хожу.

Зарубин, однофамилец Семена Зарубина, в ближайшее воскресенье привез из Тулуна сапоги, не шавровые, конечно, но крепкие, велел тут же примерить и радовался обновке вместе с работником. Благостная картина.

Но в 1925 году нанялся Михаил Петрович к Ивану Солдатских в Ермаки. Однажды выдался тяжелый пахотный день; прилег Михаил в хозяйском армяке у костра, и сrazil его сон мертвым. Когда армяк черными пятнами пошел — не проснулся. А проснулся от резкой боли, полоснувшей плечо и спину. То великовозрастный сынок Ивана Солдатских огрел его кнутом и, не давая подняться, бил до бесчувствия: знай, негодяй, как в чужом армяке засыпать у костра!.. Кстати или некстати, жив и поныне тот кулацкий отпрыск, пенсионер уж, из Ермаков уехал в другое место. Имени его не назову, теперь это совсем ни к чему.

А в Афанасьеве наискосок от нынешнего сельмага жил Гаврила Долгих, примистый старик. Созвал батраков как-то на Рождество, велел супруге накрыть стол, сам сел посередке, выпил с ними заодно и речь сказал — про мир на миру. Осенью же, после уборочной, когда подоспело время рассчитываться с работниками, Гаврила долго манежил батраков и не уплатил Михаилу обговоренного. Михаил подступался требовать положенное, но каждый раз мешало ему то самое застолье, на котором Гаврила речь о взаимном уважении говорил (хитро строил отношения с батраками кулак!). Но не только стеснение, а и робость испытывал Непомнящих: зажиточных в родном селе было много, держались они спаянно. Вот и казалось юному Михаилу, что выступит он не против Гаврилы, а против всей деревни.

Надоумили его братья Беловы, дружки Семена Зарубина: «Обратись в суд, пусть рассудят вас, ежели про Ленина не забыли в суде». Михаил повременил в суд ехать, а набрался храбрости и спросил Гаврилу про долг. Гаврила выпялил карие глаза, мелко тявкнул: «Че-че?» Неожиданно опрокинул с крыльца Михаила, стал топтать сапогами.

Тогда, разозлившись, Михаил подал в суд на обидчика. Суд приговорил кулака к уплате долга... в тройном размере. Приехал исполнитель, вызвал Михаила к кулаку — Доставайте, Гаврила Никитич, денежки, платите наличными,— строго велел исполнитель.

Гаврила, побагровев, вынул рубли, отсчитал, протянул Михаилу.

— Пересчитайте, Михаил Петрович,— велел исполнитель.

Негнуцимися пальцами перебрал бумажки Непомнящих. Ему, батраку, было тогда чего-то ужасно стыдно. Даже сейчас, через много десятков лет, неловко было старику помянуть эту историю.

— Распишитесь вот здесь,— попросил исполнитель. Михаил поставил вензель, «Н», заглавную букву своей фамилии. Это все, что он умел, неграмотный.

Гаврила усмехнулся. Исполнитель уехал. Михаил пошел домой, дома сидел думал.

«Бог лес не уравнил, а людей и подавно»,— говорит он теперь про те думы свои. Так он считал тогда и так, хоть это и странно, считает до сих пор. Судебный же исполнитель уравнил его, голоштанного, безграмотного, с богатым и грамотным хозяином Гаврилой Долгих. Усмотрев в этом неправильность, встал Михаил и, держа рубли на отлете, будто пакость нес в руке, явился к кулаку.

— Ну тебя, Гаврила Никитич, подальше с твоими деньгами.— И сунул все до единой бумажки хозяину, ушел со двора и более не нанимался к Гавриле.

Как отнеслось Афанасьево к размолвке? Деревня осудила батрака. Зазорным считалось обращаться с жалобой за пределы общины, потому холодок людского отчуждения дохнул на Михаила. Но благородное неприятие долга вернуло ему авторитет.

В самый разгар нпа никто в Афанасьево не нуждался в одежде или в пропитании, кроме, по словам Непомнящих, четырех или пяти батраков из невезучих семей. На передний план открыто выступал быт, деготная его сторона. Религия более не сдерживала нравы, дети начали вступать в пререкания со старшими, ссорились соседи, призывая для разбирательства тулунских судей.

Сохранилось свидетельство, как не могли сообща найти истину родные брат и сестра и общество вынуждено было прибегнуть к крайней мере — вмешательству. Потрясла Афанасьево кровавая трагедия в семье Брусникиных: Николай, сын, зарубил отца. В Никитаеве видная деваха Наталья С-на, рано поутру выйдя за ворота, увидела, что плахи обильно вымазаны дегтем. Содрогнувшись приговору, Наталья отыскала в конюшне вожжи, незаметно ушла в березник и повесилась. Гибель ее никитаевцы восприняли как должное и пережили быстрее, нежели афанасьевцы пережили поступок Михаила Непомнящих, искавшего защиты от притеснений кулака...

Ну а как дальше мыкала новое свое состояние обманутая девушка, если она решалась жить? Замуж ее молодые парни не брали. В Пороге жила деваха Анна Г-на, обещал сосватать ее парень по имени Григорий. И не сосватал. Осталась Анна одна, парни на нее уже не смотрели, подружки ее сторонились. Пять лет ждала Анна судьбы, то есть вдовца. Дождалась-таки. А другие девки на корню сохли.

В Никитаеве закрепился дурной обычай травить старых дев. Двадцать три — двадцать четыре года стукнуло девушке, жениха не нашлось — считай, наступил конец света. А если она вдобавок некрасива и с причудой (скажем, кошек любит), быть ей предметом злого внимания. В колодец глины насыпят, бадью поднимут на трубу печную. А то окна выхлещут... И не в рождественские дни, когда колядованья идут чередой и, хочешь не хочешь, приходится терпеть насмешки и проделки, а в буднюю ночь зимы или лета.

Бытует в народе и такое мнение: раньше, дескать, замков не держали на избах. Оказалось то верным не для всех деревень. В Евгеньевке, точно, подопрут палкой дверь и в поле бегут. А заусаевцы и никитаевцы навешивали замки. Малым детям оставят в бане молока и хлеба, а избу замкнут до позднего вечера. Кого же остерегались жители старых Заусаева и Никитаева? А бродяг, нищих, которых стало много в период мировой и гражданской войн. До сих пор не забыты клочки тех приبلудных и обездоленных. Был, например, Каталык, осевший в бане по-черному. Тогда бани ставили далеко от дома, зато близко от воды — прямо на берегу Курзанки, и по неделе не заглядывали в них. Каталык и обосновался в одной из бань. Был он безобидным и растил двух сирот, также приبلудных. Сердобольные никитаевцы помогли хозяину построить новую баню, а Каталыку разрешили остаться в курной избушке.

Нищим Гераськой пугали детей: «Вот в сумку посадит тебя, ежели выть не перестанешь». Гераська ходил по селу оборванный и грязный, людям в глаза почему-то не смотрел и оттого наводил ужас на баб.

Осталась и память о Воноке. Вонока блажил не круглый год, а только осенью. Дали, просвечивающие в осенних лесах, навевали ему дурные мысли — делался Вонока злоязычным провидцем, походку свою обычную менял на припрыгивание и кривлялся. Кулаку Михаилу Валтусову (мы поминали его) однажды при народе, перекосив лицо, прошипел: «Тебя никто не любит. И жена тебя не любит, и дети тебя не любят. И я, Вонока, не люблю тебя».

Валтусов, всегда барственно спокойный и сдержанный, побелел и молча почти бегом ушел домой.

С Вонокой никитаевцы старались жить в ладу, не решались ссориться: беду напросят...

Разные по масштабу и природе своей события и явления глубоко прописаны в этой эпохе, не поддаются они простому толкованию.

С годами я все больше сомневаюсь в правомочности предвосхищать будущее, когда прошлое не преодолено и не осмыслено всерьез. Вспомним слова Ленина: «...дело переработки мелкого земледельца, переработки всей его психологии и навыков есть

дело, требующее поколений... такое дело может, во всяком случае, исчисляться не менее, чем десятилетиями»⁴.

В 1923 году, в конце своей жизни, Ленин еще раз взывает к нам. «Надо время взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятность»⁵.

Обидно, но факт остается фактом — еще до 1930 года были забыты осторожные заповеди Ленина. А едва начали мы наживать опыт, опомнились от войн мировой и гражданской, грянул 1930-й, не имеющий аналогов в мировой истории.

Но вернемся немного назад.

В письме от 15 мая 1926 года Тулунский уездный исполком (УИК) декретировал: «Препроводя при сем представленные произведенным обследованием Евгеньевского и Заусаевского сельсоветов уполномоченным Бурденюком два списка:

1. На недоимщиков Евгеньевского с/совета по с. х. налогу и

2. На недоимщиков того же сельсовета по страховым платежам

исполком предлагает принять меры к срочному погашению недоимок в означенном с/совете и вообще обратить внимание на работу в области проведения налоговой кампании как в Евгеньевском с/совете, так и в особенности в Заусаевском, в коем по отзыву тов. Бурденюка работа эта проводится очень слабо.

Пред. УИКа Луконин».

Рядышком хранится «Отчет о командировке тов. Бурденюка. Маету уполномоченного, его заботы, даже его характер передает этот отчет. Все написанное рукой Бурденюка имеет прямое отношение к нашим селам.

«Уисполкому г. Тулун Тулунского уезда.

Я был командирован по сельхозналогу по удостоверению от 7.IV — 26 года № 11581 по Заусаевскому и Евгеньевскому сельсоветам. Приехав в Заусаевский сельсовет первым, потребовал в них поселенные списки и лицевые счета неплательщиков как по сельхозналогу, так и по страховке. Оказалось нижеследующее — всего с. х. налогу с недоимкой было 3449 рублей 53 коп., уплачено к 12 апреля к 11 часам дня 2855 руб. 39 коп., осталось за населением 693 руб. 74 коп.

Страховки было с недоимками 1001 руб. 99 коп., поступило 623 руб. 92 коп., осталось неуплачено 379 руб. 07 коп.

Я собрал членов сельсовета, сделал информацию, дал им формы описи имущества и 9 апреля взял с собой председельсовета и уехал по его участкам. Вечером я с ним в Малой Кондари делал описи имущества (здесь и далее Бурденюк старается показать, что вечерами и ночами-де описывал у мужиков добро.— Б. Ч.)... Хотя некоторые и говорили, что мы уплатили. Но если у него не было на руках окладного листа, то мы делали описи имущества.

9 апреля ночью мы были в Большом Кондарике, где я позвал члена сельсовета и сельисполнителя и заусаевского представителя. 10 апреля они начали делать опись имущества, а я уехал в Евгеньевский сельсовет. Когда приехал, собрал членов и ревизионную комиссию, пришли, была халатность председельсовета, которую я оформил протоколом. С. х. налогу было 1597 руб. 03 коп., уплачено 624 руб. 84 коп. Страховки было с недоимками 496 руб. 49 коп., уплачено 264 рубля 10 коп., осталось за населением 232 руб. 39 коп. Я ему дал задание, чтобы 12 апреля со всеми описями был в Тулунском ВИКе, что было им и сделано: 12 апреля в 12 часов дня он, т. е. председельсовета, был в ВИКе с деньгами. 70 рублей привез, а остальное описи имущества. 11 апреля я приехал обратно в Заусаевский сельсовет, где захватил там инструктора Тулунского ВИКа тов. Чалых, где его оставил, и сам поехал в Тулун, привез денег 129 рублей с коп. И здесь на уездном съезде ККов (очевидно, крестьянских комитетов.— Б. Ч.) был избран кандидатом в Тулунский УККов и делегатом на губернский съезд ККов, поэтому я свою задачу, порученную мне, считаю невыполненной. Мне приходилось вести беседу с крестьянами, почему они не платили за это время. Они мне говорили, что нас никто не тормозил и другие дожидались цены на хлеб»⁶.

⁴ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 60—61.

⁵ Там же, т. 45, стр. 390.

⁶ Государственные расценки на закупаемый по обязательным поставкам хлеб колебались год от года, мужики каждый раз надеялись, что вот в этом году цены

При сем препровождаю протокол № 13 от 10 апреля Евгеньевского сельсовета и список недоимщиков с. х. налога и страховых платежей.

Уполномоченный по с. х. налогу Бурденюк.

Обратите внимание — страхование собственного имущества и добра, дело сугубо добровольное, превращено в налоговую статью государственного дохода со всеми грозными последствиями, вытекающими из этого. В 1927 году документы фиксируют «...открытое недовольство страховкой. Этот вопрос является самым основным неудовлетворением крестьян, которые говорят открыто, зачем нам Советская власть навязывает то, что нам совсем не с руки и материально тяжело. Пусть страхует себя тот, кто может и желает». Залепо Лука, середняк, с иронией говорил (и это тоже отражено в протоколах): «Надо же служащим дать службу, поэтому и выдумали страховку, а мужик знай плати».

И еще из 1927 года:

«На участке Добчур вопросов не задавали, а захватывая слово, выступал, например, гражданин Никита Мороз, середняк: «Нас грабят, знай плати налоги, при царе было легче».

Тут будет, наверное, ко времени вспомнить, какие же налоги и как брало государство не рабоче-крестьянское, а прежнее, самодержавное.

С крестьян взималась подать на волостные расходы, на обеспечение священников, на жалованье писарю. Платежи казенные состояли из оброчной подати, подушного оклада, губернской повинности, по каждой из этих статей семья вносила до двух рублей в год.

Шли копейки на пожарный инвентарь и межеванье.

Кроме того, платили на тюрьму и больницу в уезде, в фонд погребения безродных, сельскому фельдшеру (один фельдшер на три — четыре села), рассыльному.

В распоряжение волости каждое село давало несколько подвод (это называли жушповинностью).

В целом из всех этих податей складывалась средняя постоянная цифра, в меру отягощавшая сибирского крестьянина. Были недоимщики и тогда, до революции, но по разным причинам — один заболел, другой состарился и обессилел, третий запил. В отчаянных случаях община приходила на помощь, пьяниц наказывала высылкой на дальние работы или прогоняла совсем, дети от непутевых родителей шли в чужие семьи — к богатым, к мироедам, как правило, прислуживать и батрачить.

После революции, когда угар анархического своеволия прошел, когда минула пора суровой и беспощадной продразверстки, крестьяне снова начали платить налоги — натурой, а следом и деньгами. Сохранился и старый принцип самообложения: надо было ремонтировать сельсовет, или почту, или магазин, платить пастуху и землемеру — тут мужики быстро собирали копейки и рубли.

Не отказывались они и от трудовой повинности, дружно выходя на прокладку дорог и строительство мостов, заготавливали лес для пожарной каланчи и т. д. Жертвовали с явной пользой для себя на кооперацию — по продаже, например, домашних продуктов району и городу.

Совместно исполняемые работы способствовали товариществу на селе. Взять хотя бы строительство всем миром клуба в Никитаеве. По тем временам событие грандиозное, оно говорит о том, что 20-е годы были отнюдь не пасмурными, хотя хмури и холодных ветров хватало. Пример подала уездная столица, тулунчане смотрели в народном доме первые советские кинофильмы. Никитаевцы заручились обещанием УИКА и РИКа: построят клуб — время от времени будут присылать киноаппарат. Собрали всех взрослых, сделали раскладку — каждая семья уронит в тайге по десять лесин, ошкурит и вывезет в деревню. Федор Татаринев не отрекся от роли прораба. Установили сроки.

Дело пошло споро, коллектив сложился сам собой. Женщины стали готовить обед для мужиков, несли плошки и чашки к сельсовету, выставляли горячее — получился общий стол. Уже праздник. Но за общим столом мужики не засиживались — торопились срубить кончить к зиме.

будут малость повыше, и не торопились с продажей зерна, а значит, и с погашением налога. Механизм ценообразования, природа ценообразования оказались нарушенными. Уже не рынок, а волевой субъективный акт сверху диктовал крестьянским хозяйствам всеобщий для огромного региона (например, Сибири) денежный эквивалент произведенного на пашне труда. Это немедленно сказалось на взаимоотношениях государства и крестьян, осложнило эти взаимоотношения.

У Федора Татаринова проекта на бумаге никакого не было, но уговор был — строить просторно, на полную длину лесин. Чтобы не только кино «казать» можно было, но и закут отгородить для избы-читальни.

В первых числах ноября стеклили окна и сцену подняли на полметра, доморощенные печники в разных углах две печи поставили. Оштукатурить же стены не успели, и клуб зимовал, асточая запах смолы.

6 ноября густо набилось туда народу. На сцену вынесли стол, накрыли белой скатертью (красной не оказалось), поставили скамейку для исполкома сельсовета. Приглашен был и гость из райисполкома по фамилии Самойлов, его тоже попросили пройти на сцену.

Никитаевцы же сели прямо на некрашенный пол.

И началось собрание. Сохранились две странички в укромной папке: по всем правилам освоенного канцелярского стиля, завезенного из Тулуна, приняли повестку дня.

Пятилетку никитаевцы одобрили: «Прочный союз рабочего и крестьянства — оплот рабоче-крестьянской армии и флота». Решили участвовать в дополнительной сдаче хлеба в так называемый красный эшелон для Дальневосточной особой армии по принципу: один фунт отчислений с каждого пуда товарных излишков.

Здесь и далее видна умелая рука уполномоченного РИКа — момент использован ловко. В целях создания продовольственного фонда никитаевцы постановили отчислять к 20 ноября с каждой полдесятины бедняка по 3 килограмма зерна, середняка — по 7 килограммов, с «кулацко-зажиточной части» — по 13 килограммов. Кроме того, в фонд кресткома (кресткомы решали бедняцкие дела, прежде чем передать их сельсовету) с каждой посевой десятины бедняка решили брать по 3 килограмма, с десятины середняка — 6 килограммов, кулацко-зажиточной — по 11 килограммов. А в фонд неприкосновенный на случай неурожая: с бедноты по 10 килограммов, 16 килограммов с середняка, 22 килограмма с зажиточных крестьян (каждая доля — с посевой десятины).

Многое в этих цифрах заставляет задуматься. При беглом подсчете (взятом в сторону уменьшения) одно только Никитаево безвозмездно должно было отказаться от 800 пудов хлеба, а все наши деревни — от 3000 пудов. Хлеб этот, разумеется, не вместился бы в общественный амбар, и тешить себя иллюзией не следует — он должен был поступить на государственный ток...

Закончим, однако, пересказ документа: по суровому настоянию уполномоченного райисполкома совсем недавно избранного председателя кресткома А. С. Пушмина заменили другим, да другого не нашли, прямо так и записали. Но А. С. Пушмина все равно вывели из кресткома за то, что он якобы подкулачник.

Вот этот пункт уже опасный: и термин сам, бездоказательно пущенный в оборот, — «подкулачник» (легонькое, в общем-то, вполсилы слово, но отравное), и согласие — в новом, самими же отстроенном народном доме — отдать Александра Пушмина на распыл...

Рядом, в Афанасьеве, в канун 1930 года мужики пытались решать незатейливые крестьянские дела, избирали в крестком. Выбрали пятерых, в том числе Семена Логинова и Петра Устинова. А вскоре, всего лишь через три месяца, хотели постановить «выселить из пределов Афанасьевского сельсовета Семена Логинова, Устинова, Долгих», обвинив их в... терроре деревни. Но народу на собрание пришло мало, 78 человек из 300 взрослых, за выселение голосовало всего 20 человек.

Что и говорить — тоже многозначительный документ, вызывающий недоуменные вопросы: почему мир приветил трех террористов, избрал их в крестком и почему так скоро вроде бы собирается выгнать их, но сам же, оказывается, не дает на это согласия? Или 100 мужиков, переживших угар двух войн, и вправду боятся трех разбойников?.. Нет, и здесь, в Афанасьеве, что-то неладно. Кто-то посторонний навязывает мужикам, как им жить и что решать. Кто?

Одновременно заседали мужики и в Евгеньевке, тоже решали хозяйственные вопросы. Протокол сохранил нервный, даже злой выкрик Пахома Казакевича.

«Повестка:

1. О проведении посевой кампании.
2. Об организации Красного обоза.
3. О создании фонда по лесам местного значения...

По пункту 2 член сельсовета Казакевич Пахом говорит, что пошли они подальше с ихним обозом, т. к. приедешь с Красным обозом (в Тулун) и жди до вечера, пока что примут хлеб, а могут и не принять».

Постановили несколько странно, этак раньше не постановляли евгеньевцы:

«...не везти ни одного фунта на базар (то есть для собственной наживы; это бы ладно, но далее). ...Мы будем следить друг за другом и доносить в с/совет на тех граждан, кои будут замечены в вывозке хлеба на базар, для принятия соответствующих мер».

Через пару месяцев еще отчаянней закурилось.

«Протокол № 10 заседания Евгеньевского сельсовета от 22 мая 1929 года.

Постановили: каждый член сельсовета должен подумать, кто же должен являться явно кулацким хозяйством, и на следующем заседании должен сказать, кто должен являться кулацким хозяйством».

Вот оно, открытое и грозное свидетельство перекося, хотя теплятся еще в этом документе моральные заповеди евгеньевских старожилков — из последних сил не поддаются они нажиму из Тулуна, никого не продают, а только в немоте взывают к небу: «кто же должен являться?..» Евгеньевцы пытаются сохранить единство.

До сентября месяца район еще трижды требовал разоблачения «кулацких элементов», а Евгеньевка тянула и отмалчивалась, платила сельхозналог, сообща решала насущные проблемы: правила мосты через Илирку, крепила поскотину. Чуть было не создала животноводческое товарищество, но гуртом, вспомнив белую мудрость, вновь записали: «Население не понимает важности означенного товарищества, решили разъяснять, а посла создавать».

В двух этих строчках видна природа сибирского крестьянина — он хитрит и молчит, обучился писать бумаги, полные уверток. Можно понять евгеньевцев — зажиточные были среди них, но кулака не было ни одного; оторванные от других сел расстоянием, евгеньевцы научились жить в дружбе, терпеливо сносили наезды уполномоченных, подписывались на займы, платили враскачку увеличивающиеся оброки и налоги. Но обнажатся страсти и в этом заповедном углу. Крик Пахома Казакевича — не случайный крик.

И наконец — 1930 год.

Вот документ, красноречиво передающий атмосферу той поры.

«В Тулунский РИК от Автушко Григория Андреевича, с. Едогон.

В феврале месяце с. г. местным сельским Советом в порядке трудгужповинности я был мобилизован на лесоразработки и для выполнения таковых отправлен на местное тагно.

За моим отсутствием сельсовет совместно с уполномоченным ОИКА т. Богдановым почему-то конфисковал все до основания мое имущество, не говоря о живом и мертвом инвентаре, изъяли семенной и продуктовый хлеб, который мне выдан был тем с/советом на месячное довольствие, изъяли даже картошку и капусту... А семью, состоящую из жены и малолетних детей, выгнали из дома, поместив в дом на краю села без стекол, разломана печь и дверь и пр.

Через 20 дней я вернулся с работ, ничего не зная о происшедшем, заехал в свой дом, где при входе я увидел сидящих граждан Ковалева Филиппа и Резниченко Дмитрия, бездельников, которые изрядно выпивши...

Я приехал в указанное помещение и увидел жалкую трагедию — плачущих детей голодных и в доме 20 градусов мороза.

Не прошло и 2-х дней, я подвергаюсь аресту, не успев устроить семью, в каком положении нахожусь до настоящего времени.

...Трудового права (очевидно, избирательного права.— Б. Ч.) я не лишился, хозяйство мое средняцкое, обыкновенные деревянные постройки, необходимый инвентарь для обработки земли, две лошади, одна корова, семь овец и четверо едоков. Налог платил вовремя...»

А теперь самое время послушать живые голоса очевидцев.

«В Афанасьеве,— рассказывает знакомый нам Михаил Петрович Непомнящих, — жил Софрон Зарщиков. Семья у него была семья ров. Три десятины земли, два коня, корова — он на средняка едва ль тянул. В тридцатом году обложили его твердым налогом, как единоличника. Получалось так: выполнит план — семья по миру пой-

дет. Не выполнит — загребут Софрона. Он недолго думая отвез, что успел, на тулунский базар, продал и умотал в город Улан-Удэ...»

Ульяна Фадеевна Петрачкова:

«Жила я в Карманутах, сама вела хозяйство, мужик помер. В тридцатом году говорят: человек с района прибыл, в Арижскую коммунию записывать будет. А кто не запишется — придут из сельсовета, ходок заберут, коня заберут, корову заберут... Напугались мы, пошли записываться.

Случай дурной был у нас, Гриша Семенов — у него все отобрали — пошел к Феклошихе, самогонки выпил... Песню глупую тогда сочинили: стоит, дескать, елка у ворот, почто никто не подойдет, а это Гриша напился да повесился».

Василия Федоровича Шахматова 1930 год застал в Челябинской области. Но послушаем и его:

«В селе Карандашеве собрали мы в церкви семей двадцать, вместе с детьми, и погнали на станцию Шумиха, в ссылку угнали. Я молодой был. Велят гнать — враги, дескать, — я исполнил. Сосланные писали письма потом с Урала и Амура, с годками и я списался, стыдно чего-то было... Но не шли люди в колхоз».

А вот никитаевцы вспоминают. Александра Ивановна Огнева Сопруненко:

«В двадцать шестом году закрывали у нас церковь, сразу холодно стало в деревне. Саму церковь-то под хлебный амбар велели запереть, а иконы отвезли в гортоп... Скоро начались коммуны, мы в их не ходили, отсиживались. А в двадцать девятом пристали уполномоченные с ножом к горлу: «В колхоз ступайте». Мы уперлись, думаем: че получится? А вдруг ниче не получится?.. Но стали отбирать у нас всякие домашности. Раз телегу угнали в сельсовет и не вернули, потом лошадь взяли, тут убирать посев надо, а лошадки, вывезти хлебушко, нету. А следом твердый план поднесли — вноси налога в пять раз больше. Прошлый год сдавали два центнера с десятины, а тут в пять раз боле. Мы и закуковали. Урожаю взято всего тринадцать центнеров... Пока думали, гонят подводы, ограду отпирают, лезут в амбар и подчистую! Я говорю деду Мишарину и Григорию Латыгину, активистам. «Вы же, говорю, ленивцы, лежебоки, ни холеры не заработали. Один хвост на дворе у вас. Зачем нас, трудящихся, грабите?» Правда, лень наперед их родилась. Им и поручили чистить сурьезных мужиков. Кричать-то я кричала, а Андрея за рубаху держала, чтоб беды не наделал... И вот увезли у нас все. Ночь пришла, легли мы спать, молчим и думаем про то, как дальше жить. Полночь уж, господа, давай поспим... А нету снов».

Судариков Иван Александрович, брянский, жил в Куйтунском районе. В 1929 году позвали Ивана Александровича в сельсовет.

«Я член сельсовета, зовут — иду. Повели нас. Кулачить будем, говорят. Пришли, старик слепой и старуха. Их взрослый сын и жена его. Четверо ребятшек. Один конь был у них — взяли коня, корову и нетель увели, хлеб выгребли. Уехали на их телеге. Деревня наша Мингатуй называлась... В том же году я уехал в Новый Брод, стал секретарем сельсовета, повез отчет в исполком, а там говорят: «Колхоз поре делать, сейчас отчет сдашь и поедем». Я плечами пожал. Бруев, начальник орготдела Лесхимсоюза, увязался со мной, Собрали двенадцать хозяев, записали в листок. Бруев объявил: «Кто не пошел, у тех земля отымается». Тут новые, двадцать два хозяйства, пришли».

Надежда Егоровна Ломакина:

«Муж отделился от отца, свекра моего, в 1929 году. Бедой запахло, свекор и говорит: «Меня разорят, так хоть ты в своей избе жить будешь». Далеко видел Федор Васильевич. Скоро отобрали у него все, из города прибыли какие-то и войну начали. Согнали семей пять, с малыми ребятами, на мельницу, охрану поставили Тайно мы детишкам молоко носили. Михаил горько плакал — за отца переживал. Тут поднесли нам налог, подчистую грозили обобрать. Тогда Михаил записался в «Максима Горького», а свекор, когда выпустили его из под стражи, уехал в Биро биджан, больше не видели мы его...»

Алексей Степанович Татарников:

«Я был мальчиком, когда отцу велели добровольно вступать в колхоз. Отец не пошел, приказали ему отдать сорок три центнера зерна. А нас было шестеро малых, у отца с мамкой, не могли они справиться с налогом. Тогда все у нас отобрали. Мельница, забитая, сгорела, а плотину прорвало льдом и разворотило... Мыкались мы, отец сторожем устроился в Тулуна, я дрова пилил по дворам. Три кубометра распилишь ручной пилой, поколешь — глядишь, тебя покормят и денежку дадут.»

Забегая вперед, скажу: Алексей вырос богатырем, брал восемь пудов на плечо. Ушел в 1941-м воевать, заслужил грамоту от маршала Говорова, орден Славы, медали всякие; но не об этом он рассказывал мне.

«Ходил я по людям, надоело, пришел в родную деревню. Время пахоты, мужики в поле. Я встал перед ними и молчу, хочу сказать, а давясь. Возьмите, хочу сказать, в колхоз меня, устал я ходить по чужим местам. Сказал. Иван Умаров, противный такой мужик был, кричит: «Да че от него пользы, от пацана?..» А Михаил Ломакин, переживший свое горе, говорит: «Дед и отец могутные у Лешки, скоро и он выправится — мы за ём не угонимся, попомните, мужики». Так стал я малолетним колхозником и старался угодить, чтоб не прогнали меня».

Тимофей Егорович Горюнов — коренной заусаевский житель — делился пережитым осторожно. Сначала одобрил директивную установку, похвалился участием в классовой борьбе, службой в милиции.

«Прикатил уполномоченный РИКа Купченко, старый, с лесозавода, дали ему задание просветить наши головы. Собрал он бедняков. Задача, велит, простая — подвести к раскулачиванию. Мы молчим, смиренные. «Не ясна задача?» — спрашивает. Мы молчим, нас-то че подводить. Кто богатый — того и подводить. Тогда он список вынат...»

Горюнов и его приятели прошлись железной метлой не только по Заусаеву. Добрались до заимок, до хуторов. В числе раскулаченных лишь три человека были воистину зажиточными, и лишь один применял наемную силу — Осип Татарников. Осип держал пять батраков, было у него 20 лошадей, 15 коров и нетелей. Горюнов с приятелями одного зерна выгреб подвод 20. Правда, у Осипа было три взрослых сына, между которыми — на четыре хозяйства — хотел тот поделить свое добро, да проморгал срок. Отобрали у него два дома. Куда сам подевался? А бежал в Томск и там кончил самоубийством. Тридцать же середняков, лишенных нажитого добра, пошли кто куда — по городам и весям страны, подались и в колхозы, местные и дальние. А год спустя иные отправились в места отдаленные... Среди них оказался и хромоногий Семен Жуков, вечно ходил — на одной ноге сапог, на другой чирик. Прижился у него недоумок Гриша, пахал и селя, питался вместе с Семеном за одним столом. Зачислили Жукова в кулаки и прогнали за сто пятьдесят километров от Заусаева, а старуха его осталась одна с девками.

Алексей Данилович Медведев родом из Белоруссии. В 1907 году Медведевы поехали в Сибирь за благами, обещанными Столыпиным. Им нарезали участок, дали пособие. Работали с утра допоздна — и взрослые и дети. Корчевали березник. К разделу отец Алексея Данила Медведев приготовил сыновьям 5 коней, 3 коров и 20 овец, но женить отпрысков не успел, скончавшись внезапно в 1913 году.

К 1930 году у Алексея Даниловича было сильное хозяйство, и когда по долгому раздумье он понял: колхоза не миновать, то ввел на общественный двор 3 жеребцов. Самого его, упрямого и умного, избрали председателем артели «Сеятель».

Вроде бы мирно обошелся переход к новой жизни, но Алексей Медведев вздумал оборонить артель от набегов дежурных уполномоченных: сначала потребовал не вмешиваться в коллективное хозяйствование, а потом поехал в Тулун, набрался смелости и сказал секретарю РИКа: «Толку от ваших товарищей мало, а вреда много. Лучше пушай они приезжают, когда мы урожаем снимем, раз в году. Примем как дорогих гостей на обжинках».

Смелость вышла боком — приехал очередной уполномоченный с письменным циркуляром и скинул Медведева с поста, обозвав ходовым ругательством «подкулачник». Алексей Медведев потребовал на собрании слова, рассказал, из какой бедняцкой семьи выбился его отец Данила Иванович, крепостной помещика Мисевича, и как он, Алексей, вернувшись раненым с войны, сам укрепил хозяйство и никогда не прибежал к найму чужих мужиков или соседей. Уполномоченный отвечал: «Это не меняет дела, по внутрь ты подкулачник». Медведев плюнул публично под ноги уполномоченному и ушел.

Роман Сидорович Гнеденко:

«В 1927 году прошло у нас переземлеустройство, очень удобно всем старожилам и новичкам нарезали полосы, в пять десятин. С района шли напасти всякие, но нас не одолели. Царствовать, по чести говоря, не получилось, потому что налоги соки тянули, но все одно жили — через раз тужили. Весной 1930 года приехал чернявый такой из себя, глаза острые, Самуилов, собрал нас до кучи: «Че-то вы, — говорит, — засиделись на завалинках. Товариществов вам не надо, уполномоченных самогонкой спаи-

ваете. А пора сообща хлеб содить, пора». Мужики самосадам пускают в него и молчат. А он как закричит: «Загоним кнудом, раз в вас вредство такое! Всех уговорили вокруг вашей глупой Евгеньевки, а тут кнут возьмем».

После этого часть мужиков решили попробовать и сбились вместе. Отец же мой упрямылся и не соглашался сойтись. Тогда землю у нас отрезали (я был молодой, и меня отец еще не отделил), а далеко дали два неудобных лоскутка. Раз отец говорит: «Мой городок-то уж под землей, а тута в городок не сойдемся. Силком городок нельзя строить...»

После войны у отца левая рука почти не работала, только большой палец шевелился, тяжело ему приходилось, но я помогал ему во всем. А он терпел и нам велел терпеть. Отстанут, дескать, отвяжутся...»

Самым крепким хозяином в Евгеньевке считался Максим Абрамович Краснощек, покладистый и тихий мужик. Он не пошел в колхоз, его зачислили в кулаки и вместе со старшим сыном Степаном сослали в Туруханский край, откуда они не возвратились. (Там, верно, отец мой Иван Дмитриевич Черных мог познакомиться с Максимом Краснощекым, но никогда о том уже не расскажет мне.) Жена Максима скоро умерла от горя. Семья у них была — три взрослых сына, взрослая дочь, двое малых детюшек, старуха мать. Земли разработали Краснощекы 6 десятин, потом с расчетом на отделение сыновей прирезали еще 3 десятины. 4 коровы, 3 коня, птица имелась. Максим был всю жизнь кузнецом и кузню поднял. Наемных мужиков никогда у него не было, падал от усталости, но сам дело вел, а тут сыновья подросли. Отобрали у них все: взяли кузню, в колхоз увели лошадей и коров, а потом и дом отняли. Дом этот сохранился до сих пор.

У Ермила Архипенки отобрали двух коней и двух коров, отрезали землю, и последние годы (Ермила был стар) подметал крестьянин улицы в Тулуно. Ермилин дом пятнадцать лет спустя достался пришельцу Шолохову. Судьба уготовила, чтобы дом этот оказался последней жилой обителю Евгеньевки...

Интересна фигура Алексея Аксютеца (из той же породы, что и никитаевские дед Мишарин и Григорий Латыгин). Алексей всю жизнь сеял одну десятину, его мало заботила земля. Промышлял он в лесу — петли ставил на зайцев, западни рыл косулям. Изба у него прохудилась, он и избу не хотел починить.

В 1930 году, приняхавшись, куда ветер дует, Аксютец заделался активистом, вступил в колхоз, тотчас потребовав себе чужую избу. Именно Аксютец вместе с уполномоченными ходил по дворам, описывал имущество, выгребал хлеб, грабил «подкулачников».

Анна Андреевна Казакевич говорила:

«Таки, как Аксютец, горя много принесли Евгеньевке. Доносили любое слово и сами беду делали. У Краснощекowych забрали все, а как стали одежду отбирать, тут жена Максима заплакала — на зиму ниче не остается. Мы слышим, как плачет она, а подойти боимся... Сыновья-то Максима сообща решили с отцом вместе и отреклись от него, а Степан сказал: «Поеду с отцом, нельзя старика одного оставлять». Степан-то сам выбрал дорогу... Мы-то как жили? Налог поклали великий на нас — мясо, хлеб, шерсть. Тянем, в колхоз не вступаем, но приедут и все отберут, да разбазарят после...»

Уехал, бежал из села Иван Гулятьев. Подался и Филя Жигачев в Тулуно — слонялся там по всяким артелям.

Ефросинья Михайловна Шолохова-Жоголева:

«В 1929 году угнали отца на лесозаготовки, он застудил там печень и умер, мать осталась с четырьмя детьми. Два старших брата, Борис и Ефим, говорят: «Управимся, мама, без колхозу, мы большие уже».

А на нас раз — и план наложили, все-все, что могли, сдали. И вот слух: красная метла по дворам пойдет. Братья спрятали два последних мешка ржи, а на печке сохло у них полкуля. Думаем, скажем — это все, что осталось. Не отберут, думаем, последнее. Но явились, все вверх дном подняли, нашли рожь в кулях и ту, что на печке сохла, забрали. Алексей Аксютец даже зернышки шапкой смел с лежанки. Тянули мы до лета на одной картошке. А летом мать говорит: «Пойдем в колхоз, че делать. А то план снова принесут...»

Мария Васильевна Нестеренко, по второму мужу Жигачева (она сошлась с Филиппом Андреевичем, когда он после Отечественной войны оказался вдовцом):

«Вызвал моего отца в сельсовет уполномоченный и спрашивает:

— Какую цифру выберешь — двадцать четыре или триста пятьдесят?

Отец молчит.

А уполномоченный:

— Ты, я вижу, прикинулся непонимающим. Разъясняю. В колхозе налог двадцать четыре рубля в год. А не пойдешь в колхоз — плати сразу триста пятьдесят рублей. До утра тебе сроку на думованье. Утром, если сам не придешь, мы явимся с описью.

Папа уполномоченному ответил:

— Пойду старуху (то есть маму мою) на колхоз уговаривать. Где ж таки деньги, триста пятьдесят, взять?

Уполномоченный одобрил моего тятю, а тот не домой пошел, а по дворам и до ночи собрал в долг триста пятьдесят рубликов. Кто десятку, кто меньше, в сберкассах деньги тогда не хранили, да и что хранить было! Утром уполномоченный на двор, а отец ему на протянутой руке несет деньги и говорит:

— Ноги чтоб твоей не было возле дома моего.

Тот взыграл, а сделать ниче не может... Конечно, в следующий раз поднесли отцу похлестче сумму. Так и Василий Степанович Гнеденко, дядя Романа, распродал все, придут за описью, а он деньги в зубы им. Вносил раз, два, три, нищий остался и только тут пошел в колхоз».

Пахом Казакевич, депутат сельского Совета, уговаривал мужиков не соглашаться на артель, но после многократных угроз со стороны тулунских гостей замолчал и за-таился. Игнат же Гнеденко и Фаддей Краснощеков, родной брат Максима, не выдержали напора чернявого Самуилова, в ноябре 1930 года создали 6 семей и учредили артель. Под диктовку уполномоченного из райисполкома составили 6 ноября протокол: «...Учитывая преимущество коллективного хозяйства перед единоличным, решили обобществить амбары и по 1 конюшне. Дойные коровы остаются в личном пользовании по одной до шести едоков, а свыше шести едоков допустить две коровы. Мелкий скот, свиньи, овцы, козы, птицу не обобществлять...»

Осмотрительность даже здесь, у последнего рубежа, не покинула евгеньевцев: обобществляли сами себя осторожно, не то что заусаевцы или никитаевцы.

Под нажимом приняли решение перепахать межи — это было почти неосуществимо при чересполосице, когда сошлись всего до десятка хозяйств, но понимали, что сегодня 10 хозяйств, а завтра и другие будут вынуждены идти в колхоз. Обязались письменно «сдавать товарную продукцию планово»... Решили взыскивать друг с друга за невыход на работу без уважительных причин. Нелепое это для крестьянской психологии решение приняли согласно уставу сельхозартеля, присланному из райцентра.

Терентий Поползухин сказал, что этак будет по уму, как на производстве, взыскивать-то. А Гнеденко отвечал: «Ты из тулунских рабочих бежал к нам. А мы тут и без всяких бумаг работали. У нас не залежишься, когда день год кормит». Уполномоченный же категорически потребовал внести этот пункт в протокол.

Так впервые евгеньевские мужики поняли, что отныне не столь веление земли и собственная совесть призовут их к труду, сколь угроза выговора, наказания и даже — во как! — исключения из артели. Они воспрянули было духом: исключай, можно снова будет зажить по-старому, но уполномоченный разъяснил, что будут они «поражены в правах», и холод вошел в душу каждого.

Когда вечером Игнат Гнеденко пришел к Пахому Казакевичу и рассказал о собрании, тот взвыл будто от боли:

— Че же вы делаете, а?! Сами себе петлю на шею вздеваете? Не, я останусь до последнего сам по себе, а вы тащите хомут, раз вздели его...

На следующий день Поползухин и Савченко увезли протокол в райисполком, а Казакевич — благо зиннее время позволяло — стучался непрошено в избы, присаживая у порога и молча смотрел на односельчан.

— Ты чего, Пахом? — не выдержав, спрашивали они его.

Пахом нахлобучив собачий треух и, уходя, говорил:

— Попомните, будет лес слабый и народ слабый будет тоже...

На беду, это пророчество слышал и уполномоченный. Через полмесяца поступил в сельсовет указ взыскать с Пахома Казакевича налог в 1000 рублей. Пахом, немедленно отделив сына, не дрогнув, продал скот и зерно и внес налог. Через месяц обложили Пахома еще на 1000 рублей. В неистовстве мужик отрезал от советов родни, продал дом, перешел жить в баню. Зиму перекантовался. Весной у него отобрали долошу и последнего, молоденького, жеребца.

Пахом лег на лавку в бане и перестал выходить на улицу. Иван пытался увести отца к себе домой, Пахом отвечал одно:

— Попомни, сынок, будет лес слабый и народ слабый будет.

Скоро он отказался принимать пищу, а пил только воду. Он сделался страшен, и никто уже не пытался войти к нему.

К лету Пахома не стало. Его смерть потрясла Евгеньевку. Через сорок шесть лет о добровольном уходе Пахома Казакевича мне расскажут оставшиеся свидетели Роман Гнеденко, Фрося Жоголева-Шолохова, Филипп Жигачев; родня же Пахома — сын его, престарелый инвалид Иван Пахомович, и внуки — хранит гробовое молчание.

Не может же быть, чтоб мужики не пытались оборонить себя от произвола?..

Обороняли, как умели. В период продрозверстки даже оружие брали в руки, а после обучались ненасильственным методам: писали письма (архивы в стране забиты миллионами их писем, правда, доступ к ним ограничен), выходили из артелей, бежали в леса, даже решались на жертвенный уход из жизни. Мало этого? А другого и не придумаешь.

В старину сибирское пашенное крестьянство умело миром оборонить себя. Викентий Николаевич Шерстобоев в труде «Илимская пашня», снискавшем славу иркутской школе историков¹, пишет: «Десятские и старосты не всегда годились в защитники крестьянских прав... Вот почему крестьяне во всех важных случаях прибегали к выбору мирских челобитчиков».

Пример этот важен еще и потому, что тулунские земли северным крылом граничили некогда с бывшим илимским воеводством.

Увы, крестьяне разучились посылать в Москву или хотя бы в Иркутск своих представителей и этим чрезвычайно занизили уровень гласности, и без того теснимой бюрократией. Конечно, эта форма самозащиты носила частичный характер, а все ж! Впрочем, и раньше «крестьянское самоуправление касалось, по существу, лишь вопросов урегулирования повинностей,— пишет историк.— Но воевода вынужден был считаться с мнением крестьянского мира, т. е. коллективными решениями крестьян подчиненных ему волостей. Были случаи, когда решения воевод отменялись Москвой по ходатайствам волостей. Мир защищал одних приказчиков и добивался смены других». Так было в 20-х годах XVIII века. За два столетия до описываемых нами событий!

Вот пример самый что ни на есть актуальный — по налогам. Оказывается, что и в ту пору «налоговое законодательство... было настолько сложно, что вряд ли во всей России нашелся бы человек, твердо и безупречно разбиравшийся во всей паутине налогов, особенно в применении их в отдельных местностях страны. Крестьяне Илимского воеводства с момента создания его платили хлебом, затем были введены денежные сборы... Где-то крестьяне Яндынского острога вычитали из одного указа Петра, изданного в 1724 году: «Кто сверх подушных денег что станет брать лишнее, то... за оное преступление учинена будет смертная казнь или сосланы будут вечно на галеры с наказанием и вырыванием ноздрей и лишением всего имения»... Яндынские крестьяне посылают в Иркутск выборного челобитчика пашенного крестьянина Павла Москалева и в заявлении ссылаются на приведенное выше место из указа Петра I: ...мы платим подушные, но с нас еще берут хлеб, значит, поступают против указа».

И что бы вы думали — в Иркутске согласились с доводами крестьян! Постановлено было вернуть взятое сверх подушных сборов. Но хлеб вернуть невозможно, так как он сплавлен в Якутск, подушные сборы также вернуть нельзя, так как они высланы в столицу. Тогда иркутская провинциальная земская контора предлагает илимскому воеводе без проволочек вернуть за взятый хлеб деньгами из местных сборов, в основном от продажи вина.

Мы-то с вами, читатель, привыкли — сейчас выпишут справочку мужикам, и будьте довольны, так ведь? Нет, вернулся выборный челобитчик домой с денежками! «Все дело было решено быстро — челобитная в Иркутск подана 22 июня 1726 года, деньги в Илимске получены 28 июля».

¹ В. Н. Шерстобоев предваряет свое капитальное исследование такими словами: «Предлагаемая работа построена на понимании процессов развития илимского пашенного дела, как частицы истории русского крестьянства — главного носителя нашей государственности, культуры и национальности на протяжении многих веков» (разрядка моя — Б. Ч.).

Подчас крестьяне в челобитных делали весьма обидные замечания в адрес местного начальства (того же воеводы), и начальство терпело, не взрывалось, не становилось, как теперь говорят, в позу, ибо знало: лучше мир с миром, нежели война.

Но не только тихими средствами отстаивали сибирские пашенные крестьяне свои права. В конце XVII столетия крестьяне Братского уезда подняли восстание, требуя изгнания приказчика Кафтырева. Петровская администрация не посмела поднять руку на крестьян, а Кафтырев схлопотал наказание — азиатское, разумеется: был он бит кнутом и сослан в рядовые казаки.

Тут ни убавить, ни прибавить.

В свое время князь, а потом революционер-анархист Петр Алексеевич Кропоткин, долго наблюдая сибиряков, пришел к выводу, что «для народа решительно невозможно сделать ничего полезного при помощи административной машины. С этой иллюзией я распростился навсегда».

Вольно было князю так рассуждать, а сибирякам приходилось (да и приходится) жить, сосуществуя с административной машиной.

В 1917 году мы на весь мир объявили о праве масс на самоуправление. И вот теперь на примере тулунской земли видно, как оно пошло-поехало по Руси...

Дело доходило до конфуза. С одной стороны, жесточайшие казенно-бюрократические акты, с другой — трогательные сцены единения не токмо с трудящимися, но и с их детьми.

«Протокол заседания детской конференции, состоявшейся 8 января 1929 года под председательством Татаринова Петра и секретаря Мордович».

Присутствовали ученики Заусаевской школы — 120 человек и представители от Кандырика (правильно: Кандарика. — Б. Ч.) и Половинки.

Повестка:

1. Отчет (?) сельского Совета о его работе.
2. Участие детей в предвыборной кампании.
3. Разное.

Вопросы детей: Почему уходят из коллектива? Почему лишают голоса? Сколько семейств может войти в коллектив? Могут ли родственники объединяться в коллектив? Почему Милковский⁸ сказал, что лишено 35 человек, а лишено 90 человек? Зачем надо сводиться в коллектив? Сколько надо в коллективе машин? Сколько коллективу полагается машин? Почему зажиточные не идут в коллектив? Почему у зажиточных отбирают хлеб? Дается ли земля вышедшим из коллектива? Сколько всего организовано Красных обозов в 1927—1928 годах? Почему бедняку помогают?..»

Устами младенца глаголет истина. 90 лишенцев на 130 дворов в Заусаеве — непоправимый факт времени. Лишенцев-то 90, а драм и катастроф гораздо больше...

Но мужику надо было жить дальше. Смысл жизни оставался неизменным — бабы беременели и рожали детей, дети требовали молока и ласки, пашня-кормилица, теперь уже не своя, но и не чужая, призывала земледельца по весне и будто признавалась, что и она, как ребенок, погибнет без должного обихода.

Ефросинья Михайловна Шолохова-Жоголева рассказывает, как после испуга, опомнившись, начали Жоголевы хлеб сеять уже на колхозных полях и сообщая прополку вали.

Первое колхозное лето будто по заказу стояло, с дождиками в ночные часы. Когда пришло время собирать урожай, новоявленные колхознички были удивлены: пшеница уродила на общественном поле не хуже, чем на бывшем своем.

Затаившись, ждали Жоголевы, как вырешат в правлении, сколько начислят.

Замечу, отвлекаясь, что нормирование коллективного труда оказалось сложной задачей, а без правильного нормирования работа колхоза не поддавалась учету.

От нормирования — дорожка к планированию. Планировать приходилось все: запасы зерна и фуража, будущую посевную, будущую сдачу хлеба государству. Учились мужики прикидку по инвентарю делать (хватит ли кос косарям, исправны ли грабли, хватит ли керосину на зимние дни, когда мужики в лес по дрова, а бабы прясть и ткать станут). Мудреная задача решалась сообща, долгим сидением в прокуренном правлении.

⁸ Андрей Иннокентьевич Милковский, тогдашний председатель Заусаевского сельсовета, приехал с Украины. Вскоре он неожиданно уедет на родину и будет убит неизвестными лицами (свидетельство Т. Е. Горюнова).

В нормах, которые я записывал по деревням, есть легко объяснимый разнობой: единого для климатического пояса справочника поначалу не было, и колхозные вожаки прикидывали на глазок, отталкиваясь от местного опыта, своего или соседского.

Но самым сложным оказалось точно заверстать на какую-нибудь операцию людей: не беда, если мало народу придет на свеклу, но беда — много, колготиться станут. А исполнение дела всем пиши. Иль вот как пацанов писать? Они вроде и вполсилы работают, но на бороновании или на прополке проворные их руки незаменимы. Так, например, было у Жоголевых после вступления в колхоз: кроме матери шли в поле сыновья-подростки, бежала девчонка Фрося. Даже младшенький Санька не бездельничал — по дому, правда, работал: свиньям траву рвал, морковку полел под окнами, двор сторожил.

С началом колхозов, по многочисленным свидетельствам, началась нескончаемая череда воровских набегов: тащили муку из амбаров общественных и частных.

Раньше невозможно было представить, чтобы поднялась рука на чужое добро. А тут сноровка цыганская явилась: ночью обуют в лапы корову и уведут или свинье поднесут мешочек с мукой, она ткнется рылом-то, а мешок ловко так накинут на голову, мигом задохнется свинья, ее приколют — и в сани.

В Натке (эта Натка быстрее всех сбилась с пути) целые семьи промышляли воровством: от тока тянется ночью вереница — отец несет полный куль, дорогу торит в потемках, следом полкуля жена тащит, а следом дети, по возрасту и силе у каждого тара заготовлена...

Но вернусь к труженикам Жоголевым. В то первое колхозное лето нормировщики промахнулись и насчитали по 8 килограммов на день. Пока не развезли по дворам, все мерещилось: не отдадут заработанного. Но вот в кулях Фросины братья повезли рожь и пшеницу и засыпали полные закрома в амбаре. Картошки привезли — забили подполье и яму на огороде.

День прошел, кличут мать в правление, она с испуга простоволосая бежит.

— Ошиблись, Митрофановна, — говорят.

Мать побледнела. А Фаддей Краснощекоев, это он уводил жоголевских коней на общий двор, тяжелой рукой по плечу ударил:

— Не бойсь, придется еще принять кое-чего.

И привозят к Жоголевым еще два огромных короба картошки, а ее и сыпать-то некуда, сгрузили у амбара. Начались морозы; померзла картошка, кормили ею скот.

Зима настала — велели правленцы бабам вязать носки и рукавицы и выносить на тулунский рынок, чтоб мелкие деньги в колхозной кассе не переводились.

В общем, подфартило, первый год не страшным оказался. И хотя потом раз за разом, осень за осенью становилось тяжелее, трудное примирение с новой явью состоялось.

Филипп Андреевич Жигачев в ту пору жил в Тулуе, плотничал на элеваторе. Ульяна, жена, взяла его в оборот: «Надоело по чужим углам мотаться. Вернемся!»

Собрали на телегу скарб и поехали в деревню. Сделали Жигачева бригадиром, а позже и замом председателя. Скоро он понял, что приписан отныне к колхозу навечно, ибо в 1934 году правительство ввело паспортную систему, остановив таким крайним способом миграцию населения. Правда, крестьянам, или, по-другому, колхозникам, паспорта как раз и не достались. Не велико горе, кажись, но многомиллионные массы были окончательно лишены права передвигаться с места на место. Новая крепостная система утвердилась.

Одновременно государственные институты продумывали и упорядочивали систему налогов. Мяса в 30-х годах брали с одного двора до 50 килограммов, масла — до 10 килограммов, яиц — до 100 штук, картофеля — 5 центнеров. Возрос подоходный налог с приусадебного участка. Эти налоги, подскочив, перекочевали и в следующее десятилетие. Насильственная подписка на заем вошла в ежегодную традицию и тоже воспринималась как налог. Об этом мне поведала Наталья Федоровна, жена Михаила Петровича Непомнящих. Она же, не моргнув глазом, сказала, что на заем подписывали не силком, но принудительно. Я переспросил и получил тот же ответ: «Принудительно, но не силком». Это означает: в суд не тащили, в тюрьму не сажали, но приусадебный участок отрезать могли и отрезали. Тогда же начались и штрафы — скашивали число трудодней. Лошадь захромала вдруг — штраф, седелку утерял — штраф. Диковинные порядки для крестьянина начались.

Угрозы, которые раньше слушали единоличники, посыпались теперь на колхозников: «Опишем скотину и продадим, раз налог не несете». И описывали и уводили скот. Деревни вооружились... коромыслами. Лошадей не стало, а автомобили тогда видели лишь в кино, вот и научились на коромыслах носить продукты на районный рынок. Яйца, чтоб не побить, присыпали опилками, а масло или табак — те и так не побьются... В Тулуе мигом родилось общество спекулянтов, перекупали сельхозпродукты и везли в Иркутск.

Райфо каждый квартал беспокоило крестьян через уполномоченных. Но уполномоченные бывали иной раз добрее своих, сельсоветских. Евгеньевского Реватова, председателя сельсовета, боялись как огня.

Вопрос о председателях колхозов той поры вызывал у стариков, с которыми я беседовал, оживление: «Погодь, погодь, этот бежал от нас или взяли его под арест?»

И начинался очередной сложносюжетный рассказ.

В Евгеньевку после своих Краснощекова и Гульяева прибыли руководить колхозом чужие. В этом сказалося поветрие, мода на посланцев рабочего класса, на матросов Давыдовых, которые в пашенных делах хотели бы разуть, да не разумели.

В 1933 году районные власти прислали Григория Сурмалота, сурового мужика, но егеньевцы отыскивали путь к его доброте через самогон.

В 1935 году прислали из Бурдуна Антона Любочку — вроде насмешки над егеньевскими мужиками: Любочке исполнилось восемнадцать лет, и хотя разум имелся у парня, характер, конечно, еще не сложился. Надует губы, сердится юный председатель, а никто его не слушает...

В 1936 году егеньевцы выбрали своего, Федора Асаенка, но району он не понравился, и прислали из совхоза «Сибиряк» Николая Мукштанова.

Тут вызрел сын Фаддея Краснощекова Иван, ухватистый мужичок, весь в дядю Максима, сгинувшего под Туруханском. Но Иван не сладил со стариками, пытался ровесников расставить на все командные должности, и старики провели в председатели своего — Мирона Кирилловича Башуна.

У последних трех в замах ходил Жигачев. Был он властным человеком, и его самого чуть не заверстали в главные, но каждый раз Жигачев находил вескую причину: «Вмиг поругаюсь с райисполкомом, вам же, мужики, хуже будет», — и отставка удавалась.

В 1935 году, после образования машинно-тракторных станций, колхозные поля стали обрабатывать «фордзоны» и «универсалы». Директор Никитаевской МТС (она обслуживала и Евгеньевку с Наткой) Зверев стал еще одним присланным начальником над мужиками. Недолго они выбирали, кто главнее: председатель сельсовета Реватов, председатель колхоза безусый Любочка или Зверев. Зверев быстро подмял прежних хозяев и установил «пролетарскую диктатуру», как любил он фасонить.

Поначалу МТС только содержала технику, ремонтировала тракторы, а по весне как бы сдавала их в аренду колхозам. Колхозы же натуроплатой (хлебом) расплачивались за эксплуатируемые машины. Но практика эта показалась сложной. Упростили: механизаторы во всех наших селах, живя дома, перешли в полное подчинение и подданство МТС, получали там и зарплату и выговоры. Хотели упростить, а влезли в еще большую путаницу, которая с годами усугублялась. Неизвестно было подчас, кто неформальный хозяин на земле, зато много расплодилось формальных начальников, и все норовили командовать, а мужик все больше оказывался посторонним в том деле, ради которого он родился и жил.

Вошел в силу институт уполномоченных. Однажды, наслушавшись про уполномоченных, я, грешным делом, подумал: «Вот иголочка, за которую если потянуть — всю нить вытянешь: жизнь председателей, всю до мелочей подотчетную чужому дядьке, жизнь колхозников, получивших нового бурмистра...» Старательно читал я толстые монографии о победе колхозного строя, но даже в ученых трудах не встретил правдивого описания этой полумифической фигуры.

В Заусаеве, например, ни одной посевной или уборочной без уполномоченного не проходило. В обед полагут мужики покемарить у костра, пристроят хомут в голову — уполномоченный, матюгаясь, отбирает хомут: государственное добро, кричит, то есть общественное, колхозное... Не твое, одним словом. И возразить ему — не смей!

В Афанасьеве наезжал некто Бобровников — худой, в длинном пальто, очки кругленькие. Всю посевную ездит по полям в ходке. Возле сеялки остановит коня, заглянет в бункер с зерном, спросит: «Почто долго клин засеваешь?»

Отвечать требовалось подобострастно, обещать исправиться.

На уборочной Бобровников кидался: «Колосья-то чище подбирайте, бабы!»

Тогдашний афанасьевский председатель Гаврилов, слушая эти окрики, скрипел зубами, но ни разу не взорвался.

Бобровников был неглуп и вечером, напившись горячего чая, разомлев (жил всегда у Гавриловых на всем готовом, бесплатно столовался), говорил ему: «Ты, Николай Александрович, добрый человек, а добрым в колхозе быть нельзя. Поэтому дуешься ты на меня зря. Не я, так другой прибудет, похуже, может, Бобровникова... И не по своей воле мы сидим тут. Я бы вот домовничать хотел, а сижу у тебя как бельмо в глазу».

А утром, едва пробрезжит, уполномоченный шумно плескался у рукомойника и снова ехал в поля. То ли ревизор, то ли начальник — разбери пойми. Издалека увидят его женщины и ежатся, жмутся друг к дружке...

Не хотел я брать в свидетели минувшего Ивана Петровича Князькина, из поздне-приезжий он, из Чувашии. Но оказывается, и в Чувашии уполномоченные не давали спуска. Одного, по фамилии Нестеров, хорошо запомнил Князькин. В каждый набег любил Нестеров собрать народ и рассказать про всякие события, следом — через мировую обстановку — перейдет к делам колхозным и тут отыщет классовых врагов, и контру, и волков в овечьей шкуре... Все собрание целенело, и каждый, затаившись, припоминал: «Грабли-то на деяне оставил прошлую весну, быть и мне во врагах!»

После еще устроилосья. Уполномоченные райисполкома сменились уполномоченными райкома партии, партийцы ездили с кобурой и стучали наганом по столу. В 1938 году в Никитаеве бригада завершила плановую сдачу, потребовали из райкома сверх-плановой, бригадир уперся. Явился уполномоченный, достал оружие из кобуры, положил на стол и спросил, поигрывая ногой: «Так кто в Никитаеве соскучился по лагерю?» И бригадир мигом согласился сдать сверх нормы и пшеницу, и рожь, и овес...

Попробуем, однако, отойти от остроугольных вопросов колхозного бытия и взглянуть пошире на 30-е годы, на ту жизнь, которая шла поначалу переменчиво и шатко, но постепенно затвердилась.

Здесь первая моя строка — о Николае Александровиче Гаврилове. Жаль, конечно, что не застал я его в живых, но общий хор афанасьевцев нарисовал образ пусть не апостольский, но настолько удивительный, что я диву даюсь — мог ли он, земной Гаврилов, быть столь добрым и отзывчивым как раз в годы ожесточенных схваток и всемирной злобы.

У Гаврилова кличка была Барма, пошла она от его манеры произносить слово «барма», чтобы дать оценку: нукудышно, мол, худо, из рук вон. Афанасьевцы вообще любили клички давать. Так, у Михаила Петровича Непомнящих второе законное имя Лепешин, у Алексея Ивановича Семенова — женат на приемной дочери Гаврилова — Леха Моргач... Был такой Сизарь, вовсе не голубиноного характера мужик, и Пшеннов был... Фамилии почти забылись, а прозвища — нет.

Гаврилов по приезде в Афанасьеве ходил в солдатской рубашке, очень смущала эта его рубашка односельчан. И молчание Гаврилова — непробивное, застойное — тоже плодило антипатию. Бобровников, в штатском, блестя очочками, наорет — тут все ясно, хотя и дрожат после его крика руки, не проворят работу. А председатель все молчит да молчит. Но скоро зоркие глаза деревенских мужиков приметили иные черты, увидели, как тихо беседует Гаврилов с отъявленными крикунами, будто увещевает. После отъезда уполномоченного Гаврилов, не отменяя его указов, вел дело совсем по-другому: не выслеживал, не ругал, не корил.

Однажды прибыла переселенческая семья, ободранная и голодная. Гаврилов велел женщинам немедленно привести в контору еды. Вернулись афанасьевцы (у кого хлеба горбушка, у кого соленые огурцы) и ничего понять не могут: новенький сидит в гавриловской гимнастерке, а председатель в натальном... Еще было — отдал Гаврилов свои новые сапоги погорельцу и пришел домой босиком.

Явь эта, становясь легендарной, дошла и до Тулуна, там стали смотреть на Гаврилова как на блаженного, скоро отыскали придирку («контроль за народом слабый держит») и освободили. Гаврилов работал полеводом, потом ветфельдшером, но ни на грамм не переменялся: был так же тих и немногословен, от работы не бежал и жене отлынивать не позволял. Еще в пору председательства он велел Аграфене Осиповне не помышлять о послаблении, больше того, сказал: «Супруга деревенского

начальника должна трудиться пуще рядовых». Она, родимая, и пласталась то в поле, то на ферме...

Общественное животноводство в наших селах поднималось туго — ни в Заусаеве, ни в Афанасьеве, ни в Никитееве не было хороших помещений для скота, не догадывались еще колхозники об автопоилках или о конвейерной уборке навоза. Весь труд — ручной, с ведром да навильником.

В 30-х годах на афанасьевской ферме было уже 1000 голов свиней. За каждой свинаркой числилось до 100 голов. Аграфена Осиповна Гаврилова вела, как она про себя сказала, 120 поросят. Морочливая забота: принять малышей, не дать поросли погибнуть, выкормить, выгулять. Портной помнит фасоны своей поры, повар помнит блюда, плотник — рубленные им дома, а Аграфена Осиповна запомнила мельчайшие детали своей работы на свиноферме.

Доставала женщинам и в поле. Мелкая пахота извечно способствовала засоренности полей. Но на своей полосе мужик оберегал пашню, выгоняя всю семью от мала до велика пропалывать хлеба или картошку. В колхозе, когда уничтожили межи и пока не было или не хватало машин, молочай и осот полезли дурняком. Всем колхозом выходили на поле, кулюшку драли, полынь то есть, молочай драли, но на скорую руку, будто для чужих старались. По холодку до солнца сорная трава мягкая, а на солнце делалась тугой да в колючках, корень тянешь — не вытянешь, вот и рвали верхи. А руки все равно в крови, одно спасение — смола. Конюх Митрий гнал из бересты деготь, а заодно и смолу. Деготь применяли не только от мошки, но и от болей в желудке, испытанное народное средство в тулунских местах.

Клавдия Никифоровна Белова так припоминает колхозную работу 30-х годов: «Одне говорят, много умели по своему дому че делать. Кто бы спорил, а я не буду — много, правда, и я умела кой-чего. А в колхозе выучилась еще больше делать. Дома у меня было две коровы, а на ферме стало пятнадцать. Дома у меня такого не случилось, чтобы коровки с голоду мерли, а в колхозе — кожа да кости в зиму-то, где взять еду? Почки березовые сберем — вот и ладно, а то на Фадееве иль Заряеву займку гуртом поедем, с крыш соломы нахватаем; она уже черная, соломото, а тоже еда. Коров было много на ферме, а надаивали мало... Ой, а за телятами ходишь! Оне, бедные, полягут на болоте, а встать не могут от слабости. Обнимешь да наплачешься с имя, оне же ласковые, малые, по-человечески смотрят на тебя...»

Не удержалась, похвасталась пенсией; действительно, по сравнению с другими старухами у нее пенсия большая: 33 рубля 56 копеек. После сорока пяти лет непрерывного крестьянского труда (ни тебе отпусков, ни санаториев в Крыму) начислили ей 12 рублей ежемесячно — для деревни 60-х годов это было событие. А сейчас, считает Белова, кабы ноги держали, жить и подавно можно.

Во второй половине 30-х годов в колхозах учились поощрять за образцовую работу. Пусть с опозданием, но пытались внять голосу разума: не только окриком и штрафом иль угрозой тюрьмы можно заставить человека прилежно трудиться, но, оказывается, и похвалой или маленькой премией. С промтоварами тогда стало благополучно, воспользовались и этим, стали их распределять: положительной доярке выпишут чек на резиновые сапоги, свинарке — отрез простенькой материи на юбку, полеводке шаленка достанется. Глядишь, и гордость взыграет, и настроение подымется.

В Заусаеве, бывало, надоят доярка в год дополнительно 250 литров молока, сдаст государству — квитанцию ей на руки, а по той квитанции можно взять десять метров тюля на окна. Сохранила телятница поголовье телят — получай галоши.

Так и в других деревнях. Аксинья Марковна Непомнящих четыре года подряд брала премировки в Афанасьеве: сначала получила бязь, потом по талону выдали ей мелкий товар в пустом магазине, другой раз достались катанки; а как-то выдали койку с пружинной сеткой (впрочем, это было уже в 50-х годах, до того спали на полатах и на деревянной кровати).

Пелагея Царева ухаживала в колхозе за огородными культурами. Огурцов 5 гектаров, помидоров 2 гектара, капуста — 4, 5 — картофеля. Росли на участке морковь, свекла, лук. Много ухищрений применяла Пелагея Кузьминична на своих 20 гектарах. Впрок с бабами заготовят кучи навоза да в марте месяце кипятком его поливают, чтобы скорее перегорел. Собирали по дворам и на общественном курятнике птичий помет. Под картофель разносили на гектар до 40 кулей помета, добавляли малость калийной соли. И урожай скоро пошла: до 400 центнеров картофеля (иногда

418!), огурцов до 500 центнеров, помидоров до 400 центнеров... Эти результаты перекрыли рекорды Тулунской опытной станции, знаменитой с царских времен не только агрикультурой, но и урожаями.

Капуста у Пелагеи вырастала по полпуда вилоч: «Живот надорвешь — в короб бросать». Техники не было, все вручную. Каждый год премировали Пелагею Кузьминичну двадцатью пятью рублями — крохотная награда, но и она морально поддерживала.

Пелагею-то я и спросил однажды:

— Где лучше работалось в тридцатых годах — на своем поле или на колхозном? Многие старики отвечали на этот вопрос, и редко кто выбирал колхозное поле.

Пелагея Кузьминична сказала:

— Тут враз тебе не ответишь, дай подумать. — Думала долго. Надував же, завязала покрепче косынку. — Я тебе так скажу. Оно и на своей полосе хорошо было и после было бы неплохо, когда б не мешали нам усякие мудрецы... — Помолчала. — У меня приятельница Глаша имелась. У Глашиного отца четыре коровы да четыре коня на дворе — средняк, средняцкое хозяйство, семья большая. Была у них птица, поросята хрюкали, овцы табуном ходили. И ни одного тебе батрака, все своим горбом тянули, с раннего детства Глаша роздыху не знала. Так когда пришли да все до нитки у них отняли — утнали скот и птицу, зачистили в амбаре, а самих в колхоз вписали, — Глашка-то (ей уж, как и мне, за тридцать было) шепчет мне: «Слава тебе, господи, теперь я меньше мантулю в колхозе-то. Почто мы, дурные, так много роби-ли? Ой, дурные, дурные»...

В газетах той поры бесполезно искать свидетельства происходивших драм — только отголоски.

18 октября 1930 года вышел первый номер краевой газеты «За коллективизацию», объявлено было: «крестьянская газета». О чем же писали авторы первого номера? «Выжечь оппортунизм в налоговой работе». «Качугский суд гладит по головке вредителей». «Бьем ставку кулака». «В колхозе «Октябрь» неблагополучно», «Сбор семенных фондов идет более чем скверно»...

Развязный тон надзирателей над деревней с годами не изменился.

«...Районы Тасеевский, Рождественский, Тулунский, несмотря на то, что они резко отстают в выполнении годового плана, за последнюю пятидневку насчитывают заготовки в единицах тонн...»

«Указать прокуратуре и суду (бедные прокуратура и суд! — Б. Ч.) на недостаточные меры, принимаемые ими по привлечению к ответственности злостных недатчиков хлеба...»

«Зерноочистка идет из рук вон плохо...»

«Хлебозаготовки по Харатскому сельсовету Иркутского района идут преступно слабо...»

«Правление Усольского райколхозсоюза предлагает обеспечить себя семенным фондом из урожая тридцать второго года в достаточном количестве с созданием страховых фондов в размере 15%... Получается кулацкий лозунг: „Сначала себе, а потом государству“». Туруцев, председатель райколхозсоюза, за эту линию без обиняков назван в статье «кулацким трибуном».

Замначальника политотдела безымянной МТС т. Тагер оставил бесхитростное свидетельство нежелания крестьян доносить друг на друга.

«Досадно порой, — пишет Тагер, — что колхозники иногда не видят притаившего врага. Черт возьми, думаешь, разве мы одни в состоянии узнать кулаков».

Что и говорить — красноречиво проговаривалась эпоха!

Посмотрим теперь районную газету «Знамя Ленина», выходящую раз в пятидневку. Здесь тональность иная, чуть помягче. Но вот в мае 1934 года газета печатает зубодробительную заметку «Очковитратели из Никитаева». Очковитрателями оказались председатель сельсовета Чаплин и уполномоченный райкома партии Горчаков. Заметка откровенно рисует атмосферу слежки за сельсоветскими работниками: Чаплин, мол, 23 и 24 мая гостил у своей тещи на виноград, а следов Горчакова-де вообще обнаружить не удалось. «А между тем в никитаевском колхозе «Обновленный путь» качество обработки сева в ряде случаев не только низкое, но и вообще никакого нет. Так, сеяльщик Басов Егор 0,40 га засеял... воздухом, гонял сеялку по полям пустой, а семена украл. Сеял он на виду у стана, у бригадира Котова. Понятно, вре-

дитель Басов скрылся, а Чаплин об этом возмутительном факте даже и не знает... В колхозе увели несколько голов скота...»

Не вовремя начала газета объявлять успехи: весной, если судить по ее сообщениям, ходили в передовиках на селе афанасьевцы, евгеньевцы и никитаевцы, а хлеборобы Заусаева были за чертой передовиков. Когда же подошла пора цыплят считать, газета забыла парадный крик и, нимало не смущаясь, сообщила, что Заусаево по зернопоставкам вышло на первое место в районе, а Афанасьевцо оказалось на последнем.

В одном номере «Знамя Ленина» хвалит евгеньевцев: «...привели мощный Красный обоз с хлебом и картофелем в количестве 94 подводы». А уже в следующем печатает постановление (совместное) РК ВКП(б), РИКа и политотдела МТС: объявить выговор председателю Евгеньевского сельсовета т. Хмелеву и Никитаевского т. Перфильеву за срыв хлебосдачи.

Иногда газета роняла любопытные картинки быта, правда, читать их приходится между строк, как бы от обратного. Вот письмо колхозника: «Рассчитал, что хлеба у меня будет излишек до 20 центнеров. Весь излишек хлеба продам государству, а для улучшения своей жизни куплю велосипед, часы карманные, плащ брезентовый, а также жене куплю пальто с меховым воротником, платье хорошее, ботинки. В избу радио, железную хорошую кровать, куплю всю эмалированную посуду...»

Трогательное признание. В наших селах в середине 30-х годов сохранился старый бытовой уклад: спали крестьяне на топчанах, простынь или пододеяльников и в помине не было, подушки набивали соломой или сеном, обходились и без подушек, хотя птица была, молги бы пуховую постель иметь. Накрывались ночью дерюгой, холстом, на полатах жарко спать вповадку. Обедали так: ставили общую чашку посреди столешницы и быстро поедали щи или картошку... Стирали вручную, редко кто научился кипятить белье. Так что радио или железная кровать — явная невидаль в наших Деревнях, предметы прямо-таки роскоши, и газета решила такой завидной перспективой заманить мужиков на дополнительную сдачу хлеба.

1934 год оставил недобрую мету в памяти народной: в этом году был убит Киров, и по стране покатилась волна репрессий. Давайте оставим тяжелый этот период и перейдем в год, последовавший за принятием Конституции СССР. Может быть, в 1937 году прочитаем светлые страницы?

«5 КГ НА ТРУДОДЕНЬ

Кто не работает, тот не ест,— записано в новой сталинской Конституции. В прошлом году в артели имени Кирова получили хлеба по 3,4 кг, а нынче по 5 кг и по 53 копейки. Кто работает хорошо, тот получает больше. Возьмем, к примеру, Дьячкова Ивана Михайловича. Ему исполнилось 75 лет. В колхозе он знатный человек. За год заработал 418 трудоводней, получил 21 центнер хлеба и 221 рубль деньгами.

Примерным конюхом считается Безотчества Даниил Иванович. Несмотря на старость (ему 62 года), он по-хозяйски ухаживает за лошадьми, сохранил весь молодняк, заработал 444 трудоводней.

«СТАРЫЕ ЛЮДИ — ЗНАТНЫЕ КОЛХОЗНИКИ

— Жить стало лучше, жить стало веселее⁹, а когда живется весело, то и работа спорится. Мне вот исполнилось 84 года. Я все лето работал, работаю и теперь. Правда, другой день останусь дома отдохнуть, подумаю, что работы в колхозе много, сердце заболит, собираюсь и опять иду. Весной пахал, летом помогал убирать хлеб, следил за качеством работы в колхозе, выполнял по силе возможности хозяйственные работы. Пока есть силы, надо работать усердно,— заявил дед Анохин.

Куда же подевалась молодежь? Газета называет нескольких женщин, которые «прилежно трудятся». А следом идет рассказ «Мало получишь — вини себя», в нем фигурирует «молодая, здоровая женщина Настасия Татарникова», которая «любит языком поболтать, а на работу никуда...».

Урожай в колхозе имени Кирова, по признанию газеты, остаются невеликими, уступая в полтора раза урожаем на частных полосах. Так, пшеницы взяли вкруговую по 9 центнеров с гектара, ржи — 12, а ячменя (ячмень ранее давал по 20 центнеров) всего 13 центнеров. А год-то был незасушливый, благоприятный. Сбруя, деревянные бороны, сеялки не отремонтированы, «навоза вывезли всего 400 возов, а к сбору золь, птичьего помета не приступили, не проводили снегозадержание».

⁹ Так, дословно повторяя высказывание Сталина, якобы говорит восьмидесятилетнй колхозник.

4 марта 1937 года газета вдруг информирует районных читателей о том, что некий Багин И. Ф., заведующий отделением совхоза «Сибиряк», «уехал в отпуск и в отпуске встречался с друзьями, многие из которых оказались троцкистами». Подумать только, у мужика, впервые вырвавшегося — зимой — ненадолго из деревни, тут же оказались приятели-троцкисты. Даже не заглядывая в «Сибиряк», можно поручиться, что приговор газеты был для Багина смертельным. Понятно, что донос сделан профессиональной рукой и направлен из утробы определенного ведомства.

Летом того же года «Знамя Ленина» сообщает о классово враждебных элементах в колхозах района, в том числе в «Обновленном пути» Никитаевского сельсовета. Газета и дальше ведет эту линию: через двадцать дней сообщает о плохом ремонте уборочной техники и намекает, что дело тут нечисто...

В Никитаеве жил старик по фамилии Емельяненко, приятель Федора Ломакина, советчик по всем пашенным делам: он знал лучшие сроки сева и начала уборочной, мог предсказать погоду на лето еще зимой. Был у Емельяненко допотопный календарик, он вел по нему счет ненастным дням в разные годы. Как бы там ни было, а никитаевские председатели охотно выслушивали советы Петра Никодимыча, и редко когда он ошибался.

В годы первой мировой войны Петр Емельяненко был ранен на полях Галиции и навсегда запомнил фамилию Лупекин: сослуживец Лупекин струсил в бою и предал своих немцам. В 1936 году на выборах в областной Совет Емельяненко узнал, что сын означенного Лупекина баллотируется кандидатом в депутаты. Он, Емельяненко, и взвился: «За предательского последыша голосовать не желаю, такова моя воля».

Мужики посмеялись: нашел-де чем народ удивить — раньше многие не ходили голосовать. В отдельные выборы в наших деревнях, по сводкам РИКа, не являлось к урнам до 20—25 процентов избирателей. Народ, до того не знавший, что такое представительная демократия, равнодушно, не враз принимал очередные выборы. Ну, выборы и выборы. Хочу — пойду, хочу — не пойду.

И в 1936 году Емельяненко позволил себе вольготно отнестись к выборам. Лупекина-то он, вполне возможно, судил судом несправедным: сын не мог отвечать за отца. Но имел ли никитаевский вольнодумец право (конституционное) отказаться от голосования? Конечно. Право избирать — право, а не обязанность. Имел ли право Емельяненко высказывать свои соображения о кандидате? Безусловно, и даже обязан был предупредить односельчан о совершаемой, по его мнению, ошибке. Но к вечеру, к концу голосования, приехал на коне милиционер из Тулуна, арестовал мужика, и исчез правдолюбец навсегда и бесследно. Осталось у него пятеро внуков (сын-то его ранее погиб), внуки пухли от голода и влчили жалкое существование.

В 1937 году в том же Никитаеве взяли сразу восемь человек по обвинению во вредительстве и шпионаже в пользу Японии, а также и в противлении якобы районным властям. Среди них оказался Андрей Сопруненко.

У Андрея Борисовича было пять родных братьев и две сестры, семья слыла дружной. Приехали Сопруненки еще до революции с Украины, работали не покладая рук и жили в достатке, и в колхозе дела у них ладились. Но Андрей был горячим. Работал добросовестно на колхозной ниве, стал пылко требовать, чтобы и другие так же работали. На собраниях вставал и в пух критиковал правленцев и уполномоченных за очевидные промахи. От него решили избавиться и избавились...

Мартовским вечером постучался в окно посланец сельсоветский: «Дойди до конторы, срочное дело». Андрей Борисович телогрейку накинул — снег еще лежал, холодно было, — пришел в сельсовет, а там сняли с него кожаный ремешок. «Арестован, допрыгался», — сказал милиционер.

Час прошел, второй, дома жена Александра Ивановна забеспокоилась, побежала к сельсовету, но дорогу ей преградил вооруженный человек: «Гуляй домой, тетка». Пошла, спотыкаясь, до утра глаз не сомкнула. Утром, в сумерках, собрала узелок, отрезала кусочек от печатки хозяйственного мыла, положила полотенце, а в полотенце спрятала фотокарточку, на фотокарточке той они всей семьей сидели рядышком: сама она с Андреем и дети — Валерка, старшенький, 1925 года рождения, Валька, любимая отцова дочь, 1926 года, девятилетняя Вера и семилетний Кеша. Незадолго снялись в Тулуне — ездили на рынок, и шальная воля привела их к будке фотографа.

Александру Ивановну снова не пустили к мужу, и она, передав узелок, ждала на улице — что же будет? Вскоре заскрипели розвальни, из сельсоветской двери вы-

гнали на мороз восемь мужиков, усадили спиной друг к другу. Возница свистнул, и след кареты простыл. Восемь женщин стояли у прясла и крестили дорогу.

Следствие шло коротко, а суда не было. Вопросы следователи задавали дикие. Были, например, такие: «Выезжая в Тулун, встречался с людьми китайской национальности?» Или: «Зачем держал дома три отточенных топора?»

Эти вопросы повергли Андрея Сопруненко в полное недоумение. Про топоры он ответить мог: у каждого уважающего себя хозяина всегда к зиме для работы в лесу заготовлены отточенные топоры. А китайцы — китайцы торговали невозбранно и в Иркутске и в Тулуне. Случалось, покупал у них земляные орехи и Андрей Борисович, как-то раз выпил ханшину (уж больно хотелось чужой водки попробовать). Все, что говорил на следствии Андрей, жадно записывалось писарем, и Сопруненко подивился всеядности следователей: «Ну че тут писать, про топоры-то иль про ханшин?» И ошибся: клеили ему связь с империалистами Востока и приклеили. Об руку с Андреем ушли Филат Пушмин, Костя Назаров, Николай Татарников, Гриша Назаров — все работающие мужики.

Ушли восемь, вернулся — через восемнадцать лет — один Сопруненко, изможденный, разбитый. Уходил — не знал и вернулся — тоже не знал, почему его взяли, зачем везли в пароходном трюме к бухте Нагаево, гнали по тундре и, пригнав, заставили строить колючий заплот и потом сидеть за проволокой.

Через год пришла на никитаевскую почту странная телеграмма как будто из Хабаровска, в телеграмме два слова: «Жив, здоров». Но и тех слов Александра Ивановича не умела прочесть, безграмотная была. Девки на почте прочитали ей, и она пошла домой, задавливая ком в горле. «Жив и здоров», — повторяла.

— Радуйтесь, дети, — крикнула пресекающимся голосом, войдя в избу, — жив наш тятя...

Дальше длилось молчание. Ушел на фронт и не вернулся старший сын Валерий, выросли младшие дети. Но ни они, ни дети Пушмина иль Назаровых, никто не знал, где сгинули отцы.

Восемнадцать лет спустя Андрей Сопруненко, прижавшись спиной к печи (он теперь все время мерз), рассказал семье, как он навеки простился с Филатом Пушминым: Филат выбыл из сил, и его, обескровленного, бросили на лесной тропе.

Сопруненке повезло. Он выдержал дорогу, не замерз на привалах, когда из палаток выносили оледеневшие за ночь тела товарищей, не погиб в шахте и даже видел вице-президента Соединенных Штатов Америки — тот, говорят, прилетал проверить, могут ли русские золотом оплатить самолеты, поставляемые для борьбы с вторгшимися немецкими ордами. Вице-президент был розовощек и приветлив, заговаривал с рабочими, полагая, очевидно, что это уголовники, подвергаемые трудовому перевоспитанию.

Потом начальник шахты, горный инженер, взял Андрея Борисовича плотником в мастерскую при шахте, в тепло. Плотничать Андрей Борисович умел и любил. Поглядев, присмотревшись к крестьянской основательности мужика, начальник шахты сумел устроить его домработником. Так выжил Андрей Сопруненко на дальнем Севере.

Иван Александрович Судариков в 30-х годах продолжал жить в Куйтунском районе. Кой-какие организаторские способности и грамотешка сделали его активистом, был он на виду. Однажды тесть его, тоже белорус, — вместе ехали в Сибирь — поссорился на гумне с соседом. Мало ли ссорятся соседи, а потом мирятся и живут еще лучше, дружнее прежнего... Но в этот раз закрутилась страшная карусель: сосед по ка зал на тестя. Прибыли из Куйтуна люди, тесть бесследно исчез. Судариков, слышавшийся в округе о таких историях, молчал. Но его призывали в райком:

— Коммунист? Порви связь с врагом народа

— Че ее рвать-то, раз нет тестя на воле?

— Тестя нет — дочь врага есть, твоя жена.

Вышел Иван Александрович на улицу, сел в телегу, стегнул лошадку, а сам все думал, думал. Понял, что ждет его в случае неисполнения указания. Через неделю надумал: подал в суд на развод по политическим мотивам. Прямо так и написал: «Не желаю жить с дочерью врага народа». Суд немедленно, даже не приглашая стороны на заседание, удовлетворил его просьбу. Подросток Яков и девочка Аня оказались без отца. Яков вырос, ушел на фронт и пал смертью храбрых в 1943-м на Курской дуге, а дочь Анна выучилась и по сию пору учителем в том же Куйтунском районе.

Угодил в лагерь Алексей Данилович Медведев. В 1935 году приписали ему вражеское проникновение в колхоз «Сеятель» и отправили под Читу. Сорокалетнего потомственного крестьянина, дважды раненного ветерана первой мировой войны представили к тачке породу возить. Алексей Данилович легкотель, тачка с грузом тянула много больше его самого. Но жилистость и сноровка выручили — скоро он освоился с работой и возил гравий к полотну строящейся железнодорожной ветки, не отставая от товарищей по несчастью. Перед войной Медведеву закли безропотное исполнение каторжных обязанностей, выпустили на волю, и он пошел, уже с сыновьями, вырости-ми без него, снова на фронт...

Был взят и Николай Карпович Царев. После удачного бригадирства (а до того ходил он в звеньевых, с женой Пелагеей соревновался) назначили его председателем в Бодаре; просился на фронт — не пустили, в годах, мол. Ему было уже за пятьдесят. Осенью 1943 года повез он сдавать картошку по госпоставкам. Три короба сдал, а четвертый не взяли: картошка, прямо с поля, залитого дождем, оказалась грязной. Тогда Николай Карпович пообещал привезти остатки нормы завтра, а грязную картошку, чтоб не везти назад, сдал в столовую по квитанции. Назавтра Царева арестовали за нарушение госпоставок картофеля и увезли в Тулун. Больше ни Пелагея Кузьминична, ни дети ее (а было их семеро, восьмым она была беременна — Петр Николаевич родился уже после исчезновения отца) никогда не видели Николая Карповича. Тут уж ей было не до рекордов на деляне...

Михаил Петрович Непомнящих с началом войны ушел на фронт. Трижды раненый, вернулся артиллерист с поля сражения домой. Сторожил колхозное добро, дежурил осеью в полях. Ночи в Сибири, известно, холодные. Михаил Петрович запасет хворосту, воды от Курзанки принесет, подкопает картошки и сварит в мундирах. Небогатый ужин, а не пусто в животе. Раз распалил он костерок, полкотелка (солдатский, с фронта котелок приволок) засыпал картошки, на огонь поднял. И дух уже пошел разварной. Вдруг стук копыт. Шахматов на коне, председатель новый, тоже недавно с фронта явился, уцелел, как и Непомнящих, — ушло-то несколько десятков, а вернулись единицы.

— Где взял картошку?

Михаил Петрович, услышав такой вопрос, поперхнулся, но отвечал правдиво:

— Известное дело, из-под куста взял.

Шахматов, не говоря ни слова, исчез.

Утром Михаила Петровича арестовали прямо в поле, только он закемарил после бессонной ночи. Милиционер не дал и домой зайти, погнал в Тулун. Шел Михаил Петрович под конвоем в Тулун и не верил, что ведут его в тюрьму. Началось следствие. Обещают пять лет отсидки, гоняют на допросы, выпытывают нелепые подробности, а Михаил Петрович все не верит, как во сне, что это с ним происходит. Останется в тюремной камере один и думает: пужают его. И усмехнется: кого на испуг берут?! Наводчиком сорокапятики он многократно отбивал танковые атаки. Раз восемь «фердинандов» распечатал. Идут они, наглые, напрямик на позицию Михаила Непомнящих, покачивают хоботами орудий. Сержант кричит: «Стреляй, паскуда!» А Михаил Петрович подпускает их ближе, потом поджигает последний в колонне танк, чтобы раньше времени панику у немцев не породить. И сразу бьет в головной. Тут-то они начинают метаться на высокой дороге — ни назад, ни вперед... Приходит как-то ночью на батарею ординарец комполка. «Ты Непомнящих?» — «Так точно, я». — «На вот тебе». И в руку сует что-то, торопится, видно. Михаил Петрович разжал кулак — орден на ладони. После получил артиллерист серебряную медаль «За отвагу», потом еще орден, потом еще медали...

Следователь на одном из допросов долго смотрел на стриженую голову арестанта.

— Ты правда танки бил?

— Истинная правда, гражданин следователь, бил, в книжке про то написано. Орденская книжка Михаила Петровича хранилась дома за иконой.

— Какие, — спрашивает следователь, — просьбы есть, солдат?

— Никаких, — отвечал Михаил Петрович. — Только не могу я, гражданин следователь, без работы жить. Руки зудят, работы просят.

Разрешили Непомнящих побелить собственную камеру, что он и исполнил с невиданным усердием. Тогда разрешили ему белить стены в коридоре тюрьмы. Принесли извести негашеной, Михаил Петрович сам развел, аппетитно гоношился.

Через полгода собрался суд. Перед началом судебного заседания в присутствии стражи разрешили Михаилу Петровичу детей приласкать — Наталья Федоровна привезла их на свидание с папкой: двенадцатилетнюю Марию, девятилетнюю Валентину, Витьку-пятилетку и новорожденного Костю. Он всех их в зале суда потискал.

Дали ему последнее слово. Он встал, руки сделал по швам.

— Одно у меня слово, граждане судьи, к Шахматову. Судить меня будут, Шахматов, и посадят. Ты живи спокойно, пока я сидеть буду. А когда вернусь — уж тут, Шахматов, не жить ни тебе, ни мне!.. — И в выпуклые глаза Шахматова напрямик смотрел.

Судьи закричали, остановили речь Михаила Петровича. Удалились на совещание, совещались долго, часа три. Вышли, докладывают:

— Именем Российской республики считать Непомнящих Михаила Петровича виновным и осудить на полгода. Засчитать ему шесть месяцев предварялки и освободить из-под стражи...

С тех пор нет мира между двумя афанасьевскими стариками — Николаем Федоровичем Шахматовым и Михаилом Петровичем Непомнящих. В родительский день рюмку на кладбище выпьют и идут — через могилы — друг на друга. Шахматов-то, будучи председателем, семерых отправил на скамью подсудимых, до сих пор гордится этим: «В строгости надо держать народ! Распустили!..»

В 1956 году вернулся в Афанасьево печник Патрушев. Афанасьевцы обрадовались: наконец-то печи будут отремонтированы, тепло в избах станет. Большинство афанасьевцев вернувшийся из заключения Патрушев интересовал именно как печник. Меня в данном случае интересует другое: следовало ли сажать печника на восемнадцать лет в тюрьму, чтобы в 150 домах прохутились дымоходы? Как случилось, что печника Патрушева, плотника Сопруненко, батрака-артиллериста Непомнящих, полевода Царева, пахаря Медведева пожирала машина, называемая социалистическим государством? По какому такому праву?..

Тонкость инструмента качественно нового насилия мы едва ли сейчас в силах постигнуть. Я уже не раз наталкивался на усмешки серьезных людей, претендующих на интеллигентность, когда рассказывал им, например, о такой странной на первый взгляд мере отчуждения личности, как невзятие в армию. Во все века рекрутировали молодежь, и это было бедой или горем для рекрута и семьи. А тут... Евгеньевского парня Николки Медведева, сына середняка, двоюродный брат (сродный — так говорят в деревне) оказался твердопланщиком за невыполнение очередного плана был осужден по статье 107 Уголовного кодекса РСФСР, и Николка остался нерекрутированным. Заусаевский Сашка Татаринов сам участвовал в раскулачивании и в колхоз записался, но дедушка у Сашки угодил в «кулаки», то есть в твердопланщики, и парня отставили от службы. Афанасьевского Федора Травникова также не взяли в Красную Армию — сын-де кулака, хотя никаким кулаком отец его не был. И Кешу Иванова, бедняка с займки Маврино, отставили от солдатчины — «дядя и брат твердозаданцы, а он имеет связь с ними».

Казалось бы, велика беда — гулять на воле. Ни штрафа, ни ссылки, ни тюрьмы. Но клеймо поставлено, с клеймом жить невозможно, и судьбы этих ребят на долгие годы оказались поломанными.

Чуть раньше страшно было не пойти в колхоз — ждало разорение или гибель в отдаленном краю. В 30-х годах стало опасно быть выкинутым из колхоза, акцентны насилия поменялись местами, и мужик только головой вертел от отчаяния.

Вот бесхитрое письмо, сохранившееся в архиве ¹⁰:

«...Утром дал лошадям овса и зашел домой позавтракать, в это время ко мне приехал мой зять, который служил в лесозаводе, участок Неверовка, на казенной лошади, и ему было отпущено 4 ведра для лошади. В это время явились предколхоза Габец (незнакомая фамилия, никто из егеньевских не помнит такого — стало быть, залетная, недолгая птица.— Б. Ч.) и член правления Романов и предложили мне этот

¹⁰ Стиль письма сохраняю, лишь расставляю знаки препинания, их пишущий не признавал.

овес принести в колхоз, что мной и сделано, и до тех пор овес был не выдан, пока зять не приставил справку из лесозавода. Это на меня сделали под кладку конюх Лысов Павел и Шлапаков Ксенофонтий за то, что я сказал, почему у нас абортировались несколько кобылиц, потому что кобылицы были запущены на гумно и там наелись отходов разных, а конюха были пьяные. Это было 25 декабря, по-старому в праздники Рождества».

Макара Харитоновича Рыбакова, автора этого письма, выбросили из колхоза. Никакого собрания или заседания правления колхоза и в помине не было — так что даже для блезиру, как говорят в народе, не пытались соблюсти демократические нормы. И мужик сразу занедужил, он знал: это погибель.

А в Бодаре Авдотью Григорьевну Пехову на восьмом месяце беременности выгнали из колхоза за... пьянство мужа.

Краснофлотец Я. А. Гайворонский прямо с корабля пишет на землю: «Мою семью выкинули из колхоза за то, что мой брат написал заметку в колхозную стенгазету о пьянстве членов правления».

А вот никитаевский сюжет:

«Кляузами исключен из колхоза. Исключен неправильно, так общее собрание не обсуждало... Прошу Р. И. комитет (райисполком.— Б. Ч.) не утвердить мое исключение, так как пятилетний стаж колхозника должен цениться особым вниманием. Засим изложенное в моем заявлении подтверждают и заверяют колхозники данного колхоза «Обновленный путь» Воробьев Василий, Салабочикова, Москалева Мария, Чесноков Николай, Перфильева Васса, Никитин, Можинев, Зенков, Комышовы Петр и Степан» (всего 74 подписи). Проситель — Иннокентий Назаров, брат Кости Назарова, который вот-вот уйдет по этапу и не вернется.

Есть и вовсе дикие — дальше некуда — репрессалии. У афанасьевской Евдокии Ларионовны Мурашовой отобрали приусадебный участок, осталась баба без овощей на зиму. У сторожихи Никитаевской школы большой Евдокии Терентьевны Мальковой сельсовет отнял две собачьих шкуры, шесть овечьих и одну телячью — все ее богатство...

Атмосферу тех лет, микроклимат в наших колхозах достаточно полно передает протокол собрания артели «Обновленный путь»:

«Говорил председатель правления колхоза т. Середа... Кладовщик Лопатин относится халатно, занимается пьянкой. Просить милицию Татарникова Трофима взять на заметку... Татарникова Николая за присвоение 2 мешков оштрафовать на пять трудовых. Татарникова Петра за присвоение 1 мешка оштрафовать на 5 трудовых. Кичигина Константина Татарникову Аксинью на заметку взять.

Татарникова М. И. взять на заметку.

Распопину Марию за присвоение 2 кулей оштрафовать на 5 трудовых.

Карасева Андрея за присвоение оштрафовать.

Татаринова Ивана Федоровича за 2 тляки оштрафовать...

Выступление тов. Колоколова: возчики тащили муку с мельницы.

Выступление тов. Николаева: поехали молотить с водкой...

П о с т а н о в и л и: ...вызвать на соревнование другие колхозы и колхозников... посещать курсы ликвидации неграмотности, за непосещение налагать штраф...»

Можно и дальше цитировать документы и газетные статьи той поры, множить печальные примеры, однако на этом, пожалуй, кончу. Много было в истории наших деревень, о чем здесь даже упомянуть не пришлось, — разом ее, эту историю, все равно не охватишь...

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ЛАТЫНИНА

★

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН — НЕ МОЛИТВА

К вопросу о литературных полемиках

«ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ТЕРРОР»
И «АПЕЛЛЯЦИЯ
К ГОРОДОВОМУ»

Несмотря на призывы миротворцев свернуть критические баталии, сражения не утихают. Похоже, критика сейчас — тот полигон, на котором идет пристрелка идей, формирование направлений общественной мысли. Сталкиваются не только точки зрения на романы Рыбакова и Дудинцева, на творчество Булгакова, Мандельштама и Пастернака — сталкиваются взгляды на пути развития страны, идейное и культурное наследие, историю, сталкиваются ценности. И от того, как будет развиваться полемика, отчасти зависит и то, каким обществом мы сделаемся.

Долгое время нас призывали к единомыслию.

Но теперь, когда единомыслие перестало считаться непременной добродетелью, казалось бы, множественность точек зрения легко себя обнаружит. Не тут-то было. Обкатывается весьма узкий круг идей.

Я не касаюсь статей, выражающих бюрократическую оппозицию реформам, вроде выступления В. Рослякова «Реванш» в «Литературной России» (28 августа 1987 года), высказываний П. Проскурина, А. Иванова, на разные лады твердящих об опасности, которую несет литература, извлеченная из письменных столов и архивов, священным устоям, кои они столь самоотверженно поддерживали каждой своей строкой. Спорить с ними неинтересно, а опровергать апокалиптические пророчества бессмысленно, тем более что и в самом деле, может, пробил последний час «секретарской литературы» и державший семь звезд в деснице своей уже произнес: «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв».

Идеи эти мертвы.

Есть, однако, идеи живые, способные вступать в диалог. Этого не происходит. Неуважение к свободе мысли — главный, на мой взгляд, недостаток наших споров.

Культура полемики, к которой нас порой призывают, не в ритуальной вежливости или сдержанности (это дело темперамента), а в способности понять точку зрения оппонента и реагировать на сумму высказанных идей, среди которых могут быть и плодотворные, а не на личность или репутацию автора. У нас же куда более распространены другой полемический прием, восходящий к способу борьбы отца Феррапонта, персонажа «Братьев Карамазовых», с нечистой силой: защемить врагу рода человеческого как-нибудь половчее хвост да побыстрее его «закрестить».

Мне не по душе статья В. Бондаренко «Очерки литературных нравов» («Москва», 1987, № 12). Чужд ее доносительский отенок: им веет от замечаний о «сомнительных идеях», с которыми выступали в заграничных «сомнительных» изданиях Евтушенко и Вознесенский, от оценок поведения героя романа Гранина «Зубр» Тимофеева-Ресовского или героя фильма Германа «Проверки на дорогах» едва ли не по методике, в свое время разработанной сотрудниками СМЕРШа.

Чужд охранительский дух: не много ли показываем «изнанку советского семидесятилетия», не переборщить бы с «разрушительной информацией» (кстати, термин совершенно бессмысленный: информация — начало не разрушительное, но упорядочивающее, организующее).

Чужд надрывный пафос, с которым выкрикивается идея «реального социализма», призывы создать в литературе «сильную личность», — сыты мы этими призывами.

Какое-то несварение идей, носящихся в воздухе и без особого разбора проглоченных, угадывается и озадачивает в статье Бон-

даренко. Но этим она и примечательна. Идеи-то в ней уловлены существенные.

Ну, например. Можно ли квалифицировать публикацию ряда антисталинистских вещей как событие скорее общественное, чем литературное? Вполне. Но какой взрыв негодования вызвала в периодике эта достаточно трезвая мысль: Б. Сарнов («Огонек», 1988, № 3), Н. Иванова («Огонек», 1988, № 11), Т. Иванова («Огонек», 1988, № 8), А. Турков («Юность», 1988, № 4).

Т. Иванова, чьи обзоры тоже производят впечатление уловленных и механически отраженных точек зрения — но уже других кругов, противостоящих тем, мнение коих выразил Бондаренко, с негодованием отвергает само предположение, что произведения, «которыми мы зачитывались в минувшем году», далеко не литературные шедевры. Раз общественный успех налицо — стало быть, и художественное событие перед нами. По-другому, мол, в истории не бывает.

Как раз бывает! Роман Чернышевского «Пролог» по своему литературному качеству не ниже романа «Что делать?». Однако один сделался колоссальным общественным событием, другой, написанный в ссылке, известен лишь узкому кругу литературоведов. А теперь представим, что Некрасов, обронивший рукопись «Что делать?», так и не нашел ее, а обнаружилась она спустя лет двадцать — много ль было б шуму при напечатании? Общество жило уже совсем другим: шестидесятники, швейные мастерские, освобождение женщины — все проехало.

Публикация романа Владимира Дудинцева «Белые одежды» — событие, происшедшее вовремя. Событие общественное.

Можно уважать стойкость и мужество писателя, сумевшего не соблазниться легкими путями в литературе, но вместе с тем видеть и томительные длинноты его романа, и сюжетные несообразности, и наивную философию героев. Но попробуйте, подобно Алле Марченко, сказать спокойно о недочетах романа Дудинцева — тут же кто-нибудь, подобно Татьяне Ивановой, запричитает о глухоте критика к боли читателей, «о высокомерном пренебрежении к их радости». Причем А. Марченко говорит от себя, а Т. Иванова выступает от имени читателя и судит именем прогресса. что делает всякую критическую аргументацию как бы излишней.

Общественным, не литературным событием, на мой взгляд, являются и пьесы Михаила Шатрова, будоражившие читателя и зрителя и в хрущевское, и в брежневское,

и в нынешнее время прежде всего расширением пределов дозволенного. Как чуткий барометр, драматург, толкуя историю партии, улавливает предстоящие изменения генеральной линии. Из числа подобных толкований и пьеса «Дальше, дальше, дальше». Троицкий, Каменев, Зиновьев на сцене — это событие сродни политической реабилитации участников известных процессов. Но чтобы пьесе Шатрова остаться в литературе, необходим, по-видимому, более углубленный взгляд на историю.

Можно, конечно, верить, что нам удалось бы избежать кровавых катаклизмов, если б к власти не пришел Сталин. Но последовательность, с которой и в других странах находился свой Сталин, выступал ли он под именем Мао Цзэдуна или Пол Пота, заставляет задуматься: а так ли уж много зависит в истории от грубости вождя, как следует из пьесы М. Шатрова, построенного сюжет ее на том факте, что завещание Ленина «не выполняли». И если что и примиряет с этой агиографической драматургией, так только вопли тех ископаемых догматиков, для которых малейшее новшество в их катехизисе означает пагубный реформизм.

Диктат «общего мнения», который предписывает восхвалять одни явления и порицать другие, может привести лишь к постепенной девальвации идей, свежо и смело звучавших еще каких-нибудь три года назад. «Идея попала на улицу», — говорил Достоевский. Большое испытание для идеи — это положение на виду, ее расхожесть. «Шах, объявленный истине», — по замечанию испанского мыслителя Ортега-и-Гассета. Этот процесс опошления недавно еще оппозиционных идей и уловлен в статье Бондаренко. Если они нам дороги — задумаемся, почему это происходит. Но куда там! Проще иное.

«Итак, против кого эта статья?» — спрашивает Б. Сарнов. Против Бека, Дудинцева, Рыбакова, Шатрова? Враг уличен и «закреплен». Стало быть — против перестройки! Методология, к сожалению, распространенная¹.

¹ Когда эта статья уже сдавалась в набор, вышла статья Б. Сарнова «Какого роста был Маяковский» («Огонек», 1988, № 19). Тут критик допускает, что можно скептически относиться к драматургии Шатрова и «не с охранительных позиций». Однако эта продуктивная мысль не определила методологию статьи в целом.

Разделяя отношение Сарнова к «охранительному пафосу», который он усматривает в выступлениях М. Синельникова, А. Ланшикова, Ф. Кузнецова, я никак не могу, скажем, обнаружить в замечании Аллы Мар-

Мне не чужда позиция, выраженная в статье Н. Ивановой «Чем пахнет тормозная жидкость?». Но есть вещистораживающие.

«Социальная мимикрия,— начинает статью Н. Иванова,— как всегда, рядится в самые передовые одежды. Она, на мой взгляд, гораздо более опасна, чем прямо стоящий на своем консерватизм. Обнаружить подлинное лицо «как-бы-перестройщиков», на самом деле жаждущих притормозить, если не затормозить,— более сложно. И бороться с ними сложнее».

«Социальная мимикрия» — она действительно существует, хотя не берусь судить о том, насколько опасно для реформ «болото», всегда присоединяющееся к победителю. Присоединяются из выгоды. Но и из страха тоже. И сам факт, что кто-то прячет подлинное лицо, говорит о том, что наши восторги по поводу наступившей свободы несколько преждевременны.

Не привязан медведь — не пляшет.

Если «как-бы-перестройщику» лицо свое обнаружить небезопасно, значит, свобода существует для высказывания лишь определенной группы идей. А подобного рода свобода, как показывает опыт нашей истории, может переходить в свою противоположность.

И в статьях, написанных во имя свободы литературы от давящих на нее пут и ограничений, мелькают те нотки, которые напоминают об этой роковой диалектике. Обнаружить подлинное лицо, вскрыть подлинные намерения, разоблачить — это ведь не из лексикона свободы.

В статье В. Бондаренко есть одно занятное место.

«Почему-то «любители прогресса» любят только свое понимание свободы критики,— пишет автор, перечисляя примеры подобного диктата.— В XIX веке подобное явление называлось «либеральным террором», «апелляцией к городовому», когда не давали печататься Н. Лескову, А. Писемскому, жестоко критиковали Достоевского».

ченко по поводу ненатуральности тона статьи Ю. Карякина страх перед тем, что «обидят Жданова и его единомышленников».

Дело не в конкретном «передергивании» мысли А. Марченко, за ним — принцип: кто не с нами, тот против нас. Либо ты в восторге от статьи Ю. Карякина — либо ты за Жданова. Либо ты молишься на Бухарина — либо ты сталинист. А если тебе Сталин отвратителен, но и Бухарин, утверждающий в своем предсмертном письме, что у него «вот уже седьмой год нет и тени разногласия с партией», не кажется достаточно радужной альтернативой Сталину — тогда как?

«Не давали печататься» — фраза, порожденная, конечно, эпохой государственной монополии на информацию. Печататься Лескову никто не мог запретить, даже роман «Некуда» пять раз издавался при его жизни. А вот где — другое дело. В либеральные журналы путь был закрыт — это да.

«Либеральный террор», «либеральная жандармерия» — выражения, осуждавшие моральный остракизм, который применялся в левой прессе по отношению к заподозренным в реакционности писателям. «Либеральная жандармерия,— поясняет Александр Блок,— отличается от консервативной тем, что первая регулируется правом и государством, а вторая — произволом фанатиков и глупцов». Зато «апелляция к городовому» — так именовалась в демократической печати склонность некоторых охранительных изданий вместо аргументов наемкнуту властям на политическую неблагонадежность оппонента.

Исторически нелепое, смешение этих двух понятий сегодня кажется знаменательным. «Либеральная жандармерия» ныне не обходится собственными силами — моральным осуждением, остракизмом, обвинениями в связях с III отделением и т. д. Она сама апеллирует к властям.

«Враг перестройки», «противник перестройки», «антиперестройщик». Да с какими бы намерениями ни клеить ярлыки, неужто забыли, как клеились другие — «враг народа», к примеру? И пока в печати будет существовать образ врага, которому надо поволчее зацемить хвост и закрестить, пока смысл полемических статей будет сводиться к жалобе по начальству, никакого раскрепощения мысли не произойдет.

ЧТО СТОЯЛО В ГОДЫ ЗАСТОЯ?

Вопрос о внутренней свободе и социальных свободах, по-видимому, тот вопрос, который будет возникать в критических дискуссиях и при оценке прошлого и при попытке понять отношение того или иного писателя к текущему моменту.

«Даже в самые сложные периоды нашей истории не перестраивались А. Платонов и М. Булгаков, М. Пришвин и Н. Клюев, Б. Пастернак и Н. Эрдман», — пишет Бондаренко. Совершенно с этим согласна. И совершенно согласна с тем, что немало талантливых людей, вроде Катаева или Эренбурга, лишенных, однако, того твердого нравственного стержня, которым обладали Платонов или Булгаков, меняя взгляды в соответствии с изменившейся ситуацией, выгадав в смысле жизненного благо-

устройства, но нанесли немалый урон своему таланту и своему моральному кредиту у современников и потомков.

Сарнову эти рассуждения Бондаренко не нравятся, потому что он видит в них «подспудное желание, чтобы в искусстве нашем и литературе ничего не менялось».

Не берусь судить о подспудных желаниях. Но несомненно: наше время, принеся общественное признание именно тем писателям, которые остались самими собой вопреки давлению извне, сочло нормой творческого поведения внутреннюю независимость от обстоятельств, а не приспособление к ним. Это должно бы заставить нас с некоторой осторожностью относиться к поспешным заверениям в верности идеям перестройки и, наоборот, предостеречь от торопливого клеймения тех писателей, которые не сделали ложных заявлений. Каждый, кто задумывался над историей русской литературы, не мог не испытать чувства разочарования нашей отечественной демократией, оказавшейся несостоятельной перед оценкой дарования недюжинных писателей, не вменяющихся в дюжинные представления. Гончаров, Достоевский, Толстой, Лесков, Писемский — почему все они не присоединились к мнению прогрессистского лагеря, но шли своим курсом, а иногда и поперек?

Если кто-то сейчас движется поперек — пусть идет он своей дорогой. А там посмотрим.

«Перестройка необходима нашему искусству как воздух. Необходима не потому, что она предлагает подстраиваться к ней, а потому, что она каждому художнику дает возможность внутренне освободиться, стать самим собой», — пишет Сарнов.

То, что критик считает условием «внутренней свободы», на мой взгляд, условие лишь внешней ее реализации. Мысли, которые вчера можно было доверить только дневнику или друзьям, оказывается возможным обнародовать.

«В каменном мешке, а думка вольна», — говорит пословица. Человек может быть внутренне свободен в тюрьме и быть рабом в обществе социальных свобод... «И вперемешку дышим мы то затхлым воздухом свободы, то вольным холодом тюрьмы», — писал Г. Иванов, фиксируя этот парадокс свободы.

Ахматова вспоминает: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свобо-

ден: „И в голосе моем после удушья звучит земля — последнее оружие“».

Это, разумеется, не означает, что писателю социальные свободы как бы и не нужны. Необходимы как условие внешней реализации. А для многих, более слабых духом, — и как условие самореализации. Сколько литературных произведений мы недосчитались потому, что, чувствуя непробиваемую стену цензуры, писатель оставлял важный замысел и принимался за что-нибудь походящее! И, однако ж, у нас не было бы сейчас той литературы, которую мы заново открываем, если б человек был простым продуктом социальной среды.

Вот почему меня смущает версия духовной жизни последнего двадцатилетия, которая дана в статье Ю. Буртина «Вам, из другого поколения» («Октябрь» 1987, № 8), статье знаменательной, по праву снискавшей внимание читателя.

Само объяснение поэмы Твардовского как «произведения наших 60-х годов» выполнено Ю. Буртиным с той убежденностью, которая располагает к автору даже при кое-каких несогласиях с ним. Но я не касаюсь статьи в целом, меня интересует здесь лишь один ее аспект.

В конце 50-х — первой половине 60-х, в хрущевское время, пишет Буртин, «политической оппозиции в стране не было, поскольку для нее не было и почвы: возможность открытого самовыражения практически для каждого течения мысли, способного рассчитывать на сколько-нибудь широкую общественную поддержку, по сути дела, исключала вероятность ее появления».

Каждый человек имеет право на мемуары. Но историк литературы может сверить их с другими источниками. И поскольку у нас не переписывали, как в романе Оруэлла «1984», старые газеты и журналы в соответствии с последними веяниями, достаточно полистать подшивки, чтобы убедиться ну хотя бы в том, что успешная травля Пастернака прошла именно в то светлое время, когда были возможности «открытого самовыражения... для каждого течения мысли». Что же, все принявшие участие в этой кампании открыто самовыражались? И каковы были возможности для самовыражения присутствовавших на известных встречах Хрущева с интеллигенцией? Примеры можно множить.

По-видимому, на право «открытого самовыражения» могли рассчитывать все те, кто прозрел на волне XX съезда, и ровно

настолько, насколько это позволили. То есть те, кто оказался в авангарде партийной линии. Когда партийная линия отклонилась вправо, авангард остался на месте и оказался в оппозиции.

Но существовали и те, для кого колебания этой линии были настолько вне шкалы «самовыражения», что они даже толком не замечали, где авангард, а где арьергард.

Анна Ахматова, которая лишь в начале 60-х решила записать «Реквием» — а до того он жил в ее памяти, записывался на минуту, чтобы перейти в память друзей, и тут же уничтожался, — вряд ли могла рассчитывать на «открытое самовыражение». Этим и объясняется ее небрежение разницей между журналами противоположного направления. Большое счастье для человека так совпало со временем, чтобы идеал, который можно утверждать открыто на страницах любимого журнала, стал твоим идеалом. Достоин уважения, если человек за двадцать лет несколько не переменялся и живет все тем же идеалом. Но вряд ли стоит убеждать всех, что и общество, свершив некий круг, вернулось к той же самой отправной точке и что сегодня, «двадцать лет спустя, в своих надеждах на перестройку мы живем именно этой идеей, никакой другой». (Разрядка моя. — А. Л.)

Это «никакой другой» — замечательно. И тем не менее разница между временем, когда «Новый мир» опубликовал открытое письмо Борису Пастернаку, особенно заострившее внимание на криминальной сцене сочувствия Юрия Живаго раненному им юноше-белогвардейцу, и временем, когда многострадальный роман печатается в «Новом мире» с предисловием академика Лихачева, находящего эту сцену замечательной, все же имеется. Я не о расширении цензурных возможностей — об изменении сознания. Тот факт, что Юрий Живаго выходил раненного им юношу и отпустил (а должен был выдать, согласно классовой морали), воспринималось авторами письма как свидетельство предательства Живаго (что заодно переносилось и на автора).

В наше время, когда слово «гуманизм» лишилось своего оскорбительного эпитета «абстрактный», острая жалость Юрия Живаго к двум русским юношам, красноармейцу и белогвардейцу, оставшимся на поле сражения, выглядит проявлением высокого строя души и широты мысли. Мы поняли то, что давно понял Живаго: жертвы революции надо считать с обеих сто-

рон, братоубийственная война всегда трагична.

В том-то все и дело, что наше время живет не теми, что в 60-е, но уже иными ценностями. И одной из этих ценностей является все крепнущее в обществе убеждение, что если ему дать одну-единственную идею (никакой другой!), то говорить о свободе самовыражения становится как бы излишним. Считать, что крушение социальных иллюзий в конце 60-х привело ко всеобщему духовному и интеллектуальному оскудению, — значит очень узко понимать духовную жизнь общества.

Сегодня высказывается много точек зрения на брежневскую эпоху. Поругивают ее сталинисты: дескать, похуже сталинской — тогда у народа была вера, а после — один цинизм. Похваляют функционеры — дескать, были же и достижения. Я не о достижениях. Эпоха скверная. Вязкое, топкое время. Безвременье. Расцвела насквозь фальшивая секретарская литература, которой, однако, все знали цену. Выросло целое поколение писателей, научившихся, как в известном аттракционе, прыгать в мешках. Но социальный застой не означал духовного застоя.

В брежневское время не было страха, того тотального страха, который описан в романе Б. Ямпольского «Московская улица», страха, сопряженного с чувством виновности, ведущего к параличу воли и параличу мысли, к превращению свободного человека в марионетку, приводимую в действие ниточками очередных кампаний.

Но если нет, как в сталинское время, страха перед мыслью, перед человеческим общением, если есть письменные столы и библиотеки, книги и пишущие машинки — то никакую мысль не пресечешь указанием выше.

В середине 60-х, когда возникла политическая оппозиция (об этом Буртин пишет смело и честно), возникла и неподцензурная литература, оказавшаяся значительно отважнее и свободнее того, что печаталось даже с большим скандалом на прежних новомирских страницах. Когда с оппозицией расправились и часть ее отправилась в эмиграцию, а часть — в лагеря, мыслить люди не перестали. Социальный импульс 60-х дал свои плоды именно в 70-х. Но плоды разнообразные. Произошла известная переориентация сознания. Крушение социальных иллюзий, как это уже бывало в нашей истории, вызвало и потребность проверить те идеи, на которых основывалось мирозерцание общественно активных «шестидесятников». Оживали и все прочнее утверж-

дались некогда затоптанные идеи русских мыслителей конца XIX — начала XX века, предсказавших многие катаклизмы XX столетия. (Не за равнодушие ли к их одиноким голосам заплачено кровью?) Получала все больший вес мысль о значительности «внутренней жизни личности», даже первичности ее в сравнении с «внешними формами общезития». Для многих выход оказался не в социальной активности, а в посильной духовной самореализации.

Ю. Буртин считает, что господствующим типом интеллигента 70-х годов стал человек «равнодушный, легко произносящий любые слова». Во всякий период этот тип едва ли не преобладает. Сейчас он, по-видимому, поет гимны перестройке. Но достаточно характерный тип эпохи — тот интеллигент, который изображен в повести Николая Шмелева «Пашков дом», Александр Яковлевич Горт, ученый, историк, не подстраивающийся к времени, не имеющий особых социальных иллюзий и возлагающий надежды на эволюцию, видя, как «смягчаются лица, смягчаются голоса, крикливое агрессивное уродство исчезает», «и никто уже, во всяком случае вслух, в открытую, не говорит, что бесчестье, предательство, ненависть — это и есть норма и что только им и надлежит жить». Человек внутренне независимый, он ни к кому не примкнет — ни к бюрократам, ни к диссидентам. Идея его — созидательна, и если она сейчас не имеет выхода, если не созрела у общества в ней потребность — значит, он будет думать ее в одиночестве, продолжая просиживать вечера за книгами. «Сколько поколений нужно, чтобы хоть как-то восполнить ущерб от всех этих побоищ последних десятилетий, чтобы восстановить накопленные веками».

Люди такого типа — не политические борцы, но та внутренняя созидательная работа, которую они ведут, в конечном счете оборачивается духовной революцией, не менее значительной по своим последствиям, чем социальные реформы. Энциклопедия «Мифы народов мира», вышедшая в 1980 году, а подготовленная в самые что ни на есть «застойные семидесятые», — явление, более революционизирующее общественное сознание, чем «Дети Арбата».

Но публикация сегодня вещей, стучавшихся в бетонную стену сталинизма, имеет глубокий нравственный смысл: общество признало моральную правоту людей, не сдавшихся обстоятельствам.

Весь комплекс идей, которыми мы сейчас живем (и тех, пора которых еще не

настала), сформировался в «застойные семидесятые» под ленивым давлением требующего лишь внешней лояльности брежневского режима. Разочарование в «единственной идее» проложило путь тому гражданскому плюралистическому сознанию, которое робко намечается теперь.

КТО НАРОД?

Тема «интеллигенция и народ», всколыхнувшая сегодня критику, наверное, могла бы стать предметом плодотворного диалога.

В. Кожин в статье «Правда и истина» («Наш современник», 1988, № 4) задает вопрос:

«Почему нынешних борцов за «правду» волнуют почти исключительно потери 1937—1938 годов, а не гораздо более тяжкие потери предшествующих периодов? Как я постараюсь доказать, это объясняется особым «интеллигентским» (на деле — псевдоинтеллигентским) подходом к проблеме».

Противопоставление правды как нравственной ценности истине, которая требует не мужества поступка, а мужества мысли, содержащееся в статье Кожина, столько же плодотворно, сколь не ново.

Однако брошенный в свое время Н. В. Бердяевым в статье «Философская истина и интеллигентская правда» упрек русскому интеллигентскому сознанию в том, что «любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине», имеет все же скорее исторический характер и не может быть механически перенесен на современную почву.

Та кружковая замкнутость русской интеллигенции, отделенной от народа, подвергавшаяся критике в начале века, исчезновения самой интеллигенции в прежнем смысле слова.

Виновна или не виновна она в равнодушии к истине, в узости сознания, в кастовости, наконец, в том прямолинейном понимании народного блага, которое и создало ее (мнимую и действительную) вину перед народом, — все это вопросы исторические.

Противопоставление правды и истины — не бессмысленно сейчас, поскольку всякая кружковая замкнутость истине враждебна, противопоставление же народа и интеллигенции утратило, думаю, смысл.

В XIX веке, когда сословные грани были отчетливы и общество делилось на образованное меньшинство и необразованное большинство, проблема «интеллигенция и народ»,

возникшая в среде интеллигенции как нравственный посыл, призыв к служению, к отдаче долга народу, была достаточно остра.

Сегодня она оживляется искусственно.

В чем состоят претензии Вадима Кожинова к интеллигентскому сознанию (псевдоинтеллигентскому— уточняет, правда, критик)? В том, что оно оказалось равнодушным к народным бедам, к народному горю, к жертвам коллективизации, к голоду 1933 года и отозвалось лишь на беды «своих» — на репрессии 1937-го.

Очень похожи — растут из того же корня — и претензии Татьяны Глушковой к Мандельштаму, Булгакову и Пастернаку, высказанные в статье «Куда ведет «Ариаднина нить»?» («Литературная газета», 1988, № 12). О ней уже писали — и в спокойных тонах, показывая бесчисленные натяжки и передержки (Е. Сидоров, «В лабиринте пристрастей».— «Литературная газета», 1988, № 12) и в памфлетных (Ст. Рассадин, «Все разрешено?».— «Огонек», 1988, № 13).

Материал для памфлета здесь, конечно, есть, но не думаю, что статью Глушковой породило раздражение «высоким соседством» Мандельштама и Пастернака. Она любопытна иным: перед нами — манифест все более влиятельного течения общественной мысли, которое с долей условности (неизбежной в силу неразвитости нашей политической терминологии) можно назвать национал-радикализмом.

Попробуем ответить на один вопрос, поставленный Глушковой: «Где был народ и где — наполнением и задачами творчества — был поэт?» — вопрос, являющийся для Глушковой пробным камнем народности.

Возможно, в выборе критерия она права. Так где же были во время народных страданий Мандельштам, Булгаков, Пастернак, Ахматова?

Я согласна с тем, что в предпочтительном внимании к жертвам 1937 года и забвении жертв 20-х — начала 30-х проявляется и в самом деле нравственная глухота либо недомыслие (хотя злорадство по поводу жертв конца 30-х: мол, за что боролись, на то и напоролись,— тоже безнравственно).

Впрочем, преимущественное внимание к жертвам 1937 года более характерно для сформированной XX съездом ситуации 60-х.

Съезд поведал о нарушениях социалистической законности, среди которых первое место занимали «необоснованные обвинения» против беззаветных коммунистов, своими руками делавших революцию.

Образ человека, преданного идеям своей молодости, несмотря на опустившийся на него топор репрессий, до сих пор присутствует в литературе — правда, несколько реликтовой в нынешнее время. В стихотворении Михаила Матусовского, решившего наконец отдать дань лагерной теме («Знамя», 1988, № 4), мы находим расхожие атрибуты лагеря: барак, нары, баланду, вышки и на фоне всего этого — Ярослава Смелякова. Так чем же занят поэт в лагере?

Но средь этого быта,
Где так просто пропасть,
Каждой строчкой стоит он
За Советскую власть.

Очевидная фальшь стихотворения уже в том, что лагерь берется со стороны быта, как будто можно назвать бытом лагерное бытие, как будто к этому и сводится суть заключения. Но еще большая фальшь — в прославлении рабского в человеке.

Юрий Живаго говорит своему старому другу в 1929 году: «Мне тяжело было слышать твой рассказ о ссылке, Иннокентий, о том, как ты вырос в ней и как она тебя перевоспитала. Это как если бы лошадь рассказывала, как она сама объезжала себя в манеже».

В эпоху, когда преобладающее большинство с успехом «само себя объездило» в манеже, ни Мандельштам, ни Пастернак, ни Ахматова, ни Булгаков не оказались способными отринуть общечеловеческую мораль. И вопреки отдельным отчаянным попыткам не смогли объездить себя.

Вот типичное стихотворение, принадлежащее поэту, родившемуся в глубине России, в деревне и, по логике Глушковой, более способному выразить народную точку зрения, чем Мандельштам.

Кулак в разгар коллективизации, ночью, режет с вои скот. И что для поэта за всем этим? Трагедия человека, которого насильственно тянут в то светлое будущее, которое ему куда менее мило, чем родные кони? Нет — повод для ненависти:

Он пойдет по дорогам нищим,
будет кланчить на хлеб и квас...
Мы, убийца, тебя разыщем —
не уйдешь далеко от нас.

Я скажу ему — этой жиле:
— Ты чужого убил коня,
ты амбары спалил чужие...
Только он не поймет меня.

Это стихотворение «Убийца» Бориса Корнилова — поэта, несмотря на серию антикулацких стихов, обвиненного в кулацкой пропаганде и в конечном счете так и не вписавшегося в систему. В 1938-м и он был рас-

стрелян. Типичное стихотворение и типичная судьба.

Сегодня в общественном сознании произошли перемены, и оно готово признать, что герой стихотворения спалил все-таки свои амбары, хотя проиграло от этого все общество, что идти по дорогам нищим — нелегкая доля, а уж зловещее обещание «разыскать» сулит герою стихотворения судьбу одного из тех миллионов, которых уложили в котлован здания «светлого будущего».

И если большинство в те годы торопливо восклицает: «Убить, ликвидировать, уничтожить, пустить в расход», — если даже выходцы из крестьянства в общем затмении угрожают крестьянину, то ужас Мандельштама в 1929 году перед тем, с какой легкостью произносятся призывы к убийству («мужик припрятал в амбар рожь — убей его»), ужас перед тем, как брызжет фонтан «черная лошадиная кровь эпохи» («Четвертая проза»), — единственно нравственная оценка времени, в конце концов совпадающая с точкой зрения народной. Как в позиция тех «новокрестьянских» поэтов, кому в это время заткнули рот.

«Славен поэт, если может спокойно вписать себя в серую вереницу «падших», отверженных», — пишет Глушкова, цитируя Есенина:

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку
Поведут с веревкою на шею
Полюбить тоску.

Пронзительные строки. Но к месту вспомнить и о других есенинских словах, прозвучавших в «Четвертой прозе» Мандельштама: «Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псные ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих — он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:

...не расстреливал несчастных по темницам...

Вот символ веры, что подлинный канон настоящего писателя...»

Ни Ахматова, ни Булгаков, ни Пастернак не нарушали этого канона. Равно как и Клюев, и Платонов.

Возможны такие состояния общества, когда в нем торжествует количественно превосходящий тип массового человека, а вожди, играя на инстинктах масс, грубой лезвием толпе и преследованиями мыслящих людей создают иллюзию государства, выполняющего этого простого человека волю. Классический пример тому фашизм. Было бы неверно сказать, что он не «опирался на массы». И все-таки нравственная правота

была на стороне тех, кто противостоял энтузиазму этой толпы.

И в эпоху сталинизма народная правда была не на стороне тех, кто оперировал термином «враг народа».

Если понимать народ как количество, как арифметически превосходящее большинство, то всякое проявление индивидуальности, расходящейся с большинством, можно квалифицировать как позицию антинародную. На самом деле высшие интересы личности никогда не противостоят интересам народа. Они могут противостоять лишь массе. Но ощущение несовпадения на данном этапе истории с точкой зрения большинства может быть для поэта источником внутренних драм.

Содержащееся в статье Глушковой обвинение Пастернака в «обособленности от мирочувствования, психологического состояния миллионов его сограждан» на основании того, что «„последние пять“ лет сугубо счастья (разрядка моя. — А. Л.)», о котором он пишет в письме к двоюродной сестре, приходится на Великую Отечественную войну, основаны на непонимании этой драмы.

Столетье с лишним — не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.

Хотеть, в отличие от хлыща
В его существованьи кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.

Это строки из стихотворения 1931 года. Но желание «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком» не осуществлялось не в силу оторванности Пастернака от народа, а в силу оторванности от народной точки зрения тогдашнего «правопорядка».

В конце романа «Доктор Живаго» Иннокентий Дудоров говорит о чувстве счастья, которое переживает его, несмотря на мученическую смерть невесты, на ранения, на всю «дорогую кровавую цену войны».

Отчего же счастлив герой Пастернака в разгар войны, летом 1943 года? О счастье, испытанном в штрафбате, куда он попал после лагеря добровольцем, рассказывает и друг Дудорова Михаил Гордон. Меж тем штрафбат, где выкашивало всех подряд, был местом более опасным с точки зрения перспектив выживания, чем даже лагерь. И все-таки, утверждает Гордон, «этот кровавый ад был счастием (разрядка моя. — А. Л.) по сравнению с ужасами концлагеря, и вовсе не вследствие тяжести условий, а совсем по чему-то другому».

Почему — это Дудоров понимает не хуже друга, говоря о коллективизации как ложной мере, о средствах устрашения, предвзначенных отучить людей думать и «принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидности», о беспримерной жестокости ежовщины, введении выборов, не основанных на выборном начале, и обнародовании не рассчитанной на применение конституции, и о том, что «война, ее реальные ужасы... были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы».

Война была для Пастернака тем же, чем и для его героев, которые «с чувством истинного счастья (разрядка моя.— А. Л.)» бросились навстречу смертельной опасности. Она давала, наконец, надежду «труда со всеми сообща» и, как говорит герой Пастернака, явилась «очистительной бурей» по отношению «ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобств».

Если для Пастернака война давала надежду на освобождение от колдовской силы мертвой буквы и последующее слияние с народом, то Ахматова ощущала свое единство с народом именно по «ту сторону» самоуверенного владычества этой «буквы». Не только «я была тогда с моим народом», но я сама — часть народа; эта нота настойчиво звучит у Ахматовой:

Ты спроси у моих современниц:
Каторжанок, стопятниц, пленниц,
И тебе порасскажем мы,
Как в беспмятном жили страхе,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы.

Посинелые стиснув губы,
Обезумевшие Генубы
И Кассандры из Чухломы,
Загремим мы безмолвным хором
(Мы, увенчанные позором):
«По ту сторону ада мы»...

«Мы», повторенное три раза подряд в одной строфе, не имеет ничего общего с тем бравадно звучащим в ту пору «мы», когда хор Кассандр из Чухломы безмолвствовал. И уж, конечно, это мы имеет больше права быть признанным голосом народа, чем слова бодрого марша «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

В свое время Ахматовой, Булгакову, Мандельштаму досталось от ревнителей пролетарской культуры, в которую, что верно, то верно, эти имена плохо вписывались. (Кстати, когда Глушкова возмущается Булгаковым, назвавшим в письме к правитель-

ству СССР интеллигенцию «лучшим слоем в нашей стране»: мол, «далеко завести умеет сама постановка вопроса о «лучшем» социальном слое», — она забывает, что не Булгаков этот вопрос ставил. Стоял, и очень настоятельно, вопрос о лучшем классе, который действительно заводил далеко. И нужно было большое личное мужество, чтобы в письме к вождю оспорить один из господствующих догматов.)

Категория народности утвердилась в нашем литературоведении в полемике с вульгарными социологами, когда стало ясно, что «классовую» пролетарскую культуру, исключающую общечеловеческие ценности, создать нельзя.

То понимание народного, которое предлагает Глушкова, снова ведет к изъятию общечеловеческого из ведения народа. И ничего странного, что два, казалось бы, противоположных подхода в итоге совпадают. Солидарность Татьяны Глушковой и Михаила Синельникова («Должны быть все-таки святости...».— «Литературная газета», 1988, № 13), поработавшего в 60—70-х дубинкой классовости и идейной бдительности, их согласие на почве радостного отторжения имен, составляющих гордость русской культуры (и добавлю — русского народа), знаменательно.

Впрочем, теперь Синельников уже ничего не имеет против былых своих идеологических противников, теперь он нам сообщает, что перестройку «выстрадало общество». И Синельников вместе с обществом, Настродался...

СЛЕДСТВИЯ И ПРИЧИНЫ

Движение истории показало, что утопия безнационального бытия не сбывается.

Национальное самосознание само по себе созидательно. Цель его — сохранение и развитие органики национального, народного бытия в противовес разъединительным целям, с постановкой которых и сопряжен лозунг «враг народа». Но понимание этой цели как творческой задачи предполагает национальную самокритику.

Когда Глушкова торопится отказать Булгакову в народности, дескать, не может быть народным писателем, считающий главной задачей своего творчества «изображение страшных черт моего народа», она упускает из виду существеннейший в данном случае эпитет — моего.

Упускает из виду, что изображение этих черт для Булгакова не самоценно, преследует не разрушительные, но именно созидательные цели.

Без национальной самокритики национальное самосознание может перерасти в национальное самодовольство. Этот низший тип национального сознания, способный приобретать разрушительный, деструктивный характер и противостоящий высшему, творческому типу, к сожалению, часто торжествует сегодня.

На место мифа о враге народа приходит миф о враге нации, что может иметь такие же губительные для народа последствия.

Мышление, согласно которому рок-музыка есть специальное орудие «гешефтмазерских» происков и козней, — мышление мифологическое (М. Дунаев, «Роковая музыка». — «Наш современник», 1988, № 1, 2). Того же порядка — имеющая широкое хождение идея о некоем тайном заговоре против русской культуры.

«Уничтожение исторических памятников Москвы... планировалось хладнокровно и расчетливо», — сообщает председатель президиума Московского городского отделения ВООПИК А. С. Трофимов («Наш современник», 1988, № 2).

Верно, планировалось. Но ни «левый бундист» Штеренберг, ни архитектор Гинзбург (на которых возлагает вину А. С. Трофимов), ни даже Каганович не сумели бы организовать массового уничтожения церквей по всей стране, если бы это уничтожение не было освящено идеей разрушения старого мира и не являлось идеологическим последствием революции (не только, впрочем, церкви — летели вверх мечети, костелы, синагоги, дворянские усадьбы, памятники светской архитектуры — все, что казалось хламом истории).

Я разделяю одну из идей статьи Вадима Кожина «Правда и истина», что культ Сталина — это «явление мирового революционного движения», следствие некоей закономерности, подобно тому как закономерностью было завершение французской революции диктатурой Наполеона, а не результат козней самого Сталина и корыстных подручных (хотя не согласна с тем, что в романе Рыбакова торжествует это наивное представление об истории²).

² Точно так же я вполне разделяю кожиновскую критику идеи о специфически русском характере сталинизма, тенденцию объяснять обилие жертв революции и последующий террор особенностями русской истории и русского национального характера, но опять же не вижу, чтоб в романе Рыбакова торжествовала эта тенденция. Вообще методология статьи дедуктивна. Общие идеи, похоже, существуют лишь для того, чтобы нанизать на них сопротивляющиеся примеры. Так возникает бесчислен-

Но почему, высмеивая представление о течении истории как результате чьих-то злых козней, тот же Кожинов ответственность за план реконструкции Москвы возлагает на Кагановича? (Не говоря уж о фактической стороне вопроса: например, что делал Сталин на встрече в Кремле 14 июня 1934 года, когда обсуждался проект группы В. Н. Семенова, под видом реконструкции старой Москвы предусматривавший решительную ее ломку? Не его ли одобрение сделало бесперспективным спор с авторами этого проекта?)

Другое дело, что в действиях Кагановича, в этом огне, поднесенном к бикфордову шнуру, было, конечно, некое садистское наслаждение: в ответ на просьбы гнилых интеллигентов сохранить памятник истории и культуры шарахнуть динамитом по истории, по культуре, по прошлому; за нами теперь — сила, за этим домом, что напротив храма, через Москву-реку, вместе им не ужится.

Серьезные литераторы стыдливо избегают касаться толков о «злых кознях», боясь, видимо, завязнуть в проблеме, слишком мучительной для словесного изъяснения.

Один лишь Валентин Распутин с присущей ему готовностью брать на себя любой тяжкий долг ставит вопрос резко и прямо: «Откуда взялось это убеждение в чьих-то происках? С чужого ли голоса, во сне ли приснилось, или все же дыма без огня не бывает? И если идти по следу, откуда несло дым, то — вот оно: разрушение памятников, продолжающееся до сих пор, отсечение отечественной истории, эрозия традиции и культуры, уничтожение природы; Байкал и проект поворота рек; Волга; разорительные для страны хозяйственные проекты; положение в общем и высшем образовании (готовили кого угодно, но не гражданина и специалиста); уничтожение «неперспективной» деревни; «пьяная» экономика; показуха и очковитительство на всех этажах общества, начиная с детского сада,

ное количество подтасовок — от крупных (впрочем, вряд ли «твердо отстаивающих» подновленный вариант «Краткого курса истории ВКП(б)», как то мнится В. Сарнову) вроде возложения ответственности за голод 1933 года и всю коллективизацию не на Сталина, а на Яковлева (псевдоним Эпштейна) до мелких, откровенно личных — вроде обвинения Лакшина в связи со статьей «Иван Денисович, его друзья и недруги» в высокомерном, специфически интеллигентском и прагматическом подходе к народу, — меж тем как в этой статье взгляд главного героя на лагерь — народный взгляд (а не интеллигента Цезаря Марковича) — принят за этическую норму.

ставшие едва ли не открытой моралью...» («Наш современник», 1988, № 1).

Валентин Распутин склонен считать, что «дело тут не в сознательном и планомерном разрушении народного духа и государственного организма... не в целях, а в причинах». Вот они: «Равнодушие... ведомственное паразитирование на природных богатствах, грандиозные «проекты века»...» Но ведь это не причины — только что они же фигурировали в «следствиях»...

Казалось бы, кто как не защитники русской деревни, так глубоко прочувствовавшие ее конец, должны вызнать, откуда шел генезис под видом коллективизации, и голод, постигший страну, и разрушение памятников (как раз во время коллективизации и взрывали церкви).

Но мы слишком привыкли искать корень зла не в идеях, а в лицах. И даже Валентин Распутин, художественное творчество которого уже успело подсказать нам многие глубокие ответы, недоуменно останавливается, в качестве публициста, перед этим барьером³.

Разрушение церквей и памятников культуры прошлого было естественным следствием веры во всемирно-историческую миссию пролетариата.

Религия обещала небесный рай. Комсомолец 30-х годов верил в скорое наступление всеобщего равенства, братства и счастья на земле. Эти две веры были несовместимы.

Как первые христиане крушили античные храмы и статуи богов, не думая о том, что разрушают великую культуру, но действуя лишь во имя обретенной веры, так одержимые верой в светлое коммунистическое завтра крушили храмы отринутого бога.

Энтузиазм нового мира совпадал с энтузиазмом разрушения старого, и разрушали

церкви люди того же духовного типа, что и те, кто теперь ревностно ищет виновного в разрушениях, — люди, легко дающие увлечь себя мифу, духовно поработить (это, в частности, показано в романе Д. Гранина «Картина»).

Осмысление идеологии, породившей сталинизм, — одна из основных задач сегодняшнего момента, и в этой точке могли бы сблизиться представители разных направлений общественной мысли, стремящиеся преодолеть доставшееся нам тяжелое наследие. Но для этого нужно, чтобы любовь к своей стране и культуре перевесила стремление к захвату идейной монополии. И как минимум надо расстаться с кастовостью наших группировок, рождающей привычку лупить по именам, а не спорить с идеями.

Боюсь, что негодующие возгласы по поводу статьи С. Куняева «Ради жизни на земле» («Молодая гвардия», 1987, № 8) были вызваны в первую очередь личностью автора, от которого заранее знали, чего ждать, а не текстом статьи, в который, судя по характеру протестов, многие не потрудились читать.

«О чем статья? О том, что не «чистокровно русские» истинными патриотами быть не могут. Об этом, об этом, не надо смягчать... Нет, никому не отдадим фронтовую позицию!» — восклицает Т. Иванов («Огонек», 1988, № 16). Вот этот перевод с языка критики на язык окололитературных сплетен и обеспечил Куняеву дружный взрыв негодования.

Означенный оттенок статьи Куняева очевиден. Допускаю даже, что для самого Куняева он был сильным стимулом, хотя эти гадания и некорректны. Однако есть в статье и иное: попытка разобраться в идеологии, питавшей отряд «высокоодаренных» (как замечает Куняев) поэтов, вскормленных на идеях III Интернационала и эти идеи в своем творчестве воплощающих.

В «Огоньке» (1988, № 11) была напечатана статья американского ученого Карла Сагана «Наш общий враг». Таким врагом, способным привести к взаимному уничтожению, он считает обоюдную враждебность и недоверие, основывающиеся на «образе страны». В свою очередь образ этот строится на фактах истории.

В нашей истории одним из моментов, вызывающих наибольшее недоверие американцев, Карл Саган видит концепцию неизбежности мировой революции. «В глазах многих американцев коммунизм означает бедность, отсталость и Гулаг в награду за высказывание своего мнения, жестокое по-

³ Что же касается соображений Валентина Распутина о том, что пресса дружно обрушилась на общество «Память», которому «при всей нашей гласности слово для защиты... не было предоставлено», то нельзя не согласиться с этим. И в самом деле странно: спорим с мнениями, печатно не высказанными, с пересказами, со слухами. Пересказы эти и слухи симпатичны «Памяти» не вызывают, но если мы отстаиваем свободу выражения мнения, свободу высказывания как принцип, то прежде чем полемизировать с кем-либо, надо предоставить ему возможность изложить свои взгляды публично. По-моему, тут азбука демократической печати. С этой точки зрения статьи против «Памяти», с платформой которой не только читатель, но и автор часто не знаком, мало отличаются от давно осмеянных выступлений против «Доктора Живаго»: «Я не читал, но скажу».

давление человеческого духа и жажду покорить весь мир». Проявлением последнего американскому профессору представляется и наш герб. «Даже сейчас на ваших монетах национальный символ украшает собой весь мир».

И пусть академик Арбатов с иронией возразит, что советский герб на монетах «имеет такое же отношение к притязаниям на земной шар, как полумесяц на турецком флаге к притязаниям Турции на Луну», — само возникновение символа связано с концепцией неизбежности мировой революции.

Возможно, кому-то и сейчас близки идеи мирового пожара, «земшарной республики Советов», возможно, кому-то импонирует романтическая надежда Павла Когана:

Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.

Но надо отдавать себе отчет и в том, что в глазах не одного только профессора Сагана подобные призывы служат вещественным доказательством широты наших идеологических притязаний, превращающихся в территориальные, и что с помощью этих строчек такие, как профессор Саган, легко объясняют своему народу, к примеру, наше присутствие в Афганистане и внушают необходимость ответить на «земшарные» притязания «земшарной» же системой противостояния им.

«Земшарная республика Советов» — миф, оплаченный кровью, включая и кровь, пролитую в Афганистане.

А ныне даже Проханов, соловей Генштаба, привыкший к общим планам с высоты военного вертолета и представляющий людей в виде скопления точек на геополитической карте, — и тот, кажется, после гимнов Аресу спустился на окровавленную землю, чтобы разлячить гримасу страдания и смерти, которой платит конкретный человек за общие идеи.

Я понимаю, почему статья Куяева вызвала негодование Л. Лазарева, фронтовика, имеющего глубоко личное отношение к погибшим на войне поэтам — прекрасным, чистым юношам. Но все же в его ответе «А их повысило железом...» («Знамя», 1988, № 2) игнорируется одна из существенных, если не главная сторона этой статьи: критика идеологии поколения. Л. Лазарев видит в статье только одно — недостойное желание опорочить «светлую память» прекрасных юношей.

Меж тем героическая смерть, бескорыстие и нравственное подвижничество носителя идеи могут привлекать сердца к человече-

скому облику, но не являются оправданием самой идеи. Более того — если вдуматься в проблему глубже, в этом и выступает трагизм истории.

Поэты-комсомольцы пошли на войну как в интербригаду. Но война была отечественная. Решался вопрос не о судьбе идей, а о судьбе народа, «великого русского слова» (что замечательно почувствовала Ахматова, в поддержку «земшарной республики» никогда не возвышавшая голос). И погибли эти юноши не за идеи мировой революции, а за Родину.

Так или иначе, а историко нашей литературы нам придется переосмысливать вместе с нашей историей.

Хочется того Глушковой или нет, но Булгаков, Пастернак, Мандельштам и Ахматова займут более высокое место в истории литературы, чем отводилось им до сих пор, ибо в историческом споре выяснилась их нравственная правота, приоритет отстаиваемых ими общечеловеческих ценностей.

Хочется это Л. Лазареву, Т. Ивановой или нет, но комсомольская поэзия 30-х годов будет терять свою идейную привлекательность, сохраняя, разумеется, историко-литературное значение, ибо недостаток в ней общечеловеческого подхода будет обнаруживаться все явственнее.

Переоценка истории русской литературы не имеет ничего общего с той «прополкой» русской культуры, которая время от времени предлагается в современной критике. Осознание идейных основ того или иного явления не изымает его из культуры, но ставит в нужный контекст, помогает осмыслить.

Запретительский же рефлекс (не издавать, изъять и т. п.), которым часто отвечают на то или иное явление, всегда отмечен антикультурным пафосом.

Диалог тех, кто сходится в представлении об историческом пути страны как пути, изобилующем ошибками, кто не видит возможности оправдать гибель от голода миллионов крестьян, разрушение деревни, террор и уничтожение собственной культуры высокими задачами индустриализации (не будь геноцида против народа, она, возможно, и шла бы успешнее), — такой диалог был бы несомненно плодотворен, но для того, чтобы вести его, надо выработать некие общие основания, не говоря уже о свободе мысли, представления о которой у нас, повторяю, утрачены.

Один из показателей этого — то третируемое слов «либерал», «либеральный», «либерализм», которое характерно для нашей печати.

Происходя от слова «свобода», либерализм покоится на признании свободы и достоинства человека и его неотъемлемых прав.

По некоей терминологической традиции, согласно которой интеллигенция — гнилая, гуманизм — абстрактный, милосердие — ложное, жалость — унижительна, досталось нам и понимание либерализма как чего-то гнилого и беспринципного.

Слово «либерализм» подверглось лингвистической коррозии вслед за тем, как политической компрометации — справа и слева — подверглась идея либерализма в XIX веке.

Исторически в нашей стране либерализм проиграл. Идею социальной справедливости народ предпочел идее личной свободы. Либерализм вообще часто проигрывает в истории, поскольку не переходит в веру, в моноидею, способную увлечь массы.

Но сейчас, когда время показало ущербность идеи социальной справедливости, социального равенства, не дополненных идеями личной свободы, когда мы вырабатываем понятие о свободе совести, о правах человека, идеи либерализма плодотворны.

Это идеи реформаторские. Но ведь страна и встала на путь реформ. Сторонников радикальной оппозиции реформам практически нет, идеи насильственных перемен изжиты. И, может быть, пора изменить привычному презрению к либерализму и перестать третировать его как половинчатую и компромиссную идею?

Время устало от окончательных идей.

Время напоминает о трижды осмеянной радикалами теории малых дел — именно малые дела сегодня и способны постепенно преобразовать общество.

В Махабхарате Кришна учит: «Итак, не плодов ты желай, а деянья...» Долгое время мы желали только плодов, звали «грязи века», еще несколько усилий — и наши дети, наши звуки будут жить при...

Понимание жизни не как жертвы будущему, а как посильного деянья, как творческой задачи сегодня более продуктивно. Оно вызывает к личной ответственности.

В сфере культуры — к созиданию, к «собиранию камней». В сфере идей — к диалогу.

Насадить либерализм всего труднее — он не может быть внедрен силой. А противников у него много.

Он ненавистен охранителям, стоящим на страже «идейной чистоты» и личных привилегий. Доверия к ценностям свободы очень мало и у представителей национал-радикализма, несмотря на то, что критика ими ряда замшелых догматов объективно работает на расширение пределов свободы.

Казалось бы, те, кто поднимался против ретроградов под флагом демократизации, кто распатал здание сталинизма, кто хотел видеть общество открытым, должны ценить идею либерализма. Но здесь, как я пыталась показать, совсем невелик кредит свободы мысли. Тут властвует теория, что врагов всего передового надо подавить, заставить замолчать, иначе победит бюрократическая оппозиция или национал-радикализм (и в самом деле способный привести страну к катастрофе). Сначала победим, а потом допустим свободу мысли. А не будет поздно?

А. Стреляный прекрасно, на мой взгляд, сформулировал это, передав свои ощущения в связи с, казалось бы, радостным событием — осуждением статьи Н. Андреевой «Не могу поступаться принципами», этого манифеста сталинизма:

«Больше всего я боюсь, что консерваторы будут вынуждены замолчать... Затыкая им рты, мы не просто уподобимся им, нет — мы можем незаметно для самих себя стать ими» («Московские новости», 1988, № 18). Совершенно точно.

Требование свободы для себя предполагает признание свободы для другого. Требование личных прав предполагает наличие некоторых обязанностей, запрещающих ограничивать права других. И если мы не осознаем свободу мысли как главную ценность (закрепив право на нее законами), мы не станем открытым обществом.

Пока мы лишь в начале этого пути. Мы бурно радуемся гласности, мы пробуем свои голоса, срываясь в крик и не слыша других. Но...

Колокольный звон — не молитва, говорит пословица, а крик — не беседа. Дойдет ли до молитвы?

КСЕНИЯ МЯЛО



ОБОРВАННАЯ НИТЬ

Крестьянская культура и культурная революция

Случилось так, что моя экспедиционная работа, связанная с изучением традиционной культуры русского крестьянства, в минувшем году проходила на фоне целого ряда журнальных публикаций — и художественных, и исторических, и просто эссеистики, посвященных судьбе крестьянства на переломе 20—30-х годов. И потому работа шла как бы во внутреннем диалоге с этими выступлениями, и не только с ними, но и с возбужденным ими общественным умонастроением. Полевые исследования, непосредственный контакт с остатками того мира, о котором мы вспомнили так запоздало, дали мне возможность взглянуть на события со стороны, и донныне остающейся в тени: со стороны пережитого крестьянством в эти годы душевного и культурного — внутреннего — потрясения. Да что там потрясения — подлинного геологического обвала, отзвуки которого и сегодня осязуты на самых разных уровнях нашего бытия.

...Конечно, Андрея Платонова каждый читает по-своему, и при желании сцену раскулачивания в «Котловане» можно, наверно, толковать и как чуть ли не торжество по поводу удаления из деревни «наиболее зажиточной и приспособленной к свободному рыночному хозяйству, наиболее буржуазной части населения».

При этом нам придется сделать усилие, чтобы забыть о выдуваемом все человеческое тепло снежным ветре, который пронесется по страницам романа, о небе, «которое было так пустынно, что допускало вечную свободу, и так жутко, что для свободы нужна была дружба». Иными словами, о том, что перед нами скорее космическая драма крушения целого мира, нежели очерк нравов, и что закруженные этим жутким пронизывающим ветром, пля-

шущие в этой бескрайней пустоте люди бесчувственно, как марионетки, валяются от одного только прикосновения пальца Жачева. Какое уж тут торжество! Скорее экзотическая пляска, которую антропологи с такой устрашающей закономерностью обнаруживают в пораженных коллективным стрессом человеческих сообществах.

Странно, но до сих пор почему-то никто не отметил, до какой степени процессы, характерные для массовой психологии 20—30-х годов в нашей стране, типологически близки к тем, что обычно сопутствуют резким разрушениям традиционных культур. Существует даже специальное понятие «кризисных культов», ибо, как правило, за таким разрушением следует массовая реакция невротического характера, нередко разрешающаяся созданием компенсаторной псевдорелигиозной системы ценностей и выдвижением харизматического лидера-мессии, культового центра в пораженном кризисом сообществе.

А потому, когда, например, И. Клямкин и А. Бутенко социально-психологической опорой сталинизма объявляют патриархальное крестьянство, то здесь причина и следствие очевидным образом меняются местами. Не в патриархальном крестьянстве тут дело, а в резком разрушении культуры и всех жизненных основ этого крестьянства. Столь резко, что — обратимся опять к Андрею Платонову — тот, кто еще вчера жил в вечности неизменного времени, видя «на конце равнины лишь слияние неба с землею, а над собою имел достаточный свет солнца и звезд», сегодня, сорванный вихрем со своих корней, не может удовлетвориться меньшим, нежели «резюльция о прекращении вечности времени, об искуплении томительности жизни».

Эта новая вера и мечта — единственное, что способно утвердиться на выжженной до голого камня земле его прежнего бытия. Впрочем, раньше, нежели искать причины какого-либо явления, следует, видимо, признать его существование. Между тем даже сейчас, когда наконец раскрыта страница эпохи «великого перелома», внимание публицистики больше приковано к демографическим и экономическим аспектам. Что же до культурной и психологической драмы крестьянства этих лет, то на нее, пожалуй, пока указал лишь один Б. Можяев, напомнивший о «ритуально-торжественном дикарском восторге» печати, сопровождавшем сожжение на костре «вековечной русской общины». Иной раз кажется, что и само понятие «крестьянская культура» всё еще не обрело законного гражданства и должно доказывать свое право на существование. А коль скоро — что тоже нередко бывает — речь заходит о некой неизменной от Ивана Грозного и до наших дней сущности народа, побуждающей его поклоняться тиранам, нам остается трактовать происшедшее в годы «великого перелома» как случай загадочного коллективного самоубийства (хотя и опосредованного травлей в печати и вмешательством мощного репрессивного аппарата) — нечто подобное тому, что случается время от времени в популяциях китов или леммингов. Дескать, загадка природы, но отнюдь не проблема для историка или социолога.

Нередко можно услышать и призывы не вздыхать о крестьянской «стране Муравии», которой, дескать, и не было никогда. Конечно же, не было, была самобытная и разнообразная крестьянская культура, как всякая культура, имеющая право быть независимо от того, нравится она нам или нет, мстящая — подобно тому, что являет нам экология, — бесчисленными последствиями с долгим резонансом за грубое вторжение в нее. Так пристало ли нам сейчас, когда кончается время для собирания тех обломков, из которых еще можно попытаться воссоздать хоть сколько-нибудь достоверный ее портрет, слагать новый миф, где жертва оказывается даже не соучастником, а единственным виновником преступления?

Два года подряд мне довелось постраивать в Приуралье, в окрестностях реки Сепыч, а потом и севернее, в Чердынском районе, местах некогда глухих и таинственных, вроде тех «лесов Керженских

и Чернораменских», одно упоминание которых у Мельникова-Печерского так волнует воображение. Мне нравится здешняя природа: угористая, как тут говорят, — еще не горы, но уже не равнина, местность сумрачная, «билибинские ельники», не по-речному синий Сепыч, начавший уже заболочиваться, но все еще как будто полный той живой бегучей водой, о которой совсем забывают реки средней полосы.

Но больше всего нравятся староверские деревни с необычными названиями: Якимята, Андронята, Никишата, — что указывает на древнюю патронимическую традицию, то есть обычай связывать название поселения с именем того, кто его основал.

«Пермская губерния, — писал в начале века русский этнограф и путешественник Н. Овчуков, — обязана расколом знаменитому протопопу Аввакуму и попу из армян Иосифу Истомину, которые прошли через Пермскую губернию "хулы изрыгаша и чадения сиречь угару прежде в России, затем в Сибирской земле наисполниша"...».

Однако более достоверным считается, что старообрядчество было занесено сюда стрельцами, после 1698 года «бежавшими в страну пермскую». В «Обзрении пермского раскола», изданном в середине прошлого века, есть рассказ крестьянина Коротаяева, вспоминавшего в 1795 году, что во времена его детства на реке Сепыч существовали многочисленные расселения бежавших из Москвы староверов, живших скитами человек по сто и обучавших местное крестьянское население грамоте. Как вспоминал тот же Коротаяев, около 1726 года скиты были разорены карательной экспедицией капитана Пальчикова, после чего семена раскола были разнесены по всей губернии.

Семена эти дали богатые всходы, и несмотря на все потрясения, пережитые деревней в годы коллективизации, войны и административных укрупнений 60 — 70-х годов, местные крестьяне — вернее крестьянки, так как мужское население этого возраста здесь, как и в других местах России, по сути дела, выбито, — донесли до сего дня книжное собрание уникальной, по мнению специалистов, ценности и сохранности. Хотя на иных его экземплярах, неоднократно закапывавшихся в землю и тайно передававшихся из рук в руки, и лежит грозовой отсвет, позволяющий им занять не последнее место в поэме Н. Клюева «Погорельщина».

Сорок дней и ночей сарацины
 Столп рубили, пылили на выгоне,
 Краски, киноварь с Вогородицы
 Прахом веяли у околицы.

Думаю, эти строки обозначают не «прошлое, и притом далекое», как пишет Н. И. Толстой, автор комментария к ключевской «Погорельщине», а помещенные Ключевым в мифическое время современные и грядущие события. Здесь Ключев строго следовал старообрядческой литературной традиции, осмысляя явления текущие через соотнесение их с наиболее значительным и древним прецедентом. А тот разгром, которому на переломе 20—30-х годов подверглась патриархальная культура русского крестьянства, позволял по своему драматизму и размаху сравнения самые масштабные.

Культурные катастрофы такой силы известны в истории, и, как правило, все они происходили при столкновении не совместимых друг с другом цивилизаций; несовместимых либо этнически, либо религиозно, либо по своему основополагающему коду, а нередко — при совокупном воздействии всех этих трех и еще ряда более конкретных частных причин. Таковы Конкиста (завоевание Южной Америки), истребление альбигойцев в Провансе в XIII веке, избиение гугенотов, истребление североамериканских индейцев.

Несколько смягченные варианты подобных же столкновений в избылии являет история колониальных захватов с характерным для них последующим оценением, стрессовым изнеможением подчиненной культуры, что не только не исключает экзотические срывы и мессианские культы, но нередко прямо провоцирует их.

Яркий пример такого изнеможения являла духовная жизнь Руси в первое столетие татаро-монгольского ига, черты его в избылии обнаруживает современная социальная антропология у индейцев Южной Америки. Но даже на таком впечатляющем фоне катастрофа, пережитая традиционной крестьянской культурой в годы коллективизации, за которой последовало разрушение в 60—70-е годы самой деревни, сохраняет свою масштабность и значение проблемы с еще не найденными для ее решения ключами.

В. Данилов в статье «У колхозного начала» («Советская Россия», 11 октября 1987 года) резко полемизирует с теми, кто утверждает, будто «провозглашенные лозунги ликвидации кулачества как класса привели, по существу, к упразднению

класса крестьянства». Разумеется, в такой безусловной форме с этим утверждением действительно трудно согласиться: поскольку сохранялся достаточно многочисленный класс людей, работавших на земле и даже еще продолжавших жить в деревнях, постольку сохранялось, конечно, и крестьянство, хотя и с сильно изменившимся социально-экономическим статусом.

Однако, как и многие другие авторы, Данилов рассматривает только хозяйственный аспект вопроса, обходя проблему чудовищного психологического давления на крестьянскую традицию — давления, приведшего к теперь вполне очевидным и во многом уже необратимым деформациям всей деревенской жизни.

Ибо основной целью культурной революции — о чем и говорили вполне откровенно ее идеологи — было все-таки не внедрение в деревенский быт современной гигиены и всеобщей грамотности, да и почему, собственно, для того, чтобы открыть в деревне школу или научить ребят чистить зубы, нужно было ломать весь ее исторически сложившийся уклад? Опыт многих стран показал, что для приобщения крестьянства к современной цивилизации не обязательно истреблять его собственную культуру. Притом в самом этом уравнивании цивилизованного быта и культуры в собственном смысле слова было нечто от колониального цивилизаторства, что-то от Г. М. Стэнли, не способного понять, что культура африканцев, сильно отличающаяся от североамериканской цивилизации, — это тем не менее культура со своим языком, со своими смыслами и ценностями.

В сущности, подобным «цивилизаторством» и отзывалась в целом идеология культурной революции в деревне, представлявшая собой характерную смесь высокомерия, навязной, но агрессивной веры в преобразовательные возможности науки и техники, искреннего стремления поскорее преодолеть «идиотизм деревенской жизни» и почти всегда полного незнания этой деревенской жизни, тем паче деревенской культуры.

Конечно, нелепо было бы отрицать, что деревенский быт зачастую бывал и грязен, и страшен, и ужасающе беден, но разве не был таким же и быт пролетариата в XIX веке — предмет ужаса и отвращения нескольких поколений философов и писателей? Стоит перечитать «Жерминаль» Золя, чтобы составить себе достаточно полное представление об этом.

Однако отвратительные скотоподобные черты пролетарского быта отнюдь не стали в свое время для зарождающейся социалистической мысли обоснованием дегуманизации образа рабочего, между тем как объектом антикулацкой пропаганды 20—30-х годов стал именно русский крестьянин. Очевидно, неприглядный быт последнего являлся всего лишь поводом, но не причиной объявленной ему войны. Тем более что по логике раскулачивания чем чище и наряднее жил крестьянин, тем больше шансов оказывалось у него угодить под яростно метущую метлу. Ситуацию эту довольно зло изобразил П. Романов в рассказе «Кулаки», где ожидание прибывающих на раскулачивание волостных уполномоченных вызывает панику: «Мать честная, пойтить похуже что надеть. Спасибо, хоть по будням ездят. А то в праздник бабы разрядятся, ну, беда с ними чистая».

О нет, дело не в злой воле одного человека, ссылки на которую так часто извещают нас в последнее время от выяснения более глубоких и общих причин недавних исторических трагедий. Резко и торжествующе в эпоху «великого перелома» заявил о себе некий принцип социального переустройства, и любой анализ судеб русского крестьянства в эту пору останется неполным, если забыть о том заряде ненависти, который уже в начале 20-х годов был обрушен на традиционное деревенский уклад жизни — хозяйство, чувства, мышление, быт.

Кажется, что даже сам вид этих бород, лаптей, поясков и крестов — видимых знаков «темноты» и «бескультурия» — вызывал вспышки отвращения, острые и неконтролируемые, как это бывает при резко выраженной психологической несовместимости.

Когда же гром освежающий хрустнет,
Взвихривая сонь и лень,
И над дремотною Русью
Вспугнет стада деревень?
Когда железною плетью —
Рельсами расхлестнет пастух,
Над златосоломной повестью
Загорланит медный петух?
Довольно капала в святцы
С глазниц и лучин вода,
В сердце избы вонзается
Электрические провода! —

это написано М. Герасимовым в 1920 году, когда уже назрел конфликт не столько литературный — между пролетарскими и крестьянскими поэтами, — сколько мировоззренческий и социальный, предвестие грядущих катастроф.

Ибо 1920 год — это и год есенинского «Сорокоуста», заупокойного чтения по русской деревне, полного трагических предчувствий:

Идет, идет он, страшный вестник,
Пятю громоздкой чащи ломит.
И все сильней тоскуют песни
Под лягушинный писк в соломе.
О, электрический восход.
Ремней и труб глухая хватка.
Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка!

Неужели деревня и впрямь выпала из революции уже обреченной? Во всяком случае, почти несовместимой с тем преобразовательным нетерпением, с которым левая оппозиция, Пролеткульт и РАПП активно утверждали свои притязания на роль ведущих идеологических центров социалистического строительства... Нигилистическая установка по отношению ко всей вообще дореволюционной русской культуре играла при этом немаловажную роль, более того — одну из важнейших... Троцкий, например, писал, что «Россия приговорена своей природой на долгую отсталость», что до революции ее культура «являлась лишь поверхностной имитацией высших западных моделей и ничего не внесла в сокровищницу человечества».

Так что в романе Можяева «Мужики и бабы» его любимый, видимо, герой Дмитрий Успенский с немалыми основаниями утверждает: «Все, что связано с народом, с его укладом жизни, с верой, с религией, — все это чуждо для наших леваков... Для них русский исторический опыт — всего лишь изгаженная почва, которую-де надо расчистить. Отсюда и идет эта историческая нетерпимость, отсутствие трезвости, стремление сотворить социальное чудо. Где уж тут считаться с малыми детьми или со стариками?»

Нет, не в один день и не единичным решением был вызван к жизни «год великого перелома», а предуготовлялся энергичной идеологической работой предшествующих лет. Работой, сосредоточенной на противопоставлении крестьянской традиции и идеального образа нового общества, которое еще только надлежит создать и созданию которого может помешать именно крестьянская «дремучесть».

Уже в годы расцвета нэпа заметно ощущался, а крестьянскими поэтами и выражался определенный разрыв между социально-экономическим статусом крестьянина, наконец-то получившего землю и хозяйственную самостоятельность, и его все более настойчиво подчеркиваемой леваками культурной и идеологической

ОБОРВАННАЯ НИТЬ

«второсортностью», чуждостью системе принесенных революцией новых идеалов. Так что ключевским старообрядцам не мудрено было чувствовать себя «экспонатами из губздрава» в атмосфере такой более чем странной борьбы за народное счастье. Логикой этой борьбы традиционный крестьянский уклад как бы заведомо предуготовлялся к закланию на алтаре индустриализации. И надо ясно отдавать себе отчет в том, до какой степени подобное третирирование деревенской «темноты» повлияло на общественное сознание, в особенности сознание рабфаковской, пролетарской молодежи, принимавшей весьма активное участие в акциях по ликвидации кулачества как класса.

Однако третирировала крестьянский уклад не только левая интеллигенция. Сейчас, листая газетные подшивки тех лет, поражаешься тому, что, собственно, никто из оставшихся после смерти Ленина у руководства страной не любил деревню как таковую, нередко видя в ней всего лишь оплот и олицетворение ненавистной «старой России».

В нашей прессе уже мелькали ссылки на «Злые заметки» Н. И. Бухарина, опубликованные в начале 1927 года в «Правде», где впервые прозвучало слово «есенинщина» в уничижительном смысле — как воспевание затхлой российской старины, то есть «темноты, мордобоя, пьянства и хулиганства», «ладанок» и «иконок», «свечечек» и «лампадок».

«По этой линии, — утверждал Бухарин, — идет воспевание «русского начала» в новой поэзии. А на самых высотах идеологии расцветает возврат к Тютчеву и другим. Еще бы!

Умом Россию не объять,
Аршином общим не измерить.

...«Есенинщина» — это самое вредное, заслуживающее самого настоящего бичевания явление нашего литературного дня... По есенинщине нужно дать хороший залп».

Одновременно была опубликована статья Н. И. Бухарина «Ленинизм и строительный период пролетарской революции», где совершенно определенно крестьянству отводилась роль не самостоятельного субъекта этого строительства и равноправного партнера пролетариата, а объекта, материала, подлежащего обработке по отнюдь не крестьянством выработанному проекту: «Сама диктатура пролетариата в действии есть особая форма классово-борьбы, вытеснения городской и сельской буржу-

азии, руководства крестьянством и переделки этого последнего. Она может временами обостряться...»

Именно о переделке деревни говорил четыре года спустя и А. С. Бубнов, выступая в феврале 1931 года на I Всероссийском съезде по всеобучу. Конкретизировано было и понятие агентов культурной работы пролетариата над деревней: «Надо добиться того, чтобы заводы, машинно-тракторные станции, совхозы вели за собой по пути культуры всю деревню, перестраивающуюся ныне на социалистических основаниях».

О том, чтобы применить к деревне ленинский принцип развития лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры в 1929—1931 годах, в партийном руководстве не было и речи. Пожалуй, в годы, предшествовавшие коллективизации, только неонародники, особенно Чайнов, продолжали исследовать возможность включения традиционного крестьянского хозяйства — такого, каким оно сложилось исторически, а не «переделанного», — в социалистическое строительство. Однако натиск гипертрофированных, унаследованных от радикалов XIX века идей техницизма в сочетании с объективными требованиями ускоренной индустриализации не позволил осуществиться этому альтернативному варианту развития — единственному, на мой взгляд, который в те годы давал возможность избежать слома традиционной крестьянской культуры. А стало быть, и глубокого, вызванного этим сломом социально-психологического и культурного стресса с далеко идущими последствиями.

В 1929 году на страницах печати началась уже самая настоящая атака, направленная против крестьянства. Так что слова А. И. Рыкова на сессии ЦИК СССР (декабрь) о «дрожании отдельных слоев и прослоек деревни» звучали весьма двусмысленно, особенно если учесть, что здесь оратор говорил и об изменении «основ деревенской жизни, производства и быта».

Настойчиво звучали с газетных полос призывы: «Колокола — на индустриализацию!», «Вместо церквей — культурные учреждения!» (как мы уже видели, в качестве таких активную роль призваны были сыграть МТС, как правило, размещаемые в закрытых церквях).

Н. И. Бухарин, выступая в июне 1929 года на съезде безбожников, заявил: «Борьба с религией является одним из важнейших моментов культурной революции... Она актуальна... Антирелигиоз-

ный фронт кричаще ясно виден как фронт классовой борьбы».

Легко представить себе, с какими настроениями ехали в деревню формируемые в атмосфере взвинченной ненависти ко всему ее традиционному укладу отряды рабочих и студенческой молодежи. И вся-то подготовка их на краткосрочных курсах длилась 15—20 дней, а еще 2—3 дня (!) по прибытии на место отводилось на знакомство со спецификой конкретных условий. «Правда» писала, выделяя эти слова курсивом: «Выдвижение и вербовка рабочих в колхозы будет носить характер массовой политической активности».

И вот этим-то скороспелым бригадам полуобразованной и воинственно настроенной молодежи вменялось в задачу проведение в деревне культурной революции. Что же удивляться тому, какой простор произволу субъективных оценок открывался при этом: под прицелом коллективизаторов легко мог оказаться, да зачастую и оказывался, любой крестьянин, чья внешность и поведение имели выраженные черты традиционности («Что-то ты на кулака похож» — с этих слов, как рассказывал мне в Приуралье старик старообрядец, начались его мытарства).

«Раздавим ударом фабричной пяты», — призывал А. Безыменский, чья речь о колхозном строительстве на VI съезде Советов СССР в марте 1931 года с беспрецедентной даже по тем временам откровенностью обозначила главную мишень коллективизационного удара.

«Одним из любимейших занятий дворянских писателей в промежутки между поездками в Париж, Петербург или родовое имение, — сообщал он, — было воспевание того персонажа, который известен в литературе под именем „русский мужик“». «„Расеюшка-Русь“ — вот знамя их высокохудожественного лицемерия... «Многотерпеливые» страдания крестьянина над одинокой полоской земли, заботность крестьянской России, «хлебающей лаптями щи», индивидуалистическое одиночество крестьянской избы, сопровождаемое «мирскими» драками и разгулом, — все это служило им предметом поэтического умиления».

В настоящее время традицию воспевания всего того отвратительного, что создавало нищету и заботность крестьянина, продолжают кулацкие поэты типа Клюева и Клычкова... поэты, которых я не могу иначе назвать, как стихотворными мертвецами.

Мы, пролетарские писатели, сыны пар-

тии, мы, пролетарские писатели, сыны класса, ведущего за собой миллионы крестьянства, мы объявляем жесточайшую войну кулацким идеологам „Расеюшки-Руси“».

Увы, стенограмма фиксирует здесь аплодисменты, но это еще не конец.

«Товарищи, — продолжал оратор, — кулацкая «Расеюшка-Русь» не скоро сдастся. Это она на Балахнинской бумажной фабрике положила лом в конвейер, благодаря чему сломались ножи дроворубки. Это она держится за полоску и «ледеет» васьилки на полях, — этих, как я уже сказал однажды, сорняковых фашистов земли. Это она против коллективизации и всеобща. Это ей — упорная ненависть и жесточайшая война!»

Демьян Бедный, игравший в те годы еще более видную роль, отказался даже и от маскирующего слова «кулак» — открыто, в разгар событий 1929 года он заявил, что вообще-то мужику в нынешнем его виде «цена — грош».

Почему? А потому, что производительность труда его, мужика, не удовлетворяет высоким требованиям Д. Бедного, о чем и сообщалось небрежно:

Я не певец мужицкого труда,
Не стану ему делать рекламу,
Пора с него снять амальгаму,
Фальшивую позолоту,
Махнуть рукой на такую работу!
Не работа — беда...

Крестьянин как особый исторический и даже национально-исторический (поскольку речь шла в данном случае именно о «русском мужике») тип отторгался здесь решительно и радикально, и всякий вход в будущий социалистический рай для него — такого, каким он вышел из горнила истории, — был наглухо закрыт.

В «Прощании с Матёрой» Валентина Распутина внук Андрей объясняет Дарью, никак не могущей примириться с затоплением Матёры: «Электричество, бабушка, требуется, электричество... Наша Матёра на электричество пойдет, тоже пользу людям будет приносить».

— А то она, христовенькая, на вред тут стояла, — тихо и в себя, без желания к спору, который давно решен без них, ответила Дарья».

Итак, чтобы было электричество, Матёра должна умереть, но ведь не сама же Матёра выносила такую мысль! Напротив, иступленно убирая свою обреченную избу, Дарья словно бросает вызов этому неизвестно кем и неизвестно где принятому

решению, утверждает самоценную красоту и смысл отвергнутого крестьянского космоса, которому нет места в будущем, с морями, нарядными пароходами и веселыми туристами. Пароходы эти — эхо далеких лет, когда был нанесен первый сокрушительный удар по самым основаниям «материнской» жизни; их образ лейтмотивом проходит по страницам книги «Канал имени Сталина», коллективного произведения группы советских писателей во главе с М. Горьким, совершивших плавание по только что открытому Беломорканалу и посвятивших свой труд приближающемуся XVII съезду партии.

Без этого уникального в своем роде произведения трудно представить себе облик технократической утопии тех лет. Утопии, действительно заживавшей сердца и возбуждавшей энтузиазм, и одновременно сыгравшей огромную роль в идеологии фронтального наступления на деревню. Едва ли не каждая глава «Канала имени Сталина» содержит противопоставление вздыбленной индустриальными стройками страны и низколобых, стриженных в скобку кулаков-вредителей, с тоской оглядывающихся на железные балки взорванного храма Христа Спасителя, поющих псалмы, а не то готовых по-дурацки разрыдаться при случайной встрече со своим сведенным на коллективный двор волом («Мужик и вол»).

Взволнованный этой встречей, несуразный мужик слезно просит отпустить его с мехбазы на скотный двор, но наконец соглашается остаться при условии, что будет к своему волу в гости ходить по выходным дням.

«Так кончался на Беломорстрое деревянный век и наступал век металлический», — патетически комментировали авторы, и кто бы тогда мог подумать, что спустя 30—40 лет страна будет отчаянно нуждаться именно в этом мужике с его «деревянной психологией», увы, отошедшем в историю. И хотя повсюду в книге звучит слово «кулак», но поведение, которое описывается как «типично кулацкое», и даже внешние черты такого типа — это, по сути дела, черты и поведение традиционного крестьянина, «глины смоленской», как без особых церемоний называют его авторы, и это еще не самое уничтожительное из тех определений, которые можно встретить на страницах «Канала имени Сталина»¹.

Думается, не будет преувеличением сказать, что налицо приметы открытой дегуманизации предполагаемого «врага» и что в качестве такового здесь выступала не только крестьянская традиция, но даже сама природа, вообще все нерукотворное, как противостоящее рукотворному. Характерный образ такого противостояния создал еще в 1922 году Н. Асеев в стихотворении «О нем», где два этих начала персонифицировались соловьем и сталелитейным заводом. Следуя примеру принцессы из знаменитой андерсеновской сказки, поэты индустриализации отвергали живого соловья!

В «Канале имени Сталина» универсальный «враг» — слишком живая, слишком органическая жизнь — предстает в образе двуедином. В социальном плане — это «наплывающая из дымной пропасти истории всклокоченная борода, та, которую с бешенством стригли Петровы ножницы». Необработанный, «дикий» крестьянин, на лагерьной лестнице помещаемый куда ниже бытовиков-уголовников, подлежит такой же радикальной перестройке, что и дикая природа, которую следует пересоздать.

Текст нашпигован изречениями типа: «Взрывали не только скалы — взрывали старый мир», «Здесь прошел канал — создана новая природа».

Биологическая ипостась того же «врага» представлена в развернутом программном заявлении. «Человечество давно уже умеет комбинировать породы животных и растений и выводить новые биологические расы.

Мы занимаемся селекцией геологических периодов. Выбираем то, что нам нужно, и создаем такую комбинацию геологических величин, какая никогда не существовала в природе... Как говорят в лагере, „выучили природу“». И вот там-то, за горизонтами «выученной природы» и «переделанного мужика», возникает дивное видение: «Синий-пресиний канал, тысячи топоров мелькают, гремят песни, поет отовсюду музыка — такое, что и понять невозможно. И весело один за другим идут корабли и плещут парусами: розовыми, белыми, желтыми и голубыми». А повсюду по берегам — «электростанции, заводы, фермы», и дремучей Матёре с ее курами, корытами, банями и прялками, конечно же, нет места в этом лакированном, праздничном мире, почти до стерильности очищенном от всех следов слишком плотного крестьянского быта, от его «темноты» и «бескультурья».

¹ О стереотипах такого мышления в «Новом мире» уже писал В. Белов (1988, № 6).

Олицетворением этой темноты авторы «Канала имени Сталина», как мы уже видели, сделали раскольничью бороду; увлеченные своим презрением ко всему «старому» и «земляному», они как-то не задумались над тем достаточно хорошо известным уже и в начале века фактом, что именно раскол, старообрядчество в России начиная с XVII века было едва ли не основной формой сопротивления крестьянской общины натиску абсолютизма. По сути дела, оно было народным движением в том же смысле, в каком были им плебейские «ереси» Западной Европы, представляло религиозно-демократическую струю в русской истории. Даже историческая миграция крестьянской старообрядческой общины, ее постоянное стремление к отходу на границу или за пределы абсолютистской ойкумены ярко о том свидетельствовали, и нужно совсем не считаться с фактами реальной истории, чтобы просто ставить знак равенства между традиционной крестьянской идеологией и авторитарными режимами власти.

Первым опытом такого альтернативного и основанного на принципах самоуправления социального устройства старообрядцев стала знаменитая Выгореция, или Выговская пустынь, zaloженная в 1694 году на берегу реки Выг.

Просуществовавшее почти полтора столетия Выговское общежитие стало не просто крупнейшим центром северного раскола, но и подлинной лабораторией по выработке самых разнообразных форм не только самосохранения, но и активного социального действия традиционной крестьянской — да и не только крестьянской — культуры в условиях утвердившегося абсолютизма.

В «Канале имени Сталина», однако, этому своеобразному явлению уделено всего несколько небрежных строк: «Здесь жили раскольники. Жили. Помирали. Покойников хоронили в песке на бутре. Песок привозили издалека, за много верст. В Выг-острове песка не было.

Шли века. Рос песчаный кладбищенский бутор. А потом вместо монахов пришли сюда каэры из Москвы, Ленинграда, Ростова, воры из Одессы и Киева, баи и муллы из Ашхабада и Актюбинска, кулаки с приднепровских степей.

Здесь, в узких берегах, два шлюза и любопытнейшее сооружение: Выгостровская плотина. Она должна поднимать воду на шесть метров».

Вот и все слова прощального напутствия, которые авторы нашли для «уходящей под воду истории».

А между тем Выгореция была замечательна не только своим оригинальным социальным устройством, не только тем, что играла роль подлинной мужицкой академии, крестьянского университета, заслуги которого в обеспечении высокого уровня грамотности в старообрядческой среде переоценить просто невозможно. Она, помимо всего прочего, и вовсе не была оплотом чего-то «дымного» и «всклоченного», ожесточенно сопротивляющегося любой попытке «причесать» его, то есть не была заслоном на пути модернизации и цивилизации. Отнюдь. Как справедливо напомнил автор изданной недавно в Петрозаводске книги «Выгореция» Михаил Бацер, братья Денисовы были хорошо знакомы с Петром I, А. Д. Меншиковым. П. И. Ягужинским, другими государственными деятелями новой России. «Знаменитая «Осударева дорога», — напоминает Бацер, — пролегла в непосредственной близости от поселений на Выге. Выгореция сыграла большую роль в становлении Петровских заводов. Общинники разведывали руду, ходили на Грумант, в Америку, поддерживая тесные связи с уральскими промышленниками Демидовыми».

Добавлю к этому: пройдя пешком и проехав на попутках несколько сот километров по дорогам Пермской области, переговорив с десятками еще помнящих традиционный уклад людей, я обнаружила, что и здесь, где традиция держалась необычайно крепко и в формах иной раз прямо-таки архаических, крестьянское хозяйство и крестьянский быт вовсе не были враждебно непроницаемы для техники и усовершенствований жизни. Как правило, крестьянин-старообрядец стремился быть экономически самостоятельным, крепким хозяином, потому не только не сопротивлялся повышающим эффективность хозяйствования новинкам, но живо интересовался ими, охотно внедрял их. Насыщенность деревни жейками, селяками, веляками уже перед революцией была здесь весьма велика, и это же можно сказать о бытовой технике того времени — швейных машинах, керосиновых лампах и тому подобном. Традиционное крестьянство отнюдь не было препятствием на пути модернизации и индустриализации, заключая в себе предпосылки для их более органических вариантов. Но любая принимаемая новация не должна была разрушать мировоззренческое ядро, сердцевину отвоєванной в жестоких столкновениях XVII—XVIII веков собственной культуры. Сутью этого мировоззрения была принципиальная космоцентричность, стрем-

ление любой новый порядок вещей и любое техническое нововведение приводить в соответствие с моделью идеального равновесия вселенной. Нам нужно было дожить до эпохи глобальных нарушений экологического равновесия и озоновой бреша, дабы понять, что интуиция наших предков, подсказывавшая им идею такого равновесия, была безупречна.

И вот этот космоцентризм действительно вступал в роковое противоречие с примитивным техноцентризмом преобразователей природы: здесь мы должны говорить о порожденной этой несовместимостью катастрофе. Она усугублялась тем, что образ среднетипичного мужика и среднетипичной деревни внедрялся людьми, имевшими, как правило, о том и о другом самое нелепое и книжное представление.

Чего стоит, например, разоблачаемая Бельменским «индивидуалистическая изба» — образ, бессмысленный для любого, кто хотя бы раз попытался взглянуть на деревню как на самостоятельное историческое и культурное явление, а не как на идеологическую мишень. Изба в деревне почти повсеместно существовала непременно и только как часть целого, каковым в плане социальном оставалась община — мир. Организм с функциями гораздо более сложными и многообразными, нежели организация «мордобоя» среди «рюсских мужиков», выходивших для этого из своих «индивидуалистических изб».

В плане же экологическом этим целым был мир как мироздание, с которым патриархальная община (как и всякое другое архаическое сообщество) строила очень тонкие и выверенные по строгой системе координат отношения. Уже само жилище, крестьянская изба — в миниатюре — образ упорядоченной вселенной, то есть космоса.

В Приуралье, например, где сохранились элементы очень глубокой архаики, уже расположение лавок в избе не было случайным, а подчинялось одной из важнейших для архаической модели мира структур — структуре «левое — правое», в частности слева в избе размещалась женская лавка, справа — мужская. Сидя за вечерней работой, все члены семьи занимали свои и только свои лавки, в соответствующем порядке становились в полукруг на молитву и даже покойного или покойную выносили соответственно с мужской или женской скамьи.

Община и космос, как две стороны одного и того же великого целого, к которому от рождения и до смерти принадлежал человек, здесь, в старообрядческой общине

Верхнекамья, видимо, сливались в ряде глубоко поэтических обрядов.

О, сельские виды! О, дивное счастье
родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих
небес! —

эти строки Н. Рубцова припомнились мне, когда я слышала о веющем уже какой-то былинной древностью, но хорошо известном здесь обычае брать в крестные ребенка мать—сыру землю. То есть крестимого, как на руки крестной матери, клали на землю, а в остальном весь обряд совершался в строгом соответствии с принятым уставом.

Раньше это делалось в тех случаях, когда ребенок рождался очень слабым, мог тотчас умереть и на поиски крестных родителей не было времени, сейчас там, где крещение еще происходит, обращение к матери—сырой земле мотивируется также сугубо практически: невозможностью найти крестных в нынешних опустевших деревнях с разложившейся традицией. Ясно, однако, что, каковы бы ни были внешние мотивы такого действия, самая мысль о нем могла возникнуть только внутри ориентированной на все мироздание системы представлений.

Предвижу вопрос: мог ли столь древний, пусть даже и глубоко поэтический уклад вмонтироваться в современную динамичную экономику, в комплекс порождаемых ею психологических и бытовых привычек? Думаю, мог, и не только вмонтироваться как пассивный, страдательный объект чьих-то действий, но и встроиться как равноправный партнер, внести свой вклад в грандиозное дело налаживания отношений современной техники с природой, космосом и историей.

В том-то и дело, что на крутых поворотах своего развития старообрядческая община выработала удивительную способность гибкого существования в двух временах: в священном, неизменном времени фундаментального ядра традиции и основанных на ней обрядов и в текущем, эмпирическом времени, отношения с которым отнюдь не была проблемой, о чем свидетельствовала не в последнюю очередь и хозяйственная умелость старообрядцев, а также их пространственная подвижность и способность сосуществовать с самыми различными национальными и культурными сообществами. Наконец, известно, что отрицательные, цепающие свойства традиции резко выступают на первый план как раз тогда, когда на нее начинают оказывать экстремальное давление, и она, в целях самозащиты, акцентирует прежде всего свои внешние признаки, а не более глубоко скрытые творческие

принципы, развиваемые в условиях относительно спокойного существования.

И совокупность этих подлинно мировоззренческих и творческих принципов в данном случае я бы определила как изощренную диалектику космоса, социума и единичной личности, когда, входя в общину (мир), человек через весь объем ее представлений одновременно как бы входил в «правильный» миропорядок. А только через связь с этим порядком он и мог обрести то, что согласно универсальной христианской идее здесь выступало также как высшее благо — спасение души.

Да, член патриархальной общины не существовал вне основополагающих для нее ценностей, но внутри этих ценностей его роль предстала даже царственной, ибо каждый член такой общины своим поведением был ответствен не более и не менее, чем за весь космический строй. Кроме того, хотя он и не существовал без общины, община тоже не существовала без него как хранителя и передатчика традиции. Традиция эта по самой сути своей опиралась на личность, а не на абстрактный институт, с чем и был связан высокий авторитет книжной грамотности и вообще способности к духовной жизни в среде старообрядцев. Память о личностях такого типа держалась иногда на протяжении нескольких поколений, их слава нередко выходила за пределы их собственной округи, а такой авторитет, в свою очередь, позволял им выступать не просто в роли передатчиков традиции, но ее истолкователей, по сути дела — сотворцов, налагающих на нее нередко весьма заметный отпечаток.

Прекрасное представление о мощи неразъемного ядра «личность — община — космос» дает, мне кажется, еще один обряд из Верхнекамья. Символика его также очень архаична и связана с тем рядом значений, которым в мифопоэтической традиции наделялась пряха или символически замещающая ее нить. Она — олицетворение долгой жизни, она — связь каждого из членов общины с социальным целым и она же — обряд связи земли и неба.

Все эти уровни и прочитываются в принятом здесь обычае на краткий срок (восемь дней) надевать на новокрещеного гайтан и пояс-оберэг из чистой домотканной льняной ткани. Нить эта, которая не должна была иметь никакого бытового назначения и изготовлялась при строгом соблюдении ритуальной чистоты, провожала человека и в могилу; на покойного перед погребением снова надевался тот же убор, что и при крещении. И наконец она же, иначе называемая

«светильной», использовалась как фитиль в зажигаемых во время богослужения свечах.

Несомненно, член такой общины со столь резко выраженным чувством космоса (неба) и развитой иерархией ценностей находился в гораздо более тонких отношениях с «общим-всеобщим», нежели те, что рисует в своей статье И. Клямкин, всего лишь снисходительно допускающий существование «деревенского космоса», не простирающегося далее околицы. Право, как-то даже неловко читать это в конце XX века, когда этнография и антропология, казалось бы, донесли до общественного сознания представления о философской ценности так называемых примитивных культур. Разве что, пойдя по стопам Безыменского, заранее заключить, что к «русскому мужику» вообще не имеет отношения какое бы то ни было понятие культуры.

Неясно также, на основании каких, собственно, наблюдений складывается этот среднетипичный образ крепкого хозяйственного крестьянина, голова которого занята исключительно кормами и счетом денег. Не далеко же он ушел от своего собрата — «жулака», каким рисовала его пропаганда 20—30-х годов!

Вообще этот вполне буржуазный homo oeconomicus, которого часть наших публицистов сейчас изображает как характерного представителя зажиточного крестьянства, вряд ли существовал в действительности. Конечно, в огромной России были районы более и менее товарного земледелия, исходя из чего Чаинов выделял примерно шесть типов земледелия. Однако тот же Чаинов писал: «Огромная область народного хозяйства в виде сельскохозяйственного производства построена в большей своей части не на капиталистических началах, а на началах трудового семейного хозяйства, которому свойственны иные мотивы хозяйственной деятельности и даже иное понимание выгоды».

Если же вернуться в Верхнекамье, район действительно патриархальной крестьянской традиции (я напомним, нас пытаются уверить, что она-то, эта традиция, и лежит в основе всех бед), то уж здесь крепкий крестьянин отнюдь не был человеком, не видящим ничего далее коровьего бока и готовым любому пьянице-Игнашке порекомендовать ведение общинных дел.

Чаще всего он бывал хорошо образован в своей традиции, и ум его, отточенный чтением Писания, а нередко и богословской полемики, способен был выходить куда дальше околицы, хотя отнюдь не чурался и дел внутри ее. Одно соединялось с другим,

и нередко наставником, духовным пастырем своим беспоповская община выбирала именно этого крепкого и грамотного хозяина. («Говорили-дак: свое хозяйство сумел вести — то и общину поведет...»)

«Культура» в собственном смысле слова как земледелие и «культура» как духовная деятельность занятых земледелием людей сливались здесь неразделимо. В годы раскулачивания и культурной революции именно это двуединство производственной и культурной деятельности приводило к тому, что общину удавалось обезглавить разом и как хозяйственное и как культурное целое, убрав в одну ночь грамотных наставников. Память об этом до сих пор кровотоцит, сгинувших тогда, особо почитаемых людей вам и сегодня, более полувека спустя, назовут, и гибель их — предмет по большей части глубокого сокрушения, что и понятно: истребление их было одновременно уничтожением целого мироощущения, с которым человек традиционной культуры связывал, в сущности, все свои упования.

Этому мироощущению с его космизмом и принципом не рвущего с прошлым, обращивающегося на прецедент развития, не было места в новом мире, весну которого авторы «Канала имени Сталина» живописали так:

«Сегодня она начинается — взрывами тракторного шума на полях колхозов, взрывами льда на Днепровской плотине... взрывами атома в лаборатории комсомольцев, взрывами скал на Беломорстрое».

Здесь взрыв, святые и геологических, и исторических пород, резко, непримиримо противостоят принципу роста, приращения, и, как уже говорилось, в несовместимости двух начал кроются многие истоки не только пережитой деревней в годы «великого перелома» трагедии, но и по-своему не менее драматичного ее разрушения в 60—70-е годы под натиском бессмысленных взрывных преобразований.

Невероятно, но выстоявшая даже в тисках коллективизационных перегибов и потом — после страшного демографического удара, нанесенного войной, — деревня окончательно нарушилась, как говорят на Севере, именно в эти, сравнительно благополучные годы: вспомним абрамовский «Дом».

Не так давно писатель В. Ситников, выступая по радио, сообщил, что по Кировской области число деревень сократилось с 35 тысяч перед войной до 5 тысяч в настоящее время. За этими цифрами, по сути, не просто количественное сокращение, но за-

дичание земли и разложение культуры в масштабах, позволяющих говорить о настоящих энтропийных процессах на обширнейших территориях страны.

В Пермской области пустуют и зарастают мелколесьем тысячи гектаров некогда плодородных и возделанных пашен, в том числе и тех, что с великим трудом и слезами раскорчевывались из-под леса в годы войны. Разбиты мощной техникой дороги, по которым еще в войну возили зерно, исчезают школы, больницы, почта. Все это еще может возродиться, коль скоро восстановится сама деревня. Но — странное дело — еще и сегодня мы продолжаем говорить о деревне, перспективах ее восстановления исключительно или почти исключительно с точки зрения экономики, не задумываясь над тем, возможно ли восстановить ее там, где тотальному разрушению подверглась сама культурная основа, вокруг которой формировалась деревня как социальная и хозяйственная единица.

Это разрушение нашло видимое выражение даже в пространстве. Прежняя топография крестьянского расселения, внешне хаотическая, а внутренне осмысленная, отражала и историю крестьянской культуры в каждой конкретной местности и ее внутреннее предпочтения, отражала, иными словами, весь комплекс социокультурных представлений общины. Это особенно заметно в районах традиционно старообрядческих, так как здесь всякая новая деревня непременно должна была самоопределиваться в соотношении с весьма сложной системой различных толков, сфер влияния духовных наставников, а иногда даже и певческих школ.

А потому вид одичавшей земли, опустевших, разрушающихся или уже разрушенных деревень гнетет не только очевидным напоминанием о пережитых деревней катастрофах, об экономической бессмысленности осуществленных над ней манипуляций; такое свивание исторического и культурного пространства — как будто скатывают разостланное по земле полотнище или в клубок сматывают пряжу — заставляет вспомнить о том особом смысле движения в обратную сторону, которое, как и повсюду в архаических культурах, отчетливо соотносилось со смертью, с окончанием бытия. (Даже онучи, одевая покойного, заворачивали здесь внутрь, а не вовне, не как живым.)

Не тот ли смысл и в строках «кулацкого поэта» Сергея Клычкова, написанных в 1923 году и, подобно есенинскому «Сорокоусту», отмеченных тягостным переживанием рокового для деревни поединка с аг-

рессивно наступающим на нее техницизмом?

У окон столб, с него на провод
Струится яблочкин огонь...
И кажется: к столбу за повод
Изда привязана, как кони
Солома-грива... жерди-сбруя...
Все тот же мерин... тот же воз...
Вот только в сторону другую
У коновязи след колес...

И уже из наших дней дорисовывает этот образ поэт и художник В. Н. Герасимов: «Провода тянут свой свет в избы, где уже больше никто не живет, туда, где не нужен этот свет».

Мне кажется, что организовавшееся во круг определенной культурной идеи «крестьянское пространство» сейчас в его прежнем виде невозстановимо и искусственная гальванизация внешних форм, а не духа традиции, как это ни странно, только усугубляет впечатление омертвелости прежней деревенской жизни.

Но вот что может иметь решающее значение как фактор возрождения — это новая культурная идея, сформированная, однако, не по принципу взрыва, необдуманного сбрасывания целых пластов, природных и исторических, а с пониманием того, что любое развитие и строительство может быть успешным лишь тогда, когда оно опирается на прочный фундамент, будь то геология или историческая психология.

В. О. Ключевский писал о нашей роковой склонности начинать жизнь сначала: «В России развилась особая привычка к новым эрам в своей жизни, наклонность начинать новую жизнь с восходом солнца, забывая, что вчерашний день не потонул под неизбежной тенью. Это предрассудок — все от недостатка исторического мышления, от пренебрежения к исторической закономерности».

Сейчас, в праведном и вполне понятном гневе, мы готовы едва ли не взорвать 50 лет нашей истории, опять начать все с новой страницы, не замечая, что тем самым воспроизводим психологический и исторический нигилизм идеологов переделки 20-х годов. Но ведь история — это не перечень событий и даже не сколь угодно фундаментальные и добросовестные исследования этих событий, это прежде всего душевный опыт всего народа, как и каждого из составляющих его людей. Он входит в структуру личности столь же неотторжимо, как и в сознание общества, и любое слишком грубое вмешательство в эти структуры снова может грозить коллективными стрессами с непредсказуемыми последствиями.

Теперь вернемся к «Котловану» и спросим себя: неужели и мы, уподобляясь авторам «Канала имени Сталина», не найдем иных прощальных слов для одичалых энтузиастов — Жачева, Вощева, Чиклина, — веровавших, что «коммунизм — это детское дело», кроме брезгливой усмешки по поводу их «примитивности», их неспособности видеть то, что так хорошо видно нам с высоты прожитых с тех пор страной лет? Но ведь если страна все-таки прожила эти годы, если ледяное пространство было обогрето, «обдышано» человеческой верой и теплом, то разве не благодаря им, пытавшимся нести маленькую «девочку-эсерешку» все-таки вдале и вперед? Стереоскопическое зрение Платонова таково, что позволяет ему увидеть несчастного мужика с желтыми глазами, плакавшего «неотложными слезами» о гибели своего мира, и безумцев, мечтающих об устройении единого дома вселенского счастья, в одном и том же пространстве — пространстве трагедии. И если мысль о них о всех вызывает в нас не объяснимую умом щемящую боль, то, значит, пространство этой трагедии мы ощущаем как пространство собственной истории. Но в этом пространстве дует не только снежный ветер «Котлована», но и «Ветер-хлебопашец» весны 1945 года, живут герои «Возвращения» и «Джана», ибо, как и для страны, история ее для Платонова не рухнула в котлован, но продлилась. И каким-то чудом сумела заговорить о рукотворном огне на Древнем языке высокого сказания о сотворении мира: «Еще говорил, всем на удивление, наш мужик, Федор Фадеев:

— Граждане, сказано в писании: вначале бе слово. А кто его слышал, и еще чуднее, кто его сказал? Нет, граждане, сначала был свет, потому что терлись друг о друга куски голой земли и высекалось пламя...»

Нет, если все-таки не рухнула история в котлован, то это потому, что края котлована огромной вольтовой дугой соединил огонь духовного напряжения, горевший в сердцах платоновских «душевных бедняков». Своей жизнью и своей смертью они соединили несоединимое в то целое, которое трудно назвать иным словом, нежели судьба, судьба народа. Из этой судьбы нельзя уже вынуть ни единого камня, не перевернув опять все до основания и не вернув общественное сознание к беспамятной легкости 20-х годов, столь дорого обошедшейся стране.

Нельзя, однако, и двигаться дальше, не очистив, не высветлив свое прошлое, подобно тому, как это бывает вынужден делать человек в острой фазе душевного кризиса.

Духовная практика такого перехода, преображения, но не отторжения собственной жизни была виртуозно разработана в культуре религиозного покаяния (не о том ли у Пушкина: «И горько жалуясь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю»). Теперь, когда потребность в таком покаянии ощущается как социальная, мы, по-видимому, опять расплачиваемся за утрату растоптанной когда-то традиционной культуры и рискуем подменить истинное покаяние амнезией или отречением.

Не потому ли процесс очищения общественного сознания, начавшийся под знаком покаяния, все больше тяготеет к тому, чтобы превратиться в процесс обвинительный?

И что уж совсем поразительно — обвинения непостижимым образом вдруг снова обращаются против народа, третирующие — и притом странно знакомые — интонации по адресу которого не столь уж редко встречаются в текущих публикациях, казалось бы, проникнутых пафосом обновления. Поневоле вспоминаешь, как часто звучало в конце 20-х годов с газетных страниц слово «перестройка» и как тонка грань, отделяющая живительную для творческих сил страны перестройку от искушения перед новыми проектами переделки исторической почвы. Переделки, способной скорее углубить котлован, нежели помочь делу необходимого строительства.



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Наталья Иванова, О «ручном мужике», «Семкиной работе» и беглой лишенке Ваське.

Литература и искусство

О «РУЧНОМ МУЖИКЕ», «СЕМКИНОЙ РАБОТЕ» И БЕГЛОЙ ЛИШЕНКЕ ВАСЬКЕ

Сергей Антонов. Овраги. Васька. Повести. М. «Молодая гвардия». 1988. 352 стр.

Что остается писателю, чья проза, за-
поздавшая не по его вине (коррект-
нее сказать — задержанная), приходит к
читателю сегодня рядом с серьезными, на-
сыщенными информацией статьями?

На одной из встреч с читателями я ус-
лышала такой вопрос: не перевешивает ли
лаконичный огоньковский материал о лы-
сенковщине (1988, № 1—2) многостранич-
ный роман В. Дудинцева? Прочитали бы
мы с тем же интересом «Белые одежды»,
если бы нам были заранее известны фак-
ты?

Действительно: предположим, что окон-
чательно и бесповоротно раскрыты двери
архивохранилищ, распечатаны, доступны
исторические документы. Выдержит ли
художественный вымысел конкуренцию с
исторической фактографией во всех ее
деталях и подробностях?

Все сошлось, и сегодня мы практически
одновременно читаем «Ваську» и «Овра-
ги» — и очерки, статьи, строго докумен-
тирующие время действия антоновских по-
вестей (1929—1931, 1934—1935). Вот, на-
пример, в начале «Оврагов» читаем у Ан-
тонова:

«Весной (1929 года.— Н. И.) стали пого-
варивать о распрях между Сталиным и
Бухариным. Говорили, будто член Полит-
бюро Бухарин направил (кому — неизвест-

но) заявление... считая, что... проводимая
Генеральным секретарем генеральная линия,
особенно в аграрном вопросе, гибельна.
Сталин защищал необходимость временной
«дани», взимаемой с крестьян путем заве-
домо повышенной цены на промтовары и
заведомо низких закупочных цен на сель-
скохозяйственные продукты, а Бухарин воз-
ражал против таких «сверхналогов»; Сталин
одобрял чрезвычайные меры при заготовке
хлеба, а Бухарин называл их «военно-
феодальной эксплуатацией крестьян» и
объявлял троцкистским уклоном. Сталин
был против приема кулаков в колхозы, а
Бухарин считал, что кулаки, оставаясь чу-
жеродным телом, в конце концов вступят
в социализм...»

Еще вчера мы бы захохотались от сме-
лости автора. А сегодня у нас есть воз-
можность самим, исходя из б у х а р и н с к о-
го текста, вдуматься в суть его разногласий
со Сталиным. В журнале «Коммунист»
(1988, № 2) напечатан доклад Бухарина
«Политическое завещание Ленина». Самым
отрицательным моментом, ставящим под у-
грозу существование республики, Бухарин
считает объявление «серьезных классовых
разногласий». В скобках он замечает, что
«Владимир Ильич о кулаке вообще не упо-
минает в этих статьях». В ситуации, когда
со страниц каждой газеты звучали обвине-

ния против кулаков, эти скобки дорогого стоят. Так, «Литературная газета» в самом первом номере (22 апреля 1929 года), через три месяца после доклада Бухарина, писала в передовой: «Чувствуя свою неотвратимую гибель... кулак в деревне» оказывает «бешеное сопротивление социалистическому соревнованию».

О том, к каким результатам политика «обострения классовой борьбы» привела в экономике, говорится в последних статьях О. Лациса («Коммунист», 1987, «Знамя», 1988).

На первую пятилетку (она началась 1 октября 1928 года) было принято два варианта плана: отправной и оптимальный. Но в дальнейшем отправной план был объявлен оппортунистическим, а преобразование хозяйственной структуры шло по оптимальному плану. На фоне мирового экономического кризиса официальные результаты пятилетки в области индустриализации страны казались блестящими.

Но, анализируя выполнение плана по годам, О. Лацис продемонстрировал очевидный и резкий спад темпов к концу первой пятилетки. За пятилетку резко упало производство мяса, молока, шерсти, яиц. По всем основным показателям сельского хозяйства она оказалась проваленной. Кроме одного: намечалась коллективизация всего около 20 процентов посевной площади, а уже в 1929 году этот уровень был превзойден. Красноречивая цифирь, не так ли?

В конце 1927 года Сталин выступил на XV съезде, повторив, что «мы думаем осуществить коллективизм в сельском хозяйстве постепенно, мерами экономического, финансового и культурно-политического порядка». А всего через две недели, в Сибири, он резко критикует местных работников «за нежелание применять против кулаков чрезвычайные меры, 107-ю статью Уголовного кодекса РСФСР!» Запись выступления Сталина в Сибири была опубликована... только через два десятилетия. В открытых публичных речах Сталин провозглашал благие начинания, которые наивно отвергались им же в речах «закрытых».

Излагая этот впечатляющий документированный исторический сюжет о лицемерии и обмане народа в государственных масштабах, О. Лацис пишет: «На отказ продавать хлеб в убыток можно было ответить 107-й статьей. На крестьянские восстания, вызванные чрезвычайными мерами, можно было ответить военной силой. Но на следующий год крестьяне неизбежно должны

были сократить посевы. Чем отвечать на это?»

Репрессивной политике в отношении крестьянства пытались противостоять крупнейшие ученые-аграрники. В июле 1930 года был арестован А. В. Чаянов. Кто-то должен был ответить за нехватку хлеба, за голод, за карточки. Мнимые руководители мифической «Трудовой крестьянской партии» были осуждены в марте 1931 года. О судьбе и творческом наследии А. В. Чаянова подробно рассказано в статье В. Баязина «Возвращение» («Октябрь», 1988, № 1). Эта статья тоже читается сегодня вместе с «Оврагами».

Антонов попал во двоякие трудную литературную ситуацию. Во-первых, в печати обильно открываются факты, действующие сегодня на изголодавшегося по информации читателя сильнее беллетристических текстов. Во-вторых, расстановка сил и характеры в повестях и романах о коллективизации, можно сказать, к настоящему моменту уже клишированы прозой.

Мы читаем «Овраги» после «Комиссии», «Канунов» и «Мужиков и баб». У Антонова практически повторяется набор известных действующих лиц. Незаметно, но вырабатываются новые, «обратные» стереотипы: теперь с раскулаченного хоть икону пиши, бедняк же непременно обнаружит нерадивость, завистливость, а то и просто подлую сущность. Так что для нас сегодня интереснее, «питательнее» — сам текст Бухарина или его беллетристическое оживление? Историческая конкретика и ее анализ экономистом, данные о реальных процессах — или повествовательное изложение?

С. Антонов проводит своих героев (Митя Платонов вместе с отцом, коммунистом-двадцатипятилетним, приезжает в деревню Сядемку) по крестьянским дворам, знакомит их и с так называемыми кулаками — на самом деле крепкими, сильными хозяевами, — и с деревенскими лодырями, быстро приспособившимися к новым порядкам, лодырями, выбранными нынче даже в сельсовет, и с преданными идее революции «беспартийными большевиками», и с местными мародерами, теми, кто не прочь погреть руки на несчастье «раскулаченных».

Платонов приезжает в Сядемку в тот момент, когда колхоз развалился, о чем прямо и недвусмысленно говорит в своей «отчетной» речи бывший председатель: «А none где оне, мужики? Семерых раскулачили, шестнадцать убегли кто куда, четверо померли от дизентерии, четверо — члены правления. Кому нынче на работу вы-

ходить? Делать ничего не желают, лежат на полатах и ожидают семичасового рабочего дня». В конце романа мужики подсчитывают новые печальные «данные». «Девять дворов в Сибирь высланы, шесть семей сбегли незнамо куда, восьмерых в кутузку замели, четверых загубили до смерти. Плюс к тому после... головокружения двадцать шесть дворов из колхоза выскочили... И если дорогой товарищ Сталин по правде даст льготы и преимущества одним колхозникам, а нас, единоличных, лишит имущества, уйдем мы из деревни все как один,— заявляет «взятый на карандаш» райкомовцами Лукьяв Карнаев.— И останутся тут одни никудыхи навроде... Вавкина, и зарастут дороги в Сядемку польню, и остановится время, и наступит мертвая тишина, и только Данилушка (местный дурачок.— Н. И.) будет кричать в оврагах „Да здравствует Авяхим!“».

Этот апокалипсический вопль об утрате основ крестьянской жизни, вырвавшийся из сердца сядемского мужика, я могу сравнить со стном, прорвавшимся осенью 1929 года на страницы «Литературной газеты»,— ответом С. Клычкова критику О. Бескину (напечатавшему о поэте статью под зловещим в те времена заголовком «Бара кулацкой деревни»). Это одно из последних открытых выступлений в печати С. Клычкова, погибшего в 1940 году в лагерях.

«Нет,— горько, с достоинством отвечал на нападки и политические обвинения С. Клычков,— «отобразить» современность — это не в гости сходить, и едва ли можно оправдать суетливую притязательную торпливость, с которой очень многие наши критики хватают современного писателя за рукава, как «зазывалы» из одежного ряда бывшей Сухаревки.

Говоря все это, страстно ждешь, чтобы поверили раз навсегда, воистину братски поверили... освободили от оскорбительного подозрения, что ты... средневековый чурбан, через который совсем неощутимо для него перекатилось железное колесо истории».

На это С. Клычков получил от редакции высокомерный, «классовый» отлуп: «он проходит мимо характеристики классового генезиса своего творчества». Вывод Бескина «о стопроцентной кулацкой сущности критикуемого автора» стопроцентно поддержан газетой.

Любопытен и еще один литературный документ — открытое письмо В. Сутырина Вячеславу Шишкову, напечатанное в № 11 «Литературной газеты» за 1929 год. Один из руководителей РАППа, Сутырин

обвинял писателя в том, что он-де «пропагандирует хозяйственного крестьянина, старательного крестьянина». «Вы против лодыря. Все это хорошо,— воспитывал Шишкова рапшовец.— Но не надо забывать того, что эти же идеи пытается использовать и кулак... вы... углубили значение... проповеди «классового мира», проповеди, конечно, не нашей, не советской, а враждебной».

...Мужики в Сядемке метко определили явление, которое в наши дни Ю. Черниченко назвал антиработой. По имени бывшего председателя-бюрократа они окрестили бессмысленную работу «Семкиной работой. Что ее делай, что ее не делай — один прибыток».

Что же за феномен такой — «Семкина работа»? Как этот стереотип успел за столь короткое время сформироваться в русской деревне, где добрый крестьянин не мог без дела и часа посидеть, где плодотворный труд был основой образа жизни? Ритма жизни?

Чаянов предупреждал в своих «Основных идеях и формах крестьянской кооперации»: «Вряд ли можно конструировать артельное движение в земледелии как длительное и массовое, строя его на фундаменте энтузиазма».

На примере автоновской Сядемки можно воочию убедиться, к каким «антирезультатам» привели командные и «энтузиастические» методы руководства. Прожженный демагог, председатель райисполкома Догановский рисует крестьянам картины будущего расцвета колхозной жизни, но не в состоянии вятно ответить ни на один серьезный вопрос. Впрочем, ответ с угрозой у него в запасе всегда есть: «Вы не маленькие и понимаете, что такое сплошная коллективизация. Сколько бы ни упирались, а колхоза не миновать. Кто будет упираться, вышлем за пределы района».

Демагогическая лексика и командная фраза Догановского сопоставимы со стилем обращения «Литературной газеты» против Б. Пильняка: «Организуем наши ряды на борьбу против аполитичности и «внеклассовости» писателя... Против обывательских попыток прикрывать и замазывать антисоветский характер переключек с белой эмиграцией и сведения их к «ошибкам» и «недоразумениям!» (№ 22, сентябрь 1929 года).

Насаждался новый государственный миф — «образ врага», под которого гримировали и «раскулаченного» крестьянина, и Б. Пильняка, и С. Клычкова, и А. В. Чаянова. Гражданской (да и реальной) казни подвергались и рачительный хозяин, от ко-

того можно было действительно ждать подъема сельского хозяйства, и поэт, и ученый. Зачем нам один «певец деревни» Клычков, когда в стране «25 000 драмкружков, 5000 музыкально-хоровых, изо- и литературных кружков при 750 000 кружковцев — вот наш огромный культурно-политический резерв в деревне» (заметка «Искусство в деревне» помещена в «Литературной газете», 1929, № 14). Но вернемся к «Оврагам».

В тревожную ночь крестьянского бунта после новых указаний о перегибах в свою бывшую избу, ныне доставшуюся председателю, приходит старик, который на сердце носит переписанную от руки статью Сталина «Головокружение от успехов». Именно за эту статью старика арестовывают прибывшие для подавления бунта (помните у О. Лациса: «На крестьянские восстания... можно было ответить военной силой»?) красноармейцы. Старик сначала свято поверил вождю: «Обождали бы маленько, дождались бы статью Сталина, не пришлось бы тюрьмы перегружать». Однако Тихомиров с его неторопливым здравым умом в конце концов приходит к выводу, что в статье есть умысел. «Пятилетку по коллективизации перевыполнили, а хлеб по карточкам. Нет в стране хлеба. Что это означает? Это означает, что кто-то вредит колхозному производству. А кто может вредить? Кулаки. Кулаков за два года, считай, истребили. Ладно. Кулаков истребили, а хлеба все нет. Кто после кулаков вредит? Ответ один: подкулачник. Подошло время истребить подкулачника... Написана эта статья для того, чтобы подкулачник себя проявил. Сейчас подкулачник не станет шипеть шепотком, а заорет полным голосом. Из колхоза побежит, барахло станет требовать, забузит, в общем. И станет его выдать, как клопа на подушке. Тут его и начнут давить...» На вопрос, кто же в деревне останется, Тихомиров отвечает: «Ручной мужик останется... Где поставят, там стоит, где посадят, там сидят».

«Ручной мужик» — это мужик безынициативный, равнодушный к земле, к хозяйству. В общем, тот, кому хороша именно «Семкина работа».

«Ручной мужик» оставался не только в колхозе. При «нестественном» отборе в литературе выживал «ручной» прозаик, «ручной» поэт, «ручной» критик.

...В Маргарите Чугуевой («Васька»), в ее психологии Антонов прослеживает борьбу двух стереотипов. С одной стороны, она ударница, из лучших работниц-метростроев, с другой — чувствует на себе «родовое проклятье». Васька — лишенка,

то есть по стереотипу — враг. Существо простодушное и чистое, она доведена противоречием собственного существования до крайности, покушается даже на жизнь Мити, заставлявшего ее выступить на собрании против пройдохи Осипа Недоносова, знающего ее страшную «тайну». С тяжким раздвоением личности Васька не в силах справиться — и пишет донос на самое себя.

Митя, как помнит читатель «Оврагов», остался круглым сиротой. Кто в этом виноват? Легче всего ответить — кулаки. Да верен ли будет ответ? Митина мать — словно ответная жертва в ситуации, когда мужики доведены заградотрядом до озверения, когда кормилица семи детей застрелена — Митиным ли отцом, не им ли, но все же людьми из заградотряда!

Митя, присутствующий при раскулачивании Федота Чугуева (одна из самых сильных сцен в повести «Овраги»), несмотря на то, что верит отцу крепче крепкого, начинает испытывать непонятные муки — «позорно страдал, когда Петр таскал Риту (будущую Маргариту Чугуеву, Ваську. — Н. И.) за ухо». Но на словах он еще захлебывается от восторга: «А мы налет устроили. У каждого красная повязка на рукаве». Натужное Митино хвастовство не поддерживают даже мальчишки из бедняцких семей. Правду говорит учитель: «Выбросили человека из родного дома, обобрали до нитки, жену довели до пелли. А за что, спрашивается? Лишней скотины Чугуев не имел, наемной силой не пользовался. И обрез у него не нашли. Какой он кулак?»

Главный вопрос, стоящий перед теми, кто «исполнял закон», то есть реализовывал спущенный сверху процент раскулаченных: забудут ли они о совести? «Если ваша совесть мается, — продолжает учитель, — противится закону, если вам стыдно, остановитесь и подумайте. Ибо любой закон, если его применить бессовестно и бездумно, перестает быть законом, а становится преступлением». Именно преступлением против закона человечности стало массовое выселение таких, как Чугуев. Для Мити «раскулачивание» — большой урок, хотя он в этом пока и не может признаться. Но в истории с Васькой он действует по совести, пытается спасти работающую дочь работающего Чугуева от грядущей гибели. То очищение сознания, которое благодаря Ваське происходит с Митей, и есть победа истинной человечности, торжество истинного гуманизма, хотя слово это в те времена иначе как с сугубо отрицательными эпитетами не употреблялось.

Повесть заканчивается сценой торжественного собрания в Колонном зале, посвященного пуску первой линии метрополитена. На собрании выступает Сталин. Шквал оваций обрушивается в зале. Антонов показывает, как мифологизированное сознание толпы поглощает личность, снимает мучительные размышления, наркотически обезболивает душевные противоречия. «Он был уже не Митей, не Дмитрием Платоновым, не комсоргом 41-бис. Он снова стал частью единого могучего существа — массы людей, сплоченной воедино восторгом и обожанием. Он снова жил ее готовностью к подвигу и к послушанию, ее мудростью и безумием». «Подвиг и послушание» для большинства энтузиастов того времени были, к несчастью, действительно единым понятием.

Всего три-четыре года отделяют время действия «Оврагов» от начала повести «Васька», а сколь ощущима разница в свободе высказывания своего мнения да и в обладании им. Людей независимых духовно, со своей точкой зрения на происходящее, со своеобразной философией жизни, самостоятельно мыслящих, с которыми читатель мог познакомиться в Сядемке, здесь либо выветрило, либо они предпочитают отмалчиваться. Происходит, например, в клубе «политудочка», как ее называют комсомольцы, то есть проверка знаний и способности размышлять молодых рабочих. Но одобрение ждет тех, кто повторяет затверженные формулировки. Совершилась подмена истинных ценностей идеологическими стереотипами и клише. Восторжествовала система командно-исполнительская, при которой люди творческие всегда будут подчинены «ручным». Социальная горизонталь (когда высказываться могут все) сменилась вертикалью. На вершине — улыбчивый вождь с Первым Прорабом, а на дне — без вины виноватая перед ними Васька. Игра в демократизм (забота о бачках с питьевой водой), фарсийский фарс в Колонном зале не могут затушевать основного: пренебрежения судьбой реального человека. Его энтузиазм, его инициатива, его энергия лишь используются. А сам человек обманут, сметен, унижен, раздавлен подозрениями и недоверием, выброшен за ненадобностью.

В конце повествования Васька внезапно исчезает. Молодой литератор, ведающий о реальном исчезновении несчастной Маргариты Чугуевой, объясняет принципиальной Тате: «Душа Васьки навсегда, навеки застыла в бетонном своде метро». Гоша хочет выражаться красиво. Но, если вду-

маться, метафора не столько красивая, сколько страшная. Васькина душа действительно застыла в бетонированных сводах, ставших ей безмолвным памятником. Но разве не она тот самый народ, ради которого, как утверждал герой платоновского «Чевенгура», и делается революция?

Да, С. Антонову удалось показать, к каким последствиям — даже через десятилетия — могут привести «военные» способы осуществления коллективизации, «энтузиастические» методы индустриализации. Но опять-таки — не иллюстрирует ли автор те проблемы, о которых теперь открыто говорится в очерках, статьях, исследованиях?

Для большей занимательности, видимо, в повесть «Овраги» вторгается совсем уж чужеродная сюжетная линия — почти детективная: история зарытого в овраге сундука, набитого украденными из барского поместья ценностями — коллекционным фарфором, бронзой, хрусталем. Сначала автор рассказывает бойкую байку о том, «как разлагалось дворянство», а затем — как жадность сгубила и бывших слуг, утащивших добро, и их последней. Из-за сундука, считай, погиб и бывший председатель Сядемки. Так что в повести есть и тайное убийство. Убийцу энергично ищут на протяжении двух номеров журнала.

Мальчику Мите открывающиеся тайны и резкие повороты представляются захватывающе интересными. Современному захватывающе интересными. Современному же читателю, думается, гораздо интереснее другие страницы — те, о которых говорилось выше. Однако в голосе писателя, в интонации в целом есть некий стилистический сдвиг, который необходимо учитывать. Найденный автором особый повествовательный ракурс я осмелюсь определить как трагедийно-пародийный.

Для самого С. Антонова этот момент пародийного сдвига — и в литературе и в действительности — чрезвычайно важен. «В семидесятых годах, — писал он в статье «Воспитывать правдой» («Советская культура», 1988, 19 января), — культ личности возродился, но уже в виде пародии, фарса и золотых шпаг». Но и в 30-х годах действительность тоже принимала формы трагического гротеска, страшного фарса. «Вспомните, — говорил Антонов корреспонденту «Литературной газеты», — какие мастера работали в смеховом жанре в 20—30-е годы: М. Зощенко, И. Ильф, Е. Петров, М. Булгаков, Н. Эрдман, А. Платонов, Е. Шварц. Где их последователи?» Среди своих художественных ориентиров С. Антонов называет пушкинские «Повести Белкина» с их

известной пародийностью по отношению к литературе своего времени: «Они пронизаны боевым духом борьбы со словесной мишурой и фальшью».

А в «Оврагах» разве не пародийна «бытовая комиссия», задающая остолбеневшей красавице Клаше, Митькиной матери, следующие вопросы:

- Где ваш муж?
- Куда он отлучается по вечерам?
- Часто ли отлучается?
- Поздно ли приходит?
- Есть ли у него другая женщина?
- Почему у вас один ребенок?
- Почему кровать с шишками?
- Откуда такой шикарный комод?
- Почему нет портретов вождей?

Пародийны и названия глав. Так, глава шестая называется «Эх, товарищи, друзья!» — в духе времени. А в тексте приводится частушка, снижающая, резко травмирующая название. Ну а если вдуматься в слова «год великого перелома»? Что ломали? И каким способом?

Говоря о пародийности, я вовсе не имею в виду ту пародию, которая определяется «комическим подражанием художественному произведению» (М. Гаспаров), или ту, что в XIX веке определялась как «сочинение, сделанное на какое-нибудь серьезное произведение, с обращением его в смешную сторону» для забавы публики. Нет, я говорю о пародии другого рода.

Как пародией трагедии является комедия, отмечал Ю. Н. Тынянов, так пародией комедии может быть трагедия. Материал для пародии в принципе возможен любой, конечный результат зависит от таланта и такта автора. Необходимо различать пародию и пародийность как внешнюю окраску, преследующую лишь недалекие цели зубоскальства. С. Антонов пародирует не какое-то конкретное произведение, а обобщенно-мнимую, макетную литературу насильственного оптимизма — рассказывает она об успехах (с перегибами, допущенными местной властью) сплошной коллективизации или об успехах метростроевцев.

Но внешняя обманчивость, которую Тынянов считал одним из характерных признаков пародии, не была прочитана критикой (например, А. Латыниной — «Знамя», 1987 № 12) «Ваську» прямолинейно анализировали как повесть, раскрывшую правду и о тяжелых условиях работы, и о цене человеческой личности в условиях чудовищного социального эксперимента.

Так-то оно так, и о цене личности, конечно же, думает С. Антонов, но «Васька»,

как и «Овраги», все-таки не иллюстрация к исторической концепции, а проза, слово в которой стилизовано и пародийно окрашено, как пародиен и сам облик Васьки, здоровенной девахи и одновременно града-кокетт, по определению одного из персонажей.

Вспомним характерный эпизод из действительности 1934 года — года, когда разворачиваются события «Васьки» (тоже, как 1929-й, одного из переломных годов нашей истории). На Первый съезд писателей прибыли с приветствиями рабочие Метростроя. Работница вышла в президиум, держа на плече тяжелый отбойный инструмент. Увидев это, Пастернак, сидевший в президиуме, по первому движению души вскопич с места и попытался отобрать у женщины этот совершенно излишний, по его мнению, для нее груз. Но женщина в красной косынке оказала сопротивление.

На открытии Московской партконференции секретарь МК Каганович разрабатывал словесные клише: «достоинный великий соратник Ленина, вождь и учитель нашей партии, любимый друг всего трудящегося человечества». А сам «вождь и учитель» в докладе на XVII съезде грубыми ораторскими приемами смешил уважаемую публику. «И они,— рассуждал он о несуществующей правой «оппозиции»,— приходили в телачий восторг в ожидании того, что скоро не будет никаких классов,— значит не будет классовой борьбы,— значит не будет забот и тревожений,— значит можно сложить оружие и пойти на боковую — спать в ожидании пришествия бесклассового общества». Следует ремарка: «Общий смех всего зала». Продолжительные овации переходят в пожизненное заключение. Большинство развеселившихся делегатов в ближайшие годы исчезнут в лагерях и тюрьмах.

Гротеск в самой действительности сливался с трагедией. Рассказ помощника начальника Метростроя по кадрам (см роскошно изданный том «Рассказы строителей метро», М., 1935) в этом отношении столь выразителен и так переключается с сюжетом «Васьки» что я не могу не привести выдержки: «Рабочих на метро 54 тысячи человек. Столкнулись мы и с дрянными вешами. Состав в прыдком засорен. Около 2 тысяч человек пришлось удалять... могли пролезать чужие люди всякий враждебный народ. Многие не имели никаких документов и сами скрылись. Уволенные и скрывшиеся — это бывшие уголовники, кулачье бежавшее из высылки... Спрятались по шахтам. Тогда мои люди полезли по шахтам

их разыскивать. Иногда приходилось буквально их вытаскивать на свет дневной».

Трагизм эпохи принимал поистине гротескные, фантастически-фарсовые формы (прекрасно переданные Т. Абуладзе в «Покаянии»).

Слово повествователя в «Ваське» пародийно ориентировано и по отношению к литературе «быстрого реагирования», каковой являлась проза, поэзия, публицистика тех лет. За мнимой серьезностью таится авторская усмешка, ирония, сарказм.

Если сейчас перечесть вышеупомянутые «Рассказы...», тоже рождается ощущение пародийности.

«— Наш метрополитен построен с душой! — сказал Отто Юльевич Шмидт, выходя из поезда.

...— В восторге от людей московского метро! — заявил обычно невозмутимый, но тут как-то особенно взвинченный летчик — Герой Советского Союза — М. М. Громов.

А один из делегатов Туркмении сказал просто:

— Да здравствует товарищ Каганович!

Так он выразил общую мысль».

В предисловии к «Рассказам...» утверждалось: «О комсомольцах на стройке московского метро будут написаны восторженные книги, о них должны писать поэты свои лучшие поэмы». Восторженных книг появилось много. Вспомним хотя бы «Добровольцев», толстый роман в стихах Е. Долматовского. «Все расширяется забой. И митинг вспыхнул сам собой...» Увы, это не пародия. Книг же о реальных трудностях, о затраченных человеческих усилиях, о том, чем заплачено за удивительное строительство, начавшееся в 1932 году, не имевшее ни смет, ни проекта, ни специалистов, еще не было.

«Васька» приближает читателя к действительности не только через конкретное повествование о конкретных событиях, но и через слово, окрашенное временем 30-х годов. Это слово вроде бы тоже восторженное — но обманчивая восторженность жирно подчеркнута иронией, сарказмом. Таков, скажем, силуэт Первого Прораба, «бронета в твердой фуражке, как две капли воды похожего на свои утвержденные портреты», — от одного его присутствия, оканчивается, «проходка вдвое ускорялась и вагоетки бежали на предельной скорости... ярче блестели электрические лампочки и быстрее твердел бетон». Открыв еще раз «Рассказы строителей метро», обнаруживаю вовсе не сарказм, а абсолютно серьезное по установке слово, но совершенно в

стиле Антонова: «В одно из посещений шахт Л. М. Каганович, видя, как вода просачивается через неизолированную отделку тоннеля, сказал рабочим шахты: „Сейчас еще может течь, но потом, когда тоннель будет готов, смотрите, чтоб не капало!“. Этот лозунг — «чтоб не капало!» — с восторгом переходит из рассказа в рассказ. В выступлении каждого строителя — от инженера до кессонщика — подчеркиваются особые заслуги Кагановича. Антонову почти не надо сдвигать действительность. Она гротескна и полна внутренней иронии («ирония истории») сама по себе. Цитирую — теперь уже повесть:

«От шума у Первого Прораба заложило уши.

— Вода в бачках есть? — спросил он.

— Есть! — радостно закричали со всех сторон».

Стилизованно-пародийен и образ начинающего литератора Гоши. Вдохновленный терцинами Данте, он сочиняет «нужные» времени вирши для молодежной газеты:

Нам не страшны ни грозы, ни угрозы.

И плану пятилетнему в зачет

Текнут зерна потоки из колхоза

И из вагранки жарко сталь течет;

И труд, и стих мой людям угнетенным

Звезду освобождения несет.

Надо сказать, что пародийная стилизованность во многом спасает художественную честь повести «Васька». За исключением Васьки и Мити ее персонажи, в том числе и Гоша и Тата, представляют собой плоские, лишённые объема фигуры. Вторичны, напоминают поднадоевшие карикатуры и красотка Мэри и Осип Недоносков (одна фамилия чего стоит), в биографии которого все черно, включая омерзительное топтание на могиле расстрелянного отца. И если бы не гротеск, не ирония, не фарс, проза Антонова могла бы остаться на уровне 50-х

Кстати, сам прозаик отнюдь не утаивает от внимательного читателя своей художественной установки. В тексте «Васьки» присутствует развернутая сноска к «Рассказам строителей метро». А финал «Васьки» открыто пародирует чеховского «Ваньку»: «Ванька свернул вчетверо испитый лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес: „На деревню дедушке“. Потом почесался, подумал и прибавил: „Константину Макарычу“». А вот финал «Васьки»: «Поздно ночью Митя переписал письмо о Чугуевой на свежую бумагу и вложил в конверт.

Сперва он хотел написать: „Великому, любимому вождю всех народов...“ — но, подумав, написал просто: „Кремль, товарищу Сталину“. Получилось слишком коротко. Митя покумекал немного и прибавил: „Иосифу Виссарионовичу“. Антонов пародирует вовсе не Чехова: он пародирует ситуации самой действительности, доводит до гротеска иллюзии, наивность людей той эпохи, свято веривших в миф об «отце народов», который, конечно же, поправит тех, кто допустил ошибку.

Итак, повести Сергея Антонова пришли к нам сегодня вместе с работами историков и публицистов, осуществляющих демифологизацию общественного сознания. Как свидетельствуют публикуемые в печати письма читателей, процесс освобождения от идеологических стереотипов, складывавшихся десятилетиями, идет непросто, порой чрезвычайно болезненно. Немало людей сегодня или не хотят поверить в открывшиеся страницы истории, или спрашивают, не напрасно ли потрачена их жизнь. Повести Антонова, в которых сплавлены горечь и абсурд, страх и восторг, трагедия и фарс, помогают избавлению от клише простодушного сталинизма.

Период «первоначального накопления», интенсивного освоения новых социальных и исторических территорий в прозе —

не сегодня, так завтра — завершится. Проза, чей успех основан только на удовлетворении естественной жажды читателем исторической информации, отойдет в тень, выполнив свою миссию. При одном, однако, условии: если публикация архивов, статистических данных, документов — с комментариями, точным научным анализом — будет расширяться; именно это создаст конкуренцию беллетристике. Как будет работать писатель в этих условиях? Точно предсказывать направление не берусь — литературе заказывают Индию, а она, по афоризму Тьнянова, открывает Америку. Литература должна использовать свои, художественные, возможности. Я вижу здесь две тенденции. Первая — глубинная разработка, психологический анализ исторического человека (вовсе не только крупную историческую личность я имею в виду). И вторая, чрезвычайно перспективная тенденция — условные формы художественного анализа человека и эпохи: смеховая стихия (фарс, гротеск, пародия, ирония), фантастика, притча, антиутопия. Идеологические стереотипы и клише, мифологизированное сознание и свойственный ему синдром страха побеждаются не только знанием, но и смехом и — шире — аргументами искусства.

Наталья ИВАНОВА.



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Что греха таить, я и сам говорил студентам, что теория правового государства — теория буржуазно-либеральная, что она прикрывает классовую сущность буржуазного государства и права.

Это правда, но не вся правда. Потому что правовое государство — это и преграда на пути правового произвола, это гарантии действительной демократии, это политико-правовая система, в основе которой лежит действительно гуманная и действительно прогрессивная юридическая мысль, которая, видимо, должна быть восстановлена в своих правах.

Буржуазные условия, в которых эта идея развивалась, буржуазность самих мыслителей, ее развивавших, не дает нам возможности взять ее в готовом виде ни у одного из ее классиков. С другой стороны, идея правового государства не принадлежит буржуазии, ее истоки восходят к античности. Мученическая смерть, принятая семидесятилетним старцем Сократом, была делом, подтвердившим его слова о верховенстве права над всем мимолетным...

Революционному курсу XXVII съезда КПСС подобает значительная, адекватная ему концепция правовой перестройки. Пока на земле существуют государства, нет и не может быть правового идеала выше, чем идеал правового государства.

Оставляя в стороне частности, смысл теории правового государства сводится к следующему.

Основой государственной жизни, отношений между государством и гражданином служит право — некая система норм, обязательная для них обоих независимо от конкретных политических целей, стремлений, социальных условий и т. п. Право — это своеобразное условие, фон и основа их сосуществования, присутствующие всегда и более-менее независимо от их сегодняшней и сиюминутной воли. Да, в классовом обществе в эту систему заложена некая коренная несправедливость, не без того. Но сам принцип позволяет расцвести лучшему, на что способно данное общество. Сегодня, когда М. С. Горбачев выдвинул в центр нового мышления проблему общечеловеческих ценностей, идея правового государства готова начать новую, на сей раз уже социалистическую, подлинно демократическую жизнь.

Попросту говоря, речь идет о том, что права и свободы советских граждан должны быть гарантированы независимо от того, какие конкретные лица — партийные руководители, верховные администраторы и т. п. — будут находиться у власти. С точки зрения теории правового государства может меняться политика, может даже не удасться перестройка (не дай бог, конечно), но не должна уменьшаться раз уже завоеванная степень гласности, демократии, должны быть исключены какие бы то ни было репрессии относительно тех, кто был приверженцем другой линии, и т. д.

Внимательный анализ не только событий 30—40-х годов, но и происшедших совсем недавно — в годы 70-е, приводит к выводу: в нашем обществе существовала реальная возможность поправки тех правовых основ, на которых оно строится. Мощнейшая сила — бюрократический аппарат, репрессивный аппарат — имела возможность без особого труда выйти из-под правового контроля, поставить себя над ним и над всем обществом. Чтобы побороть эту невиданную силу, необходимо создать такую правовую систему, которая ставит само право в некое привилегированное положение и сводит до минимума возможность кому бы то ни было и когда бы то ни было его обойти, его не учесть, ему не подчиниться.

Меняющиеся ежемесячно нормы и нормативы, крутые смены в экономических курсах уже породили особый феномен недоверия к праву, неуверенности в своем правовом будущем. Годы коллективизации начала 30-х годов во многих республиках стерлись из памяти, но в Прибалтике, где этот курс проводился теми же методами

в конце 40-х, еще живы его свидетели и жертвы и сегодня, когда закон распахивает ворота для индивидуальной трудовой деятельности, когда пропагандируется семейный подряд в сельском хозяйстве и происходит многое другое, за что вчера в тюрьме сидели, возникает естественный вопрос: а где гарантия, что завтра это не повторится? Ты возьмешь сегодня на семейный подряд ферму или участок, создашь кооператив, а завтра, послезавтра, лет так через 10—15 тебя объявят кулаком, частником, буржуем? И применят всю строгость «революционных» законов. Ведь именно это уже бывало — сегодня государство дает, просит взять, а завтра оно же карает взявшего.

Много писалось о цензуре, сидящем в каждом из нас. Да не в цензоре дело, а в простом, человечески понятном, отнюдь не стыдном и вполне обоснованном страхе, что за написанное, сделанное сегодня придется расплачиваться завтра, и расплачиваться по заведомо несправедливой цене, что законное сегодня обернется уголовным преследованием завтра! Юридические гарантии должны исключить этот страх.

Следуя идее правового государства, придется отказаться от той необычайной легкости, с которой мы готовы создавать сиюминутно любые, в том числе и самые главные законы. Остановили возведение памятника героям Великой Отечественной войны на Поклонной невзирая на издержки. Остановили поворотчиков рек. Как же далеки мы еще от такого же серьезного отношения к закону, который должен жить уж не менее двух-трех десятилетий, а кое-какой и в течение веков!

В мае 1986 года был принят Указ о нетрудовых доходах. Даже самые умные наши теоретики не могут сегодня, впрочем, как и не смогли тогда, дать хотя бы мало-мальски удовлетворительное объяснение, зачем он вообще понадобился. Компенсируя причиненный им вред, всего-навсего несколько месяцев спустя приняли Закон об индивидуальной трудовой деятельности. Приходится ли в таком случае говорить о каком-либо единстве законодательства? О правовой концепции? Чего вообще, собственно, законодатель хочет?

Пример из еще более близкого прошлого. В июне прошлого года после десятилетия ожиданий и десяти лет каждодневного нарушения статьи 58 Конституции СССР появился закон, дающий гражданам право обжаловать незаконные действия должностных лиц в суде. Однако этот закон, даже не успевший еще вступить в силу, был переделан на сессии Верховного Совета СССР в октябре этого же года! Слава богу — в обоих случаях изменения шли в лучшую сторону. Но оба эти случая говорят о по меньшей мере несерьезном отношении законодателя к своей деятельности или о его несоответствии обязанностям, возложенным на него обществом. Во всяком случае я, как юрист, просто не могу сдерживать недоуменного вопроса.

Если все происходит так просто — сегодня приняли, завтра переделали, а послезавтра так же единогласно опять отменили, — то ведь могло вполне случиться и совсем наоборот — раньше закон об индивидуальной трудовой деятельности и лишь затем о нетрудовых доходах (кстати, сейчас они действуют оба, и это в значительной мере вопрос вкуса, какой из них применять), раньше нынешний закон об обжаловании в суд, а затем уже его урезанный, то есть первоначальный вариант? Но ведь проблема именно в том и заключается, что при такой поспешности принятия законов правовая основа общественной жизни становится весьма шаткой. А будущее — негарантированным.

В ходе общенародного обсуждения проекта нового Закона о государственном предприятии много говорилось о содержащихся в нем элементах административного метода управления экономикой. Немало из них перешло из проекта в закон. Он и вправду олицетворяет сегодня компромисс между административным и хозяйственным началами управления. С одной стороны — самофинансирование, самокупаемость, хозрасчет, с другой — приказ работать в две смены; с одной стороны — обязанность вышестоящих организаций нести ответственность за причиненный предприятиям их деятельностью ущерб, с другой — невозможность, заложенная в самом законе, эту ответственность применить; с одной стороны — выборность должностных лиц, с другой — их утверждение вышестоящей инстанцией (статья 6, пункт 3); затем вся эта путаница и, по существу, неурегулированность вопроса о ценообразовании (статья 17) и т. д. Однако парадокс: именно эта внутренняя противоречивость и дает закону о предприятии шанс бесславно, но устойчивого существования в течение достаточно длительного времени. Ведь он как бы заведомо рассчитан на оба возможных варианта. Если перестройка экономики произойдет, в законе вроде бы достаточно норм, допускающих переход предприятий на хозрасчет; если же победит админист-

ративный политико-экономический курс, в законе достаточно рычагов и для прямого приказного управления экономикой. Одного в этом законе нет — гарантий для тех, кто готов рискнуть на новых путях. Он не поощряет решительных сторонников перестройки.

О бюрократии писалось много плохого, а в последнее время — особенно, и вполне справедливо. Однако ради объективности все же не следует забывать и о том, что бюрократия нередко оказывала нам и весьма значительную услугу. А именно: благодаря тому, что в громадном бюрократическом аппарате всегда что-нибудь да скрипит, какие-то шестеренки не сцепляются, а что-то вообще вертится впустую, благодаря всему этому не все поспешные команды доходили до самого низа, туда, где их следовало выполнять. То не было где-то заведующего, где-то повышал на курсах свою квалификацию его зам, а зам зама был не в курсе, и машинистка ушла в декрет... В общем, благодаря всему этому не был поголовно уничтожен скот в личных хозяйствах, не были посланы в Сибирь или расстреляны все «враги народа», не всюду успели посеять кукурузу и посадить продавцов цветов. В этом калейдоскопе директив аппарату удавалось сохранять свое невозмутимое лицо, а вместе с тем и избавлять общество от хотя бы некоторых грозивших ему катастроф.

К чему я все это?

Да все к тому же. В правовом государстве роль стабилизатора, которую выполняла у нас пока только бюрократическая неэффективность, начинает выполнять единое и обязательное для всех стабильное и надежное право. Только в правовом государстве бюрократия лишается всякого оправдания для своей неэффективности.

Когда речь идет о стабильности права, то, в первую очередь, имеется в виду стабильность норм конституционного характера. Но конституционный характер норм и их зафиксированность в тексте конституции, увы, не всегда одно и то же. Конституция СССР, будучи формально высшим законом (даже «основным»), не обладает поныне никакой юридической силой вне законов, инструкций, рекомендаций, циркуляров, призванных привести ее в действие. Можете быть уверены — ни один суд никогда не примет к производству ни одного вашего дела, если у вас нет ничего кроме прямой ссылки на Конституцию. Раз так и раз Конституция все еще носит скорее декларативный, чем юридический характер, то единственным путем приведения общественной жизни на конституционную основу является обеспечение всех провозглашенных Конституцией норм надлежащим комплектом законов и инструкций. Причем таких законов и инструкций, которые воплощали бы в жизнь статьи Конституции, а не творили очередных фактических изъятий, оговорок и искажений. Ведь народ в лице своих депутатов голосовал за Конституцию, за все ее нормы в таком виде, какие они есть, любая попытка чиновников измышлять в тиши своих кабинетов лазейки, чтобы свести ее на нет, антиконституционна, противозаконна.

Я упоминал уже о законе, дающем нам в будущем право обжаловать неправомерные действия должностных лиц в судебном порядке. Именно этот закон является главной опорой, зацепкой, позволяющей начать сдвигать нашу государственность на ее истинно правовую, а значит, и подлинно социалистическую основу (ибо, я убежден, истинно социалистическое государство может быть только правовым). И вот оказывается, если руководство какого-нибудь органа коллегиальное, его решение обжаловать нельзя! Вот это лазейка! (Будь я должностным лицом, я был бы просто лодырем или недорослем, не придумай я себе на случай необходимости какого-нибудь абсолютно бессловесного коллегиального органа, от имени которого мы бы все свои дела творили...)

Статья 50 Конституции гарантирует гражданам СССР право на свободное проведение митингов и собраний (при условии их лояльности к интересам народа и социалистического строя). Но мы все же так и не знаем, что, собственно, можно делать на старом Арбате, а чего нет. С точки зрения правового государства то, что можно — можно и чего нельзя — нельзя, и это не зависит от того, кто является в данное время начальником милиции или в чье дежурство собираются металлисты, рокеры, люберы или кто там еще. И это знание — что можно и чего нельзя, поскольку оно касается граждан, должно быть открытым, гласным, как является гласной и открытой Конституция.

Я не смею задерживать внимание и терпение читателя на всех положениях Конституции, которые еще не имеют должного в наших условиях подтверждения общедоступными, гласными законами и инструкциями. Но говоря о перспективах

развития нашей государственности как государства правового, подчеркнут особую злободневность принятия закона о гласности (во исполнение статей 47, 49, 50 Конституции СССР), а также предложенного Чингизом Айтматовым Протокола о взаимоотношениях между нациями и народностями СССР (статья 36, 64 Конституции СССР). Речь идет о законах, которые должны придать необратимый характер всей нашей перестройке.

Законы, составляющие по своей сути конституционную основу, должны обладать особой защитой против покушений на их частое и, увы, нередко произвольное изменение. Их единогласное принятие (а равно и изменение) Верховным Советом, как показывает сама жизнь, такой гарантии не дает. В отличие от иных, так сказать, текущих законов каждая буква и запятая в законах о праве на судебную защиту, о гласности, об индивидуальной трудовой деятельности и т. п. должны быть защищены совершенно особой процедурой. Хотя бы принятием любой поправки в них путем референдума по каждой республике в отдельности с последующей ратификацией поправки в каждой из них. Поверьте, эта цена, заплаченная за правовую гарантию перестройки, не чрезмерна!

Не красит наши законы их почти полная анонимность. Помните у Жванецкого: «Кто сшил этот чудный костюм? Мы. И не с кого спросить». Ведь нам известны законы Шермана и Тафта-Харгта, поправка Джексона. Может, я и идеалист, но мне кажется, что если бы закон о нетрудовых доходах имел реальный шанс войти хотя бы через прессу в историю, как, допустим, закон Иванова-Петрова-Сидорова, то, может быть, Иванов, а вместе с ним и Петров и Сидоров подумали хорошенько, прежде чем выложить его перед Верховным Советом.

Что бы ни говорилось о гарантированности правовой основы государственной жизни, все это останется пустой фантазией, если она не будет подкреплена стабильной и независимой системой правовых органов, в первую очередь судом и прокуратурой, подчиненными только закону, в том числе, желательно, и Конституции. Это вопрос о создании такой организации органов юстиции, которая ни при каких условиях и ни в чьих руках не может оказаться орудием сиюминутных личных и групповых интересов.

Речь идет, прежде всего, о суде присяжных.

Известны два основных типа судебного присутствия — суд присяжных и суд шеффенов. Истоки первого уходят в Англию, второго — в средневековую Германию, к вольным городам и городам Ганзейского союза. Шеффенский суд характеризуется тем, что судебную коллегия составляют профессиональный судья и его заседатели — шеффены (в некоторых случаях, например, в средневековом Таллине, шеффены, как и судья, выбирались из состава членов магистрата). Решение они выносят вместе. Наш сегодняшний суд является развитием именно шеффенского суда. От своего средневекового предшественника наш суд отличается двумя моментами: во-первых, усилением административного, манипулируемого начала — количество шеффенов обычно не менее 4—5, у нас сведено до минимума — до двух. И во-вторых — отсутствием сословного (или цехового) представительства.

В суде присяжных народные заседатели (присяжные) отделены от судьи-профессионала, функционера государственного аппарата. Кроме того, в суде присяжных вынесение приговора идет в две стадии — определение вины и определение санкции (наказания), причем последнее, находящееся в ведении судьи-профессионала, зависит от первого. Таким образом, сам статус присяжных плюс порядок их выбора (как правило, случайный выбор из всех дееспособных граждан) плюс достаточная анонимность их личного мнения ведут к формированию суда относительно объективного, неманипулируемого, независимого. О том, что такое суд присяжных, как и почему этот наидемократический институт был из нашей жизни изгнан, написал недавно в своей замечательной статье ветеран нашей историко-правовой науки З. М. Черниловский («Советское государство и право», 1987, № 9). Факт есть факт — этого демократического суда у нас нет (в России он с 1864 года был).

О восстановлении суда присяжных уже писали, и немало. Хочу добавить лишь кое-что.

Во-первых, вопрос о суде присяжных не должен подменяться вопросом о количестве обреченных на безмолвие народных заседателей в нынешнем суде. Будь их даже не два, а двести — суть суда от этого не изменится. Во-вторых, суд присяжных, с его независимостью и опорой не на юридическое крочкотворство, а здравый смысл

и общественное правосознание, способен в некоторой степени поставить на место и самого законодателя, если он вопреки всей логике, но согласно печальному опыту ступит сам на путь подмывания правовой основы государства. Допустим, принят закон, явно противоречащий пониманию обществом того, что является справедливым, а что нет. И вот виновный перед этим законом (ну хотя бы бабулька, скормившая хлеб своей хрюшке, а дело это, как известно, уголовное!) поставлен лицом к лицу с присяжными. Вполне возможно, что присяжные, отвергая несправедливость такого закона, откажутся признать его (ее) виновным. Стоит вспомнить, что суд присяжных в свое время оправдал Веру Засулич, стрелявшую в градоначальника Трепова. Но можно быть уверенным, что этот суд никогда не оправдает человека, действительно посягнувшего на действительные интересы народа, будь им и сам Щелоков.

Впрочем, мне могут возразить: там, где суд присяжных был и есть (например, в Англии, США), доля рассматриваемых им дел не столь уж велика и даже она постепенно уменьшается. Что верно, то верно. Но, во-первых, уменьшение не означает исчезновения. Вопрос совсем не в том, какой процент дел рассматривается в суде присяжных, а в том, что такой суд есть и убежденный в своей правоте человек до него в конце концов дойдет. И во-вторых, там, где роль суда присяжных уменьшается, он уже многое сделал, хотя бы уже своим существованием и историей. Он создал тот уровень правовой культуры и правосознания, который уже сам по себе служит гарантией верховенства права. Неприглядное утергейтское дело не имело в процессуальном аспекте прямого отношения к суду присяжных, но именно в стране с таким судом и с его традициями стало возможным предъявление уголовного обвинения главе государства, находящемуся у власти. Именно находящемуся у власти, а не в отставке, не умершему и т. п.

И наконец, хотелось бы о с о б о обратить внимание на один момент, до сих пор вообще ускользнувший от нашего внимания.

Да, адвокат должен быть допущен к следствию с самого его начала. Да, единичные действия следователя должны быть поставлены под строгий контроль. Но не только это. Немаловажно и то, что процедура присяжного суда применима (и применяется!) и в процессе возбуждения дела и выбора меры пресечения. Речь идет о процедуре предварительного слушания в суде присяжных, хорошо известной всем почитателям книг Эрла Гарднера, — полем основных битв их главного героя — адвоката Перри Мейсона является именно эта стадия процесса. Ее основной смысл заключается в том, чтобы почти с самого начала не только следствия, но порой даже дознания поставить действия властей под строгий контроль общественности. Мы свято верим в магию высокого слога. Ведь когда мы читаем о том, что никто не может быть арестован иначе, как с санкции прокурора (статья 54 Конституции СССР), то нам уже начинает казаться, что наша неприкосновенность чем-то действительно гарантирована. Но замените слово «прокурор» на «прораба жилуправления», и туман рассеется. Замена эта вполне правомерна — ведь ни тот, ни другой, в сущности, лично не заинтересованы в обеспечении законности и обоснованности ареста, то есть не заинтересованы как должностные лица. Чем рискует прокурор, выдавший необоснованную санкцию на арест или начавший следствие без достаточных на то оснований? Выговором? Недовольством начальства? В наилучшем случае — переводом на ту же работу в другом месте.

Человек, который воистину заинтересован в том, чтобы законность была соблюдена, — это сам последственный. В этом смысле фраза «спасение утопающих — дело рук самих утопающих» не просто шутка. Это в его интересах предстать перед судьями уже в самом начале следствия, завоевать гласность своему делу и знать, что его судьба уже не зависит от того, с какой ноги сегодня встал следователь или прокурор. С первых же дней следствия он должен знать: он отвечает перед законом, его судит не клан власть имущих, а народ в лице присяжных, народ, который не даст в обиду невинного и не простит виновного.

Прокуратура... Да, в ней есть и такие люди, каким был В. В. Найденев, но А. Ваксберг, написавший о нем в «Литературной газете» и отлично знающий все эшелоны нашей юстиции, подчеркивает: Найденев был исключением.

Три основные функции прокуратуры: осуществление высшего надзора за законностью, государственное обвинение и предварительное следствие (две последние, кстати, не входят в ее конституционные функции — см. статью 164 Конституции СССР) дали в итоге такой сплав, который даже при максимальной доброй воле отдельных

юристов не может дать в целом ничего хорошего. Предварительное следствие, законность которого контролируется самой же прокуратурой, по существу, бесконтрольно. Государственное обвинение, строящееся на материалах своего же следствия (со строгим ограждением его от адвоката), имеет целью доказать, что следствие, как бы оно ни было проведено на самом деле, проведено «нашими парнями» отлично. Отсюда и вечная поза обидевшейся девицы, столь свойственная нашей прокуратуре и столь многим прокурорам; что же касается надзора за законностью, то можно повторить — прокуратура (то есть ее сотрудники) готовы «надзирать» без особого рвения, а так.. чтоб не мозолить глаза ни своему, ни местному начальству, в общем — для видимости. Отсюда волнообразность различных кампаний: сегодня хватаем самогонщиков, вчера — «нетрудовиков», а завтра, если прикажут, будем сажать кооператоров. Чего нет, так это ровного, нормального, стабильного правопорядка, спокойной, лишенной нотки истеричности карательной политики.

Все же приведу пример, вопиющий по своему характеру, хотя и из более спокойной области — из области гражданского права («Огонек», 1987, № 43). Вопреки статье 41 Основ гражданского законодательства СССР Минторг СССР (в содружестве с некоторыми промышленными министерствами) придумал себе сладкую жизнь, сведя на нет элементарное правило — продавший плохую вещь должен взять ее обратно и вернуть покупателю деньги. Оказывается, чтобы вернуть негодный и опасный цветной телевизор в магазин, надо выполнить уйму дополнительных условий, по существу, незаконных, ущемляющих права покупателя. И этот порядок продолжает действовать. Всего этого не могло бы быть, если тому единственному человеку, который истинно заинтересован в законности, — в данном случае покупателю халтурно сработанного телевизора — была бы дана возможность обратиться в суд, в суд независимый. Уж поверьте — присяжные бы (скорее всего, ведь тоже покупатели телевизоров) наверняка вынесли бы решение законное, а не основанное на инструкциях Минторга, которые прокуратуре, видимо, почему-то нравятся. Вот и весь надзор!

Итак, истинно заинтересованными в обеспечении законности являются люди, в чьих интересах эти законы созданы. И им должна быть предоставлена возможность войти со своими проблемами в единственное место на земле, специально созданное для этого, — в суд.

И тогда не понадобится очередному министру внутренних дел снова и снова заверять меня в том, что воспитательная работа с личным составом милиции постоянно улучшается. Мне будет вполне достаточно, если я буду знать, что могу тут же подать в суд на любого милиционера, оскорбившего мое достоинство, и, честное слово, я буду вполне доволен, если буду иметь возможность привлечь к суду чиновника, осмелившегося подать мне анкету с вопросом о том, кто и когда у меня в роду был интернирован и кем. Я просто не умею ценить ту деликатность, которая выражается в том, что у меня не спрашивают, в каких фракциях состоял мой дедушка. Ведь меня, как и суд присяжных, не будут интересовать совершенно секретные, полусекретные и совершенно несекретные, но просто не доступные никому инструкции, обязывающие, например, чиновника, е д и н с т в е н н а я задача которого заключается в оформлении мне выездной визы, влезать в мою жизнь с вопросами, никак его не касающимися. И этот суд поймет меня, а не его. Потому что меня много — целое государство. И это государство — мое, а не его.

В нашей Конституции записано:

«Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР и советские законы».

Вот оно — правовое государство. Путь — ох и трудный, и длинный! — от этих благих слов к самой жизни еще предстоит пройти. Но даже самая длинная дорога начинается с первого шага...

Игорь ГРЯЗИН,

доктор юридических наук.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

А. Борин. Никто, кроме меня. 223 стр. Цена 70 к.

И. Васильев. Ориентир. 384 стр. Цена 1 р. 10 к.

Е. Добровольский. Чужая боль. Повесть о Вере Засулич. 2-е издание. («Пламенные революционеры») 335 стр. Цена 1 р. 30 к.

Д. Мичелл, Р. Рикард. Феномены книги чудес. Перевод с английского. 294 стр. Цена 2 р.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Левитов. Избранные произведения. 479 стр. Цена 3 р. 10 к.

Мелочи жизни. Русская сатира и юмор второй половины XIX — нач. XX в. («Классики и современники») 415 стр. Цена 1 р. 80 к.

«России верные сыны...» Отечественная война 1812 года в русской литературе первой половины XIX века. В 2-х тт. Т. 2. 507 стр. Цена 2 р. 70 к.

О. Чиладзе. Избранное. И всякий, кто встретится со мной. Железный театр. Перевод с грузинского. 830 стр. Цена 3 р. 10 к.

«РАДУГА»

Вера в жизнь. Проза советских писателей, пишущих на немецком языке. 280 стр. Цена 1 р. 50 к.

Ш. Вёреш. Огненный колодец. Стихи. Перевод с венгерского. 183 стр. Цена 95 к.

В. Клавель. Поющее дерево. Избранные сказки. На французском языке с параллельным русским текстом. 239 стр. с илл. Цена 1 р. 90 к.

Ш. Хегата. Железное око. В сетях. Романы. Перевод с арабского. 438 стр. Цена 3 р. 20 к.

«ИСКУССТВО»

К. Браун. Ван Дейк. Перевод с английского. 239 стр. Цена 9 р. 30 к.

М. Захаров. Контакты на разных уровнях. 270 стр. Цена 1 р. 50 к.

М. Шнайдер. Франциско Гойя. Перевод с немецкого. («Жизнь в искусстве») 366 стр. Цена 3 р.

В. Шукшин. Киноповести. 511 стр. Цена 3 р.

«НАУКА»

А. Аксенов. Генеалогия московского купечества XVIII века. Из истории формирования русской буржуазии. 189 стр. Цена 95 к.

Быт и история в античности. 271 стр. Цена 1 р. 20 к.

И. В. Гёте. Западно-восточный диван. Перевод с немецкого. («Литературные памятники») 895 стр. Цена 7 р.

Ф. Достоевский. Собрание сочинений. В 15-ти томах. Том I. 563 стр. Цена 3 р. 30 к.

В редакцию «Нового мира» приходит множество писем, в которых читатели сообщают об отказах местных отделений связи в продлении подписки на журнал на второе полугодие. С. Колчин из Городца Горьковской области пишет: «28 мая я стал оформлять подписку на второе полугодие. Работники отделения связи № 1 Городца отказались принять у меня подписку на ваш журнал, ссылаясь на указание областного агентства «Союзпечати»...»

География подобных случаев обширна. Много писем получено с Украины, Поволжья, из Прибалтики, Сибири, Архангельской области, и это вынуждает редакцию публично обратиться в Министерство связи СССР, которое неоднократно утверждало, что за читателями журнала, подписавшимися на первый квартал или первое полугодие, сохраняется право продлить подписку до конца года.

Редакция «Нового мира» надеется, что подобные случаи отказов при продлении подписки на журнал больше не повторятся.

Главный редактор **С. П. Зальгин**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гравин, И. А. Дедков, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, Д. Мулдагалиев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, И. Б. Родынская, А. Я. Сахнин, М. В. Тимофеева, О. Г. Чухонцев**

Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 12.05.88 г. Подписано к печати 04.07.88 г. А 06161.

Формат бумаги 70×108^{1/8}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.)
27,02 уч.-изд. л.

Тираж 1.110.000 экз. (5-й завод 810.001—1.010.000 экз.). Зак. 3976

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в типографии ордена Ленина «Красный пролетарий», 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

*«Новый мир» в текущем и в 1989 году
предполагает опубликовать:*

Ч. АЙТМАТОВ — «Богоматерь в снегах» (роман), В. БЕЛОВ — «Год великого перелома» (роман), А. БИТОВ — «Япония как она есть» (повесть), И. ВЕЛЕМБОВСКАЯ — «Чужеземцы» (роман), Д. ГРАНИН — «Источник любви» (роман), Ю. ДОМБРОВСКИЙ — «Факультет ненужных вещей» (роман), В. КРУПИН — «Бумага» (роман-завещание);

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ С. Антонова, В. Астафьева, В. Быкова, Ф. Искандера, Р. Киреева, Ю. Нагибина, В. Распутина, М. Рощина, Вл. Солоухина, Т. Толстой;

ПОЭЗИЯ будет представлена новыми стихами известных, малоизвестных и неизвестных поэтов разных поколений, школ и национальных традиций;

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ Ю. Афанасьева, Ф. Бурлацкого, И. Клямкина, Г. Лисичкина, А. Нуйкина, В. Овчинникова, В. Селюнина, В. Цветова, Ю. Черниченко, Н. Шмелева;

ПУБЛИКАЦИИ И ОЧЕРКИ из истории отечественной общественной мысли первой половины XX века: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Д. С. Мережковский, В. С. Соловьев, П. Б. Струве, Н. В. Устрялов, Н. Ф. Федоров и другие — под общей редакцией членкора АН СССР С. С. Аверинцева;

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА М. Бабановой, М. Волошиной, Н. Клюева, Н. Кондратьева, В. Короленко, В. Набокова, М. Пришвина, Александры Толстой, В. Ходасевича;

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА: размышления о путях современной прозы, о литературной панораме 20—30-х годов, о социально-философской фантастике, о новых тенденциях в изобразительном искусстве и театре; статьи С. Бочарова — о В. Ходасевиче, И. Дедкова — о Вас. Гроссмане, Н. Коржавина — о творчестве А. Ахматовой;

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: Г. Газданова — «Вечер у Клер», А. Ремизова — «Взвихренная Русь», а также Ф. Абрамова, И. Бунина, М. Горького, Ю. Казакова, А. Платонова, В. Тендрякова, В. Шаламова, М. Шолохова;

ИНОСТРАННАЯ ПРОЗА: В. Вулф — «На маяк», Д. Оруэлл — «1984».

Подписка на журнал «Новый мир» принимается в пределах тиража текущего года всеми предприятиями «Союзпечати» и отделениями связи. Подписная цена на год — 14 р. 40 к.